11. 1973

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия»
Москва

Год издания 19-й

НОЯБРЬ 1973

№ 11

СОДЕРЖАНИЕ

ЭРИКО ВЕРИССИМО — Происшествие в Антаресе *(Роман. Перевод с португальского Ю. Калугина. Вступление Юрия Дашкевича)* 3

ДИТЕР ШУБЕРТ — Донна Клара *(Рассказ. Авторизованный перевод с немецкого и вступление Сергея Львова)* 87

ХОСЕ РАМОН МЕДИНА — Стихи *(Перевод с испанского Евг. Долматовского. Вступление Регуло Бурельи Риваса)* 95

АЛАН СИЛЛИТОУ — Начало пути *(Роман. Окончание. Перевод с английского Р. Облонской. Послесловие Георгия Анджапаридзе)* 102

ЛЕШЕК МАРУТА — Рассказы *(Переводы с польского В. Головского и М. Игнатова)* 189

Литературное наследие

Калидаса — Облак-вестник *(Поэма. Перевод с санскрита и вступление С. Липкина)* 199

Критика

ВОЛОДЯ ТЕЙТЕЛЬБОЙМ — Пабло Неруда *(Перевод с испанского Т. Владимирова)* 210

В. ДНЕПРОВ — К понятию «модернизм» 216

Писатель и время

Вглубь, до сути вещей. Писатели ГДР о себе и о своем творчестве. Бруно Апиц, Эрвин Штритт-маттер, Франц Фюман, Криста Вольф. *(Составление, перевод с немецкого и вступление М. Харитонова)* 225

Очерки

ВАСИЛЕ НИКОРОВИЧ — Ворота вечности, или Чувство совершенства *(Отрывки из книги. Перевод с румынского М. Фридмана)* 237

Изобразительное искусство за рубежом

В. ШАЛАБАЕВА — Илия Бешков — художник-борец 255

Наши гости

Л. З. — Ответственность писателя (Люси Фор — в «Иностранной литературе») 258

К. СТАРОСЕЛЬСКАЯ — Стихи и проза... (Вислава Шимборская и Корнель Филипович — в «Иностранной литературе») 260

Среди книг

Издано в СССР

Н. Никулин — Движение к революции. М. Игнатов — О муках и радости творчества 263

Издано за рубежом

Н. Стрижевская — «Долгой, долгой была дорога...» Г. Брейтбурд — Побег из нереальности. Ю. Фридштейн — Две пьесы Тома Стоппарда 267

Из месяца в месяц 273

Авторы этого номера 287

На цветной вкладке: работы болгарского художника ИЛИИ БЕШКОВА.

На обложке: плакат польского художника ГУСТАВА МАЕВСКОГО *«Идеи Октября революционизируют мир».*

© «Иностранная литература», 1973 г.

ЭРИКО ВЕРИССИМО

Происшествие в Антаресе

РОМАН

Перевод с португальского Ю. КАЛУГИНА

«— Вы уже читали Жоржи Амаду?

— Не заслуживает внимания. Он же — с оборванцами. И коммунист.

— А нашего Эрико Вериссимо?

— Нашего? Быть может, он — ваш, но отнюдь не мой. Читала как-то я один его роман, в котором рассказывается насчет Рио-Гранде давних времен. Мой покойный супруг, Зосимо, обычно говаривал: по этой книге уже видно, что автор понятия не имеет о сельской жизни, что он — «городское насекомое»... Годы назад Вериссимо наведался сюда и выступил с лекцией в театре, по приглашению студентов. Там я тоже была — Зосимо настоял. Однако Вериссимо не понравился мне, хотя, конечно, мог быть хуже. А если кто взглянет на его серьезную физиономию, то и вообразить не сможет, какими только гадостями, каким вздором этот человек заполняет свои книги.

— Сеньора хочет сказать, что он — тоже коммунист?

Дона Китерия на мгновение задумалась.

— Видите ли, профессор Либиндо обычно утверждает, что в области политики Эрико Вериссимо — п о л е з н ы й п р о с т а к...»

Персонажи романа ведут разговор об авторе романа — случай сам по себе примечательный.

Более примечателен безапелляционно критический тон высказываний доны Китерии по адресу автора романа.

Еще более примечательно то, на чье мнение ссылается дона Китерия Камполарго, одна из богатейших и реакционнейших фигур вымышленного городка Антареса в невымышленном южнобразильском штате Рио-Гранде-до-Сул, где развертывается действие романа. Ведь именно профессору Либиндо Оливаресу, по неоспоримой аттестации автора романа, присущи — среди иных его пороков — ложь и лицемерие.

Зачем же автору — нет, не доне Китерии Камполарго, а писателю Эрико Вериссимо — понадобилась такая ссылка на архиученого мужа с подмоченной репутацией? Зачем введен вообще такого рода диалог в одну из глав первой части романа? Обнаружить более или менее прямой ответ на эти вопросы в тексте произведения не удается. У читателя новой книги выдающегося бразильского прозаика, вероятно, могут возникнуть еще какие-то вопросы, настолько это произведение своеобразно.

В самом деле, «Происшествие в Антаресе» стоит несколько обособленно даже от предыдущих романов публицистического характера Эрико Вериссимо — «Господин посол» и «Пленник»,— широко известных у нас, уже не говоря о том, что эта книга как бы выходит из ряда остальных произведений «певца юга Бразилии», а насчитывается их более двух десятков, и для каждого из них писатель подыскивал особые краски. Правда, сам Эрико Вериссимо считает «Происшествие в Антаресе» неким устьем, в которое выливаются реки и речушки его прежних литературных увлечений и тенденций, но вместе с тем он признает: «На этот раз я вскрыл сатирическую жилку и позволил крови течь свободно и обильно».

Бразильская литературная критика, признавая большой читательский успех романа «Происшествие в Антаресе», за короткий срок выдержавшего много переизданий, занявшего первое место среди бестселлеров национальной литературы, воздерживалась от политических оценок этого произведения маститого писателя,

академика, романы которого, как сообщает ежемесячник «Жорнал де летрас», «читает вся Бразилия». Выход романа в свет сопровождался весьма осторожными суждениями: «наиболее спорный во всем творчестве автора», «самый странный из всех романов Эрико Вериссимо», «выходящий из рамок обычной литературы, приобретающий категорию антропологического текста, особенно когда касается столь деликатного дела, как политика»... Очевидно, нет нужды доискиваться до корней подобной осмотрительности рецензентов. Что-то подсказывает читающему само произведение, которое, по словам издателей, «написано без страха и без пассивной созерцательности», которое «напоминает и здраво предупреждает».

В бразильском издании книги Эрико Вериссимо предуведомляет читателей: «В этом романе воображаемые персонажи и населенные пункты появляются скрытыми под фиктивными именами и названиями, тогда как лица и места, которые в действительности существовали или существуют, обозначены их подлинными именами и названиями».

Названный по имени далекой и гигантской звезды из созвездия Скорпиона, что показывается в небе Южного полушария в апреле, городок Антарес нереален и в то же время реален: ни на какой карте Бразилии его не найти, зато все соседствующие с ним географические ориентиры — города, селения, реки, горы — указаны в романе едва ли не со скрупулезной точностью. Срисованный с натуры типичный южнобразильский городок.

Наряду с персонажами, являющимися собирательными художественными образами, на страницах романа мы встречаем деятелей вчерашней и сегодняшней истории Бразилии — и созданных им героев автор без труда сталкивает, скажем, с Жетулио Варгасом или с Жанио Куадросом, правившими бразильским государством в не столь уж давние годы; через призму его персонажей мы видим и Жоана Гуларта, свергнутого с президентского поста в результате государственного переворота в апреле 1964 года, и тех, кто после этого переворота пришел к власти.

Равным образом автор как бы совмещает фантастические — точнее, фантасмагорические — события в Антаресе с событиями, действительно происшедшими в Бразилии, а именно — с упоминавшимся выше государственным переворотом, когда был установлен существующий поныне в этой стране режим.

Первая часть романа «Происшествие в Антаресе» (не включенная, по договоренности с Эрико Вериссимо, ввиду ограниченности места в ныне публикуемый журнальный вариант этого большого эпического произведения) посвящена истории Антареса — на фоне истории штата Рио-Гранде-до-Сул и Бразилии,— а также летописи некогда ожесточенного соперничества и позднее трогательного сближения двух пока что господствующих в городке и его округе олигархических кланов — Камполарго и Вакариано, с последними представителями которых мы знакомимся в данной публикации. Как раз печатаемая в нашем журнале вторая часть романа, по мысли автора,— главная, самостоятельная, «живущая независимой жизнью»; и даже название ее совпадает с названием всего романа. Первая же часть, охватывающая почти полуторавековое прошлое Антареса и страны, играет всего лишь второстепенную роль — и автор не однажды оговаривается: написана она «в духе школьных учебников», «целью этого повествования является выткать полотно, на котором в подходящее время изобразить жуткие события пятницы 13 декабря 1963 года».

Бесспорно, во второй части романа, действие которого происходит по сути в течение каких-то дней, внимание автора сосредоточено на том, чтобы показать канун государственного переворота в стране (обстановка, настроения и т. д.); в заключительной главе — логика событий! — автор рисует, пусть скупо, но красноречиво, картины жизни Антареса спустя семь лет после переворота — в 1970 году.

Когда писатель затрагивает фактические события в жизни своей страны, ему, очевидно, нельзя отказать в соблюдении известной достоверности их воспроизведения, разумеется не забывая, что роман — не историческое исследование. Однако следует иметь в виду, что писатель, за спиной которого лежит сорокалетний, весьма сложный и противоречивый творческий путь, человек, еще не освободившийся от буржуазно-либеральных иллюзий, смотрит на окружающее своими глазами. Будучи большим и честным художником, он стремится анализировать более объективно. По его последним романам — «Пленник», «Господин посол» и, наконец, «Происшествие в Антаресе» — можно судить, что писатель считает своим долгом сказать слово правды. И чтобы сказать слово правды в «Происшествии в Антаресе», у автора не оказалось в распоряжении иных средств, как прибегнуть к условному художественному приему: вмешательству «сверхъестественного». В начале романа, между прочим, сообщалось, что в течение первого года после переворота в Бразилии «378 лиц было лишено политических прав, 10 000 служащих было уволено, 40 000 человек подвергнуто полицейским преследованиям,— лишь появившиеся «сверхъестественно» могут оставаться в безопасности: полицейские пули им не страшны!

Эрико Вериссимо использовал не новый прием в литературе. Нечто подобное уже встречалось в фольклоре, в произведениях ряда русских и западных классиков. Реальное сливается с ирреальным. Явления политической и социальной действительности переходят в фантастическую несообразность, в фантасмагорию, в гротескный мир.

Писатель дает волю своей неудержимой фантазии. Причудливо сочетая, казалось бы, несочетаемое, он сумел создать впечатляющую картину быта и нравов, социально-политической системы, и гротеск им используется как средство, как оружие критики. Нельзя не заметить, что, видимо, увлеченный полетом воображения, он подчас допускает шаржирование и там, где оно неоправданно, деформирует отдельные образы (например, руководителя местного профсоюза — члена реформистской «трабальистской» партии), иногда нарушая нужные пропорции. Но основное не в этом. Перед нами — острое сатирическое произведение. И произведение, написанное, похоже, в таких условиях, когда автору даже в романе-гротеске пришлось пустить в ход иносказания, недомолвки, взять в руки щит «полезного простака».

«Никогда еще Эрико Вериссимо не был столь политическим... Политические, экономические и социальные проблемы затронуты в этом романе с такой искренностью и с такой объективностью, каких автор еще не достигал в своих предыдущих произведениях...» — подчеркивалось издательством, выпустившим в свет «Происшествие в Антаресе».

И, словно откликаясь, Эрико Вериссимо в интервью для газеты «Жорнал до Бразил» заявил: «Я не знаю, является ли «Происшествие в Антаресе» моим лучшим произведением. Я только думаю, что писателю нельзя касаться какой-либо современной проблемы, опуская ее политический и социальный аспекты... Мы не можем сказать: этого я не хочу видеть. Как, вы не хотите видеть? Из-за того, что нет решения? Так покажите, что оно есть. Впрочем, и я, пожалуй, еще не нашел его...»

Знаменательные слова в устах писателя, прежде предпочитавшего держаться «вне политики». Писателя, как видно, ныне ищущего решение жизненно важных проблем, стоящих перед страной, перед народом, перед человеком. Небезынтересно, что в процитированном интервью он поделился своим замыслом написать роман о другом «происшествии» — на этот раз в Греции, где несколько лет назад писатель оказался в гуще столкновения демонстрантов-антифашистов с полицией.

Однако вернемся в Антарес. Повествуя об этом городе, не замыслил ли писатель показать его в своей сатирической рентгенограмме как нечто «изолированное», не выходящее за городскую черту? Нам, понятно, нелегко это установить.

Но еще три столетия назад зачинатель сатирической литературы в Бразилии Грегорио де Матос Герра писал:

O todo sem a parte não é todo.
A parte sem o todo não é parte.
Mas se a parte faz todo sendo parte,
Não se diga que é parte sendo todo...

(Целое без части — не целое. Часть без целого — не часть. Но если часть стала целым, оставаясь частью, нельзя сказать, что это часть, ведь это — целое...)

А роман Эрико Вериссимо кончается символически: в Антаресе лужа крови у стены, на которой студент начертал слово «Свобода» и около которой был убит полицией, приобретает контуры Бразилии.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

I

Вскоре после полуночи в ту среду, 11 декабря 1963 года, Тиберио Вакариано вошел в междугороднюю телефонную станцию Антареса, чтобы попытаться дозвониться непосредственно до правительственного дворца в Порто-Алегре [1].

— Повреждение на линии, полковник,— сообщила ему телефонистка.

— Подожду. Не уйду отсюда, пока не поговорю с губернатором.

Он послал домой за всем, что нужно для приготовления мате [2], расположился в лучшем из кресел служебного кабинета, заварил мате и бесконечные часы ждал здесь, потягивая его, покуривая, бормоча что-то про себя, время от времени подстегивая девушку: «Попробуйте-ка еще... Ну что, будет наконец связь или нет?.. Да не спите же!..»

Часы тянулись. Телефонистка дремала. Через определенные про-

[1] Столица штата Рио-Гранде-до-Сул. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

[2] Популярный на юге Бразилии напиток из высушенных листьев дерева эрва-мате.

межутки времени полковник направлялся во двор по своим надобностям, оставляя на задней стене дома мимолетную роспись. В три утра он послал домой за крепким черным кофе, чтобы не заснуть самому.

Уже наступало утро, когда телефонистка внезапно очнулась.

— Порто-Алегре отзывается! — воскликнула она.— Алло! Говорит Антарес. У меня срочный вызов! Дайте правительственный дворец. Алло? Я знаю, что сейчас пять утра, но все же, ради бога, попытайтесь соединиться!

Клевавший носом Тиберио Вакариано сорвался с места. Телефонистка перевела на него мутный взгляд из-под опухших век.

— Дворец отвечает,— сказала она сонным голосом.— Пройдите, полковник, к тому телефону...

Тиберио нетерпеливо схватил указанную ему телефонную трубку, поднес к уху и закричал:

— Алло! Правительственный дворец? А? Ничего не слышу... Алло? Это полковник Тиберио Вакариано. Мне крайне срочно надо переговорить с губернатором... Что? Так я знаю, что он спит. Но вы его разбудите. Вопрос жизни или смерти. Что? Говорите громче. Я уже сказал, докладывает полковник Вакариано, политический начальник Антареса... Я беру на себя ответственность за все. Давайте поскорее!

Он прождал нетерпеливо несколько минут, посасывая потухшую сигарету, порой переводил взгляд на ноги телефонистки — ее теперь совсем одолел сон, тут же за столом положила она голову на руки,— взгляд столь же безжизненный, как и погасшая сигарета. До него доносился неясный гул, прерываемый каким-то жужжанием и свистом. Наконец послышался голос:

— Губернатор слушает. Кто говорит?

— Полковник Тиберио Вакариано. Из Антареса. Простите, губернатор. Вас я поднял с постели в такой ранний час, но положение чрезвычайно серьезно.

— Что случилось, полковник?

— Сегодня в полдень в Антаресе будет объявлена всеобщая забастовка: промышленность, торговля, транспорт, электростанция, коммунальное обслуживание... все! Жизнь в городе будет полностью парализована!

— Я что-то читал по этому поводу в «Коррейо до пово».

Вакариано далеко сплюнул окурок, улетевший вместе с брызгами слюны. С каким наслаждением он бы плюнул в лицо этому губернатору, который и всегда-то был флегматичным, а сейчас, видимо, к тому же совершенно обалдел со сна.

— Но, сеньор, мы перед лицом страшного бедствия! Вы представляете себе парализованный город — без света, без воды, без транспорта? *Всеобщая* забастовка!

— Да, черт возьми... Неприятная история.

— Нужно безотлагательно принимать меры.

— Какие? Наша конституция, как вы знаете, признает право трудящихся на забастовку.

— Но это уже не забастовка, это начинается революция... политический заговор левых... они хотят насильственно захватить власть.

Наступила пауза, будто связь неожиданно прервалась. Однако немного погодя Вакариано вновь услышал внушительный голос, после сна казавшийся более басистым:

— Мое правительство ничего не может поделать в рамках законности.

— Тогда прошу принять меры вне рамок законности.

— Алло? Говорите громче, полковник.

— К черту законность! — прорычал Тиберио.— Прошу отправить в Антарес войска и заставить этих негодяев вернуться на работу. Повышение зарплаты, чего они требуют,— абсурд. Забастовка затеяна рабочими местных промышленных предприятий. Прочие же присоединились просто из чувства солидарности. Это им вбили в голову заправилы из трабальистской партии [1] и коммунисты.

— Полковник, вы забываете, что у нас демократия.

— Какая там демократия, губернатор! У нас в Бразилии дерьмократия.

— Алло! Что-то очень плохо слышно.

— Я говорю: у нас дерь-мо-кра-ти-я, понятно?

Опять пауза. Телефонистка похрапывала.

— Вы очень возбуждены, полковник,— снова послышался голос. — Федеральное правительство — трабальистское. Мы в меньшинстве.

— Какое там меньшинство! Просто мы — импотенты.

— Спокойствие, друг мой. Дело может разрешиться с часа на час в рамках закона. Я обещаю вам поговорить сегодня же с министром труда и...

— Положение требует действий, а не разговоров! Хотите, я вам скажу откровенно? Настал час выступить национальной армии, взять власть от имени народа, во имя общего спокойствия, во имя справедливости. Бразилия — будто поезд без тормозов, на полной скорости мчится в пропасть. И самое худшее, что машинист и кочегар — сумасшедшие, безумцы!

Вновь наступила тишина, затем послышалось далекое покашливание. Наконец голос губернатора прозвучал яснее:

— Есть такие дела, полковник, о которых не пристало говорить по телефону. Будьте здоровы!

Тиберио бросил трубку с такой яростью, что разбудил телефонистку, которая, испуганно заморгав, даже подскочила на месте.

— Вам удалось поговорить, полковник?

Тиберио не ответил. Засовывая в парусиновую сумку принадлежности для приготовления мате, он ворчал: «Ручаюсь, губернатор сейчас вернется в постель, продрыхнет до восьми. А проснувшись и выпив кофе, решит, что звонок по телефону ему приснился. Тем временем коммунисты, бризолисты и прихлебатели Жанго Гуларта [2] готовятся захватить в нашем городе власть. Это конец!»

Он чуть не бегом выскочил из здания, даже не поблагодарив телефонистку.

II

В полдень всеобщая забастовка действительно началась. Рабочие Панамериканского холодильника, Франко-бразильской шерстяной компании и компании по производству растительных масел «Сол до пампа», уйдя, как обычно, на обеденный перерыв, уже не вернулись на работу. То же произошло с работниками муниципальной электростанции, которые отключили в городе все линии, кроме снабжавших электроэнергией больницы. Банковские служащие, работники отелей, кафе, баров и ресторанов и даже коммивояжеры торговых фирм отка-

[1] Буржуазная либерально-реформистская партия.

[2] Бризолисты — сторонники видного политического деятеля левого направления Леонела Бризолы. Жоан (фамильярно — Жанго) Гуларт был президентом Бразилии с 1961 года, свергнут в результате государственного переворота 1 апреля 1964 года.

зались выйти на работу в знак солидарности с промышленными рабочими, хотя и не выставили при этом требований о повышении зарплаты. Шоферы частных автомобилей побросали машины на улицах, как только услышали первые удары соборного колокола, отбивавшие полдень.

Вот уже три дня, как домашние хозяйки осаждали супермаркеты, базары, булочные, мясные и бакалейные лавки, чтобы запастись продуктами питания, которые из-за всеобщей забастовки неизбежно должны были подорожать. Антарес походил на город, готовящийся к жестокой вражеской осаде.

В два часа дня на центральных улицах и на площади Республики царило необычное для этого часа оживление. Единственной темой разговоров была всеобщая забастовка. Кумушки, сидевшие у окон своих домов, переговаривались через улицу, делясь впечатлениями. На углах улиц, вдоль тротуаров и на дорожках сквера собирались группы людей. Все скамейки в сквере были заняты. На лицах стариков и старух, сидевших у своих окон, был заметен страх, сохранившийся еще со времени прежних революций, память о незабываемых казнях, когда рубили головы. Никто, казалось, не ощущал послеобеденной духоты. Люди стояли под палящим солнцем, рассуждая и жестикулируя. Некий муниципальный советник — из социал-демократической партии — подрался со своим коллегой из партии трабальистов. Редко в каком окне дома не было одного или двух человек, наблюдавших за улицей и обменивавшихся впечатлениями с прохожими.

Муниципальные полицейские парами расхаживали из стороны в сторону, стараясь не допускать вспыхивающих там и тут ссор и тщетно пытаясь воспрепятствовать сборищам, которые угрожали перерасти в политические митинги. Около собора какой-то человек с револьвером у пояса кричал, размахивая руками: «Если бы у властей была хоть капля стыда и мужества, они бы в два счета покончили с этой дурацкой забастовкой, разогнав смутьянов плетьми или пулями!» Собор мало-помалу заполнялся верующими — это были почти одни женщины,—которые пришли помолиться и принести обеты своим святым. Одна поклонница святой Риты Кассианской обещала поститься трое суток, если всеобщая забастовка потерпит крах.

Казалось, близился конец света.

III

В четыре часа дня в редакции «Вердаде» Лукас Фаиа сочинял передовую для следующего номера газеты, на первой полосе которого должен был выделяться крупный, набранный жирным шрифтом заголовок — **«Всеобщая забастовка в Антаресе»**.

Главный редактор, покусывая авторучку, непрерывно потирал сияющую лысину. Что говорить о забастовке? В каких выражениях комментировать ее? Первым его поползновением было наброситься на забастовщиков за то, что они сделали с городом, причинив такое беспокойство его жителям. Он знал, что промышленники Антареса стали бы аплодировать такой передовой... Но мысль о том, что рабочие могут разгромить редакцию газеты, заставляла его колебаться. Лукас обливался потом, время от времени вытирал грязным платком свое смуглое, как у всякого кабокло [1], лицо... А что... а что, если военные совершат государственный переворот и свергнут правительство Гу-

[1] Метис от брака белого с индеанкой.

ларта... в какое положение он попадет из-за того, что в свое время не выступил *против* этой забастовки? Чертова профессия!

Прошло уже несколько минут, как он сидел здесь, за своим столом, без пиджака, глядя на бездействующий вентилятор и сжимая авторучку длинными пальцами с обгрызенными ногтями. Все, что он сумел до сих пор написать, был заголовок передовой — *Всеобщая забастовка!* (Можно было прибегнуть к аллитерации — *Великая Всеобщая Всех.)* Он удовольствовался тем, что заштриховал буквы заголовка, придав им обманчивое третье измерение, будто эти арабески могли помочь ему найти выход из затруднительного положения. Возможно, умнее всего было бы сочинить объективную передовую — равно отстоящую в идеологическом плане как от рабочих, так и от хозяев, безобидную статью ни «за», ни «против» забастовки.

Пронзительный голос прервал смутное течение его мыслей:

— Сеньор Лукас, как моя колонка— появится или нет в завтрашнем номере?

— Тебе виднее, сынок.

Репортер светской хроники, Скорпио, приглаживая длинную шевелюру и время от времени поправляя на себе красную рубашку, пояснил:

— Дело в том, что в связи с этой забастовкой никто, пожалуй, не проявит большого интереса к фокусам нашего society[1]. И к тому же, как мы напечатаем газету без электроэнергии?

— Это тебе виднее...— равнодушно повторил главный редактор, глядя на него.

Тот между тем порывисто поднялся и подошел к столу шефа, чуть ли не пританцовывая.

— А! Вспомнил, могу вам кое-что рассказать...

— Потом...

— Нет, сеньор Лукас, послушайте, это стоит того.

— Ну, ладно, рассказывай, только поскорей.

— Вчера вечером я встретил в супермаркете одну из наших дам высшего света. Она хватала все подряд, всполошившись из-за угрозы забастовки. Выглядела весьма испуганной, на ней не было никаких драгоценностей, она была даже не подкрашена, неряшливо одета, походила чуть ли не на кухарку... В прошлом году я включил ее в число «десяти самых-самых» Антареса. Завидев меня, она едва не бросилась мне на шею и не стала целовать. Отвела в сторону и рассказала, что отменила поездку в Буэнос-Айрес в мае... и решила не устраивать первого бала для дочери, которой в январе исполняется пятнадцать лет... И что она примкнет к группе дам Коммерческого банка, которые вяжут кофточки и шерстяные чулки для бедных детишек рабочего поселка Бабилония... а! и что заставит мужа продать один из автомобилей... И знаете, чем вызвана вся эта трансформация?

Лукас Фаиа, который все еще думал о передовице, покачал отрицательно головой.

— Она страшно напугана этим бризолистским, жангистским, националистическим и, кто его знает, каким еще движением. Дошла до того, что сказала мне: «Если будет аграрная реформа и богатым придется потерять свои владения, это, конечно, ужасно... но что поделаешь?!» И со слезами сказала, что лучше «пусть пропадут кольца, лишь бы остались целы пальцы...»

В этот момент из глубины редакционного помещения послышал-

---

[1] В данном случае — светское общество *(англ.).*

ся апокалипсический голос «правой руки» главного редактора, Феррейриньи, у которого было обострение астмы:

— И пальцев, чудак, не останется!

Расстроенный Лукас Фаиа смял бумагу, лежавшую на столе, и со злостью кинул ее в корзину у своих ног.

IV

Префект, майор Вивалдино Бразан, созвал специальное заседание муниципальной палаты, на две трети состоявшей из трабальистов. Оно было посвящено всеобщей забастовке. Произошла перебранка, все говорили одновременно, наносили друг другу оскорбления, произносили демагогические тирады и — как и следовало ожидать — все это не дало никакого практического результата. Председатель закрыл заседание.

В пять часов того же дня префект принял в своем кабинете в здании префектуры делегацию рабочих во главе с Жемениано Рамосом. Эта делегация должна была встретиться здесь с управляющими трех компаний, предприятия которых были полностью охвачены забастовкой. Они все трое сидели на одном диване. Мистер Джефферсон Монроэ III, вытянув длинные ноги, покуривал американские сигареты «L & M». Префект время от времени бросал зачарованный взгляд на циклопические туфли американца, известные в городе как «американский флот в верховьях реки Уругвай». Рядом с директором мясохолодильника восседал мосье Жан-Франсуа Дюплесси из Франко-бразильской компании, который, по мнению майора Вивалдино, держался «несколько иронично», будто не принимал это заседание всерьез. С расстегнутым воротничком, распущенным узлом галстука, сползшими на запыленные туфли носками, француз со скучающим видом покуривал сигарету «голуаз», размякшую во рту и почти разлезшуюся, и время от времени громко зевал. Слева от него, строго одетый, в тщательно отутюженном и вычищенном костюме, мистер Чанг Линг выглядел воспитанным учеником, сидящим за школьной партой. Его темные раскосые глаза были устремлены на преподавателя, то есть на префекта. Он не мог, однако, скрыть своего беспокойства, видя, как француз то и дело размахивает сигаретой, рассыпая вокруг себя пепел.

— Господа,— сказал Вивалдино Бразан, когда увидел греков и троянцев сидящими молча друг против друга,— положение исключительно серьезно. Наш город не может перенести без ущерба, возможно непоправимого, последствий длительной всеобщей забастовки...

Он замолчал, пристально вглядываясь в лица присутствующих. Розовая, молодая, чисто выбритая физиономия американца, волосы crew cut [1], глаза удивительно чистой и прозрачной голубизны. Недовольное, веснушчатое лицо француза. Физиономия китайца, напоминающая азиатскую маску с завораживающей улыбкой древней статуэтки. Взоры троих были устремлены на него. В лица рабочих, достаточно хорошо известные в Антаресе, Вивалдино особенно не всматривался...

— Итак,— продолжал он,— я обращаюсь с призывом к присутствующим здесь господам — представителям предприятий и делегатам забастовщиков — как можно скорее прийти к соглашению, чтобы

[1] Короткая стрижка *(англ.)*.

женщинам, детям и старикам не пришлось страдать от бедствий забастовки. Я уж не говорю о разрушительных последствиях, которые эта стачка причинит экономике нашего муниципалитета.

Снова тишина. Шесть пар глаз устремлены на префекта. У француза начался приступ кашля завзятого курильщика. Американец инстинктивно сжался и отвернулся, чтобы избежать франко-бразильских микробов. Китаец ограничился тем, что разгладил складки на брюках. Жемениано встал. Он был всего на пять сантиметров ниже американца, но более коренастый. Его крупная голова с пышной волнистой шевелюрой придавала ему сходство с богатыми амстердамскими торговцами XVII века, портреты которых писали такие художники, как Франс Гальс: полное, розовое лицо, чуть отекшие глаза, усталый взгляд, пухлые, чувственные губы. Префект не терпел этого дерзкого и властного лидера рабочих, который, несмотря на свою проповедь демократии и социального равенства, имел вид человека, привыкшего распоряжаться.

— Как вам всем известно,— произнес Жемениано зычным голосом, какой, казалось, и должен был исходить из его фламандского рта,— забастовка организована рабочими мясохолодильника, принадлежащего этому мистеру (он кивнул головой в сторону американца), рабочими Франко-бразильской компании и персоналом Компании растительных масел «сеньора» Чанга. Все остальные присоединились к забастовщикам в знак классовой солидарности. Так вот — чтобы не затягивать слишком разговор,— господа, сидящие на этом диване, получили несколько недель назад документ, содержащий совершенно ясные требования относительно нашей заработной платы. Ее повышение, нам кажется, было бы более чем справедливо, если еще учитывать бешено возрастающую инфляцию. В ответ мы получили категорический отказ. Несколько дней спустя эти господа выразили желание вступить в переговоры. Мы пошли на это, и нам было сделано смехотворное контрпредложение. В результате мы и объявили забастовку и вернемся на работу только после того, как наши требования будут удовлетворены. Мы уже получили телеграммы с выражением полной солидарности от трабальистского руководства и от Национального студенческого союза.

Префект глубоко вздохнул, подумав о своей единственной привязанности — о своих орхидеях, в обществе которых ему, видимо, не придется провести этот уик-энд, если проклятая забастовка затянется.

Джефферсон Монроэ III передвинул ноги, и два черных крейсера, казалось, заняли боевую позицию.

— Я... ааа...— начал он заикаться, подыскивая желаемое слово,— ааа...

Француз, которому не удавалось скрыть свое нетерпение, резким движением внезапно вынул изо рта сигарету, осыпав пеплом левый лацкан пиджака мистера Чанга Линга, который терпеливо очистил его своими тонкими пальцами мандарина.

— Вам хорошо известно,— сказал мосье Дюплесси,— что, за исключением мистера Чанга, который является единоличным владельцем предприятия, мы — мистер Монроэ и я — являемся лишь управляющими филиалов.

Джефферсон Монроэ III, похоже, овладел своим голосом:

— Когда мы получили вашу памятную записку, мы немедленно проконсультировались с нашей главной конторой в Сан-Пауло и получили по этому поводу отрицательный ответ. Рабочие требуют слишком большого повышения зарплаты.

— Вот именно,— поддержал француз, приглаживая свои уже по-

редевшие волосы какого-то странного, морковного цвета.— Вы ознакомились с ответом нашего руководства. Сами мы ничего сделать не можем.

Китаец спрятался под маской молчания. Все еще стоя, Жемениано сначала взглянул на своих товарищей, а затем, повернувшись к префекту, сказал:

— Майор, решение нами принято, и мы не отступим. Забастовка будет продолжаться, пока мы не получим повышения заработной платы и других льгот, указанных в нашей памятке.

В голове префекта порхнула яркой бабочкой мысль: говорят, даже в Сибири есть разновидность орхидеи, именуемой calipso bulbosa. Он взглянул на Жемениано:

— Вы припоминаете, я рекомендовал попробовать вначале коллективное обсуждение? Это было бы практичнее и правильнее.

— А вы, майор, вспомните, что мы отказались от этого. Хватит с нас полумер.

В какой же части света находится та пурпурная орхидея, цветное изображение которой он видел в энциклопедии? Sophronites grandeflora. Орхидеи не говорят и не устраивают забастовок. Вивалдино пристально смотрел в лицо Жемениано. Нет сомнения, у этого рабочего талант руководителя: он умен, упорен и дерзок. Префект почему-то припомнил, что в давние годы Жемениано носил длинные усы, которые позднее сбрил.

— Господа,— сказал он, стараясь придать своему голосу солидный, отеческий тон,— от имени двадцати пяти тысяч душ, проживающих в Антаресе, я обращаюсь к присутствующим здесь представителям предпринимателей и лидерам рабочих с призывом прийти к соглашению в возможно кратчайший срок.— Он обратился к сидящим на диване: — Господа, будьте любезны срочно проконсультироваться еще раз с вашими главными конторами, поставив их в известность о бедственном положении нашего населения. А рабочих (Вивалдино взглянул на полное лицо Жемениано) прошу проявить добрую волю и проникнуться духом взаимопонимания, чтобы нам выбраться из тупика... Что касается меня, я обещаю сегодня же связаться с губернатором штата и, если удастся, с министром труда.

— Каким образом? — с издевкой воскликнул Жемениано.— Радиостанция не работает, нет электроэнергии...

— Не беспокойтесь,— ответил префект, побагровев от злости.— Это уж моя забота!

Он поднялся, нервно одернув полы пиджака, давая понять, что заседание окончено. Когда все начали вставать, Вивалдино Бразан удовлетворил еще раз свой ораторский зуд:

— Я хочу, чтобы все знали, что муниципальные власти готовы со всей решимостью пресечь любую попытку нарушения порядка, любой акт насилия, откуда бы они ни исходили. В моем распоряжении достаточно сил, чтобы заставить чтить закон, но для меня был бы самым печальным днем в моей жизни тот, когда мне пришлось бы отдать приказ открыть огонь по моим согражданам. Я думаю, что мы поняли друг друга.

— Господин майор,— сказал Джефферсон Монроэ III.— Мы в настоящем quandary[1]. (Не знаю, есть ли это слово в португальском языке?) Well [2]. Мои шефы не могут удовлетворить чрезмерные требования наших рабочих. Думаю, что забастовка будет продолжитель-

---

[1] Тупик, затруднительное положение *(англ.)*.

[2] Хорошо *(англ.)*.

ной, очень сожалею, что должен это сказать. Но я обещаю сделать все от меня зависящее...

— Пожалуйста, мистер, прошу вас.

Пожимая руку префекту, француз проворчал:

— Поскольку ваш президент — трабальистский лидер, — мосье Дюплесси издал типично французское «пф!» — я не верю, что перевес будет на нашей стороне.

— Но сделайте, что возможно.

Майор Бразан задержал на мгновение китайца у двери кабинета, чтобы спросить его с нежной ноткой в голосе:

— Скажите, мистер Чанг, а в Китае много разновидностей орхидей?

V

Около четырех часов дня, проснувшись после длительной сиесты, тяжелой и муторной, Тиберио Вакариано увидел у постели дону Бриоланжу — она была вся в слезах.

— Что случилось, жена?

Дона Ланжа, с воспаленными глазами и опухшим лицом, пробормотала:

— У Киты был сердечный приступ. Она в очень плохом состоянии. Одна из девочек только что позвонила мне и рассказала, что мать почувствовала боль в груди сразу же после того, как услышала известие о забастовке...

Тиберио уселся в постели, зевнул и начал с мрачным видом обуваться.

— Первая жертва...— прошептал он.— И наверняка не последняя. Сволочи!

— Положение настолько серьезно, что доктор Фалькенбург решил вызвать доктора Лазаро для консилиума.

— Тогда дело действительно плохо. Надо идти туда немедленно. Эти зятья Киты — безынициативные болваны, а их жены — идиотки.

Он кончил одеваться, всунул револьвер в кобуру, надвинул на глаза поля шляпы — плохой признак! — взял жену под руку и сказал: «Пошли!»

Народа на площади было гораздо больше, чем обычно в воскресное утро после одиннадцатичасовой мессы. Тиберио шагал, твердо глядя прямо перед собой, едва отвечая на приветствия, которые слышались со всех сторон. Во рту у него была горечь от тяжелой сиесты, на сердце — печаль, вызванная болезнью старого друга. Он был полон ненависти, настолько сильной, что ее хватило бы на расправу со всеми и всяческими левыми, каких только можно себе представить. Иногда он цедил сквозь зубы: «Сукины дети».

Супруги Вакариано были уже почти у эстрады на площади, когда перед ними появился доктор Лазаро.

— Ну что, доктор? — спросил Тиберио.— Как Кита?

Врач грустно склонил голову.

— С большим сожалением должен сообщить вам печальнейшее известие. Дона Китерия только что скончалась. Мы с доктором Фалькенбургом сделали все, что было возможно. Инфаркт миокарда.

Ухватившись за руку мужа, дона Ланжа разразилась конвульсивными рыданиями.

— Никаких спектаклей! — оборвал муж.— Если бы ты умерла, ручаюсь, Кита сумела бы вести себя как дама. По крайней мере на людях...

— Знаете, какая странная вещь, полковник? — сказал доктор Лазаро.— Дона Китерия — шестой человек, умерший сегодня в городе.

— Что вы говорите?! Кто же остальные?

Врач кивнул в сторону особнячка, облицованного голубыми изразцами.

— Профессор Менандро покончил с собой сегодня утром.

— Повесился?

— Нет. Вскрыл себе вены.

— Любопытно, мне всегда казалось, что у него лицо человека, который должен повеситься... Но почему мне это было до сих пор не известно?

— Тело найдено всего полчаса назад...

— А кто еще?

— Барселона — один из них...

— Этот отошел в добрый час. Бог всемогущ. Кто остальные?

— Остальные — мелкие людишки, за исключением Жоанзиньо Паса, который умер в больнице. Я засвидетельствовал его смерть.

Дона Ланжа посмотрела на собор и прошептала:

— Господи, что происходит с нашим городом? Шесть покойников за один только день.

Тиберио пожал плечами:

— Мой отец рассказывал мне, что в революцию 93 года [1] за один день погибло пятнадцать человек, вот здесь, на этой площади. А во время эпидемии «испанки» в 1918 году десять антаресцев в один и тот же день протянули ноги...

Доктор Лазаро распростился с четой Вакариано, сказав, что пойдет домой немного отдохнуть, так как всю ночь не сомкнул глаз, оказывая помощь своим многочисленным пациентам.

Супруги продолжали свой путь к резиденции Камполарго, перед которой начали собираться группы любопытных и друзей семейства, погруженного в траур.

— Подними голову,— прошептал Тиберио жене.— Разве ты не католичка? Так вот. Представь себе Киту на небе среди ангелов, счастливее, чем мы на этой земле, да еще при Жанго Гуларте, Леонеле Бризоле и их прислужниках...

Они вошли в виллу, для репортера «Вердаде» ставшую с этого момента «Дворцом смерти». Дона Ланжа сразу направилась в спальню умершей. Она хотела помочь девочкам подготовить свою подругу Киту к Великому Путешествию. Тиберио остался в гостиной, холодно и неохотно выразив соболезнование грубиянам зятьям, которые встречали визитеров с печальными лицами, хотя в глубине души — Тиберио это знал — были наверняка счастливы, ибо со смертью старухи не только освобождались от диктатуры тещи, но и вступали во владение всем имуществом самой богатой ветви генеалогического древа Камполарго.

VI

По мнению старейших жителей Антареса, ночное бдение у гроба доны Китерии собрало больше народа, чем какое-либо другое из числа тех, о которых в городе сохранилась память. Все комнаты второго этажа в первую половину ночи были переполнены. Когда запели

[1] Речь идет о восстании федералистов, вспыхнувшем в штате Рио-Гранде-до-Сул в феврале 1893 года против центрального правительства и закончившемся в августе 1895 года.

петухи, объявляя новый день, пришедших на бдение у гроба стало еще больше, невероятно много. По словам одного из зятьев покойной, дантиста по профессии и статистика-любителя, прислуга особняка подала за ночь восемьсот четыре чашки кофе, сто пятьдесят две чашки чая, триста восемьдесят сандвичей с ветчиной и сыром, триста подносов сладостей и сто пять вазочек мороженого (ананасного и лимонного). С восходом солнца двое пеонов из поместья пришли приготовить шурраско [1] для поминок.

Тиберио и Ланжа были в числе верных друзей, увидевших через распахнутые на восток окна первый свет нового дня, осветивший темно-восковое лицо покойницы в обитом белым шелком гробу.

В течение всей ночи Тиберио подходил к гробу и подолгу глядел на старую подругу. Время от времени он дотрагивался кончиками пальцев до ее холодного лба. Потом выходил подышать свежим воздухом, пройтись по саду. В комнате, где среди ярко горевших свечей стоял гроб, было душно и жарко. Старушки поколения Китерии Камполарго сидели в креслах, поставленных вдоль одной из стен, образуя своего рода бордюр, вздыхавший и шелестевший.

Паломничество в особняк Камполарго началось, как только стемнело. Четыре зятя расхаживали с озабоченным видом из стороны в сторону, принимая соболезнования. Они были несколько напуганы этим скоплением людей — причем некоторые из гостей были не очень близки семье, другие совсем незнакомы — в особняке, полном изысканных вещей, редких и дорогих: статуэток, золотых и серебряных часов, ваз, камей, медалей, пепельниц. Непростительной ошибкой было, что они не спрятали все эти ценности до того, как началось паломничество. И зятья мало-помалу стали засовывать некоторые из этих предметов в карманы и уносить из передних комнат в дальние помещения, где запирали их в сундуки и комоды.

Были, однако, моменты, когда им приходилось прерывать эту работу, ибо едва они высвобождались из одних объятий, как попадали в другие. Зять-ветеринар утешал одного старого друга доны Киты, плакавшего у него на плече, когда увидел, как в комнату покойницы входит дона Филаделфия, известная в городе клептоманка, у которой, как всегда, висела на руке ее знаменитая вышитая сумка — проза всех владельцев магазинов города. Эта сеньора принадлежала к одной родовитой антаресской семье и была замужем за вышедшим на пенсию федеральным сборщиком податей, человеком солидным и спокойным, которому часто приходилось испытывать стыд из-за болезни жены.

Ветеринар отделался от старого плакальщика и отправился предупредить незаметно свояков. «Будьте настороже,— прошептал он.— Только что прибыла дона Филаделфия. Надо приглядывать за ней». Он вспомнил о военной медали, которой старый Бенжамин Камполарго был награжден на войне с Парагваем [2] и которая хранилась в застекленном шкафу, в футляре, отделанном красным бархатом, в окружении камей. Дантист с испугом вспомнил, что шкаф открыт, так как ключ от него необъяснимым образом пропал.

Клептоманка проложила себе дорогу среди массы вспотевших тел, подошла к столику с мраморной доской, приоткрыла сумку и щелкнула по ложке, сделанной из серебряной монеты времен Империи [3]. Затем огляделась по сторонам, чтобы убедиться, не видел ли

---

[1] Мясо, жаренное на вертеле.

[2] Речь идет о захватнической войне, которую вели в 1865—1870 гг. Бразилия, Аргентина и Уругвай против Парагвая.

[3] Бразилия была империей с 1822 по 1889 год.

кто-нибудь ее жест... Другим щелчком она сбросила в сумку маленькую перламутровую пепельницу. В этот момент в дальнем конце комнаты кто-то задел локтем керамическую вазу, та упала и разбилась. Все испуганно вздрогнули. Впервые Камполарго не сделала ни малейшего движения испуга или раздражения, как случалось всегда, когда она слышала в доме звон разбитого стекла. Она продолжала спокойно лежать в своем гробу из дерева пау-марфим с бронзовыми украшениями, который сама себе заказала в лучшем похоронном бюро Антареса вскоре после смерти мужа. У гроба постепенно скапливались венки и цветы...

В полночь дона Филаделфия стянула табакерку из расписного фарфора, которая, как утверждал дантист, была австрийского происхождения и датировалась 1810 годом. Потом встала у гроба, печально созерцая, со слезами на глазах, лицо покойной.

VII

Тиберио Вакариано сидел один за столиком в саду, размышляя о всякой всячине... Ночь была теплой, неподвижный воздух насыщен благоуханием жимолости и жасмина. Тиберио позвал одну из мулаток, служивших в доме, и попросил принести ему чашечку кофе. Глядя на нее, он мысленно ласкал ее острые груди. (Что-то поделывает моя Клео в этот час?) Кофе был подан незамедлительно. Он отпил глоток и сделал гримасу. Разогретый! Закурил сигарету, затянулся и выпустил дым через нос. В саду кроме него были другие люди, громко беседовавшие, некоторые рассказывали веселые истории. Один из них подошел к полковнику, встревоженный его хмурым лицом и молчаливостью. Полковник был раздражен и удручен. Он тяжело переживал смерть друга. С кем он теперь будет спорить? Китерия была единственным человеком во всем Антаресе, который имел мужество говорить правду и противоречить ему. Помимо этого он воспринимал всеобщую забастовку как оскорбление, нанесенное лично ему, его власти, его достоинству. К тому же подозрение, что Клео, его любовница, могла в этот час находиться в постели с другим мужчиной — возможно молодым парнем,— вызывало у него чувство унижения, негодования, смешанного со стыдом.

Около половины двенадцатого ночи майор Вивалдино Бразан вышел в сад Камполарго и подошел к Тиберио. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Он грузно уселся рядом с другом и устремил на него взгляд, в котором чувствовались одновременно испуг и печаль.

— Держу пари, что ты принес мне плохие вести. Выкладывай же.

— Умер Сисеро Бранко.

— Что?! — Вакариано напряг грудь, будто его ударило током, и резким движением руки далеко отбросил чашку с блюдцем, которые разбились о камни.— Не может быть! — воскликнул он.— Меньше двух часов назад я видел Сисеро здесь, около гроба. Он даже говорил со мной. Я хорошо помню его слова: «Антарес потерял выдающуюся даму». Вивалдино, ведь ты шутишь, не правда ли?

Префект обескураженно покачал головой, вытирая в то же время блестевшее от пота лицо.

— Полковник, такими вещами не шутят. Я тебе говорю, что Сисеро Бранко умер. Не прошло и получаса. Тело еще, должно быть, не остыло.

— Но как это случилось, боже ты мой?

— Выйдя отсюда, он отправился прямо домой и посреди площади упал. Жена, шедшая вместе с ним, стала кричать. Подбежали несколько прохожих, усадили Сисеро в автомобиль и отвезли в больницу, но довезли его уже без признаков жизни.

— Сердце?

— Кровоизлияние в мозг. Мгновенная смерть. Это седьмой человек, который умирает сегодня в Антаресе.

Оба собеседника уставились друг на друга в тягостном молчании.

— А он передал тебе письмо? — спросил Вакариано, заранее страшась ответа.

— Он обещал передать сегодня утром...

— Так передал или нет?

— Нет.

— Но почему?

— Потому что ему пришлось неожиданно поехать по делам в Сан-Боржу. Он вернулся вечером и сказал, что передаст нам документ завтра утром.

— Мы оказались в неприятнейшем положении, наши деньги пропали.

— Причем юридически мы ничего не можем сделать, не скомпрометировав себя.

— Я это знаю. Но нам нужно немедленно что-то предпринять. Я попытаюсь переговорить со вдовой. Она должна знать, что из денег, которые муж положил в банки на свое имя, более трети принадлежит нам.

— Ты думаешь, она захочет потерять такую кучу денег?

— Надо же что-то делать. Главное — начать действовать раньше, чем в дело впутается какой-нибудь адвокат. У нас есть этот документ, подписанный Сисеро, где говорится, что он наш компаньон и что эти векселя и т. д. ...ты прекрасно знаешь, в чем дело.

— Мне кажется опасным посвящать во все это вдову.

— Кто боится опасности,— возразил Тиберио шутливо и в то же время жестко,— не имеет права оставаться в живых.

Снова наступило молчание. Светлячки зелеными точками расцвечивали ночной воздух. Тиберио Вакариано начал говорить тихонько, как бы про себя:

— 1963-й... Нечетный год — год несчастливый. Пословица верная.

— Я не верю в эти вещи, полковник, как не верю в явления загробного мира.

— Тем лучше для тебя. А я вот верю в числа. Мой отец умер в 25 году. В 35-м я потерял целый отряд, когда обвалился мост. Мать у меня скончалась в 1921-м. Брат Порфирио в 1923-м. У меня эти колики почек начались в 1939-м. Жанио Куадрос отрекся от президентского поста в 1961-м. И вот теперь все это... Смерть Киты, Сисеро, всеобщая забастовка, безумства Жанго и Бризолы... Вся эта анархия в стране...

VIII

В десять утра следующего дня весь город уже знал, что с рассвета местное кладбище закрыто бастующими, которые, выставив живой барьер — триста пятьдесят или четыреста человек, взявшихся за руки,— не разрешали похороны пяти человек, скончавшихся накануне.

«Но на что же они рассчитывают, решившись на это безобразие?» — возникал вопрос. Ответ мог быть только один: «Оказать давление на хозяев, чтобы добиться удовлетворения своих требований».

Иносенсио Пигарсо, полицейский инспектор Антареса, хотел прорвать цепь бастующих при помощи оружия. Префект, однако, отверг это предложение. Он не только желал избежать кровопролития, но и знал, что муниципалитет не располагает достаточным числом полицейских, чтобы справиться с забастовщиками.

— Так что же тогда делать? — горячился инспектор.— Вступить в переговоры с нарушителями порядка? Не рассчитывайте на меня в этой клоунаде.

— Нет,— ответил Вивалдино Бразан.— Мы будем ждать. Я уверен, что рабочие не посмеют мешать похоронам такой дамы, как дона Китерия Камполарго. Таким образом, можно будет узнать их намерения сегодня во второй половине дня, в час похорон старухи.

В четыре часа гроб Китерии Камполарго был перенесен на руках из ее дома в собор и водружен на постамент перед главным алтарем. На этом коротком пути десятки самых представительных лиц Антареса оспаривали право держать ручки гроба или, по крайней мере, символически дотронуться до них. По выражению доны Бриоланжи Вакариано, собор был настолько переполнен, что не смог бы вместить больше ни одного вздоха. Все места были заняты, и люди стояли, кроме того, в проходах между двумя рядами скамеек, а также в боковых проходах, в нефах и в глубине храма.

Прислонившись к колонне, одетый в темный костюм с крахмальным воротничком и галстуком, репортер светской хроники газеты «Вердаде» отмечал в уме, как одеты наиболее видные представители cafe society [1] Антареса, присутствовавшие на отпевании. Около купели для крещения, у самого входа в церковь, двое лысых господ среднего возраста оценивали шепотом наследство доны Китерии: они были согласны в отношении размеров и качества пастбищ в ее имениях, приблизительного поголовья крупного рогатого скота и лошадей, но выражали сомнение насчет суммы акций, которыми обладала покойная, и расходились во мнениях по поводу недвижимости, принадлежавшей покойнице. Оба, однако, приходили к полнейшему согласию в одном пункте: что касается денег, четыре зятя могли быть спокойны до конца жизни, счастливцы!

Со слезами на глазах и в голосе преподобный Жеронсио Албукерке вознес хвалу покойной — самой верной из жен, самой заботливой из матерей, самой преданной из подруг, несравненной даме милосердия, великой патриотке, покровительнице бедняков и бездомных — и вверил ее душу богу.

По окончании мессы гроб, покрытый флагом «Легионеров креста», был вынесен из церкви ближайшими родственниками покойной и водружен на катафалк. Перед церковью собралось столько народа, что полицейским пришлось вмешаться, чтобы проложить путь дамам и их спутникам, направлявшимся к своим автомобилям. Увидев эту толпу простых людей, стремящихся протолкаться к гробу Китерии Камполарго, чтобы дотронуться до него хотя бы кончиками пальцев, будто это были останки некой святой, один старец, спускавшийся с паперти храма, опираясь на руку дочери, проворчал: «Какое святотатство!»

Похоронная процессия наконец выстроилась. Впереди шествовал муниципальный оркестр имени Карлоса Гомеса [2] двадцать два музы-

---

[1] Здесь: владельцы кофейных плантаций *(англ.)*.

[2] Антонио Карлос Гомес (1839 — 1896) — знаменитый бразильский композитор.

канта, которые по знаку Лукаса Фаии — уполномоченного префектом и семьей покойной руководить процессией — начали играть что-то такое, что лишь немногим в толпе отдаленно напомнило «Похоронный марш» Шопена. Ибо, если два кларнета и два пистона ухитрялись издавать звуки, которые походили на мелодию известного произведения, тромбоны позволяли себе извлекать такие ноты, что композитору не могли бы и в голову прийти, неистовая флейта выводила отчаянные tremolo, возможно, с похвальным намерением изобразить рыдания, в то время как труба рычала, подобно раненому зверю в глубине берлоги, а глухо звучавший барабан, покрытый крепом, тщетно пытался отбивать такт марша. Лукас Фаиа подошел к дирижеру и посоветовал: «Медленнее, маэстро, так, чтобы народ мог сопровождать процессию шагом».

В нескольких метрах позади оркестра ехали персонально отобранные тридцать три всадника из Центра традиций гаушо [1]. Дона Кита была одной из его основательниц, покровительницей и «божьим даром». Командовал группой Нико, внучатый племянник Тиберио Вакариано,— косматый парень с крупным носом, маленьким лицом и длинными черными усами, которые свисали у него по углам рта, придавая ему вид угрюмого татарского воина. По бокам ехали два его товарища, один из которых держал бразильский флаг на древке, упирающемся в стремя, другой — флаг штата Рио-Гранде-до-Сул, привязанный к копью, с которым дед доны Китерии сражался в войне фаррапосов [2].

Другие всадники образовали шесть шеренг по пять кентавров в каждой. Они походили на живой музей одежды гаушо. Некоторые пастухи Рио-Гранде-до-Сул щеголяли в старинных одеждах, как будто сошли с гравюр начала прошлого века (широкие цветные пояса, высовывающиеся из-под шаровар подштанники, отделанные кружевами, сапоги из жеребячьей кожи, ленты вокруг головы), другие были одеты в более современные костюмы, носили кожаные сапоги и широкополые шляпы. Все они великолепно держались, гарцуя на отборных конях с разукрашенными седлами и сбруей. Их кинжалы, пистолеты, стремена и шпоры сверкали на солнце этого летнего дня.

Позади всадников двигался катафалк, сопровождаемый двумя открытыми автомобилями, заваленными венками из живых и искусственных цветов. За ними с торжественной медлительностью следовали представители городских властей, помещики, коммерсанты, промышленники — местная крупная буржуазия: «мерседесы», «импалы», «кадиллаки», «олдсмобили», «крайслеры» и другие шикарные автомобили. Лукас Фаиа позаботился о том, чтобы разместить все эти машины в их иерархическом порядке, причем автомобили английского и французского производства, тем более «фольксвагены», оказались последними в траурном кортеже. Заключала его безымянная толпа людей, шедших пешком.

IX

Процессия обогнула площадь, а потом двинулась по улице Волонтеров Родины, которая, плавно поднимаясь, вела прямо к вершине холма, где находился город мертвых.

---

[1] Гаушо — так называют себя уроженцы южных штатов Бразилии.

[2] Война фаррапосов — народное выступление на юге Бразилии в 1835—1844 гг. против империи (фаррапосами — оборванцами — монархисты называли участников этого восстания, среди которых был и будущий национальный герой Италии Джузеппе Гарибальди).

Стоял светлый, солнечный день. Легкий ветерок приносил в город едкий запах горевших сорняков. Дона Филаделфия, сидя рядом с мужем в фамильном «шевроле», взглянула на прозрачно-голубой небесный свод и вздохнула: «Какая красота это небо! Оно похоже на фарфоровую вазу». Бывший сборщик податей, огорченный недостойным поведением жены на ночном бдении у гроба Китерии Камполарго, проворчал: «Слава богу, эта ваза не поместится в твоей сумке».

Когда процессия находилась уже недалеко от вершины холма, падре Жеронсио посмотрел налево, увидел скопление лачуг поселка Бабилонии и с горечью воскликнул: «Бедняки Антареса потеряли свою маму». Этого оказалось достаточно, чтобы дона Ланжа снова разразилась рыданиями.

Тиберио обеспокоенно заерзал, вытянув шею, чтобы увидеть дорогу из-за плеч шофера, стараясь разглядеть, продолжают ли рабочие загораживать вход на кладбище. Он был вооружен и готов ко всему, что бы ни случилось.

Внезапно процессия остановилась. Тиберио увидел, что Нико скачет галопом, направляясь к машине префекта.

— Что там такое? — спросил тот.

— Забастовщики по-прежнему оцепляют кладбище. Они выстроились в две шеренги. Думаю, их человек четыреста... если не больше.

Все улицы, которые вели из центра города к вершине холма, заканчивались на ровной площадке, эспланаде, в середине которой и находилось кладбище. Многие префекты давали обещания превратить эту территорию в парк или сад, но до сих пор она продолжала оставаться заброшенной, заросшей сорными травами и кишащей муравьями.

— Какие будут распоряжения? — спросил командир Центра традиций гаушо.

— Двигаться вперед,— сказал префект.— Мужчины перед кладбищем выйдут из машин, женщины пусть остаются.— Он взглянул на долгогривого молодого человека: — Возьми своих гаушо и выстрой их в одну шеренгу перед забастовщиками, но не очень близко. Ну, скажем, метрах в пятидесяти — шестидесяти. Если случится провокация, то пусть это будет не со стороны наших людей. Понятно?

— Понятно,— ответил парень, натягивая повод и возвращаясь галопом, чтобы отдать нужные распоряжения.

Процессия двинулась дальше.

— Что случилось? — спросила дона Бриоланжа мужа.

— Ничего! — сухо ответил Тиберио.— Старайся быть спокойной и перестань реветь.

— Пресвятая богородица! — воскликнула она.— Бог, похоже, забыл об Антаресе.

— Никакой паники! — оборвал ее муж. Ноздри его вздрагивали от волнующего ожидания стычки.— И вы, сеньор викарий, тоже не поднимайте тревоги. Я считаю, что вам лучше не выходить из машины. Оставайтесь с дамами.

— Ну что вы, полковник, я отнюдь не трус.

— Извините. Поскольку вы, сеньор, носите юбку, я ошибся. Ну что ж, давайте выходить.

Процессия снова остановилась, на этот раз уже на эспланаде, на расстоянии куадры [1] от кладбища. Вакариано вышел из машины и направился к группе, собравшейся у катафалка: четыре зятя покой-

[1] Линейная мера, равная 132 метрам.

ной, префект, судья, профессор Либиндо, доктор Лазаро, доктор Фалькенбург, Лукас Фаиа и другие представительные лица местного общества. Теперь они могли лучше видеть бастующих, стоявших со сплетенными руками, образуя двойную цепь вдоль всей передней ограды. Нико подсчитал правильно: их было более четырехсот. Тиберио узнал внушительную фигуру Жемениано Рамоса, по бокам которого стояли два его товарища.

Инспектор Иносенсио Пигарсо — во главе двадцати полицейских — подошел к майору Вивалдино.

— Дайте мне зеленый свет,— сказал он,— и я прорву эту линию пулями.

Префект, судья, Тиберио Вакариано и викарий молча переглянулись. Четыре зятя Китерии Камполарго съежились и побледнели от страха.

— Нет,— сказал майор Бразан.— Никакого насилия, инспектор. Мы снимем гроб с катафалка и пойдем к кладбищу, как будто ничего не случилось. А дальше — посмотрим.

Все согласились. Вакариано то и дело ощупывал револьвер, который переложил теперь в правый карман пиджака.

— А вы, Иносенсио,— добавил префект,— следуйте за нами со своими людьми, но ничего не делайте без моего приказа. Не вздумайте ослушаться!

Инспектор, зло блеснув глазами, не сказал ни слова, повернулся спиною к майору и отправился инструктировать своих полицейских. Испуганные зятья вчетвером взялись за ручки гроба тещи, сняли его с катафалка и после мгновенного колебания очень медленно пошли ко входу на кладбище. Народ, сопровождавший похоронную процессию, находился теперь на площадке перед воротами, образуя неправильный полукруг, своего рода амфитеатр, и на арене его должно было состояться представление, которое, по мнению профессора Либиндо Оливареса, могло быть ужасающей греческой трагедией, а по мнению Лукаса Фаии — грубой провинциальной комедией.

Жемениано и его товарищи двинулись навстречу. («Какая цель! — подумал Тиберио, глядя на фигуру руководителя бастующих.— Какая цель! В это брюхо нетрудно попасть...»)

Зятья шагали все медленнее и нерешительнее. Жемениано поднял руку:

— Стойте! Опустите, пожалуйста, гроб на землю, наш разговор может затянуться.

Вивалдино остановился, расставил ноги, положил руки на бедра, запрокинул резко голову и закричал:

— По чьему распоряжению?..

— Ну, ну, майор! — прервал его громкий голос Жемениано.— Не кричите, не бравируйте так! Лучше будет, если мы обсудим дело спокойно и по справедливости. Начать с того, что мы не нуждаемся ни в чьем разрешении, чтобы стоять против кладбища.

Зятья опустили гроб тещи на землю, раздавив энное количество муравьев, мирно ползших двойной цепочкой навстречу друг другу.

— Но чего вы в конце концов хотите? — спросил префект.

— Кладбище закрыто, и тело не будет похоронено.

— Но это же варварство! Кладбище принадлежит муниципалитету.

— Могильщики бастуют.

— Смешно. Они же государственные служащие. А где смотритель кладбища?

— Дома и также бастует.

Тиберио Вакариано задыхался. Он хотел наброситься на Жемииано и дать ему по физиономии. Но доктор Лазаро схватил его за руку и сказал:

— Спокойно, полковник. Терпение! Не выходите из себя. Подумайте о своем сердце.

— Плевать я хотел на сердце!

— Где могильщики? — спросил префект.

Жемииано обернулся и подал знак. Три фигуры выступили из шеренги бастующих. Вместе с ними вышел молодой человек, одетый в серый альпаковый костюм со стоячим воротником. Это был падре Педро-Пауло, капеллан Рабочего поселка. Вакариано повернулся к старому викарию и проворчал: «Видите, кто идет сюда... кто на стороне забастовщиков? Бесстыжий красный поп! Этот коммунист — сын величайшей шлю...» Он запнулся, не закончив оскорбления. «Спокойно, полковник»,— прошептал доктор Лазаро.

Могильщики подошли к Жемииано и встали рядом с ним. Это были изможденные люди в грязной одежде, без пиджаков и в заплатанных брюках. От них пахло потом, в этой одежде они, видимо, не раз спали. Один из них был босиком, двое других в изношенных самодельных сандалиях — альпаргатах.

— Вот ваши «сотрудники», майор Вивалдино. Они в «парадных костюмах», как вы можете видеть.

— Что ж это такое? — спросил майор, обращаясь к могильщикам,— вы же служащие префектуры. Откройте немедленно ворота кладбища и похороните тело доны Китерии Камполарго. Это приказ префекта!

Все трое уставились в землю, не осмеливаясь взглянуть на своего начальника.

— Эти тоже хотят повышения заработной платы,— сказал падре Педро-Пауло.— Они живут на голодное жалованье. У всех у них большие семьи. Уже несколько лет они получают все те же нищенские деньги.

— А вам-то какое до этого дело? — крикнул полковник Вакариано, с затаенной злобой взглянув на молодого священника.

— Это дело всех жителей Антареса,— возразил Педро-Пауло.

Префект продолжал пристально смотреть на лидера бастующих.

— Но что вы, промышленные рабочие, имеете общего с могильщиками?

— Они присоединились к нашей забастовке, и мы также будем поддерживать их до конца.

— Не верю! — воскликнул Тиберио.— Этих людей заставили присоединиться к забастовке. Они даже не знают толком значения этого слова.

— Знают лучше вас! — возразил Жемииано.

Тиберио Вакариано, выхватив револьвер, набросился на лидера бастующих. Жемииано изловчился, схватил его за правую руку, вывернул ее и в мгновение ока разоружил Вакариано. Потом, не проронив ни слова, уперся ему в лицо ладонью и с силой толкнул его так, что тот упал и остался сидеть на земле. Полицейский инспектор бросился вперед, тоже с пистолетом в руке, за ним последовал командир Центра традиций гаушо, но префект удержал их, закричав и замахав руками. Задыхаясь, обезумев от ненависти, уронив шляпу, Тиберио Вакариано смотрел на Жемииано, который неторопливо вытаскивал патроны из его револьвера — отцовской реликвии, товарища в бесчисленных схватках, никогда не попадавшего в чужие руки. Журналист, профессор и судья пытались сдержать инспектора и командира Центра традиций гаушо, которые порывались во что бы

то ни стало напасть на Жеминиано и его товарищей. Педро-Пауло продолжал стоять рядом с могильщиками.

Жеминиано положил патроны в карман, а затем швырнул оружие к ногам патриарха семейства Вакариано, который уже поднялся при помощи своего врача.

— Держи эту дрянь, старый дуралей! И пойми, что времена переменились. Антарес уже не твоя собственность.— Он повернулся к префекту.— А теперь поговорим по-деловому. И на равных... Вы, господа, убедились, что мы не боимся угроз.

— Майор! — крикнул Иносенсио.— Отдайте приказ — и мы проложим дорогу, открыв огонь.

— Хотел бы я посмотреть, что из этого получится,— улыбнулся руководитель бастующих.— Нас здесь четыреста человек, и мы вооружены. Да и в городе у нас есть люди, также вооруженные и готовые на все.

— Это мятеж! — воскликнул судья.

Инспектор с некоторым колебанием вложил пистолет в кобуру. Командир Центра традиций гаушо подошел к префекту и сказал ему на ухо:

— Мои всадники готовы дать залп по забастовщикам. Мы только ждем вашего приказа.

Один из его приятелей, следовавший за ним по пятам, вылил на него ушат холодной воды:

— Послушай, дружище, ты забыл, что наши револьверы не заряжены? А у некоторых товарищей они не стреляли уже почти по сто лет.

— Ну и что же,— возразил Нико,— пустим в ход сабли, кинжалы, плети, перетопчем их лошадьми.

Профессор Либиндо взял его за руку:

— Спокойствие, спокойствие. Насилием мы ничего не достигнем.

И процитировал соответствующую латинскую фразу.

— Но мы же скомпрометированы перед народом Антареса! — воскликнул парень.

— Подожди,— сказал префект,— правда на нашей стороне.

Доктор Лазаро пытался отвести полковника Тиберио в его автомобиль, но это ему не удалось. Старик просил, чтобы кто-нибудь одолжил ему патроны 38-го калибра:

— У кого есть патроны? Кто не потерял стыд, не побоится дать отпор?

В это мгновение перед мысленным взором Вивалдино Бразана возникла изящная орхидея.

— Но в конце концов, чего вы хотите достигнуть, господа забастовщики, решившись на такие неслыханные действия? — спросил судья.

— Нажать на хозяев и добиться победы.

Судья показал на гроб:

— Но разве имеет эта сеньора отношение к забастовке?

— К нашей — никакого. Но к забастовке могильщиков — да.

В этот момент профессор Либиндо, который взволнованно расхаживал из стороны в сторону, успокаивая присутствующих цитатами из Гёте, Конфуция и Платона, вмешался:

— Хорошо. Сеньор префект, я предлагаю обойтись без могильщиков. Мы сами похороним дону Китерию.

Жеминиано энергично покачал своей фламандской головой:

— Ничего подобного! Мы решили позавчера на собрании, что позволим захоронение кого бы то ни было только после того, как хозяева удовлетворят наши требования о повышении заработной платы.

— Но это же шантаж, провокация, позор! — закричал префект.

Педро-Пауло указал на восток, в направлении Бабилонии.

— Провокация, позор? А эти фавелы [1], что это такое? Гордость Антареса?

Тиберио Вакариано, который пришел в себя, гневно взглянул на капеллана Рабочего поселка:

— Служитель бога связался с коммунистами!

— Они не коммунисты, полковник, а бастующие,— сказал Педро-Пауло.

Тиберио обернулся к падре Жеронсио, который стоял склонив голову, как бы следя за передвижением муравьев:

— Викарий, дайте обо всем знать епископу епархии и добейтесь, чтобы этого священника-смутьяна отослали отсюда подальше!

— Сеньор епископ,— ответил викарий тихим голосом,— хорошо информирован о деятельности и идеях падре Педро-Пауло.

— Ну, тогда я не доверяю даже епископам...— отрезал Вакариано.— Даже папе. Все они на содержании у Москвы.

X

Судья бросил взгляд на Педро-Пауло:

— Странно, что вы, сеньор, согласились с решением забастовщиков помешать захоронениям. Это святотатство.

— Я не согласился, наоборот! — объяснил капеллан.— Но я на стороне бастующих в отношении их требований о повышении заработной платы. Я сделал, что мог, дабы избежать... *этого*. Но не сумел их переубедить. Очень сожалею.

Падре Жеронсио смотрел теперь печально на гроб, бормоча:

— Все мертвые заслуживают нашего уважения. Богатые и бедные. Белые и негры. Мы должны почитать умерших.

— Странно,— возразил Педро-Пауло,— что оказывается столько уважения мертвым и так мало живым.— Он пожал плечами.— Конечно, легче быть справедливым по отношению к умершим. Достаточно похоронить их... и они оставят нас в покое. Но трудно относиться с пониманием и помогать живым двадцать четыре часа в сутки, круглый год и так год за годом...

Солнце осветило берега большой реки, и свет его начал понемногу меркнуть.

Префект взглянул решительно на Жемиииано:

— Я убедительно вас прошу. Позвольте похоронить эту святую сеньору.

— Наш ответ — *нет*. Вон, перед воротами — пять гробов. В одном из них тело пролетария, нашего старого товарища по борьбе. Как видите, мы ни для кого не делаем исключения.

— Это ваше последнее слово?

— Да. Твердое и окончательное.

— Но забастовка может затянуться,— заметил профессор Либиндо.— Трупы же не могут оставаться так долго непогребенными. Это опасно.

— Могут, ничего! — ответил Жеминиано.— Мертвые не жалуются. У мертвецов безграничное терпение.

Префект собрал своих товарищей — полковника Тиберио, судью, журналиста, профессора и некоторых других видных лиц, включая четырех зятьев покойной, и посоветовался с ними. Через несколько

---

[1] Лачуги бедноты.

минут он, обращаясь к Жемениано, заговорил громким голосом, как если бы произносил речь перед толпой:

— Дамы и господа, мы решили в связи с создавшейся обстановкой отвезти гроб с телом доны Китерии обратно в город и подождать окончания событий. И я заранее возлагаю ответственность на забастовщиков в лице сеньора Жемениано за то, что может произойти в результате всего этого неслыханного безумия.

Жемениано язвительно усмехнулся:

— Я был готов к этому. Наш ответ остается отрицательным. Вы намерены отвезти гроб в город и похоронить его в другом месте... в имении покойной, например. Нет, гроб останется здесь вместе с другими. Мы оставим тело доны Китерии в качестве залога.

Среди влиятельных лиц Антареса наступило глубокое молчание. Педро-Пауло подошел к лидеру рабочих:

— Жемениано, может быть, мы придем к соглашению хотя бы...

— Ничего подобного, падре! Нам нужно держаться твердо. Вы плохо знаете этих людей.

— Подумайте о вреде, который принесут забастовке такие действия.

— Я выполняю решение собрания. Вы были на собрании и слышали все. Идея принадлежит не мне. И не вам. Это — воля большинства. И она будет выполнена.

XI

Народ следил за всей этой сценой в тягостном молчании.

Лукас Фаиа, стоявший между Жемениано и Вивалдино, выступил с речью:

— Уважаемые представители власти! Господа! Друзья! Нам следует проявить в создавшемся положении здравый смысл. Упреками будем обмениваться потом. Или вообще не будем. Мы все братья. Никто не совершенен. Важно, на мой взгляд, избежать кровопролития и насилия. Таким образом, я предлагаю оставить гроб доны Китерии на эту ночь здесь под надзором забастовщиков, к благородству которых мы взываем. Возможно, завтра утром или даже этой ночью мы получим удовлетворительные для рабочих ответы от главных контор Панамериканского мясохолодильника и Франко-бразильской компании.

Предложение было встречено префектом и его друзьями молча. Полковник Вакариано покачал отрицательно головой, проворчав:

— По мне, надо проложить дорогу пулями и конскими копытами. Ребята из Центра традиций гаушо готовы к действию. Поступим, как в старинных войнах. В парагвайской войне, да и не так давно, в 1935 году [1], кавалерия гаушо разбила много вражеских отрядов. Я не вхожу в сделку с негодяями.

Лукас Фаиа подождал, пока старик кончит говорить, а потом продолжил.

— Жемениано,— обратился он к лидеру бастующих.— Вы меня знаете много лет. Моя газета никогда не занимала отрицательной позиции в отношении ваших дел. И вы знаете, что я друг пролетариата, хотя и не был врагом хозяев. Я человек беспартийный и беспристрастный.

— Давайте, Лукас, говорите прямо. К чему вы клоните?

[1] Речь идет о репрессивных действиях правительственных войск против революционной армии, созданной антифашистским «Национально-освободительным альянсом» для борьбы за свержение антинародной диктатуры в Бразилии.

— Вы мне дадите честное слово, что этот гроб не будет вскрыт в течение ночи?

— Ну, знаете, бросьте глупости, среди нас нет ни некрофилов, ни вампиров.

Префект, судья, викарий, врач, полицейский инспектор и полковник Вакариано снова стали тихо совещаться. Вакариано предложил вернуться в город, собрать своих кабокло, вооружить их, возвратиться к кладбищу и прорвать ряды забастовщиков, применив насилие, «чтобы это послужило уроком для бандитов-коммунистов». Викарий ограничился наклоном головы, судья возразил:

— Поскольку мы в меньшинстве, я нахожу более приемлемым предложение Лукаса. Это единственный благоразумный выход, на который мы можем решиться в данный момент. Разойдемся по домам и предоставим дело течению времени.

— И таким образом останемся опозоренными на всю жизнь,— отозвался полковник Вакариано.

— Полковник,— вмешался префект,— мы проиграем это сражение, но выиграем войну. Не будьте таким пессимистом.

Орхидея катлея снова возникла перед ним, кивая своими нежными лепестками. Вивалдино обратился к Жемиииано:

— Где мы можем оставить гроб?

— Вместе с пятью другими там, у ограды кладбища.

— Отнесете его вы?

— Нет. Родственники покойной.

Четыре зятя, обливаясь холодным потом, взялись снова за ручки гроба, подняли его и неверной, шатающейся походкой пьяных двинулись к кладбищу. Шеренга бастующих расступилась, образовав небольшой проход.

— Где его поставить? — спросил зять-аптекарь.

— Вон рядом с тем. Это гроб одного бедняка. Не бойтесь. Бедность — не заразная болезнь.

Зятья повиновались. Они бросили беглый взгляд на роскошный гроб тещи и поспешили присоединиться к своей группе.

Когда майор Вивалдино направился в сопровождении товарищей к своему автомобилю, толпа, которая до этого держалась несколько в отдалении от главных персонажей драмы, приблизилась и окружила машину префекта. Прежде чем сесть в свой «мерседес», тот воспользовался возможностью произнести небольшую речь.

— Бывают моменты в жизни государственного деятеля,— сказал он торжественным голосом, подняв правую руку с вытянутым указательным пальцем,— когда наибольшим актом мужества с его стороны является прослыть в глазах народа слабым и трусом. Я хочу надеяться, что никто не истолкует дурно то, что только что произошло! Это им так не пройдет. Я возлагаю ответственность на забастовщиков в лице их руководителя Жемиииано Рамоса не только за неуважение к законным властям, но и за все это позорное кощунство — запрещение похорон одной из самых выдающихся и уважаемых дам нашего общества. Вы, господа, были свидетелями нашего терпения и выдержки. Я не разрешил моей полиции стрелять по забастовщикам во избежание... бойни. Но я хочу сообщить народу Антареса, что у меня достаточно сил, чтобы подавить любую попытку нарушения порядка, откуда бы она ни исходила. Я кончил.

Он замолчал. Из толпы послышались редкие возгласы: «Отлично!» Аплодисментов, однако, не было. Вивалдино снова выразил соболезнование четырем зятьям. («Вы, господа, видели. Мы сделали все, что возможно. Но наберитесь терпения. Это так не останется».) Он обнял од-

ного за другим четырех мужчин, одетых в траур, которые молча, со скорбным выражением лиц направились к своим машинам, где их ждали обеспокоенные жены.

В тот момент, когда они проходили мимо двух людей, сидевших на камне, один из них, тот, что крошил листовой табак, прошептал другому:

— Видел лица зятьев старой Киты?

— Видел. Бедняги!

— Бедняги? Бедняга — я, поскольку не получаю жалованья уже три месяца и кругом в долгах. «Скорбь» этих четырех субъектов не имеет ничего общего со смертью тещи.

— А что же тогда?

— Они озабочены тем, что дону Китерию хоронят с ее самыми роскошными драгоценностями.

— Да что ты говоришь?!

— Вот именно. Кольцо с брильянтом размером с турецкую горошину. Рубиновая брошь. Ожерелье из настоящего жемчуга. Серьги — не знаю какие... кажется, изумрудные. И золотой браслет, массивный. Фамильные драгоценности.

— Ба!

— Это чтобы ты знал... Эти типы озабочены тем, что в гробу останутся сотни миллионов крузейро...

— Вот это да!

XII

Отряд Центра традиций гаушо тронулся. Командир посоветовал приятелям не пускать лошадей галопом, чтобы не создавать впечатления паники. Оркестр давно разошелся, его дирижер панически боялся шальных пуль. Процессия двинулась к центру города.

Сидя в своем «кадиллаке» между плачущей женой и доктором Лазаро, который считал у него пульс, Тиберио Вакариано все еще задыхался. «Никто...— бормотал он,— никогда в жизни... никогда ни один человек не сбивал меня с ног... никто не толкал меня, никогда... ни один сукин сын меня не разоружал... никогда за семьдесят лет моей жизни... Сволочь! Он мне заплатит... долго ему не придется ждать...» Доктор Лазаро продолжал держать большим и указательным пальцами запястье своего знаменитого пациента, поглядывая при этом на ручные часы. Викарий озабоченно смотрел на своего друга.

— Ну как, доктор? — спросил он. Доктор Лазаро сказал:

— Пульс приходит в норму. Дона Ланжа, уложите его немедленно в постель. Главное сейчас — покой. Я пропишу успокоительное.

— Не буду я принимать это дерьмо!

— Примешь,— прошептала по-матерински жена.— Это для твоего же блага, Тибе.

— Сегодня он не должен обедать, может съесть только что-нибудь жидкое,— снова заговорил врач.— Приготовьте ему куриный бульон. Ни кофе, ни сигарет. Покой и диета.

Тиберио, откинув голову на спинку сиденья, ворчал:

— Какой-то презренный тип... перед всеми этими людьми. И не было ни одного из моих сыновей, чтобы помочь мне. Если я не всажу пулю в голову этого коммуниста, буду считать себя обесчещенным. Умру от стыда, едва выйду на улицу.

— Полковник,— возразил доктор Лазаро,— если вы будете продолжать в том же духе, думаю, мне придется отправить вас в больницу.

— В больницу? Меня? Никогда. Только если отнесут туда связанным.

— Тогда делай то, что советует тебе доктор,— вмешалась жена.

— Постель — это только на сегодня,— объяснил врач.— Завтра, вероятно, вы сможете уже встать. Мы сейчас снимем электрокардиограмму.

— Ну опять вы со своим граммофоном. Мой отец прожил до восьмидесяти пяти лет и не нуждался в этой ерунде.

Наступило молчание. Они были уже недалеко от площади Республики. Улицы полны народа.

— Почему это они на меня смотрят? — спросил Тиберио.— Наверное, уже знают, что грязный рабочий разоружил меня и повалил на землю. Наверняка насмехаются надо мной.— У него брызнули слезы и покатились по щекам.

XIII

Жемииано решил, что его товарищам будет неприятно находиться всю ночь рядом с гробами, охраняя вход на кладбище. Самое лучшее, что они могли сделать, чтобы на рассвете «враг» не пробрался на эспланаду,— это оставить по четыре человека дежурить в начале каждой улицы, ведущей на плоскогорье.

Так они и поступили. Когда пришла ночь, теплая, звездная, расцвеченная светлячками и наполненная пением сверчков, вершина холма была совершенно пустынна, на ней не было ни души. Многочисленные отряды муравьев продолжали трудиться. Ящерицы сновали среди сорняков. Ночные птицы разрезали воздух короткими перелетами, устраивались на деревьях и на могилах, возможно, клевали насекомых или червей.

Около трех часов утра человеческая тень выбралась из канавы, прикрытой листвою деревьев, и стала крадучись пробираться к кладбищу. Имя этого человека? Он и сам его не помнил в точности, так как пользовался многими именами в своей жизни — новым в каждом городе, где он орудовал. Его разыскивала полиция многих муниципалитетов за многочисленные преступления — воровство и грабежи. Он узнал вечером, что в самом лучшем из семи незахороненных гробов лежит труп женщины, увешанный сказочными драгоценностями, составил план и засел в канаву еще до захода солнца. Теперь, если бы ему удалось быстро выполнить «работу» и удрать за границу, он смог бы постепенно, с осторожностью, распродать драгоценности. На одном из перекрестков поблизости от Антареса его ожидал сообщник с оседланной лошадью. Он попробовал бы переплыть реку близ границы штата Санта-Катарина и попытать счастья в Аргентине, а то и в Парагвае.

Продолжая пробираться с большой осторожностью, он время от времени останавливался, чтобы оглядеться и прислушаться к ночным шумам. В кармане куртки у него был электрический фонарик, а в кармане штанов — гаечный ключ. Ему впервые предстояло обокрасть труп. Главное — не обратить на себя внимание рабочих, которые охраняли входы на улице в двухстах метрах от ограды кладбища. Он засветит фонарь лишь тогда, когда гроб будет уже вскрыт, чтобы разглядеть драгоценности на теле покойной.

Его сердце билось спокойно. У него были крепкие нервы. Иначе он не смог бы заниматься этой работой.

Он дошел до одного из углов кладбища и пригляделся ко входам в прилегающие улицы. Город был погружен в темноту. При слабом све-

те луны он не различил ни одного человеческого силуэта. К счастью, в десяти метрах от передней стены кладбища тянулся длинный ряд деревьев с густой листвой, в черной тени которых он мог остаться незамеченным. Из осторожности он загородит свет фонаря своим телом.

Крадучись вдоль самой стены (хорошая идея была одеться в светлый костюм), вор приблизился к семи гробам. Первый из них, как раз напротив ворот, был черный; его принесли в пять часов вечера. Следующий — светлый и маленький — был тот, который он искал. Он стал возле него на колени, отвинтил крышку и, задерживая дыхание, поднял ее, сдвинув тихонько в сторону. Вытащил из кармана и зажег фонарь. Направил свет первым делом на руки умершей, так как он слышал про знаменитый брильянтовый солитер. Но что это? На восковых пальцах покойницы он не увидел никакого кольца. На запястьях не было браслетов. Он осветил грудь умершей и не увидел там броши. На шее тоже не было ничего... С суеверным страхом и отвращением приблизил фонарь к лицу трупа и замер. Глаза были открыты, губы начали двигаться, и из них послышалось сначала хрипение, а потом отчетливые слова: «Господи, в руки твои предаю дух мой». Вор глухо вскрикнул, вскочил, уронив зажженный фонарь и ключ, и бросился наутек.

XIV

При жизни Китерия Камполарго любила иногда созерцать ночное небо, «в поисках звездных алмазов», как она обычно говорила. Это было своеобразным увлечением, игрой, которая как бы приближала ее к богу. Она подолгу разговаривала с созвездиями Ориона, Большого Пса, Стрельца, Астрального Треугольника, Кентавра и особенно Южного Креста, который по таинственным велениям сердца она считала не только всемирным созвездием, но и частью бразильского достояния [1]. Когда что-либо огорчало ее, лишало ее веры в людей, она искала на небе Скорпиона и, если он уже был виден, находила звезду Антарес, представляла ее диаметр — в четыреста с лишним раз больший, чем диаметр Солнца,— сравнивала эти астрономические величины с мизерностью края своих земляков и в конечном счете находила в этом сопоставлении глубокое утешение, которое вновь мирило ее со всем светом и жизнью. И всегда, когда ее подзывали к телефону в часы меланхолии или скуки, она отвечала: «Скажите, что меня нет дома, что я отправилась на Альдебаран [2]...»

Сейчас дона Китерия лежит в своем гробу с открытыми глазами и, кажется, созерцает раскинувшийся над ней предрассветный небесный свод. Она нащупывает четки, находящиеся в ее сложенных руках, и губы ее шевелятся, произнося слова молитвы.

Светлячок попадает в поле ее зрения и наконец садится ей на нос. Она прогоняет его, встряхивая головой. Потом, схватившись за края гроба, медленно поднимается, остается на мгновение сидеть, озираясь и вглядываясь в пустоту эспланады и ночи и в светящееся круглое пятно на белой стене...

Прошептав молитву с начала — *Отче наш, иже еси на небеси,*— она понемногу встает — *да святится имя твое,*— выпрямляется — *да приидет царствие твое,*— поднимает правую ногу над краем гроба и, перешагнув его, медленно опускает ногу, как человек, который входит в воду,— *да будет воля твоя,*— и подошва одной из ее туфель касается земли, пальцы судорожно сжимают крест на четках — *яко на*

[1] Созвездие Южного Креста изображено на гербе Бразилии.

[2] Звезда первой величины в созвездии Быка.

небеси и на земли... По окончании «Отче наш» она стоит обеими ногами на земле. Глаза ее устремлены на другой гроб — черный с серебристыми ручками,— по которому она принимается постукивать носком туфли. В течение нескольких минут покойница осматривает все вокруг — эспланаду, небо, ограду кладбища, светящийся фонарь, уроненный на землю... Потом опускается на колени и ползком медленно огибает соседний гроб, отвинчивает крышку и тщетно пытается ее поднять. Тогда она трижды стучит кулаком по черному гробу, обитатель которого отвечает ей через несколько секунд тремя такими же постукиваниями. Дона Китерия видит, что крышка, которую она отвинтила, медленно поднимается и наконец падает в сторону. Человек среднего роста, одетый в черное, встает из гроба, делает несколько неуверенных шагов, оглядывается, поднимает фонарь, освещает им стену кладбища, верхушки деревьев, площадку, где стоят гробы, и под конец лицо дамы.

— Дона Китерия Камполарго! — воскликнул незнакомец.— Какая честь! Как я рад!

— Кто вы?

— Посмотрим, узнаете ли вы меня...

Он освещает себе лицо.

— Узнаю... но я не уверена.

— Сисеро Бранко!

— Но у вас другое лицо.

— Смерть, насколько известно, никого не украшала.

— Меня сбило с толку это красноватое пятно с правой стороны лица... Но когда вы, сеньор... скончались?

— Вчера, если мне не изменяет память.

— Сердце?

— Пятно, которое вы видите,— признак кровоизлияния. Я переходил площадь, когда внезапно все потемнело у меня в глазах.

Дона Китерия поднимает голову к небу.

— По положению Южного Креста, я думаю, сейчас часа три утра. Как объяснить то, что мы еще не похоронены и оставлены за стенами кладбища?

Сисеро пожал плечами.

— Это и меня удивляет. Но мне также хочется узнать, как вы сумели выбраться из своего гроба...

— Ну, я спокойно лежала в смертном сне, когда внезапно увидела очень сильный свет. Я вообразила, что это — светящееся око божье, и сказала: «Господи, в руки твои предаю дух мой!» Тут я услышала испуганный крик, свет исчез, и я заметила фигуру опрометью убегавшего человека.

— Возможно, это был один из осквернителей кладбищ...

— Скорее всего, так оно и есть, это был вор...— Она принялась ощупывать пальцы, запястье, грудь, шею, уши.— Ай! Меня обокрали, доктор! Бандит унес мои драгоценности! — Она поднялась.— Меня обокрали! Боже мой! Фамильные драгоценности.

— Извините меня, дона Китерия, но уверяю, что вас положили в гроб без всяких драгоценностей, даже без обручального кольца.

— Откуда вам это известно?

— Очень просто. Я пришел на ночное бдение, чтобы почтить вашу память. В знак уважения принес красные и желтые гладиолусы, которые своими руками положил в гроб. Постоял некоторое время около. Ваш друг Тиберио Вакариано тому свидетель. Мы поговорили о вас, высказали величайшие похвалы (кстати сказать, вполне заслуженные) по вашему адресу. Но, повторяю, честное слово, я не видел на вас ни одной драгоценности.

— Но я оставила моим дочерям и зятьям совершенно четкие письменные указания: пожелала унести с собой в могилу драгоценности, которые унаследовала от своих предков...

— Ваши предписания не были выполнены.

— Мошенники! Алчные людишки!

Она стала медленно расхаживать из стороны в сторону, шаркая ногами, держа руки на поясе.

— Дона Китерия, я их не осуждаю. Было бы расточительным похоронить несколько сот миллионов крузейро...

— Но разве не достаточно того, что я оставила им земли, дома, акции, деньги и массу других драгоценностей?

Сисеро Бранко пожал плечами:

— Алчность человеческая не имеет границ, сеньора.

— Ну, хорошо, я хочу поблагодарить вас, что вы приходили почтить мою память. Спасибо за гладиолусы.

— Не благодарите меня. Поскольку мы уже мертвы и перестали быть персонажами человеческой комедии, я могу откровенно сознаться, что эта дань уважения имела определенную цель. Я хотел сделать приятное вашей семье, так как намеревался произвести опись вашего имущества.

— Ну что ж, поскольку мы уже затеяли игру в правду... вы никогда не вызывали у меня симпатии.

— А почему?

— Да потому, что я всегда считала вас адвокатом-сутягой и нечестным.

— Никто никогда не посмел обвинить меня в некомпетентности.

— Я не вижу никакой несовместимости между компетенцией и честностью.

— Дона Китерия, при всем уважении к вашей особе могу сказать вам, что если бы я описал историю семьи Камполарго, то у тех, кто ознакомился с нею, волосы встали бы дыбом. Ваш дядя и свекор Бенжамин отнюдь не был святым. Здесь, на этом кладбище, похоронены восемь — десять человек, которых он приказал убить или же убил собственноручно. Что же касается воровства, хищений, угонов скота, то Камполарго уступают в этом отношении только семейству Вакариано.

— Довольно! — воскликнула старуха.— Вполне достаточно! Если нас самих не предали земле, то предадим по крайней мере забвению прошлое наших семей.

Она выхватила фонарь из рук адвоката и направила свет на остальные гробы.

— Кто они?

— Мелкие людишки, за исключением двух...

— Почему бы нам не выпустить их из этих ящиков?

— Я вас предупреждаю, что это люди не вашего класса...

— Пустяки! Мертвец не принадлежит ни к каким классам. Кроме того, мне любопытно увидеть лица этих людей, то есть мертвецов.

— Пусть будет по-вашему. Тогда будьте любезны присесть.

Китерия уселась в изголовье собственного гроба, по-прежнему держа в руках четки, и забормотала старинную молитву, которую еще девочкой выучила у своей бабушки в одну бурную ночь.

Сисеро Бранко начал открывать первый из оставшихся гробов. Через какие-то мгновения рядом с ним стоял мужчина повыше его ростом. Они тихо заговорили. Сисеро осветил фонарем лицо третьего покойника, потом свое собственное.

— Вы тоже здесь?

— Что поделаешь! Такова жизнь. Помогите мне открыть остальные.

Ближайший убогий гроб был сколочен из грубых досок, на гвоздях. Адвокат подобрал с земли гаечный ключ, уроненный вором, и начал вскрывать деревянную крышку, в то время как другой человек отвинчивал крышку следующего гроба. Через несколько минут перед доной Китерией Камполарго стояли в тени, еще более темной, чем сама ночь, шесть фигур.

— Ладно! — сказал Сисеро.— Выстройтесь у стены — я хочу представить вас друг другу.

— Кто вы такой, чтобы приказывать мне? — запротестовал высокий человек.

— О господи! — возразил адвокат.— Неужели вы не понимаете, что мы мертвецы и все обиды для нас кончились? Но если вы еще придаете значение словам, то я иначе выражу свою просьбу: окажите, пожалуйста, любезность постоять несколько мгновений у этой стены...

Все послушались и стали спиною к стене, как перед расстрелом.

XV

Выполняя обязанности церемониймейстера, Сисеро осветил лицо человека, самого высокого в ряду: лошадиное лицо, смуглое, как у цыгана, седые волосы и усы, сильно выдающаяся вперед челюсть, пожелтевшие крепкие зубы.

— Это Жозе Руис, по прозвищу Барселона.

— Сапожник-коммунист! — воскликнула Китерия.

— Стоп, сеньора! — запротестовал представленный, подняв руку.— Не смешивайте анархо-синдикализм с коммунизмом. Я рассматриваю это как оскорбление наших идей!

— От чего вы умерли? — поинтересовалась старшая представительница клана Камполарго.

— Я могу сказать,— вмешался адвокат.— От разрыва аневризмы.

Сапожник оскалил зубы — они обнажились у него до бесцветных десен — и начал тихо смеяться, потирая при этом грудь обеими руками.

— Это должно было случиться рано или поздно.

Сисеро указал на гроб сапожника:

— Смотри, Барселона. Ты получил благодаря любезности муниципальной префектуры совсем не плохой гроб.

— Ну, это положим! Я прежде всего не какой-нибудь нищий. Не прошу и не принимаю никаких милостей от городских властей. У меня нет наследников, и я вдов, так что правительству достанется мой дом и моя мастерская. А этот убогий гроб стоил гроши. Префектура еще и наживается на моей смерти.

— Перейдем к следующему покойнику, — сказал Сисеро.

— Не употребляйте этого ужасного слова,— попросила дона Китерия.— Говорите «персона».

Луч света упал теперь на лицо человека с крупной головой, продолговатым лицом, узкими плечами, с восковой бледной кожей. Пиджак на нем сидел плохо, штаны доходили лишь до середины голеней. Рубашка — белая, с мягким воротничком, без галстука. На ногах — желтые туфли.

— Профессор Менандро Олинда! — воскликнула дона Китерия.

— Он самый,— подтвердил адвокат.— Покончил жизнь самоубийством, вскрыл себе вены.

Руки пианиста с забинтованными запястьями беспомощно свисали вдоль туловища, как будто чужие.

Дона Китерия покачала головой, щелкнув языком в знак осуждения.

— Разве христианин может так поступать, маэстро? — заметила она менторским тоном.— Самоубийство — великое прегрешение против законов божьих.

Откинутая назад голова Олинды упиралась в стену, а глаза его были обращены к небесам.

— Переходим к следующему,— распорядилась старуха.

— Следующий женского пола,— заявил Сисеро.

— Боже мой! — воскликнула дона Кита.— Что это такое?

То была босая женщина, которой по виду можно было дать более пятидесяти, худая, как скелет, одетая в длинную рубашку из грубой материи, видимо из больницы для бедных.

— Это Эротилдес, которая в течение двадцати лет благодаря своей грациозности и красоте была одной из самых знаменитых проституток Антареса. На нее в борделе Венусты был самый большой спрос. Эротилдес вскружила голову многим мужчинам в нашем городе, в том числе и добродетельным супругам. Дона Кита, ваш друг Тиберио Вакариано содержал ее в качестве наложницы в течение лет четырех.

— Пяти,— поправила женщина поспешно.

— Со временем спрос на нее сильно упал. В сорок с небольшим она уже бродила по улицам, ловя мужчин и продавая себя за любую цену... За пять мильрейсов, не так ли, Эротилдес?

— Даже за два,— прошептала та, опустив голову.— Я не хотела умереть с голоду.

Дона Китерия возмутилась:

— Но неужели вы, девушка, никогда не пытались найти приличную работу?

Барселона выступил на шаг вперед и сказал с негодованием:

— В конце концов, это знакомство или суд? Кончайте комедию, сеньор Сисеро!

— От чего умерла эта женщина? — поинтересовалась дона Китерия. И Эротилдес поспешила сообщить с некоторой бравадой:

— От чахотки.

— Но сегодня никто от такого не умирает. Со всеми этими антибиотиками...

— Это верно,— сказал адвокат,— но Эротилдес лежала в отделении для бедных больницы «Сальватор Мунди». Доктор Лазаро утверждал, что ни в больничной аптеке, ни в какой другой в городе нет стрептомицина. Он обещал выписать его откуда-то, но, видимо, забыл...

— Дальше! — распорядилась старая сеньора.

Свет упал теперь на лицо человека, все испещренное кровоподтеками, один глаз у него почти вытек. Было впечатление, что его жестоко избили. Правая рука его, вся переломанная, была привязана к телу бечевкой.

— Это Жоан Пас, парень умный и идеалист. Он весьма серьезно воспринял свою фамилию[1] и стал страстным пацифистом. Организовал в Антаресе митинг против вторжения Соединенных Штатов на Кубу. Полиция разогнала этот митинг дубинками. Жоанзиньо был арестован, через неделю освобожден... потом снова арестован. В общем, это длинная история.

— От чего он умер? — спросила дона Кита.

— От легочной эмболии, в «Сальватор Мунди».

[1] Paz — мир *(порт.)*.

— Ложь,— выкрикнул Жоан Пас.— Меня пытали и убили в городской тюрьме палачи полицейского инспектора Иносенсио Пигарсо!

У Сисеро Бранко вырвался жест досады.

— Жоанзиньо, наберитесь терпения, я пока представляю вас лишь формально. Потом познакомлю с вашей биографией подробнее.

Луч фонаря скользнул по голове карлика неопределенного возраста, с индейским типом лица, кожей, напоминающей дубленую, с одутловатыми щеками пьяницы и с воспаленными глазами.

— Боже мой! — воскликнула дона Китерия.— Что это такое?

— Самый большой выпивоха Антареса,— сказал адвокат,— наш знаменитый Кашасовый [1] Пудинг.

Человек улыбнулся, обнажив гнилые зубы.

— Доброй ночи, дона! — сказал он, поклонившись даме. Потом, приложив к глазам руки козырьком, как бы защищаясь от света фонаря, спросил церемониймейстера: — Доктор, от чего я все-таки умер?

— Это могло случиться только от цирроза печени,— сказала дона Китерия.

— То была бы естественная causa mortis [2], но наш Пудинг умер не своей смертью. Он был убит.

— Что? — улыбнулся пьяница.— Я был убит? Да у меня никогда в жизни не было врагов. И кто бы стал тратить на меня порох? Кто мог меня убить?

— Твоя жена.

— Наталина? Не верю. Вы шутите, доктор. Моя жена не способна убить и мухи.

— Возможно, но она подложила тебе в еду дозу яда, которая могла бы свалить лошадь.

На мгновение Кашасовый Пудинг остался стоять с открытым ртом.

— Все равно не верю,— произнес он наконец, качая головой.— В этом никто меня не убедит.

— Я видел протокол аутопсии.

— Говорите по-бразильски, доктор.

— Пудинг, в полиции врач вскрыл твой желудок и обнаружил мышьяк, который ты съел во время обеда.

— Может быть. Но Наталина не имеет к этому никакого отношения.

— Она созналась!

На мгновение Кашасовый Пудинг замолчал, проводя рукой по подбородку, покрытому редкими и жесткими волосенками кабокло.

— Но почему? Почему?

— Она заявила полицейскому инспектору, что не могла больше тебя выносить. По ее словам, ей не только приходилось работать, как рабыне, чтобы тебя содержать, но ты еще вваливался домой под утро, пьяный, и бил ее.

Опустив голову, Пудинг чертил землю кончиком большого пальца босой ноги.

— Это правда? — спросила дона Китерия с суровостью матроны.

Он заколебался было, но все же проворчал:

— Да, дона. Я всегда был сволочью. Бедняжка Наталина! Хоть бы ее не посадили в тюрьму.

— Она уже арестована,— сообщил адвокат.— Ее будут судить через месяц.

— Какое дерьмо! — воскликнул пьяница.— Извините меня, дона, у меня вырвалось ругательство...

---

[1] Кашаса — бразильский спиртной напиток из сока сахарного тростника.

[2] Причина смерти *(лат.)*.

Сисеро Бранко направил луч на лицо знатной дамы:

— И, наконец, друзья, перед нами дона Китерия Камполарго, одна из самых знаменитых, если не самая знаменитая дама высшего общества Антареса.

— Дона Кита! — воскликнул Барселона.— Кто бы сказал! Немало подметок и каблуков починил я ей и ее родне. За эти три десятка лет жизни в Антаресе я подковал более половины представителей местной буржуазии.

Пятеро покойников окружили Китерию Камполарго. Эротилдес наклонилась к ней и прошептала:

— Сеньора, вы не можете себе представить, какая для меня честь быть рядом с вами.

Старуха сжалась, резко отстранившись от нее.

— Не говорите, женщина, мне прямо в лицо!

Барселона рассмеялся:

— Уж не боитесь ли вы, сеньора, бацилл туберкулеза?

— Заметьте, Жоанзиньо,— улыбнулся адвокат,— даже после смерти мы не свободны от условных рефлексов...

Эротилдес в смущении легонько дотронулась до плеча Сисеро.

— Могу я задать вам вопрос, сеньор?

— Почему бы нет! Можешь.

— Мы на небе или в аду?

— Ни там, ни тут. Все мы находимся с наружной стороны кладбища Антареса. Нас не похоронили.

Кашасовый Пудинг, который уже несколько секунд смотрел в направлении города, пробормотал:

— Вы заметили? В Антаресе не видно ни одного огонька... Ни на улицах, ни в окнах. Знаете, что я думаю? Мы брошены здесь потому, что налетела чума и уничтожила все население. Или аргентинцы вторглись в Бразилию и перебили всех наших земляков...

— А! — воскликнул внезапно Барселона, хлопнув себя по лбу.— Я понимаю, в чем дело. Все ясно. Забастовка продолжается...

— Но какое отношение имеем мы к забастовке? — спросила дона Китерия.

— Накануне смерти я был на собрании фабричных рабочих, правда, без решающего голоса, и мы обсуждали, как нажать на хозяев и на власти и заставить их пойти навстречу требованиям бастующих. И я предложил, чтобы могильщики тоже включились во всеобщую забастовку и чтобы не разрешать никого хоронить, пока хозяева не уступят. Теперь все объяснилось!

— И вам не стыдно рассказывать нам это теперь?

— Только человеку с испанской кровью могла прийти в голову подобная идея,— похвастался сапожник.— Мои дед и бабка, да и мать с отцом родились на земле Сервантеса и Унамуно [1].

— Таким образом, колдовство обернулось против колдуна,— сказала дона Кита.— Уж наверное вы не думали, что станете жертвой собственной хитрости? Ничего себе получилось!

— Жертвой, благородная дама? А мне совершенно безразлично, где пропадать — под землей или на ее поверхности. Я материалист.

— И ваша идея была принята собранием? — спросил Сисеро, потушив фонарь.

— Единогласно, только падре Педро-Пауло со своей наивностью рассуждал часа полтора, он был против моего предложения.

Какая-то ночная птица, а может быть летучая мышь, пролетела над стеной кладбища и скрылась в листве.

[1] Мигель де Унамуно (1864—1936) — испанский писатель.

Кашасовый Пудинг внимательно ощупал свой живот, бормоча:

— Плохо меня зашили, отвратительно.

Эротилдес провела рукой по волосам жестом, не лишенным кокетства.

Барселона опустился на землю, посидел мгновение с опущенной головой и затем пробормотал:

— Неужели мы в самом деле мертвы?

— Положи руку на сердце и посмотри, бьется оно или нет,— предложил адвокат.

Сапожник приложил свою ручищу к груди и оставался так в течение нескольких секунд.

— Не бьется.— Он сжал запястье между большим и указательным пальцами.— И пульса нет.

— Я не дышу,— сказал Жоан Пас.

Сисеро сжал живот обеими руками:

— Я чувствую, что бактерии уже развили тут бурную деятельность...

— Если мы действительно трупы, то как же объясняется то, что мы говорим, думаем... что мы все помним?..— спросила дона Кита, прервав молитву о пропавших в море, но по-прежнему перебирая четки.

— Сеньора,— ответил адвокат,— я не могу этого объяснить. Признаюсь, я не силен в оккультизме, теологии или спиритуализме. О танатологии[1] мне известно лишь то, что обязан знать каждый уважающий себя адвокат... В основном же я читал книги по своей специальности. Уже тысячелетия лучшие умы человечества бьются над тайнами жизни и смерти. Насколько мне известно, никто еще не сказал последнего слова.

Менандро снова поднял голову к звездам, напевая начальную фразу «Аппассионаты».

Сисеро процитировал:

— «Жизнь — это долгая привычка»...

— Жизнь — это порок,— подал реплику Барселона.

— В моем случае,— прошептал пианист,— это порок одинокий и грустный.

Дона Китерия обратила свой взор на небо:

— Многим даже кажется, что жизнь — это своего рода дурная привычка.

XVI

— А вот мне кажется, что мы слишком много философствуем,— сказал Барселона.— Нам нужно что-то предпринять!

— Что за спешка? — возразил адвокат.— Перед нами остаток жизни, то есть смерти... если только у вечности может быть остаток. Кстати говоря, который теперь час? — Он поднял руку к фонарю.— Дражайшая супруга, видимо, решила, что моя золотая «Омега» слишком хороша для того, чтобы я захватил свои часы в могилу...

— А мои часы исчезли в полицейском управлении,— сказал Жоан Пас.— Сейчас они, наверное, у человека, который меня убил.

— Я заложила свои двадцать лет назад,— вздохнула Эротилдес,— и у меня не было денег, чтобы выкупить их,

Барселона ощупал карманы.

---

[1] Дисциплина, изучающая причины смерти, ее признаки, явления в организме после смерти.

— Похоже, что кто-то спер «Патек-Филипп»[1], это я унаследовал от отца...

— А у меня никогда в жизни не было часов,— признался Кашасовый Пудинг.— Говоря по правде, я никогда не заботился о времени.

Дона Кита определила по звездам:

— Должно быть, почти четыре часа.

— Сколько на часах у бога? — спросил, ни к кому не обращаясь, Менандро Олинда.— Какой день сегодня в его календаре?

Барселона принялся медленно расхаживать вдоль ограды кладбища. Профессор Менандро сел на свой гроб и положил руки на колени с осторожностью человека, укладывающего в колыбели заснувших детей. Светлячки сели на голову Эротилдес и остались там, как эфемерная брильянтовая тиара.

Прислонившийся к стволу дерева Жоан Пас пробормотал:

— У меня такое впечатление, будто мы пассажиры без багажа, который потеряли в пути, и ждем следующего поезда, что пойдет неизвестно когда. Так как у нас незаполненные билеты, мы даже сами не знаем, куда мы едем.

— Ах! Это не так! — возразила дона Китерия.— Еретики, безбожники — те не знают, куда они направляются. Но тот, кто верует в бога и его церковь, знает свое назначение после смерти.

Барселона подошел к знатной даме и своим серьезным, хрипловатым голосом сказал:

— Вы, сеньора, прожили всю жизнь, оплачивая цену билета на небо милосердными деяниями, мессами, молитвами, обетами...

— Не будьте невоспитанным, Барселона,— оборвал его адвокат.— Мы должны уважать чужие убеждения.

Барселона провел рукой по всклокоченной голове.

— Скажите мне, дона Китерия, теперь, когда вы уже мертвы... видели вы бога, как вам обещала ваша церковь, ваш священник и ваши молитвенники?

— Глупец! Невежда! Моя душа на пути к богу. А то, что здесь перед вами, это мое тело, которому суждено стать прахом. Как я могу заставить понять эти духовные вещи ренегата, анархиста, террориста с бомбами, мятежника?

Сапожник раскатисто рассмеялся, издав горлом булькающий звук.

— Ладно, дона Китерия, я не буду спорить с вами. Все мы сейчас на одном корабле.

— Но, слава создателю, в разных каютах,— ответила старуха.

— Обещаю вам не забывать своего положения пассажира второго или третьего класса,— иронически улыбнулся сапожник.

Пудинг взглянул на Эротилдес.

— А мы с тобой, девушка,— в трюме корабля.

Сисеро Бранко подошел к Жоану Пасу и прошептал:

— Судя по тому, что мы слышим, даже после смерти люди не теряют вкуса к метафорам.

— Жизнь вполне может быть метафорой божьего вдохновения,— сказал профессор Менандро, но тихо, как бы боясь разбудить своих спящих дочек.

Дона Китерия поднялась, подошла к профессору и села рядом с ним:

— Скажите мне одну вещь, профессор. Как это вам достало мужества покончить с собой? Разве вы не знаете, что только бог способен дать нам жизнь и только он имеет право взять ее у нас?

Пианист взглянул на свои руки и после короткого молчания заговорил:

[1] Часы швейцарской фирмы.

— Это был дьявольский час, дона Китерия... Я сидел дома один и предавался отчаянию. Попытался сыграть «Аппассионату» и снова неудачно. Стало ясно: обманывал себя все эти годы, притворяясь, что верю в возможность выступления в новом публичном концерте, который принесет мне славу. А что было виной моего провала? Мои руки, эти неблагодарные создания! Дона Кита, постарайтесь меня понять. То, что я сделал, было, собственно, не самоубийство, а *наказание*. Если бы я в самом деле хотел покончить с собой, то принял бы яд... Или пустил бы себе пулю в лоб. Но я вскрыл ножом вены. Убил свои руки. Одна из них согласилась убить другую. Помимо всего прочего, они — братоубийцы...

Дона Китерия покачала головой.

— Вы ошибаетесь,— сказала она,— вы, безусловно, ошибаетесь.— И повторила: — Безусловно, ошибаетесь. Вы, значит, не поняли, что, вскрыв себе вены, должны были умереть от потери крови?

— Не знаю, не знаю... Я был в смятении. После того как я рассек вены, почувствовал боль, а когда увидел кровь, то на мгновение мною овладел страх. Но я тут же успокоился... Лег на софу и стал разглядывать свою комнату... Портрет отца... рояль, посмертная маска Бетховена... книжная полка, партитура, старый ковер... Чем больше крови я терял, тем больше слабел, тем больше затуманивался мой взор... И тогда все мне показалось странным сном. Я увидел свою жизнь с самого начала... Ощутил себя во чреве матери, удобно свернувшимся, укрытым, со сжатыми кулачками... Вспомнил в точности момент, когда родился, покинул это теплое гнездышко и вошел в этот мир. Вы, сеньора, сомневаетесь, не так ли? Потом я оказался уже в колыбели... в тот день, когда я поднял руки и рассмотрел их. Какой сюрприз! Эти штуки двигались... мои первые игрушки. Потом (простите меня, дона Китерия), когда я стал подростком, то пользовался этими самыми руками для недостойных целей... сексуальных, понимаете? Всю остальную жизнь мои руки были моими любовницами... Они развратили меня. Я чувствовал угрызения совести, хотел освободиться от них, но, бесстыжие, они не оставляли меня в покое и пользовались часом, когда я спал, чтобы возбуждать меня. Перед смертью я вспомнил еще и о том, как впервые ударил указательным пальцем по клавише рояля... и об остальном, о первых уроках, об учении в Буэнос-Айресе... о людях, с которыми я познакомился в доме у своего профессора... И об одном вечере в театре Колон... когда я присутствовал на концерте Артура Шнабеля. Ах! И я становился все более слабым... холодел... Совсем под конец я снова увидел, ощутил этот ужасный вечер на сцене театра Сан-Педро, когда пытался сыграть «Аппассионату»... и мои руки публично предали меня... А потом свист... свист с галерки, крики, возмущенные возгласы... И еще хуже — сострадательное молчание партера... И тогда, пусть простит меня бог, я почувствовал, как приятно умереть... избавиться навсегда от тоски, от одиночества... от всего!

Дона Китерия, молча выслушав его, спросила:

— Но разве вы не знаете, что самоубийцам заказан путь на небо?

— Дона Китерия, у меня в Антаресе было подобие ада. Непонимание, сарказм, безжалостность антаресцев заставляли меня глубоко страдать. Ад для меня не будет страшнее Антареса.

— Я нахожу, что вы несправедливы к своему старому городу и своим землякам.— Старуха бросила на маэстро суровый, почти враждебный взгляд.— И вы знаете, надеюсь, что, как самоубийцу, вас не могут похоронить на кладбище.

Он пожал костлявыми плечами и начал напевать отрывок из сонаты Моцарта. Его пальцы слегка зашевелились...

XVII

В стороне от остальных стояли друг против друга Жоан Пас и Сисеро Бранко.

— Вам точно известно, что со мной произошло,— говорил первый.— Почему вы не сказали правду остальным, грязная, продажная, трусливая каналья?

— Жоанзиньо, сдерживайте себя. Не произносите этих дурных слов. Вы знаете, что я не могу даже оскорбиться, так как кровь уже не течет по моим венам.

— Вы всегда были в услужении у старого Вакариано и Вивалдино Бразана. Подставным лицом в темных делишках этих двух развратников. Фактотумом! Как могли вы быть таким бесчувственным, таким аморальным?

— Ну, знаете, человек — не что иное, как две стороны медали. Более того, это многогранник с тысячью граней. И есть тысячи способов познать человека, событие, факт. Вы, в сущности, такой же манихеист [1] и религиозный человек, как и дона Кита, которая верит в абсолютную мораль. В общем, я вижу социалиста, который до сих пор не освободился от норм буржуазной морали.

— Не уклоняйтесь от темы разговора. Вы отлично знаете, что я умер не от воспаления легких в больнице, а был умерщвлен в тюрьме. Вы станете это отрицать?

— Нет.

— И вам также хорошо известно, что я не совершил никакого преступления.

— Минутку! Я не обладаю даром быть вездесущим и всеведущим. Даже сам префект не ведает всего, что происходит в его полицейском управлении. Был донос... Инспектор Иносенсио — фанатик правосудия и знаток своего дела. Он утверждает, что вы руководите в Антаресе «группой одиннадцати». И он хотел узнать имена остальных, возможно имеющихся в городе партизан. Допрашивали вас обычным способом, вполне допускаемым нашими законами, но ведь вы отказались говорить.

— Как я мог признаваться в том, чего не знал? Я не имею ничего общего с этой группой, если даже она и существует в Антаресе.

— Как бы то ни было, Иносенсио Пигарсо не имел иной возможности, как прибегнуть к своим «особым методам».

— Почему вы не употребляете более точного выражения — к *пыткам?*

— Ну, как у адвоката, у меня есть привычка — когда это мне удобно — пользоваться эвфемизмами.

— Сознайтесь, что это была ваша идея тайно перевезти мое тело в больницу и там инсценировать естественную смерть.

— Сознаюсь. Но вы могли бы избежать пыток и смерти, если бы открыли имена.

— Но я не знал ни одного! Впрочем, даже если бы и знал, то не выдал бы!

— Ну, в Антаресе имеется по крайней мере шестьдесят зарегистрированных в полиции коммунистов. Вы могли бы указать на десяток из них как на членов группы... и спасти себе жизнь.

— Это было бы подлостью! Я никогда бы не заплатил такой ценой за свою шкуру.

---

[1] Манихейство — доктрина, основанная Мани в III веке в Персии, согласно которой вселенная является созданием двух принципов, борющихся между собой,— добра и зла или бога и дьявола.

— У каждого человека есть своя цена. Не изображайте из себя святого, Жоан Пас. Какова ваша цена?

— Справедливость. Истина.

— Это абстракция. Вы даже не сумеете дать точного определения этим словам. И даже сейчас мы находимся тут в положении, когда слова имеют мало ценности или, вернее, вообще ее не имеют.

Сисеро поднял фонарь к лицу Жоана Паса.

— Не думайте, Жоанзиньо, что я остался бесчувственным к тому, что они сделали с вами, и к тому, что они сделали со многими другими. Когда человек, подобный мне, связывается с людьми типа Вивалдино и Тиберио, он попадает в такой переплет, оказывается настолько скомпрометированным, что приходится продолжать, иначе он пропал. Я не хотел знать, что происходит в полицейском управлении Иносенсио. Вначале меня мучила совесть, я плохо спал, упрекал себя, обещал самому себе порвать с этой шайкой. Но деньги, пахнущие для некоторых дурно, обладали для меня великолепным ароматом. Деньги — это успех. И хорошая жизнь. Но... вы не находите, что это неподходящий разговор для мертвецов?

Он сделал попытку удалиться, но Жоан Пас схватил его за руку.

— Что они сделали с моей женой, после того как убили меня?

— Иносенсио велел арестовать ее и допросить.

— С ней дурно обращались... хотя она и беременна?

— Жоан Пас, вы хотите знать правду или предпочитаете сострадательный ответ?

— Хочу правду. Как всегда.

— По всей вероятности, ей угрожали пытками...

Жоан Пас ударил Сисеро кулаком по лицу так, что тот чуть не упал.

— Каналья! Мерзавец! Бандит!

— Я ничего не почувствовал ни физически, ни морально. Нахожу этот жест смешным и нелепым в вашем положении непохороненного мертвеца.

— Бандиты Иносенсио могли убить моего ребенка.

— За несколько часов до смерти я видел Риту в полицейском управлении. Иносенсио освободил ее, и доктор Лазаро ее осмотрел. Ребенок был жив.

— Не верю.

Дона Китерия поднялась и, утешающе похлопав самоубийцу по плечу, сказала громким голосом, как бы обращаясь к собранию:

— Нам нужно что-то предпринять!

Сисеро Бранко подозвал остальных.

— Коллеги, хотя я и мертв, но не перестану быть тем, кем был в жизни: адвокатом. Я разработал план...

— Говорите! — распорядилась Китерия.

— Какова наша цель? Видимо, добиться того, чтобы мы были достойно похоронены в соответствии с нашими правами и христианскими обычаями.

— Доктор сказал коротко, но хорошо! — воскликнул Кашасовый Пудинг.

— Слушайте меня внимательно. Вы, Жоанзиньо, тоже подойдите и слушайте. Идея проста. Утром мы все пойдем в город и будем протестовать...

— Забастовка против забастовщиков,— воодушевилась дона Китерия.

— В таком случае,— вмешался Барселона,— на меня не рассчитывайте.

— Подождите,— сказал адвокат, касаясь руки сапожника.— Мы используем все наше оружие. Прежде всего наш статут мертвецов. Мы будем более живыми, чем живые.

— Как это?

— Мы предстанем перед жителями Антареса. Если нас не похоронят до срока, который мы назначим, то мы начнем разлагаться и заразим весь воздух в городе.

— Как это ужасно, доктор! — сказала Эротилдес, поправляя волосы кокетливым жестом.

— Почему бы не проголосовать предложение сеньора Сисеро? — спросил сапожник.

— Хорошо,— ответил адвокат.— Я не могу сказать, что здесь, наверху, режим демократии. Представим себе, что это... танатократия [1]. (Социологам будущего неизбежно придется признать этот новый тип режима.) Все ли согласны, чтобы я выступал в качестве вашего адвоката? Если да, мне должны быть даны устные полномочия действовать от вашего имени.

Дона Китерия утвердительно кивнула головой. Эротилдес, Пудинг и Менандро повторили ее жест. Барселона, однако, заколебался:

— Сначала я все же хочу выяснить, каков ваш план.

— Он прост. Мы спустимся вместе по улице Волонтеров Родины по направлению к площади Республики. Там мы разойдемся, каждый — к себе домой... На это у нас будет несколько часов. Главное — запомните это,— когда соборный колокол начнет отбивать полдень, все, что бы ни случилось, должны прийти к эстраде на площади, сесть на скамейки и молча ожидать моего прихода.

— А вы что станете делать?

— Пойду сначала домой, возьму кое-какие бумаги... Потом — в резиденцию префекта, чтобы предъявить устный ультиматум: либо нас похоронят в течение суток, либо мы останемся разлагаться на эстраде, что будет страшным безобразием со всех точек зрения: гигиены, эстетики... ну и морали, конечно.

Барселона провел ручищей по лицу и сказал:

— Майор Вивалдино сошлется на то, что он ничего не может сделать для нас из-за забастовки. И вот потому-то я и хочу, чтобы вы пообещали: требовать от хозяев выполнения всех условий бастующих.

Сисеро улыбнулся.

— Я и сам подумал об этом, но не ради того, чтобы помочь рабочим — это меня не интересует,— и не ради того, чтобы получить одобрение из потустороннего мира, например от Маркса. Просто ловкий адвокат использует все средства, достойные и недостойные, чтобы выиграть дело. А это, друзья, дело, в котором я и сам кровно заинтересован.— Он обратился к Жоану Пасу: — Так как? У меня еще нет вашей «доверенности»...

— Я не доверяю вам. Ваши условные рефлексы заставят вас подчиниться приказам префекта и полковника Вакариано.

— Жоан Пас, ваш идеализм притупляет ваши мысли. Послушайте: если префект и отцы города попытаются принять против нас какие-либо решительные меры, я обещаю разоблачить публично все их мошенничества, кражи и бандитизм.

— Эх! Если бы я мог поверить вашим словам!

Адвокат оглядел всех.

— Так что же, имею я полномочия?

---

[1] Власть смерти.

Шесть мертвецов кивнули утвердительно головой.

— Отлично. Теперь остается только дождаться восхода солнца.

И все семеро вернулись в свои гробы и остались там лежать с открытыми глазами в ожидании нового дня.

XVIII

На следующее утро, когда солнце было уже высоко, рабочие, всю ночь охранявшие улицу Волонтеров Родины, направились к кладбищу.

— Запашок теперь, должно быть, невыносимый,— проворчал один из них.

— Не стоит подходить к гробам слишком близко. Метров на тридцать, не больше...

— Да что толку! Ветер все равно донесет вонищу до наших ноздрей.

Человек, который шел впереди группы, обернулся:

— По-моему, все в порядке. Нам остается только подождать товарищей, которые нас сменят. Я чертовски голоден.

Толстый невысокий рабочий, нервно попыхивая своей трубкой, остановился, откашлялся и сказал:

— Подождите минутку. Мне нужно вам кое-что сказать.

Все остановились:

— Что такое?

— Когда я стоял на дежурстве между тремя и четырьмя часами утра, видел свет перед кладбищем, около гробов...

— Свет? Не может быть. Это, наверное, светлячки.

Толстяк решительно покачал головой:

— Нет. Это было скорее похоже на электрический фонарь. Свет загорался, двигался из стороны в сторону, потом гас и снова зажигался...

Один из товарищей натянуто усмехнулся:

— Держу пари, что ты спал на дежурстве и все это тебе привиделось.

— Я не спал. Даже не присел ни разу. Все ходил туда и обратно, курил и глаз не отрывал от кладбища.

— Но если ты видел свет, то почему же нам не сказал?

— Ну... я боялся, что вы захотите пойти туда, чтобы вывести дело на чистую воду. Решил, что лучше придержать язык за зубами.

— Трус.

— Живых я не боюсь, но с мертвецами не хочу иметь дела.

— Пошли!

Они двинулись дальше. Но внезапно ужас исказил их лица. Они увидели семерых покойников, медленно поднимавшихся один за другим из своих гробов, подобно человеку, с трудом пробуждающемуся от сна.

«Пресвятая богородица!» — крикнул один из рабочих. Он повернулся и бросился бежать по направлению к реке. Другие последовали за ним, задыхаясь, на ходу передавая страшную весть товарищам, охранявшим другие уличные входы, те также устремились в панике куда попало, лишь бы подальше от кладбища...

XIX

При бледно-желтом свете иссушающего солнца мертвецы молча оглядели друг друга. Сисеро Бранко заговорил первым.

— Семь распахнутых дверей в жизнь,— прошептал он, охватывая взглядом гробы.— Семь рождающихся...

Барселона улыбнулся, обнажив клыки вампира.

— ...и уже подгнивших плодов,— подхватил он.

— Вы ужасны! — воскликнула дона Китерия Камполарго, сделав гримасу отвращения.

— А ведь вы, сеньора, тоже не выглядите красавицей,— возразил сапожник.

— К счастью, я не могу себя видеть...

— Если хотите зеркало,— выступил Сисеро Бранко, пародируя ухаживание,— могу предложить вам свои зрачки.

В качестве единственного ответа Китерия повернулась к нему спиной и стала рассматривать Эротилдес, которая из семи покойников больше всех походила на труп. Кожа обтягивала кости лица, мертвенно-бледная, прозрачная, как шелковая бумага, через которую можно было видеть череп. Смерть нанесла легкие зеленоватые мазки на ноздри и вокруг глаз.

Сисеро Бранко, голова которого походила на огромный помятый баклажан, оглядел себя и произнес:

— Не знаю, почему меня отправили в могилу в этом смешном, старомодном смокинге! И в крахмальном воротничке с загнутыми уголками, с галстуком бабочкой... И в лаковых туфлях. Моя жена по-своему с ума сходит!

Затем его внимание сосредоточилось на главной представительнице клана Камполарго, чье лицо йодистого цвета делало ее похожей на мулатку, как будто смерть возвратила коже ее далекое африканское прошлое. Ее руки теперь непослушно двигались в воздухе, когда она пыталась отогнать мошкару, летавшую перед ее потухшими глазами.

Белый, как известковая стена кладбища, к которой он прислонился спиной, дабы не допустить, чтобы у него упали брюки, Менандро Олинда, не двигаясь, следил своими пустыми глазами статуи за радужным полетом стрекозы.

Кашасовый Пудинг сидел на корточках, рассматривая трудолюбивых муравьев, которые ползли длинными цепочками мимо его босых ног и начинали взбираться по ним под брюками. С отечным лицом пьяницы, с такими распухшими веками, что они почти закрывали его склеротически желтые глаза, он походил на одну из дохлых собак, которые иногда проплывают по реке, уносимые течением.

Барселона показал доне Китерии следы пыток на теле Жоана Паса:

— Смотрите, дона, как орудует ваша полиция. Видно, что инспектор Иносенсио хорошо отрабатывает свою стипендию, которую он получал во время обучения в полиции Нового государства [1].

Сисеро вмешался как хладнокровный мировой судья:

— Ладно, Барселона. Отложите свою демагогию на другое время. Нам нужно говорить сейчас о нашей жизни или, если угодно, о нашей смерти. Проблема та же: мы хотим быть похороненными достойно. Думаю, что пора начать наш поход. Итак, в путь, друзья!

— Который час? — спросил Кашасовый Пудинг.

---

[1] «Новое государство» — реакционный режим, провозглашенный в Бразилии Жетулио Варгасом в 1937 году.

— Я слышу звон соборных колоколов,— сказала Китерия Камполарго.— Это, должно быть, семичасовая месса...

— Ну так, друзья, спускаемся в Антарес,— торжественно провозгласил адвокат.— Я предлагаю — пусть дона Китерия возглавит поход.

— Почему? — запротестовал сапожник.— Потому что она богачка?

— Нет. Потому что она дама.

— Я вижу среди нас и другое лицо женского пола...

— Да, но вы не можете сравнивать дону Китерию с этой... этой...

— Говорите откровенно, не бойтесь. Шлюхой, не так ли? Так вот, что касается меня, я не вижу между ними большой разницы. Я всегда испытывал уважение к женщине, независимо от ее профессии и социального положения.

— Эх, Барселона! — воскликнул Сисеро Бранко.— Я начинаю подозревать, что вы мне зададите еще немало работы...

— Все зависит от того, как вы будете действовать. Если вы стушуетесь перед важными персонами Антареса, я вмешаюсь и буду действовать самостоятельно. Но где же наш профессор?

Все обернулись: Менандро продолжал стоять, как приклеенный, у стены кладбища.

— Пошли, маэстро.

Пианист оторвался от стены.

Едва, однако, он сделал шаг, как его брюки упали, он остановился и остался стоять, недвижимый, голый, облепленный муравьями. Он, казалось, боялся просить помощи у своих умерщвленных рук. Эротилдес расхохоталась. Дона Кита отвернулась. Барселона подошел к музыканту и, как нянька, поднял ему брюки, ворча:

— Забыли о подтяжках... Но кто бы мог вообразить, что тело этого покойника может принять вертикальное положение? — Он снял с себя ремень и обернул его вокруг талии профессора, затянув на последнюю дырку.— Готово!

— Большое спасибо, Барселона,— прошептал маэстро.— Вы хороший человек. И подумать только — я вас знаю более тридцати лет и до сих пор не замечал этого!

Сапожник пожал плечами:

— Люди, которые живут, созерцая небо, не замечают много хорошего на земле.

— Не хотите ли сказать, что относите себя к числу этих хороших людей? — заметила Китерия.

— Я не из худших, дона, не из худших.

— Вперед! — скомандовал адвокат. Он предложил руку главе клана Камполарго, но та высокомерно отказалась и неторопливо зашагала, распугивая муравьев, сметая подолом платья их движущиеся вереницы. Сисеро Бранко шел на шаг позади нее. Жоанзиньо и Барселона шествовали с боков маэстро, как почетный эскорт. Эротилдес и Кашасовый Пудинг замыкали процессию.

XX

Кондитерша дона Клементина, вдова и ревностная католичка, живет в домике с односкатной крышей и небесно-голубым фасадом, во втором справа, если спускаться по улице Волонтеров Родины. Она причастилась сегодня на шестичасовой мессе, съела свою утреннюю кашу, накормила всех канареек и щеглов и теперь направлялась, напевая, к единственному окну своей гостиной, держа в руках глиня-

ную вазу с букетом цветущей герани. Прежде чем поставить вазу на подоконник, она выглянула из окна поздороваться с соседом, который, как обычно, сидел на скамейке перед домом и читал свежую газету, потягивая мате, потом взглянула по сторонам и заметила группу, движущуюся посреди улицы медленным и неслышным шагом.

— Это что такое? Карнавал в декабре?.. Проделка студентов?..— Но сердце ее прониклось ужасом этого видения на долю секунды скорее мозга и бешено забилось. Узнав в физиономиях трупов лицо своей заказчицы Китерии Камполарго и Сисеро Бранко...— Боже правый! — дона Клементина открыла рот, уронила вазу, ноги ее подкосились, и она рухнула на колени.

Человек, потягивавший мате, поднял голову, взглянул поверх газеты, поднял очки на лоб, прищурил глаза, чтобы лучше видеть, и, узнав участников мрачной процессии, задрожал, мате полилось у него из уголков рта, подбородок опустился. Хрип вырвался из глубины его гортани, он почувствовал, будто нож вспарывает ему грудь, сосуд с мате и газета отлетели в сторону, он согнулся пополам и, как в замедленной киносъемке, соскользнул вниз и растянулся плашмя на тротуаре, ударившись головой о каменные плиты, на которых вдребезги разлетелись стекла его очков.

Покойники продолжали шагать посреди улицы. Дона Китерия, искоса наблюдавшая эту сцену, прошептала:

— Вот умер старый Виридиано!

Сисеро Бранко пробормотал сквозь зубы:

— Держаться твердо! Смотрите вперед, не говорите и не реагируйте ни на что. Это только начало.

Жоан Пас хромал, сломанная рука его болталась, как маятник. Барселона, казалось, внимательно следил за всем, что творилось вокруг, зубы его были обнажены в счастливой улыбке огро [1], только что забравшегося в палату родильного дома к колыбелям с новорожденными... Адвокат то и дело поправлял свой галстук бабочкой, будто находился в праздничном зале. Пианист держал руки скрещенными на груди. Эротилдес и Кашасовый Пудинг шли рядом, взявшись за руки,— подобно детям, заблудившимся в незнакомом городе.

Из ближайшего дома раздался душераздирающий женский крик. Послышался шум захлопываемого с силой окна и звон разбитых стекол.

Хозяин булочной «Универсо» ехал вверх по улице Волонтеров Родины на своем пикапе. Завидев людей, шествующих посреди улицы, он принялся неистово гудеть и, когда убедился, что ему не уступают дорогу, высунулся из машины и проревел: «Убирайтесь в сторону, паяцы! Карнавал еще не наступил!» И тут же узнал некоторых из покойников. Охваченный ужасом, он с силой нажал на акселератор, резко вывернул баранку, машина влетела на тротуар и с грохотом врезалась в стену дома. Булочник испустил стон, дыхание у него прервалось, и он так и остался сидеть, согнувшись над рулем, тяжело дыша, обливаясь кровью, с расширенными от ужаса глазами. До его ноздрей донесся странный сладковатый запах...

XXI

Поход мертвецов по направлению к центру Антареса был так описан позднее Лукасом Фаией в присущем ему вычурном стиле:

«Это произошло в прошлую пятницу — 13 числа жаркого трагического декабря. Утро выдалось солнечное, с чистым, про-

[1] Фантастическое существо, которым в Бразилии пугают детей.

зрачным небом, и наш город, река и окрестные поля походили на внутренность огромного собора из серебра, покрытого солнечным золотом, похожего скорее на дарохранительницу, подвешенную к алтарю небесного свода. Цикады пели на деревьях, и муравьи трудились, как в басне великого Лафонтена. Все дышало миром на этом свете. То был обычный день в жизни Антареса, думали люди, просыпаясь для повседневного труда. Но ах! Они не знали об ожидавшем их кошмаре!

По показаниям забастовщиков, охранявших входы на улицы, которые, если так можно выразиться, вливались, подобно каменным рекам, в широкое устье эспланады местного кладбища, было около семи часов утра, когда, приблизившись к некрополю, они увидели, пораженные ужасом, как восстали из своих гробов семеро мертвецов, которых не захоронили по вине забастовщиков. Охваченные паникой, рабочие пустились наутек. Один из них стал жертвой сердечного приступа, к счастью не имевшего рокового исхода.

Бронзовый голос колокола нашего собора созывал верующих на семичасовую мессу, когда семеро мертвецов в зловещем строю спустились в город по людной улице Волонтеров Родины, сея вокруг ужас и панику. Они выглядели — по свидетельству ряда достойных лиц, опрошенных нашим репортером,— причудливыми экспонатами музея восковых фигур.

Свидетели, видевшие покойников, были единодушны в утверждении, что те двигались как окоченевшие, подобно механическим куклам, которых кто-то завел — бог или дьявол? Их глаза, устремленные в неопределенную точку на горизонте, были покрыты странной пленкой, которая одним показалась липкой и блестящей, а другим — матовой. Вызывало удивление то обстоятельство, что их тела не отбрасывали ни малейшей тени. Немало антаресских граждан отказалось поверить увиденному, сочтя себя жертвами галлюцинации. Воскресшие мертвые? Призраки? Невероятно! Ужасно! Нечто небывалое не только в анналах нашего города, но и в анналах человечества! И это случилось в нашем любимом мирном Антаресе! Мы были между тем вынуждены поверить по крайней мере трем нашим чувствам — зрению, слуху и обонянию,— мы ничего не можем сказать о двух остальных чувствах, ибо никто не дотрагивался до этих странствующих мертвецов и тем более — простите меня за вольность — не пробовал на вкус их разлагающуюся плоть. И даже теперь, когда кризис миновал, журналист, пишущий эти строки, продолжает спрашивать себя: не было ли все это дурным сном, пережитым населением города, вернее, кошмаром, который навис над нашим Антаресом подобно темной, свинцовой туче?

Только на улице Волонтеров Родины мрачная процессия стала причиной более двадцати жертв, первыми из которых явились достопочтенная вдова дона Клементина Монтенегро и сеньор Виридиано Фонсека. Первая с испуга упала в обморок и, когда очнулась, с нею случился нервный припадок, от которого она еще не оправилась. У второго разыгрался сердечный приступ, и он был помещен в больницу «Сальватор Мунди», где пребывает до сих пор в состоянии, внушающем опасение. Жуткая группа, несмотря на все это, непреклонно двигалась к центру города в могильном молчании, оставляя позади себя страшное зловоние, вскоре заполнившее все прилегающие улицы. Создавалось впечатление, что, как сказала леди Макбет в драме бес-

смертного Шекспира, все ароматы Аравии никогда не смогут очистить наш город.

Одна беременная сеньора, имя которой мы по этическим соображениям не называем, увидев из своего окна шествие семи покойников, была настолько потрясена, что преждевременно произвела на свет ребенка. Мы точно информированы о том, что сеньор Марио Орегано, владелец овощной лавки «Новая Италия», увидев дону Китерию Камполарго, одетую во все черное. нашел ее столь похожей на свою скончавшуюся мать, которая похоронена на маленьком кладбище его родной деревни близ Неаполя, что устремился к доне Китерии с безудержными рыданиями, восклицая: «Mamma mia! Mamma mia!»

Было бы слишком утомительно перечислять все ужасы этого мрачного утра, но мы не можем не рассказать о случае, который нам представляется, пожалуй, самым впечатляющим из всех. Сеньор Эгон Штурм, местный торговец зерном и чемпион по стрельбе, при виде процессии был охвачен таким бешенством, что взлетел на крышу своего дома и оттуда принялся палить из карабина в семерых покойников. Выстрелы, как утверждают очевидцы, попадали в головы и грудь мертвецов, не причиняя им ни малейшего вреда, ибо пули для их тел были менее ощутимы, чем прикосновение мухи. И, кстати, коль речь зашла о мухах, огромный рой их сопровождал, жужжа, покойников, будто рой крохотных ангелов-хранителей. Дантово зрелище!

Мы не сумеем сказать, сколько времени понадобилось на то, чтобы весть о страшном событии распространилась по всему городу. Нам известно из верного источника, каковым являются сведения, полученные от нашего постоянного читателя и подписчика сеньора Оскарио да Лус, сборщика федеральных податей в этом муниципалитете, что, завидев мертвецов, остановившихся на углу улицы Волонтеров Родины и площади Республики, он бросился в собор, где падре Жеронсио Албукерке произносил проповедь. Проявляя признаки раздражения, вызванного тем, что упомянутый сеньор поднялся по ступенькам амвона и прервал его проповедь, викарий, недовольно выслушав его, покачал недоверчиво головой. Под конец, учтя (как он сам нам сказал позднее) то обстоятельство, что сеньор Оскарио да Лус считается порядочным и солидным человеком, решил пойти взглянуть воочию на это странное явление. Он посоветовал верующим спокойно оставаться на своих местах, спустился с амвона и, как был в сутане, вышел из храма и направился к группе, которая продолжала стоять на углу, причем наш добрый священник был убежден, что речь идет о «проделке желторотых хулиганов». Утренний ветерок, однако, донес до него запах тлена, и наш дорогой падре Жеронсио тут же узнал своих старых друзей — Китерию Камполарго, Сисеро Бранко, а также профессора Менандро Олинду... Он остановился, осенил крестом мертвецов, открыл рот, чтобы что-то сказать, но губы его задрожали, и он не смог издать ни единого звука. Викарий пал на колени, бледный от ужаса, схватившись обеими руками за сердце. В этот момент мимо проходил сеньор Транкуилино Алмейда, начальник местной таможенной охраны, человек известного мужества, он выхватил из-за пояса револьвер и, направив его на жуткую шайку, бросился на выручку викарию. Помог ему подняться и, обняв его левой рукой за талию, все еще с револьвером, наведенным на покойников, стал медленно отступать и сумел таким образом втащить священника в собор. К этому времени страш-

ная весть постепенно распространилась среди верующих, и растущий гул голосов, прерываемый рыданиями, наполнил помещение собора. Викарий сел на ступени алтаря, ризничий принес ему стакан воды, но падре Жеронсио едва смог отпить глоток, так сильно дрожали у него руки и подбородок. Сеньор Транкуилино лишь спустя некоторое время заметил, что вошел в дом божий в шляпе и с револьвером в руке. Он вздрогнул, обнажил голову и быстро спрятал оружие. С трудом обретя дар речи, падре подошел к микрофону, воздел руки к небу и провозгласил: «Семеро мертвецов воскресли и восстали из своих гробов. Это Страшный суд! Всемогущий бог начинает судилище над живыми и мертвыми. Покайтесь же в своих грехах, еще есть время! Господи, смилуйся над нами. Помолимся! Помолимся! Все на колени! Будем молиться!»

Теперь завопили все. Женщины кричали, некоторые бросались на пол и катались в истерике, одна разорвала на себе одежду, оставшись полуобнаженной и растерзанной. Многие попадали в обморок. Даже мужчины плакали, между тем как наиболее спокойные тщетно пытались навести какой-то порядок в этой чертовщине, если можно употребить это слово в отношении католического храма. Некоторые женщины распростерлись перед образом покровительницы нашего города, а одна пожилая сеньора черпала руками святую воду из чаши и лила ее себе на голову, обмывая щеки, лоб, руки, будто хотела смыть все свои грехи. Падре продолжал кричать: «Это Страшный суд! Покайтесь, еще есть время! Молитесь! Молитесь! Молитесь!» Многие, стоя на коленях, молились, сложив руки, обратясь к главному алтарю. Внезапно послышались громкие, резкие звуки. То была одна дама (имя ее мы с позволения читателей опускаем), которая в молодые годы обладала довольно приличным сопрано и даже дала один концерт в театре Сан-Педро в Порто-Алегре. Сейчас, встав на скамью, она запела несколько дрожащим голосом, фальшивя, но смело, «Ave Maria» Гуно. Мужчины и женщины, давние враги, со слезами обнимались, прощая друг другу обиды. Многие шли в исповедальню, где стали требовать падре Жеронсио сначала спокойно, а затем со скандалом. В азарте, оспаривая места в очереди на исповедь, люди так толкались, что двое мужчин подрались и упали на пол в жестокой схватке. (Еще раз позвольте не называть имен.) И будто всего этого смятения было недостаточно, у ризничего возникла злополучная идея взобраться на колокольню и, повиснув на веревке колокола, трезвонить как на пожар. Это, как и следовало ожидать, усилило ожесточение и отчаяние бедных людей, которые не осмеливались выйти из церкви на улицу. Сеньор Транкуилино Алмейда побежал на колокольню, велел ризничему оставить колокол, а поскольку тот отказался подчиниться, таможенный стражник взял его за пояс, поднял и отнес в ризницу, где бросил в кресло».

XXII

Едва колокол перестал звонить, Сисеро взглянул на товарищей и сказал:

— Наше присутствие, похоже, уже замечено в городе. Теперь каждый может поступать как ему угодно: пусть идет повидаться со своими близкими или попугать своих врагов. Повторяю: главное — это точно в полдень всем прийти, усесться на скамейке эстрады на

площади и ждать меня спокойно и по возможности молча.— Он повернулся к доне Китерии: — Что вы намереваетесь сделать, сеньора?

— Пугнуть хорошенько моих зятьев и дочерей.

— Могу я проводить вас?

— Нет. Я знаю дорогу.

Семеро мертвецов разошлись. Площадь опустела. Окна и двери окружающих домов были плотно закрыты. Дона Китерия ушла, покачиваясь, но держась очень прямо, похожая на статую святого на носилках в праздничной процессии. Бездомная собака поплелась было за ней, но тут же остановилась, поджав хвост, подняла морду и тревожно завыла.

Матрона Камполарго оказалась перед собственной виллой, двери и окна которой были заперты. Она вошла через боковые ворота, пересекла пустынный сад, погладила кончиками пальцев свои любимые розы и направилась прямо к черному ходу дома. Поднялась по трем ступенькам, ведущим в коридор, проследовала по нему неслышными шагами, миновала незамеченной кухню, где ее негритянки оживленно беседовали за приготовлением утреннего кофе, и бесшумно прошла к дверям столовой, откуда доносились мужские и женские голоса.

Спрятавшись за створкой полуоткрытых дверей, старуха увидела своих дочерей и зятьев. Они сидели за столом, посередине которого виднелась открытая шкатулка, отделанная бархатом аметистового цвета, с зеркалом на внутренней стороне крышки. Вокруг шкатулки были разложены те драгоценности, которые покойная хотела унести с собой в могилу: брильянтовое кольцо, жемчужное ожерелье, изумрудные серьги, рубиновая брошь, браслет из литого золота... Один из зятьев, ветеринар, поднялся, зевнул, потянулся, затем, закурив сигарету и выпустив клуб дыма, взглянул на старинные часы с маятником и сказал раздраженно:

— Почти восемь часов! Прямо не верится, что мы проспорили всю ночь и не пришли к соглашению. Думаю, теперь мы можем, по крайней мере, выпить кофе. Я засыпаю и прямо умираю с голоду.

— Сейчас подадут кофе,— ответила сухо его жена.

Торговец провел рукой по редким волосам.

— Я внес здравое предложение, но мои дорогие свояки отвергли его. Вы считаете, что если я деловой человек, то непременно должен быть бесчестным.

Фармацевт пожал плечами:

— Идея обсудить эти проблемы сейчас же принадлежала не мне. Я всегда говорил, что мы должны подождать до вскрытия завещания...

— Ах, мой дорогой! — прервал его ветеринар.— Мы не знаем, какого характера завещание сделала старая Кита. Она могла оставить по участку земли каждому арендатору, каждому пеону. Вы же знаете, что она не умирала от любви к нам. Мы можем получить неприятный сюрприз, когда завещание будет оглашено. Вам известно, что я больше всего заинтересован в поместье. И уже сделал свое предложение: я арендую вашу часть. Мы не можем и не должны дробить фамильные земли.

— Это мы все знаем,— отозвалась одна из дочерей.— Речь идет о драгоценностях. Они не будут фигурировать в завещании, потому что, как всем известно, мать собиралась унести их с собой в могилу.

Дантист, который производил какие-то расчеты в своей записной книжке с черным переплетом, поднял голову и сказал с профессиональным видом:

— У меня тут есть формула, способная разрешить нашу проблему!

— Какая там еще к черту формула,— обозлился ветеринар.— Нужна нам твоя протезная математика!

Жена торговца взяла ожерелье в обе руки, долго и любовно его рассматривала и заявила:

— Я уже сказала, что этот жемчуг — мой и ничей больше!

Жена дантиста возмутилась:

— Забавно! Это почему же?

— Вы помните тот réveillon [1] 31 декабря, за год до моей свадьбы? Так вот, мама велела мне тогда пойти на бал в этом ожерелье и сказала, что жемчуг очень хорошо гармонирует с цветом моей кожи.

— Ах, вот что! — ответила другая.— А есть у тебя доказательства, что она сказала именно так?

— Ну, доказательств у меня нет. Но если моего слова тебе недостаточно, тогда убирайся к чертовой матери!

— Девочки! — вмешался фармацевт.— Что такое? Я не понимаю, как это вы, не спавши всю ночь, еще находите силы ссориться. Я сдаюсь...

— Никто не хочет выслушать мое предложение? — сделал еще одну попытку дантист.

Жена ветеринара надела на палец кольцо и, отведя руку, любовалась им.

— Мама всегда говорила, что это кольцо должно быть моим, потому что я старшая из сестер.

— Лгунья! — вспылила жена торговца.— Я никогда не слышала, чтобы старуха это говорила.

— Говорила, да. Вы можете поделить все остальное — меня ничто не интересует. Я хочу получить солитер.

Дантист поднялся и оглядел драгоценности.

— А где же обручальное кольцо? — спросил он.— Я совсем недавно видел его рядом с брошью.

Все подозрительно переглянулись.

— Наверняка дона Филаделфия побывала здесь,— пошутил ветеринар.

— Я говорю серьезно,— возразил дантист.— Где обручальное кольцо старухи? Оно из литого золота.

Ветеринар напал на свояка:

— Ты что же, намекаешь на то, что кто-нибудь из нас положил эту вещь в карман, ты, зубодер?

— Я тебе покажу «зубодер», скотина!..— ответил дантист, отступая на шаг и кладя очки в карман, готовый к драке.

— Ради бога, ребята! — вмешался фармацевт, становясь между двумя свояками, чтобы утихомирить их.— Я думаю, мы все раздражены от усталости и бессонной ночи. Отложим наш спор на завтра.

— Но где кольцо? — не унимался дантист.— Если кто-нибудь хочет меня обыскать, я в вашем распоряжении. Но все, включая женщин, тоже должны быть обысканы.

Ветеринар, человек атлетического телосложения, схватил обеими руками лацканы пиджака дантиста, почти поднял его в воздух и закричал прямо в лицо:

— Ты на что это намекаешь?

Дантист освободился, как мог, от ветеринара, укрылся в углу комнаты за креслом и крикнул оттуда:

— Я только констатировал факт. Исчезла драгоценность.

---

[1] Новогодний ужин *(франц.)*.

— Ну что ж,— предложила жена фармацевта,— давайте обыщем всех.

Одна из женщин вдруг начала принюхиваться, наморщив нос:

— Вы ничего не чувствуете?

— Не заговаривай нам зубы,— возмутился дантист.— Где кольцо?

Торговец незаметно сунул руку в карман, потом наклонился и сделал вид, что нашел что-то на полу.

— Эй! Взгляните-ка! Оно упало на пол,— сказал он, смущенно улыбаясь, и положил кольцо на стол.

Следующая из женщин потянула носом воздух:

— В самом деле. Уж не околел ли чей-нибудь кот в подвале?

Дантист покосился на торговца.

— Как это кольцо могло упасть так, что никто не услышал стука?

Тот пожал плечами:

— Если ты считаешь, что я украл эту ерунду, то мне наплевать. Теперь, когда старуха умерла, мы все можем, слава богу, разделиться, у каждого будет, наконец, свой дом, и мне не придется ежедневно видеть твою физиономию.

Теперь фармацевт наморщил нос, принюхался и сделал гримасу.

Наступило молчание, прерываемое зевками. Фармацевт подошел к окну подышать свежим воздухом.

— Так на чем же мы порешим? — спросил ветеринар.

— Меня прямо тошнит,— пожаловалась одна из женщин.

— Хотите вы или нет выслушать мое предложение? — воскликнул дантист, будто забыв о нанесенных оскорблениях, бесстрастный, как счетно-вычислительная машина.

— Ладно,— сказал фармацевт.— Выкладывай свою знаменитую формулу.

— Я больше не вынесу...— простонала, бледнея, жена торговца.

— Мы все не вынесем, как только услышим магическую формулу Эйнштейна,— заметил ее муж.

Дантист сел, поправил очки, открыл свою записную книжку и сказал:

— Решение архипростое. В завещании, как известно, эти драгоценности не фигурируют. Следовательно, нам нужно решить их судьбу здесь и тотчас же. Я предлагаю произвести оценку каждой драгоценности. В случае сомнения прибегнем к вполне демократическому способу голосования. К примеру,— он указал на одну из свояченицы,— если ты останешься с жемчужным ожерельем, а моя жена с серьгами, то та, которой достанется более дорогая вещь, должна возместить другим разницу в цене, и это может быть выплачено деньгами, либо... скотом, например, либо векселями, банковскими акциями... и тому подобное...

— Это очень сложно,— прервал его ветеринар.

— Я хочу жемчужное ожерелье,— упрямо повторила жена торговца.

— Солитер — мой. Я устрою скандал, если вы не отдадите мне это кольцо.

Пот катился по лицу мужчин. Дантист вскочил и начал ходить по комнате, принюхиваясь, как легавая собака.

В дверях столовой внезапно возникла Китерия Камполарго:

— Не пугайтесь, мои мальчики и девочки. Я пришла только за своими драгоценностями.

Самая младшая дочь страшно закричала. Самая старшая упала на колени и завопила:

— Маму похоронили заживо!

— Караул! — вскричал фармацевт и бросился из столовой в сад,

в то время как жена торговца каталась с визгом по полу в припадке истерии.

— Зловоние, которое вас беспокоило, идет от моего трупа,— сказала старая Кита,— но еще больше зловония от ваших мыслей, мелкие вы мошенники! Я просила, чтобы меня похоронили в этих драгоценностях, но вы не выполнили моего распоряжения. Я уже давно слушаю этот недостойный спор. Никто не сказал обо мне ни единого ласкового слова, не выразил почтения или скорби. Все вы только и думаете о моем завещании.

Дантист лежал на полу без сознания. Ветеринар и торговец, парализованные страхом, были не способны ни говорить, ни двигаться.

Покойница подошла к столу и, сложив в шкатулку одну за другой все драгоценности, направилась с ней в уборную, выбросила содержимое шкатулки в унитаз, несколько раз спустила воду и вернулась в столовую:

— Готово! Спорам конец. Мои драгоценности унаследовала река Уругвай!

XXIII

Сисеро Бранко проник в свою квартиру, окна которой были еще закрыты. Тишина и полумрак. Он остановился перед овальным зеркалом в маленькой передней, однако не увидел в нем никакого изображения. Все же он поправил галстук и смахнул пыль с шелковых лацканов.

Часы в столовой начали медленно бить. После восьмого удара снова наступила тишина. Адвокат прошел по длинному коридору, ведущему в его кабинет. Остановился перед своей супружеской спальней, постоял мгновение, прислушиваясь, потом с осторожностью вора нажал на ручку двери и стал медленно отворять ее, пока не образовалась щель, через которую он и проник в комнату. Все так же мягко ступая, подошел к окну, выходящему на улицу, и отдернул шторы, открыв доступ солнечному свету. Эфижения Бранко, его жена, лежала в постели с мужчиной, оба были обнажены. Она лежала на левом боку, полусогнувшись. Как плод во чреве, приютился в гнезде, образованном ее бедрами, животом и грудью, молодой человек, на вид не старше двадцати лет, которого она оплела руками. Веки вдовы Сисеро задрожали от внезапного яркого света и через несколько секунд открылись. Эфижения увидела черную фигуру у освещенного окна, издала слабый крик и вскочила на колени, испуганно моргая, увядшие груди ее висели, как два белых плода жаки [1].

— Добрый день, Эфижения,— произнес Сисеро насмешливо,— ты меня еще помнишь? Это -я — Сиси...

Ее как громом поразило. Парень проснулся и, заметив странное существо, соскочил в испуге с постели и прижался к стене, как бы защищаясь. Только тут Эфижения узнала мужа. «Сисеро! Боже мой... но ты же умер!» — и она как одержимая принялась вопить, кататься по кровати и рвать на себе волосы, пока не упала в изнеможении на спину со вздымающейся грудью, судорожно сжимая простыню и хрипя.

Сисеро повернулся к юноше, который, побледнев, дрожал теперь с головы до ног.

— Разрешите представиться. Сисеро Бранко. Посмертный рогоно-

---

[1] Жака — хлебное дерево.

сец. Нет, вру. Жена меня обманывала еще при жизни. В городе распространялась масса анонимных писем, которые держали меня в курсе амурных похождений этой дамы, включая подробности относительно места, часа и имени мужчины. А ты? Похоже, я тебя не знаю... или знаю? Перестань трястись, мальчик! Я тебе не причиню никакого вреда. Если тебя что-то беспокоит, намочи платок одеколоном, он здесь на туалетном столике, и заткни себе нос.

Эфижения продолжала лежать на кровати. Сисеро оценивал молодого человека взглядом художника.

— Блондин, хм? Почти безбородый. Мускулатура... сойдет. Аполлон в весе петуха. Студент, предполагаю. Ну что ж. Моя жена любит мальчиков. Она ежегодно собирает богатую жатву во время летних каникул, когда студенты Антареса возвращаются из Порто-Алегре и других центров.— Он внимательно оглядел юношу.— Ладно, чтобы быть откровенным, природа оказалась не слишком щедра к тебе. Впрочем, *Давид* Микеланджело страдает той же мужской скудостью. Но твоя молодость, твое ангельское лицо должны обеспечивать тебе успех у женщин определенного возраста.

Он подошел к кровати, слегка наклонился над вдовой, постоял мгновение, глядя на нее, и затем сказал:

— Потеряла сознание. Когда я уйду, Ромео, постарайся оживить эту свою Джульетту faisandée[1]. В шкафчике в ванной есть пузырек с нашатырным спиртом.

Парень упал на колени и закрыл лицо руками.

— Что с тобою?! — воскликнул Сисеро.— Возьми себя в руки. У меня больше нет ни юридических, ни моральных прав на эту сеньору. Она вдова. Может спать с кем угодно. А! Кстати, достигли вы вместе радости? Это всегда было мечтою Эфижении. К несчастью, я никогда не мог доставить ей это удовольствие... Старина Фрейд дает объяснение всем этим вещам. И, кстати, говоря о Фрейде, ты знаешь, что моя вдова уже в таком возрасте, что могла бы быть твоей матерью? Ты совершил невольно своего рода кровосмешение... без всяких шуток, я далек от этого! Но должно быть нечто пикантное в обладании вдовой человека, который еще не похоронен, а? И на его супружеском ложе! Почти акт некрофилии...

Молодой человек теперь лежал, распростертый на полу, тело его блестело от пота.

— Встань, мальчик. Я ухожу. Пойду договариваться о своих похоронах. Приведи в чувство свою сожительницу, убеди ее, если сможешь, что все это был кошмар... К сожалению, кое-какое «благоухание» еще останется на некоторое время в этой комнате... Но занимайтесь любовью здесь же. Это будет très exotique, très marquis de Sade[2]. Ты должен знать немного французский... не так ли?

По-прежнему на цыпочках Сисеро Бранко покинул спальню и направился в свой кабинет, открыл оба окна, уселся за письменный стол, взял авторучку и принялся что-то писать. В доме по-прежнему царила тишина.

XXIV

Напугав нескольких человек, встретившихся ему по дороге и сидевших у своих окон, Сисеро Бранко вошел в нотариальную контору старого Аристарко. Нотариус, сидя за своим столом, изучал бумаги. Увидев вошедшего, он вскочил так резко, что уронил кресло, в кото-

[1] Подпорченная, с душком *(франц.)*.

[2] Очень экзотично, прямо по маркизу де Саду *(франц.)*.

ром сидел, сделал судорожный глоток и остался стоять, глядя на покойника.

— Аристарко, дружище, я знаю, что ты — ясновидящий медиум, поэтому не думаю, что боишься душ из потустороннего мира.

Нотариус неслышно пошевелил губами, как актер немого фильма. Он вытащил из кармана платок и, дрожа, вытер пот, обильно струившийся по лицу. Наконец ему удалось обрести дар речи:

— Ты же не душа! — И с этими словами он отступил, наморщив нос.— Ты труп, находящийся в процессе разложения.

— Разложение — участь любой плоти... это красивая фраза.

— Я медиум, да, возможно, самый известный медиум Миссионерского района. И убежденный кардекист [1]. Уже более сорока лет я читаю все, что мне попадает в руки, о спиритуализме. Никогда не слышал о случае, подобном этому... семеро мертвецов восстали из своих гробов... Я же знаю, что ты умер, читал свидетельство о смерти, видел твой труп.

— Итак? Как же ты объясняешь этот факт?

Аристарко покрутил головой.

— Я не могу дать тебе никаких объяснений. Но могу сказать, основываясь на своем опыте медиума и изучении спиритуализма, что никогда в жизни не видел подобного рассеяния эктоплазмы и не верю этому.

— Ты не признаешь того, о чем свидетельствуют твои чувства?

— Я знаю, что передо мною труп, который движется и говорит, но не дух, нет...

— Ладно. Я пришел сюда не затем, чтобы просить у тебя объяснения того, что со мною случилось, но чтобы воспользоваться твоими профессиональными услугами.

— Не понимаю.

— Ты узнаешь во мне человека, который в жизни именовался Сисеро Соэйро Бранко?

— Узнаю и удостоверяю.

— У тебя есть образец моей подписи?

— Есть.

— Это мне и нужно.— Сисеро извлек из конверта две бумаги, которые и положил на стол перед нотариусом.— Я хочу, чтобы ты заверил мою подпись на этих документах.

Нотариус взглянул нерешительно на покойника.

— А в чем дело?

— Это тебя не касается. Подлинная это подпись или нет?

— Подлинная!

— Тогда скрепи документ своей печатью и подписью. Да! Поставь дату — десятое декабря.

— Этого я не могу сделать.

— Почему же это?

— Потому что я честен. Сегодня тринадцатое.

— А кто, скажи мне, кто может доказать, что я не был в твоей нотариальной конторе во вторник десятого, за два дня до своей смерти?

— Бог.

— Бог взглянет сквозь пальцы на этот грешок, поскольку документ имеет благородную цель.

— Сомневаюсь.

— Забавно, Аристарко. Ты похваляешься своей честностью, отка-

---

[1] Аллан Кардек (1803—1869) — французский теоретик спиритуализма.

зываешь мне в маленьком одолжении, а вместе с тем, помнишь, в истории с имуществом вдовы Эрвала Секо в 1958 году ты прекрасно признал фальшивую подпись.

Аристарко опустил голову, нервно закашлялся, провел платком по лысине и пробормотал:

— Да, но под давлением угроз полковника Тиберио, префекта... и твоих!

— Так вот, считай, что сейчас тебе так же угрожают! Давай! Заверяй эти подписи. Я не могу терять время.

Аристарко, подавленный, поднял опрокинутое кресло, уселся снова за стол, несколько мгновений смотрел на бумагу, потом, все еще качая головой, сделал то, что от него потребовал Сисеро.

XXV

Барселоне удалось проникнуть в свой домик с односкатной крышей в Сонном переулке, взломав одно из окон. Он влез в свою спальню одинокого вдовца. Постель была не убрана. На полу у кровати валялись его домашние туфли. На столе — брошенная им полосатая пижама. На ночном столике — стопка книг, он быстро перелистал их: труды Сореля и Бакунина на испанском языке, пожелтевшие, потрепанные брошюры.

Он прошел в мастерскую, открыл там единственное окно, осмотрел один за другим свои инструменты — кусачки, молоток, плоскогубцы, рашпиль, шило... Погладил колодки, взял кусок дубленой кожи и остро отточенным ножом отрезал от него часть. Сел на табуретку и несколько минут с улыбкой заколачивал гвозди в подметку, продолжая ту работу, которой как раз занимался, когда у него произошел разрыв аневризмы. Потом пустил в ход швейную машину. Взглянул на полку, увидел несколько пар стоящих рядом туфель, взял самую большую из них, огромные мужские туфли, вынул из одной бумажку и прочел: *Джефферсон Монроэ III*. «Янки, сукин сын,— проворчал он,— агент ЦРУ. Я бы должен был вернуть тебе эти корабли с бомбой внутри!»

Он выбрался из дома тем же путем и медленно направился к площади, пересек ее и пошел прямо в Управление полиции, где находилась городская тюрьма.

У входа полицейский, вооруженный карабином, преградил ему путь.

— Что вам нужно?

— Сказать всю правду твоему начальнику. Прочь с дороги, свинья!

Узнав покойника, солдат побледнел, выронил оружие и бросился бежать. Другие охранники, завидев мертвеца, также в панике разбежались. Барселона прошел по коридору, пересек внутренний дворик, окруженный галереей, и направился прямо к кабинету полицейского инспектора.

Иносенсио Пигарсо, без мундира, сидя за своим письменным столом спиною к двери, разговаривал по телефону. Сапожник притаился за дверью и стал слушать:

— Нет, полковник Тиберио. Я считаю, что все это не более как глупая шутка студентов, приехавших на каникулы. Каждый год в декабре они безобразничают. В прошлом году вышли на улицу почти голые... Где это видано, чтобы мертвые воскресали? Вот именно!.. Хм?.. Нет. Я только слышал, многие клянутся, что видели покойников. Но

я этому решительно не верю. Я недавно проходил по площади и что-то не заметил там никого, ни живого, ни мертвого. Знаю, знаю, в городе начинается паника. Виною всему эти проклятые слухи. Тут, возможно, действует рука коммуниста. Как? Что вы говорите? Значит, зятья доны Китерии утверждают, что старуха сидит дома в качалке? И даже уже разложившаяся? Они, должно быть, пьяны или помешались.

Барселона улыбнулся и еще помедлил, держась за ручку двери.

— Нет,— продолжал Иносенсио,— я не звонил префекту, счел просто неудобным беспокоить его так рано подобными глупостями. Хорошо. Я выйду снова, проверю все сам и, разумеется, приму меры, если понадобится. Потом сообщу вам... Пока, полковник! Привет супруге... Что? Могу себе вообразить. Ведь она была близкой подругой доны Киты... Я обещаю все выяснить менее чем за пару часов и засадить в тюрьму виновных в этой дурной шутке.

Иносенсио нетерпеливо вздохнул, положил трубку и, потянув носом воздух, стал принюхиваться, делая гримасы. Затем повернулся, узнал Барселону, вскочил, отступил на три шага и с вытаращенными от страха глазами схватился за револьвер у пояса.

— Барселона... ты же умер!

— Ну и что ж, негодяй! Да, я мертв и даже разлагаюсь. А вот ты жив и все же более гнилой, чем я. Гнилой в душе. Гнилой в сердце.

Инспектор отступил к окну, будто хотел выскочить на улицу.

— Ты был похоронен заживо?

— Нет. Я настоящий покойник и уже независим от вашего капиталистического общества, от лакеев вроде тебя, грязная сволочь, бандит, убийца, сукин сын!

Иносенсио пытался овладеть собой, справиться с подступающей тошнотой и испугом. Наконец он с трудом выдавил:

— Ты меня не испугаешь! Считай себя арестованным!

Сапожник расхохотался, и в уголке его рта показалась вязкая темная жидкость. Инспектор закричал:

— Начальник охраны! Мигелито! Палмиро! На помощь!

— Бесполезно. Твои солдаты — трусы. Они удрали, едва узнав меня.

Пот градом катился по лицу инспектора. Задыхаясь, он расстегнул воротник, распустил галстук, повертел головой из стороны в сторону, как бы для того, чтобы отогнать это кошмарное видение.

— Что ты хочешь от меня? — спросил он, с трудом переводя дыхание.

— Хочу испортить тебе жизнь. Отравить твои легкие и пробудить твою совесть. Ты пытал и убил Жоана Паса. Ты за это ответишь рано или поздно.

— Не подходи ко мне! — завопил инспектор, хватаясь за револьвер.— Убирайся или я буду стрелять!

— Стреляй, курица! Ты не сможешь убить мертвеца!

Иносенсио Пигарсо нажал на спуск. Раздался выстрел. Смеясь и медленно подходя к нему, Барселона повторил: «Стреляй снова!» И Иносенсио четырьмя выстрелами подряд пронзил тело сапожника.

Обнаружив, что истрачен последний патрон, он швырнул револьвер в Барселону, но промахнулся. И тогда, чтобы покойник до него не дотронулся, он отбежал в угол кабинета и присел на корточки в позе индейской мумии. Лицо его позеленело, желудок конвульсивно сжался, и его стошнило на грудь, брюки, ботинки, на пол.

Барселона подошел к инспектору:

— Стоило умереть ради того, чтобы только увидеть это зрелище. Я удовлетворен!

Он повернулся, направился к двери, вышел в коридор и уже пересекал дворик, когда солдаты охраны, укрывшись за парапетом галереи, стали палить в него из карабинов. Не ускоряя шага, улыбаясь и посылая в разные стороны воздушные поцелуи, Барселона спокойно направился к выходу на улицу под перекрестным огнем.

XXVI

Вивалдино Бразан после утреннего кофе еще в пижаме любовался цветком habenaria в своем орхидеарии, когда зазвонил телефон. Он направился в комнату, где стоял аппарат, снял трубку и услышал страшно возбужденный голос своего секретаря:

— Префект! Произошло нечто невероятное, ужасное! Семеро мертвецов, которые остались непохороненными, восстали этим утром из своих гробов и спустились в город!

— Мендес, ты пьян уже в такую рань?

— Клянусь всем на свете, я пил только мате, майор! Многие уже видели покойников. Викарий, Транкуилино... старый Озорио, бывший сборщик податей... и другие... многие другие!

— Послушай, дружище, выпей крепкого кофе. И не искушай больше моего терпения. Ну где это видано?

— Здесь вот полицейский инспектор. Он будет с вами говорить.

— Слушаю! Это Иносенсио?

— Он самый, майор.

— Я не узнаю твоего голоса. Что такое?

— То, что Мендес сейчас тебе сказал,— правда.

— Ты тоже? Вы думаете, мне нечего больше делать?

— Майор, даю честное слово.

— Но ты сам-то видел своими глазами кого-нибудь из этих... этих покойников?

— Барселона только что ворвался в мой кабинет, оскорблял меня. Я разрядил в него свой револьвер. Все выстрелы попали в цель, но он и не шелохнулся. Потом моя охрана изрешетила его пулями во дворе управления, а он шел и только посмеивался...

— Может быть, это случай кара... ката...— как это там? — каталепсии?

— Нет, майор. Человек действительно умер. От него воняет, как от дохлого пса. Остальные расхаживают повсюду. В городе началась паника. Дона Кита у себя дома, сидит в своем кресле-качалке. Дочери и зятья (я знаю из верного источника) бежали в имение. Соседи профессора Менандро видели, как он прошел к себе в дом, а потом слышали звуки рояля...

— Невозможно! Вы все видите призраков. В молодые годы, когда я помогал брату полковника Тибериано обучать войска, мы зачастую ночевали на кладбищах под открытым небом и никогда не видели ни одной души из загробного мира. Мертвые не возвращаются.

— Но эти вернулись, майор. Даю вам честное слово.

Вивалдино вытер взмокший лоб рукавом пижамы.

— И все же считаю, что вы стали жертвами...— Он не закончил фразы. По комнате распространилось зловоние. Майор обернулся. Перед ним был Сисеро Бранко.

— А теперь веришь? — спросил тот.

Вивалдино уронил трубку, отступил на несколько шагов, не спуская глаз с «привидения». Зубы его стучали, когда он пробормотал:

— Сисеро... но ты... ты же мертв!

— Не отрицаю. Ну и что с того?

— Как... Как это объяснить?

— Никак.

— Что ты хочешь?

— Я и остальные шесть покойников, которых я представляю как адвокат, хотим, чтобы нас похоронили, мы имеем на это право. К сожалению, из-за недостатка времени я не смог оформить письменные доверенности моих подопечных.

Вивалдино грузно опустился в обитое бархатом кресло. Пижама его была теперь совершенно мокрой от пота. Сисеро Бранко отошел в угол комнаты.

— Я, насколько возможно, учтив, не подхожу к тебе ближе, майор. Понимаю, что мое присутствие не из самых приятных для созерцания и главным образом для обоняния.

Префект вытащил из кармана платок и заткнул им нос и рот. Он был смертельно бледен, дыхание его прерывалось.

— Ради бога, Сисеро, уходи! Моя жена еще спит... Если она проснется и увидит тебя, с ней может случиться роковой припадок. Соланже очень больна.

— Моя миссия проста. Я пришел говорить с префектом Антареса, а не с моим старым другом и клиентом Вивалдино Бразаном. Требую от имени моих доверителей и от своего собственного, чтобы нас похоронили *немедленно.*

— Не... невозможно,— заикаясь, произнес префект.— Вы, видимо, не знаете, что остались непохороненными по... по вине забастовщиков.

— Это нам известно. Но нас забастовка не интересует. Найди способ похоронить нас достойно и без промедления.

Префект, корчась, поспешно закивал головой.

Сисеро Бранко продолжал из своего угла:

— Собери муниципальную палату, если сможешь, конечно, так как я подозреваю, что все муниципальные советники удерут из города, узнав о нашем визите. Пригласи к себе местных политических деятелей. В общем, найди способ побыстрее удовлетворить наше требование.

Задыхаясь, Вивалдино возразил:

— Это вопрос времени, Сисеро. Пойми мое... мое положение. Завтра забастовка так или иначе кончится и все вы будете похоронены как полагается...

Сисеро улыбнулся.

— Мы не можем ждать, очень сожалею. Послушай хорошенько, что я тебе скажу. Даю тебе срок...— Он бросил взгляд на стенные часы.— Сейчас половина девятого. Я даю тебе почти четыре часа. Ровно в полдень семь мертвецов будут сидеть на эстраде на площади в ожидании ответа на требование, которое я только что тебе предъявил.

— Только четыре часа?

— Разве этого мало? Чтобы умереть, мне понадобились какие-то секунды.

— Да... но если забастовщики...

— Если они будут мешать вам выполнить ваш долг, вызывай федеральные войска и примени насилие.

— Я не могу пойти на это...

— Ты думаешь, конечно, о своем переизбрании... Понимаю.

— О! Не в этом дело... Сисеро, ради бога!

— Тогда убеди хозяев согласиться на условия забастовщиков.

— Но на это тоже потребуется время...

Адвокат медленно пошел к двери.

— Хорошо. Мы ждем ответа ровно в полдень на площади.

Вивалдино отнял от лица платок.

— А если мы ни до чего не договоримся?

— Тем хуже для Антареса. В таком случае у нас не будет иного выбора, как остаться гнить на эстраде и заражать воздух нашего любимого города. C'est dommage! [1]

Уже держась за ручку двери, Сисеро обернулся:

— Попроси от моего имени прощения у прекрасных орхидей, Вивалдино, ведь я отравил воздух, которым они дышат. И передай также мои извинения своей супруге, порекомендуй ей окуривание лавандой и бензойной смолой или, если католицизм доны Соланже предпочитает, ладаном. Чао!

XXVII

Менандро Олинда вошел в двухэтажный особнячок, облицованный синими изразцами, и медленно поднялся по узкой лестнице, ведущей на верхний этаж, который он занимал, когда был жив. Его руки беспомощно болтались вдоль туловища, и он не воспользовался ими, чтобы взяться за перила. Ступени скрипели. Вороватая мышь проскользнула испуганно у его ног. Во всем доме царила глубокая тишина, пахло плесенью.

На верхней площадке он остановился, в течение нескольких секунд смотрел на дверь своей квартиры, потом подошел к ней, мягко нажал плечом — дверь распахнулась, так как задвижка была сломана уже несколько лет, а замок открывался ключом в незапамятные времена.

Пианист вошел в полутемную гостиную, ногой открыл дверь на балкон, и солнце осветило комнату. Затем он принялся ходить туда и сюда — в спальню, кухню, ванную,— осматривая мебель, посуду, предмет за предметом, как бы производя мысленно опись своего земного имущества... Вернулся в гостиную, сказал что-то тихонько маске Бетховена и пожелтевшему портрету своих родителей и наконец уставился на софу, на которой он ранее вскрыл себе вены. На ковре около софы темнело большое пятно запекшейся крови.

Профессор подошел к роялю, крышка которого была откинута, сел на вращающийся стул, взглянул на партитуру, стоявшую на полке, и, шевеля губами, прочел: SONATA, dedicata al Conte Francesco von Brunswik, Op. 57. Composta nel 1803—1804, publicata in febbraio 1807, presso il «Bureau des arts et de l'industrie» di Lipsia[2].

Его руки, независимо от его воли, поднялись и легли на клавиши. Пианист, с глазами, устремленными на партитуру, ласково прошептал: Sotto voce e misterioso[3]. Его пальцы задвигались, играя начальную фразу сонаты.

Звуки рояля наполнили гостиную, полились на улицу. Маэстро вскочил, выбежал на балкон и воскликнул:

— Народ Антареса! Фарисеи и филистеры! Народы мира! Вы услышите сейчас «Аппассионату» Людвига ван Бетховена, исполненную виртуозом из загробного мира Менандро Олиндой!

Он поклонился пустынной площади и пошел к роялю, поправляя

[1] Жаль! *(Франц.)*

[2] Соната, посвященная графу Францу фон Брауншвейгу, оп. 57. Сочинена в 1803—1804 гг., издана в феврале 1807 г., напечатана «Бюро искусств и промышленности» в Лейпциге *(итал.)*.

[3] Вполголоса и таинственно *(итал.)*.

несуществующие запонки на невидимых крахмальных манжетах и поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, как бы отвечая на воображаемые предложения. «Scala di Milano? Peccato, signor impresario. Impossibile![1] Salle Pleyel, à Paris? Oh, non, non, non, je le regrette, monsieur[2]. Konzertgebaum, Amsterdam? Nein[3]. Bolshoi de Moscou? Nyet[4]. Объяснение простое, мне надо играть «Аппассионату» для господа бога нашего в специальном прослушивании. С вашего разрешения...»

Он снова сел на вращающийся стул у рояля, подняв фалды невидимого фрака, как он это сделал двадцать восемь лет назад на сцене театра Сан-Педро в Порто-Алегре. Потом, взглянув на свои руки, несколько раз поцеловал их и снова заиграл сонату dal capo[5], судорожно всхлипывая, но с сухими глазами.

XXVIII

Когда Розинье сказали, что Эротилдес вернулась в город в компании шести других непохороненных покойников, она подумала: «Держу пари, что Эротилдес зайдет ко мне...»

Никому ничего не сказала. Надела свое лучшее платье, туфли поприличнее, подкрасилась и — когда все это было сделано — уселась на железной кровати, которую они делили в течение долгого времени, и осталась там, слушая тиканье будильника на ночном столике рядом с зажженной свечой, вставленной в латунный подсвечник.

Это была импровизированная спальня под лестницей в глубине старого домишка, принадлежавшего вдове каменщика,— узкая и короткая. В ней едва помещались кровать, сундук, железный умывальник и старое плетеное кресло.

Старуха сдала комнатушку, не будучи в неведении относительно профессии «девочек», лишь поставила строгое условие: «Не приводить мужчин в дом, иначе выставлю!» Им приходилось фланировать по улицам, охотясь за мужчинами, и, когда удавалось подловить кого-либо, они шли заниматься любовью на пустырях или в каких-нибудь углах пустынных улиц.

Розинья ждала, не сводя глаз с часов. Стрелки приближались к цифре восемь. В комнате тяжело пахло сыростью, сюда никогда не проникал солнечный свет, и, когда кто-нибудь поднимался или спускался по старой лестнице, у бедного существа, лежащего на кровати, появлялось ощущение, что ступают прямо по голове.

Была почти половина девятого, когда Розинья услышала в коридоре легкие шаги. Она выпрямилась прислушиваясь. Сердце ее учащенно забилось. Недолгая тишина. Затем дверь начала медленно открываться и ее заржавленные петли заскрипели. При свете свечи на темном фоне двери появилась ее подруга Эротилдес, походившая на привидение в длинной больничной рубахе, послужившей ей саваном. Розинья поднялась, сжимая руки. Эротилдес улыбнулась и воскликнула: «О!» — как в то время, когда была жива. Розинья судорожно глотнула и ответила, как обычно, когда они встречались в этой комнатушке после ночной охоты: «О!»

Эротилдес огляделась и обратилась к подруге:

— Как поживаешь?

---

[1] Миланский театр «Скала»? Сожалею, синьор импресарио. Невозможно! *(Итал.)*

[2] Зал Плейель в Париже? О, нет, нет, нет, сожалею, мосье *(франц.)*.

[3] Концертный зал в Амстердаме? Нет. *(Нем.)*

[4] Московский Большой? Нет.

[5] С начала *(итал.)*.

— Так себе. А ты?

— Умерла.

— Как же ты вернулась?

— Даже не знаю. Сеньор Сисеро принимает меры, чтобы нас похоронили. Адвокат, помнишь? И знаешь, кто в нашей группе? Дама из высшего общества — дона Китерия Камполарго. Представляешь, какой шик!

Розинья медленно покачала головой, представляя себе... Потом опустила глаза и пробормотала:

— Ты простишь меня, что я взяла твое платье, чулки, туфли и всякие там безделушки?

— Ну что ты, какие глупости! Покойнику все это уже не нужно.

— Ты не обидишься, если я попрыскаю немного духами?

— Ну что ты! Я знаю, тебе это, видимо, необходимо, мне-то все равно. Что ты хочешь? Ведь я умерла больше трех дней назад... Или два? Не помню.

Розинья взяла флакон «Пармских фиалок» и принялась опрыскивать комнатушку, исступленно нажимая на пульверизатор. Потом все-таки отодвинулась от умершей подруги, насколько позволило тесное помещение.

— Как твой кашель?

— Где ты видела, девочка, чтобы мертвый кашлял?

— А, верно. Ты и не чувствуешь больше, как колет в легких?

— Ничего не чувствую.

Снова молчание. Розинья кивнула на босые ноги Эротилдес:

— Когда тебя положили в гроб, я тебя хорошенько убрала, причесала, нарумянила щеки, подмазала губы и даже покрасила ногти на ногах... Ты не заметила?

— Заметила. Большое спасибо.

— Ну, что же теперь? — спросила Розинья.

— Мы все должны прийти ровно в полдень на площадь. Так распорядился сеньор Сисеро.

— Тогда садись, девочка. Еще рано.

— Не стоит. Мне хорошо и так.

Мертвая поправила волосы худыми пальцами.

— Я, должно быть, страшна.

— Ну ты, конечно, за болезнь очень похудела и побледнела. И смерть тоже тебя не украсила. Но для меня ты, живая или мертвая, всегда — Эротилдес.

— Забавно, что ты не боишься меня... Когда я шла по улице, все пугались. Одна женщина с испугу упала прямо передо мною в обморок. Маляр закричал и свалился с лестницы (дай бог, чтобы не слишком сильно разбился). Даже кошки и собаки удирают от меня. А ты хоть бы что...

— Смешно было бы, если бы я тебя боялась.

Эротилдес взяла подсвечник и встала перед зеркальцем в позолоченной жестяной оправе, висевшим на стене. Она провела им из стороны в сторону и пробормотала:

— Что это с зеркалом? Я не вижу себя.

— Ясно, оно удивилось, увидев тебя,— сказала ее подруга с нервным смехом.— Должно быть, напугалось, бедненькое.

Розинья снова схватила флакон и нажала на пульверизатор. И снова в жарком и душном воздухе комнаты рассеялась ароматная влажная пыль «Пармских фиалок», но она не заглушала запаха, исходившего от Эротилдес.

Мертвая поставила подсвечник обратно на столик и повернулась к подруге:

— Как идут дела?

— Все хуже и хуже. Я все время говорю: Антаресу не хватает хорошего военного гарнизона.

— У тебя нет постоянного дружка?

— У меня? В таком-то возрасте? Я бываю довольна, когда удается подловить мужчину на одну ночь. Получаю гроши, и все же многие норовят задарма...

И Розинья, низко опустив голову, рассказала:

— Вчера вечером несколько ребят схватили меня силой и затащили на пустырь. Пятеро или шестеро... Сначала сняли с меня все, даже порвали новое платье. Повалили, набросились, не было такого свинства, которого они не сделали бы со мной. Потом ушли, похохатывая, и не дали ни гроша.

— Знакомы они тебе?

— Некоторых как будто знаю по виду. Ребята из хороших семей.

— Они-то хуже всего.

— Не понимаю, зачем они это сделали со мной! Вовсе не нужно было хватать меня насильно, издеваться. Если бы они сказали, что у них нет денег, я бы согласилась задаром... Но нет. Они были похожи на зверей. Свиньи!

Эротилдес устремила на подругу желатиновые глаза и сказала тихонько:

— Так вот что я тебе скажу: я была даже рада умереть, лишь бы навечно освободиться от всех этих бесстыдств.

— Я уже думала отравиться. Не хватило мужества.

— Грешно кончать жизнь самоубийством. Попадешь в ад.

— А здесь разве не ад?

И Розинья разрыдалась. Эротилдес подняла руку, чтобы погладить подругу по голове, но не решилась дотронуться до нее.

— Ничего,— прошептала она.— Нет добра, которое длится вечно, и нет зла, которому не пришел бы конец, как говорила моя покойная мать.

Эротилдес взяла пульверизатор и опрыскала себе лицо. Потом сказала:

— Ну, я тебя повидала. У меня еще почти три часа свободного времени. Схожу повидаю сестру Бонифасию, сиделку в больнице, она так хорошо относилась ко мне. До свидания, Розинья, помоги тебе господь!

Она направилась к двери.

— Эротилдес! Ты уже видела бога?

Мертвая обернулась:

— Еще нет. Наверное, увижу, когда меня похоронят по-христиански.

Розинья смахнула навернувшиеся на глаза слезы.

— Я хочу попросить тебя об одолжении...

— Каком?

— Скажи богу, чтобы дал мне хорошую смерть, раз уж не дал хорошей жизни.

XXIX

Расставшись со своими товарищами, Кашасовый Пудинг, окутанный роем мух, направился в район Антареса, расположенный на северо-востоке города близ берега реки и широко известный под названием Порченая зона. Он прошел сначала в свой домишко, который обна-

ружил запертым, напугал соседей («Что, люди? Вы меня больше не признаете?»), а затем отправился разыскивать своего лучшего друга, товарища по попойкам, серенадам и вечеринкам с девушками.

— А где же Аламбике [1]? — спросил он какого-то субъекта, остановившегося на углу. Человек, узнав его, побледнел, в ужасе отпрянул и, силясь сказать что-то, стал открывать и закрывать рот, как рыба, вытащенная из воды.

Пудинг смиренно продолжал свой путь. Завернув за угол, он вдруг встретил Эротилдес. Оба сразу остановились, будто испугавшись друг друга.

— Ух! — сказала она.— Чего это ты здесь?

— Хожу ищу друга. А ты?

— Навещала подругу.

Несколько мух, вившихся вокруг тела Эротилдес, перелетели к Кашасовому Пудингу. Как бы обменявшись в знак приветствия мухами, друзья разошлись, бросив друг другу: «Пока!» Сделав несколько шагов, женщина обернулась и крикнула:

— Не забудь, Пудинг, о чем просил сеньор Сисеро. В полдень — все на эстраде!

Пьянчуга тоже оглянулся:

— Мои часы — солнце. Они никогда не подводят. Точно в полдень буду. Слово — дело.

Кашасовый Пудинг вошел в Кошачий переулок и направился прямо к бару Кинкаса, обычному месту своих вечерних встреч с приятелем. Остановился у двери и заглянул внутрь... Увидев его, владелец заведения вскрикнул и бросился в глубину бара.

Пудинг вошел. В углу небольшой залы на обычном месте сидел Аламбике. Перед ним стоял стакан кашасы, рядом на стуле лежала гитара.

— Человек божий, я уже несколько часов тебя ищу!

Аламбике встал, протер веки, его глаза были похожи на два синих шарика гуде [2], запавших в лунки орбит. Это был человечек полутораметрового роста, тощий, с рыхлым телом алкоголика.

— Пудинг, стреляный воробей! Мне сказали, что ты вернулся, но я думал, что это враки.— Он устремился к приятелю и обнял его.— Садись, дружище.

Мухи жужжали над головою мертвеца, присевшего на край стула.

— Выпьешь стопочку кашасы?

— Не могу. Если и выпью — впустую. Мне очень плохо зашили живот.

— Я знаю. Видел. После того как доктор в полиции вскрыл тебе брюхо, я отправился к их начальству и попросил выдать твое тело. Мне его отдали без всяких бумаг. Я тогда быстро собрал деньги среди приятелей тебе на гроб. Не ахти какой, но, черт возьми, ты ведь никогда не был привычен к роскоши. Я одел тебя в эту самую одежду, лучше не нашел в твоем углу. Только вот о туфлях забыл. Прости...

— Ты не перетрусил?

— Я? Чего?

— Того, что видишь покойника. Я многих перепугал на улице. У двоих-троих подкосились ноги, и они грохнулись, другие удрали.

— А, но они же не были твоими друзьями, как я.

Аламбике отпил большой глоток кашасы. Теперь мухи облепили почти все лицо, руки и волосы мертвеца.

---

[1] Перегонный Куб *(порт.)* — прозвище персонажа.

[2] Популярная в Бразилии детская игра со стеклянными шариками, которые требуется загнать в три лунки.

— Я не внушаю тебе отвращения?

— Бывали и похуже вещи, да я их с твердостью выдержал. Но... как я уже говорил, мы наняли повозку, поставили в нее твой гроб (я, негр Тиноко и возчик) и тронулись к кладбищу. Когда прибыли туда, наверх, какие-то типы сказали, что никто не может быть похоронен потому-то, мол, и потому-то. Я их обругал как следует, но и сам заработал несколько оплеух, ты же понимаешь, их было человек сто с лишним, а нас только трое, сделать что-либо было очень трудно. Но давай выпей немножко, дружище!

— Ведь сказано же тебе, что я дырявый.

— Слушай-ка, а ведь мне тебя сильно не хватало.

— Чего это ты здесь так рано?

— Пришел выпить свой «утренний кофе»,— усмехнулся Аламбике, показывая на стакан кашасы.— Провел бессонную ночь, бродя тут, распевая по углам. Когда настал день, я смотрел на реку и думал о всякой ерунде. Ну выпей же стопку беленькой!

— Сколько можно говорить, что не могу. Да и неохота.

Аламбике разогнал мух, круживших над его головой, взял гитару и начал наигрывать. Мертвец спросил:

— Послушай-ка... это правда, действительно правда, что Наталина подсыпала мне яду в еду?

— Да. Она созналась.

— Это не выдумка полиции?

— Нет. Я говорил с ней. Она не отказывается, что убила тебя намеренно.

— Бедняжка! Она раскаивается?

— Не знаю. Но мне не показалось.

— А теперь? Верно, ее посадят на много лет в тюрьму?

— Послушай, малыш, это зависит от многого. От речи прокурора. От ее адвоката. От присяжных. Все же выпей чего-нибудь!

Аламбике встал и, слегка покачиваясь, пошел за прилавок к полке бара, взял бутылку кашасы и возвратился с ней к столу.

— Мы сейчас здесь хозяева. Когда Кинкас увидел тебя, побелел как снег и пустился наутек. Сегодня мы можем пить даром. Так, может быть, ты все-таки согласишься выпить вина... или рюмочку покрепче?

Пудинг перебирал рассеянно струны гитары.

— Где сейчас Наталина?

— В городской тюрьме. Где же еще?

Кашасовый Пудинг провел рукой по животу почти с лаской.

— Послушай, Аламбике... А что, если нам сегодня исполнить для нее серенаду?

XXX

Из личного дневника падре Педро-Пауло:

«13 декабря. Четверть шестого вечера. Смятение духа в связи с фантастическими событиями дня. Находится ли Антарес под влиянием инкубо [1]? Не хочу думать об этом. По крайней мере, в данный момент.

Мне позвонил викарий, он был встревожен и заикался. Утверждал, что сам видел вблизи семерых мертвецов и ощущал

[1] Демон, который, по поверию, спускается на заснувших людей, вызывая у них кошмары.

их зловоние. Клялся, что они двигаются, говорят и даже улыбаются. Попросил меня прийти помочь ему этим вечером в соборе, поскольку десятки людей хотят исповедаться и причаститься. Бедный старик чувствует себя виновным в панике, которая, похоже, охватила население Антареса, поскольку в момент безумия (вполне оправданного) он провозгласил в храме начало Страшного суда.

Все это кажется мне невероятным и ужасным. Около восьми часов утра Жемииано отвез меня на своем джипе в центр города. Я сошел на площади Республики. Попросил Жемииано сделать все возможное, чтобы его товарищи не появлялись здесь, пока положение не прояснится. Для них и для забастовки лучше не вмешиваться в эту историю.

Внезапно я заметил, что стою один посреди площади под палящими лучами солнца. Кровь в висках пульсировала, я ощущал тупую боль в затылке. Решил, что, если пробуду здесь еще некоторое время, то стану жертвой солнечного удара. Тем не менее по какой-то таинственной причине я оставался недвижим, со смутным чувством, что в этот час и в этом месте у меня назначена с кем-то встреча. Но с кем? Площадь была совершенно пустынна. Окна и двери в домах закрыты, будто все население мира вымерло от чумы или во время атомной войны и я оказался единственным выжившим в этой гекатомбе... Цикады, трещавшие на деревьях, казалось, стрекочут в моем черепе в ритм крови, которая стучала у меня в висках.

И я все же ждал... но кого?.. У меня было ощущение, что я не мог не явиться на встречу, весьма важную. Пот заливал мне глаза, и все окружающее — дома, деревья, камни, небо — я видел как сквозь туман, было такое впечатление, что я нахожусь на дне моря.

И вот тут-то я заметил неизвестно откуда появившуюся фигуру, которая приближалась ко мне. Это был мужчина, он хромал. В конце концов он остановился в нескольких шагах от меня. Его лицо было ужасно обезображено

— Вы узнаете меня, падре?

— Жоанзиньо!

— Я испугал вас?

— Нет. Но я в смятении... не могу понять.

— И не пытайтесь. Не ищите здесь никаких объяснений.

Я почувствовал комок в горле, сердце у меня сильно билось. Я вытер глаза, сделал несколько шагов к моему другу, но тот отступил.

— Не приближайтесь! Вам будет неприятно! Пожалуйста, не задавайте мне вопросов. Примите мое присутствие так, как принимаете чудеса вашей церкви. И выслушайте меня, ради вашего бога, выслушайте со всем вниманием.

— Говорите, Жоанзиньо. Что вы хотите от меня?

— Меня убили, вы знаете... Я встревожен судьбой жены и нашего ребенка, которого она носит во чреве.

Я уже не чувствовал больше своего тела. Хотел что-то сказать, но не смог — язык будто прирос к гортани.

— Вы знаете, где находится Ритинья?

— Дома,— ответил я, плохо выговаривая слова.— Я был у нее вчера.

— Как она?

— В отчаянии. Тоскует по вас.

— Правда ли, что ее арестовали и допрашивали в полиции?

Я опустил голову, испытав внезапно стыд от того, что принадлежу к роду человеческому.

— К несчастью, это правда.

— Ее пытали?

Я почувствовал головокружение, мне казалось, я упаду. Сделав усилие над собой, я ответил:

— Я спрашивал саму Ритинью, но она заявила, что предпочитает не говорить об этом. Я уважил ее желание.

— Ребенок жив?

— Жив. Шевелится. Врач утверждает, что ваш ребенок родится менее чем через два месяца.

— Падре, я хочу повидать жену, но боюсь, что она будет потрясена, увидев меня... в таком состоянии. Это может повлиять и на нее и на ребенка... Мне бы хотелось, чтобы вы пошли к ней сейчас и подготовили... к этому отталкивающему зрелищу. Нет! Нет! Не подходите ко мне. Сделайте то, о чем я вас прошу, и не думайте обо мне.

Слезы на моем лице смешивались с потом. Я ощущал лишь сострадание и любовь к этому человеку, моему другу, моему брату.

— И еще большая просьба, падре,— заговорил он снова.— Я знаю, что не имею права просить у вас столько...

— Просите сколько угодно.

— Спасите мою жену и моего ребенка от инспектора Пигарсо и его палачей. Они могут снова забрать ее. Я хочу, чтобы вы переправили ее на ту сторону реки. Вы знаете Луиса Ромеро, владельца лодки под названием «Керенсия» [1]?

— Знаю.

— Он мой друг и товарищ по борьбе. Настоящий человек. Эту ночь весь город будет в панике из-за семи покойников. Воспользуйтесь этим и отведите Ритинью к тому человеку. Попросите его, чтобы он перевез ее в Аргентину на своей лодке. На той стороне у нас есть друзья, которые устроят ей необходимые документы. Можете вы мне сделать это огромное одолжение?

— Могу.

— Я сожалею, что приходится компрометировать вас этим бегством, падре.

— Нельзя быть скомпрометированным более, чем я уже скомпрометирован. Не беспокойтесь обо мне.

— Отведите Ритинью к Малому складу в порту около десяти вечера.

Я снова попытался подойти к Жоану, испытав внезапно нелепое желание коснуться его, пожать ему руку.

— Пожалуйста, не приближайтесь. Я труп. Страшно сознавать это. Я хотел верить в бога и в вечную жизнь. Но не могу. Никогда не мог. Однако я верю в эту жизнь. И еще как! Я полон надежд на лучшее будущее для нашей земли, для всего мира. Хочу, чтобы мой сын родился, вырос и жил полнокровной жизнью.

— Это и есть религия,— заметил я тихонько.— Вы сказали, что не верите в бога, но я вижу, что вы верите во все его проявления.

Мы расстались, и я отправился к дому Жоанзиньо и Ритиньи, как я думал, с самой трудной в моей жизни священнослужителя

---

[1] Любовь *(исп.)*.

и человека миссией. Но я ошибался. Ритинья выслушала меня с сухими глазами, с поразительным мужеством. Когда я кончил рассказывать ей о своей встрече с Жоаном, она просто сказала: «Он может прийти. Я готова. И наш ребенок тоже».

XXXI

В маленькой гостиной своей квартиры Рита Пас ждала мужа. Накануне вечером врач дал ей снотворного. Она легла не раздеваясь и проснулась только после пятнадцатичасового тяжелого сна на рассвете этой пятницы. Встала оглушенная, с притупленным сознанием. Когда она открыла окно в гостиной, солнце ослепило ее, свет его вонзился сотней огненных булавок ей в мозг. Она инстинктивно захлопнула окно, задернула шторы, бросилась в кресло и осталась сидеть так. Радужные пятна плыли под ее прикрытыми веками, надвигались и отступали, одни красноватые, другие коричневато-зеленые: они, казалось, двигались в ритме пульсации ее крови.

В таком положении и нашел ее падре Педро-Пауло. Она выслушала его молча, с закрытыми глазами. Хотя голос священника был мягок, тем не менее у нее страшно заболела голова. Обрывки фраз, которые она слышала, наваливались на нее каким-то ужасным кошмаром.

«Его варварски пытали. Лицо его стало почти неузнаваемым. Рука и нога сломаны. Рита, подумайте о боге и наберитесь мужества. То, что я вам скажу, ужасно, но лучше, чтобы вы узнали обо всем. Тело вашего мужа разлагается. Приготовьтесь к самому худшему».

Рита Пас ждет. Она сложила руки на вздутом животе и чувствует движения ребенка.

Сколько времени прошло с тех пор, как падре Педро-Пауло вышел из этой гостиной? Пять минут? Десять?

Она услышала шум, доносящийся со старой лестницы... глухой и мерный шум шагов. Кто-то поднимается... Она резко выпрямилась и прислушалась... Почувствовала комок в горле, дыхание у нее перехватило, руки с силой сжали подлокотники кресла.

Шум шагов приближается, становится все слышнее. Внезапно он прекращается, с тем чтобы возобновиться через несколько секунд: тяжелый шаг и — легкий, слегка волочащийся. (Сломанная нога!) «Это Жоанзиньо,— думает она.— Жоанзиньо сейчас в коридоре, подходит к двери...» Рита продолжает сидеть с закрытыми глазами. Слышит скрипящий звук открывающегося замка... Хочет вскочить, броситься навстречу мужу, но у нее нет сил двинуться с места: руки и ноги — как ватные, слабость во всем теле. Кровь пульсирует в висках. (*«Мой отец умер от кровоизлияния в мозг».*) Она чувствует, что дверь открывается и что муж — в каких-нибудь пяти шагах от нее. До ее ноздрей доходит зловоние, и Рита не может удержаться от гримасы отвращения.

— Ритинья...

Его голос. Она открывает глаза, ей требуется несколько секунд на то, чтобы различить черты мужа в полумраке. (Кто этот чужой человек?) Она закрывает руками лицо, и рыдания, поднимающиеся к горлу, глубокие, страшные рыдания, в которых как будто слышались всхлипывания и ее ребенка, вызывают у нее в животе конвульсии и

спазмы. Эти душераздирающие рыдания поднимаются в груди и застревают в горле, бессильные вылиться в приступ плача.

— Я знаю, что я страшен. Но послушай, любовь моя, я обещаю тебе не оставаться здесь долго.

— Нет, мой дорогой, нет. Оставайся! Оставайся!

Ей удается наконец подняться, но он испуганно кричит:

— Стой! Не приближайся...

И она, сделав шаг, останавливается, бормочет:

— Я хотела бы тебя обнять, поцеловать...

Его голос доносится до нее черствым и бесцветным:

— Если ты сделаешь еще хоть шаг, я выброшусь в окно... Послушай, Рита. Не думай, что смерть уничтожила мое самолюбие. Я не хочу внушать тебе отвращение, не хочу, чтобы ты сохранила это ужасное воспоминание обо мне... Сядь, пожалуйста.

Она послушалась и отступила в угол гостиной, как можно дальше. Новое мучительное рыдание сотрясло ее тело, но глаза остались сухими, в горле застрял ком.

— Ты сильно страдаешь? — удалось ей спросить.

— Нет, Ритинья, я не чувствую никакой физической боли. Но теперь слушай. Если я и пришел с другими мертвецами, то потому, что хотел видеть тебя... и, главное, сделать что-либо, чтобы спасти тебя от этих бандитов, тебя и нашего ребенка. Мне наплевать, что будет потом с моим трупом.

Она протянула руки:

— Но я хочу по крайней мере коснуться тебя...

— Нет! Я уже больше не тот человек, которого ты любила.

— Мой бедный, любимый!

Короткое молчание.

— Наш ребенок жив?

— Да.

— Ах... если бы я мог почувствовать его движения!

Она улыбнулась и каким-то чудом сразу освободилась от кошмара.

— Ты можешь прислонить руку к моему животу...

— Моя рука не та...

— Твоя красивая рука. Подойди, ради бога, подойди...

Жоан заколебался.

— Рита, прикрой нос и рот платком...

— Жоанзиньо...

— Сделай то, что я тебя прошу. Быстрее. Я подойду к тебе. Только на несколько секунд. Пожалуйста!

Она поднесла к лицу платок; он, хромая, сделал несколько шагов и положил руку на живот жены.

— Чувствуешь что-нибудь? — послышался голос Риты, приглушенный платком.

— Чувствую! Чувствую! Он живой и он наш!

Внезапно она опустилась на колени, протянула руки, охватила с отчаянием ноги мужа и судорожно прижалась головой к его животу.

— Нет! Нет! Нет! — закричал мертвец, высвобождаясь и отступая в угол комнаты, тогда как она осталась на коленях около кресла и тело ее снова сотряслось от глухих рыданий.— Прости, дорогая. Я не хотел сделать того, что сделал. Это был мой эгоизм. Мертвый должен знать свое место. Но дело в том, что смерть не убила мою любовь к вам. Ни к людям, ни к миру... и жизни. Теперь слушай. Слушай внимательно. Твое будущее и будущее нашего ребенка зависит от того, что я тебе скажу... Ритинья, ты меня слышишь?

Она несколько раз кивнула головой, глядя в пол.

— Сегодня вечером, около десяти часов (слушай же!) падре Педро-Пауло придет за тобой, чтобы переправить тебя на ту сторону реки на лодке Ромеро. Никто не обратит на вас внимания, потому что весь город будет напуган мертвецами. Ромеро знает, куда и к кому тебя отправить. На том берегу наши товарищи добудут тебе необходимые бумаги и укроют тебя в надежном месте, где ты сможешь родить нашего ребенка с помощью врача. Но слушай... Возьми с собой в сумку все аргентинские деньги, которые мы спрятали. Не бери никакого чемодана. Понимаешь?

Она кивнула утвердительно головой.

— А теперь прощай. Нет. Не вставай. Не подходи. Закрой глаза.

Он медленно пошел к двери.

— Жоанзиньо! — Он обернулся.— Есть кое-что... нечто страшнее... я должна тебе рассказать...

— Говори, моя дорогая.

Она произносит с трудом, будто кто-то сжимает ей горло:

— Я не такая, как ты представляешь себе. Я трусиха, я предательница.

— Рита, ты не понимаешь, что говоришь.

— Подожди, подожди... Если я не расскажу тебе всего... это будет еще одно бремя, которое мне придется нести до конца жизни.

— Тебе нечего мне сказать. Вспомни, что я умер позавчера. Я не знаю, что ты мне скажешь, но что бы это ни было, ты будешь для меня тем, чем была всегда. В тюрьме, даже в час пыток, я думал о тебе, вспоминал все хорошее и плохое, пережитое вместе. Твоя преданность и твоя верность служили мне утешением и надеждой.

— Нет, Жоанзиньо. На самом деле я трусиха и предательница!

— Я не хочу слышать этого! — воскликнул он, шагнув к двери.

— Если ты меня не выслушаешь, я выброшусь из окна!..— почти кричит она.

Жоанзиньо останавливается.

— Ну, говори...

— В то утро, когда тебя арестовали... *они* забрали и меня, бросили в камеру без окон... совершенно темную... там продержали целый день и целую ночь... Потом потащили в другое помещение, велели сесть на стул... по-моему, там было много людей, я не могла хорошенько разглядеть из-за сильного света, который они направили мне прямо в глаза... Они хотели выпытать у меня имена «остальных десяти», руководителем которых, по их словам, ты был... Я отвечала, что не знаю.

— Ты сказала правду.

— Но они не поверили. Много раз повторяли вопрос. Я поклялась именем бога, что не знаю. И тогда эти звери стали угрожать мне пытками... говорили, что загонят иголки под ногти... Один из них дошел до того, что пригрозил — если я не заговорю — отдать меня голой солдатам охраны... Другой крикнул: «Если ты не сознаешься, мы тебе растопчем брюхо, сучка, и убьем твоего ребенка»... И тогда... я... я созналась!

— Невозможно! Ты же ничего не знала, как и я. Как мы могли знать имена членов группы, которая существует лишь в воображении этого одержимого бандита, бешеного пса, инспектора Пигарсо?

Все тело Риты теперь сотрясалось горячечной дрожью.

— Прости, Жоанзиньо... Я была страшно напугана. Подумала о своем ребенке и начала называть имена... первые пришедшие в голову... имена наших товарищей...

Мгновение Жоан Пас хранил молчание. Потом размеренным и решительным голосом сказал:

— Не думай больше об этом. Я бы поступил так же на твоем месте.

— Нет! Нет! Ты же ничего не сказал, и поэтому они тебя пытали и убили.

— Ты не должна воображать, что я не боялся. Я вовсе не герой. Если бы они меня не убили, я, возможно, под конец поступил бы так же, как и ты... Забудь все! Думай лишь о нашем сыне. Сейчас только это важно.

— Подожди! Я хочу, чтобы ты знал все до конца. Я могла бы сказать, что проявила слабость только потому, что думала о жизни сына. Нет. Я думала также о себе. Я испытываю ужас перед физическим страданием. И созналась потому, что я трусиха. Потом, когда меня освободили, я узнала, что все, кого я назвала, арестованы. Я просидела тут одна, в этом кресле, думая о них, о том, что они пострадают из-за меня. Если я не покончила с собой... после всего этого и потом, когда мне рассказали о твоей смерти... если я не убила себя, то тоже из трусости.

— Нет, Ритинья, ты мужественная женщина и никогда не убедишь меня в ином. Я знаю, что ты всегда была и будешь ею.

Она закрутила головой, не соглашаясь, повторяя: «Нет! Нет! Нет!»

Он, однако, продолжал:

— Послушай, моя дорогая. Иногда в этом мире требуется больше мужества, чтобы продолжать жить, чем для того, чтобы умереть. Люди, которых, ты говоришь, выдала, рано или поздно будут освобождены. Ведь никаких доказательств их вины нет. А у тебя, у тебя, Рита, есть задача, которую ты обязана выполнить. И я, твой муж и твой друг, поручаю тебе это. Ты уедешь в изгнание в Аргентину и там родишь нашего сына. Потом воспитаешь его и сделаешь из него человека, чтобы он в один прекрасный день стал помогать людям доброй воли создавать лучший мир, более справедливый, чем нынешний. Не теряй веры в будущее. Кто это написал, что самое худшее прегрешение — это прегрешение против надежды? Не забудь, моя любимая, падре Педро-Пауло придет за тобой сегодня вечером в десять часов. А сейчас оставайся на месте. Не смотри на меня. Думай о *другом человеке*. О том, каким я был. Помнишь то воскресенье, на второй год после нашей свадьбы, когда мы катались на лодке? Ты была накануне у врача, ничего мне не сказала, хранила свой секрет. А посреди реки, когда я греб, ты мне призналась, что беременна... помнишь?

Она подняла голову, но глаза ее были по-прежнему закрыты.

— Как я могу забыть? Я помню твое лицо на солнце...

— И я был так счастлив! Помнишь, я встал и далеко отбросил весло, для меня не имело значения, что нашу лодку может отнести до самого моря... У нас должен был родиться сын... Мы были хозяевами мира!

Тут внезапно, подобно потоку, прорвавшему плотину, всхлипывания Риты перешли в отчаянные рыдания, слезы хлынули у нее из глаз. Она распростерлась на полу и, почти освободившись от своих душевных страданий, безудержно плакала, как плачет ребенок.

Жоан Пас был уже у порога.

— Не открывай глаз. Я обращаюсь к тебе с последней просьбой. Забудь, что ты меня видела... таким. Распахни окна, впусти солнце и ветер. Оставайся в том ясном утре. В той лодке на реке. С солнцем у нас на лицах! Прощай, дорогая!

Она услышала стук захлопнувшейся двери, шаги в коридоре, на лестнице, потом наступила тишина.

XXXII

В это утро около семи часов Акасия вошла в кабинет префекта Антареса, чтобы заняться ежедневной уборкой. Она страдала слоновой болезнью и двигалась с тяжелой медлительностью толстокожего. У нее была привычка бормотать что-то про себя, обращаясь попеременно к душам умерших, ангелам и демонам, присутствие которых она постоянно ощущала вокруг себя. Сначала Акасия протерла влажной тряпкой паркет, потом принялась начищать сухой фланелью деревянные и никелированные поверхности и разные предметы на столе у префекта. Ей было дано распоряжение не дотрагиваться ни до одной бумаги, где бы она ни была, и не открывать ни одного ящика. Акасия обращалась с мебелью, с каждой вещью, как со старым знакомым: разговаривала с телефонным аппаратом, с ручками, пресс-папье, пепельницами, вазами, с ножом для разрезания книг... Ей особенно нравилась большая мраморная чернильница с часами, передвижным календарем и золочеными украшениями. С чувством уважения, смешанного с суеверным страхом, проводила она фланелью по двум бронзовым бюстам — изображениям без рук и без ног, стоящим по углам кабинета. Кем они были? Она не знала. Из многих портретов, висевших на стенах в рамках цвета старинного золота, она узнавала только одну физиономию: Жетулио Варгаса [1], которого чтила, как если бы он был святым. Старик умер и находился на небе, несмотря на то что выстрелил себе в сердце. Бог не посмел послать Жетулио в ад. Каждое утро, кроме разве воскресенья, прежде чем начать уборку, Акасия становилась на колени перед бюстом «Отца бедных» и читала наспех молитву, обычно «Отче наш». Старая негритянка была воплощением курьезного религиозного синкретизма. Макумбейра[2], мать святого Жорже, она вместе с тем ходила по воскресеньям к мессе, давала обеты богородице и время от времени исповедовалась и причащалась. В последнее время она стала посещать церковные собрания, ибо там обрела восхитительную возможность петь гимны с остальными верующими.

В своей краткой молитве этим утром Акасия попросила Жетулио, чтобы он защитил население Антареса, так как была пятница 13 числа и накануне некоторые бездушные еретики воспрепятствовали тому, чтобы были похоронены семь покойников. Потом, перекрестившись, она поднялась кряхтя, и тут ей пришла в голову мысль попросить еще кое-что у своего «святого». «Мой заработок здесь очень мал, а работы много, президент. Вели этим людям платить мне больше. Аминь!»

По окончании работы она остановилась посреди кабинета, посмотрела вокруг влажными склерогическими глазами и, убедившись, что все в порядке, отправилась убирать другие помещения муниципального особняка.

XXXIII

Антонио Аугусто Мендес, секретарь префектуры, был высоким, худым, сутулым человеком лет тридцати, со следами оспы на желтоватом лице, с испорченными зубами, слащавым голосом и угодливыми жестами. Его дед, старый республиканец, сорок лет состоял государ-

[1] Президент Бразилии (1930—1945 и 1951—1954), покончивший с собой в августе 1954 года.

[2] Участница макумбы — популярной в Бразилии фетишистской церемонии негритянского происхождения, сопровождаемой танцами и пением под аккомпанемент барабана.

ственным служащим и испытывал неограниченное восхищение перед Жулио де Кастильосом и Боржесом де Медейросом [1] Мендес вырос, слушая назидательные рассказы деда об этих двух патриархах. В гимназии история была его любимым предметом. Политика — у него в крови: он мечтал стать депутатом своего штата, либо даже — как знать? — федеральным депутатом. Однако ему пришлось по причинам материального порядка уйти с третьего курса юридического факультета и вернуться в Антарес, где он стал работать сначала адвокатом без диплома, а потом писарем в нотариальной конторе. Однажды он выставил свою кандидатуру на место депутата в законодательном собрании штата, но набрал всего сотню с небольшим голосов. Два года спустя он попытал счастья на выборах в муниципальную палату, баллотируясь по списку социал-демократической партии, и ему все же удалось добиться избрания, как судачили в городе, с помощью каких-то махинаций. По истечении срока действия его мандата он был приглашен работать у майора Вивалдино Бразана, который начинал свое правление в должности муниципального префекта.

Антонио Аугусто Мендес гордился тем, что он преданный и старательный чиновник. И он действительно таковым являлся. Вивалдино был доволен своим помощником, хотя знал, что в последнее время Мендес злоупотребляет аперитивами в самые неподходящие часы дня. Нередко он бывал навеселе, проявляя чрезмерное воодушевление и болтливость на работе. Это, однако, не вредило ни его секретарским обязанностям, ни его репутации «мастера на все руки».

В те вечера, когда он оставался на сверхурочную работу, ему доставляло удовольствие, включив свет в кабинете шефа, пить там кашасу и разглядывать бюсты, а также развешенные на стенах портреты политических деятелей: портрет Жетулио Варгаса, официальная фотография с президентской лентой — этот снимок во времена Нового государства миллионными тиражами распространялся по всей стране; портрет Флореса да Куньи [2] в форме почетного генерала национальной армии; портрет Освальдо Араньи[3] с его внешностью цивилизованного государственного деятеля международного масштаба; портрет Жусселино Кубичека [4], с его симпатичной внешностью и ироническим выражением лица. На другой стене виднелся портрет Жоана Гуларта — фотограф схватил хитрое и замкнутое выражение лица человека, который никогда не смотрит собеседнику прямо в глаза. В проеме стены, выходившей на площадь, между двумя дверями, открывающимися на балкон, стоял на мольберте написанный маслом портрет сенатора Жозе Гомеса Пиньейро Машадо [5], посредственная копия полотна Г. Далл'Ара, оригинал которого находится в правительственном дворце Монроэ в Рио-де-Жанейро. (Портрет Жанио Куадроса [6] был изъят из этой галереи менее чем через месяц после его отставки.)

Однажды по окончании сверхурочной работы, уже на рассвете, Мендес со стаканом кашасы в руке зажег люстру в кабинете префекта и стал слушать, что говорили эти персоны. Голос, который он услышал первым, был голос Боржеса де Медейроса, бюст которого был установлен напротив бюста его учителя и друга Жулио де Кастильоса:

---

[1] Видные политические деятели штата Рио-Гранде-до-Сул прошлого и начала нынешнего столетия.

[2] Во время второй мировой войны командир Бразильского экспедиционного корпуса, воевавшего в Италии.

[3] Сенатор, неоднократно был министром иностранных дел, представитель Бразилии в ООН.

[4] Президент Бразилии с 1956 по 1961 год.

[5] Бразильский политический деятель конца прошлого века и начала нынешнего.

[6] Президент Бразилии с 31 января по 25 августа 1961 года.

— Бразилия переживает глубокий кризис, который охватывает сложные явления морального, интеллектуального и материального порядка. И напрасно вы пытаетесь провести свое предложение об исключительном использовании политических средств... Не существует универсальной доктрины, не существует обобщенной положительной морали, и истощенная и дряхлая теологическая мораль тщетно борется за завоевание влияния, роковым образом ею утраченного... Только позитивное воспитание способно излечить скептицизм, который охватил высшие классы, и безразличие либо возмущение, которое характеризует низшие классы.

В этом месте слово взял сенатор Пиньейро Машадо (на портрете он выглядел весьма внушительно — во фраке, с поднятой головой, правая рука — в кармане полосатых брюк):

— Возможно, что во время конвульсии, которая в этот час сотрясает республику до ее оснований, мы сможем вынырнуть. Возможно. Возможно даже, что преступная рука, побуждаемая красноречием улиц, не достигнет цели... Мы не прикрываем, как Цезарь, лицо тогой и прямо смотрим на предательскую, гнусную физиономию бандита, наемного убийцы.

Мендес выпил последний глоток кашасы и сказал себе самому, что те трое — Кастильос, Боржес и Пиньейро — были выдающимися людьми, лидерами с большой буквы. Но что говорили другие портреты? Флорес да Кунья повторял глухим от волнения голосом: *«Из этого похода мы или вернемся со славой, или вовсе не вернемся»*. Освальдо Аранья твердил телеграфный пароль, который воспламенил революцию 1930 года [1]: *«В чем дело?»* Потом Аранья прошептал что-то по-английски, обращаясь к своему другу Франклину Делано Рузвельту, изображение которого отсутствовало. Жусселино Кубичек, казалось не принимавший этих людей всерьез, ограничился словами: *«Пятьдесят лет прогресса за пять. История нас рассудит!»* Жетулио и Жанго хранили глубокое молчание. Жетулио всем улыбался. Жанго ни на кого не смотрел.

Кастильос сказал последнее слово:

— *Социальное развитие покоится в основном на смерти. Живые неизменно и все больше и больше управляют мертвыми.*

Мендес больше ничего не услышал и не увидел, ибо заснул, растянувшись на диване. Он проснулся только на утро следующего дня, когда старая Акасия постучала его по плечу. В течение нескольких мгновений он моргал, мысли его были затуманены, он не мог понять ни кто перед ним, ни где сам он находится. Наконец сообразил, сел, смущенно улыбнулся и тягучим, огорченным голосом сказал: «О, Акасия! Я всю ночь работал как вол!» Старая негритянка недоверчиво посмотрела на стакан, стоявший на столике перед софой, понюхала его и буркнула: «Хм!»

Это произошло накануне злополучной пятницы.

XXXIV

Совещание отцов города Антареса, срочно созванное Вивалдино Бразаном, началось около десяти часов. Приглашенные собрались в кабинете префекта в мрачном молчании — некоторые были чрезвычайно бледны, почти все с выражением испуга во взоре, — они поздо-

[1] Речь идет о государственном перевороте, в результате которого пришел к власти Жетулио Варгас; соратником последнего был О. Аранья.

ровались друг с другом нерешительно, вяло, без обычной приветливости, затем расселись на места, указанные Мендесом. Секретарь, сам видевший этим утром одного из семи покойников, решил утопить свое замешательство и свой страх в нескольких стопках кашасы.

Судья Кинтилиано до Вале и викарий Жеронсио Албукерке уселись за столом справа от префекта. Полковник Тиберио Вакариано устроился в кресле слева от майора Вивалдино, рядом с прокурором Мирабо да Силва — молодым человеком с вьющейся белокурой шевелюрой и розовым полным лицом рубенсовского ангела, достигшего, увы, зрелого возраста.

Мендес сидел на одном диване с президентами Коммерческой ассоциации, Ротари-клуба и Лайонс-клуба. Доктор Эрвин Фалькенбург и доктор Лазаро Бертиога заняли позиции в креслах на расстоянии десяти шагов один от другого, будто собирались драться на дуэли. Лукас Фаиа встал около бюста де Кастильоса, а профессор Либиндо Оливарес — неподалеку от бюста Боржеса де Медейроса.

Иносенсио Пигарсо, вошедший в кабинет последним, занял единственное оставшееся свободным кресло около портрета Пиньейро Машадо как бы для того, чтобы защитить его, правда немного поздновато, от убийцы, который ударил его кинжалом в спину в далекий день 1915 года — как раз того года, когда полицейский инспектор Антареса появился на свет.

Стоя за своим письменным столом и чувствуя легкую тошноту, как если бы он съел за утренним кофе несколько орхидей, поджаренных на сливочном масле, майор Вивалдино Бразан спросил своего секретаря:

— Все прибыли?

— Все, кроме президента муниципальной палаты и президента Коммерческого клуба.

Доктор Лазаро поднялся и с натянутой торжественностью пояснил:

— Сеньор префект, сеньор Марколино болен и лежит в постели. Я могу это засвидетельствовать, поскольку меня вызывали к нему.

— Что-нибудь серьезное?

— Ну... просто расстройство желудка на нервной почве.

Тиберио издал пренебрежительный смешок:

— Ха! Марколино всегда был слаб.

Доктор Фалькенбург встал и сказал:

— Президент Коммерческого клуба тоже чувствует себя нездоровым, этим и объясняется его отсутствие. У него тахикардия.

Тиберио ухмыльнулся:

— В переводе на христианский язык это означает, что он тоже обкакался, не так ли?

Врач семейства Камполарго уселся, суровый и серьезный, не сказав больше ни слова.

Префект откашлялся, взглянул на персидский ковер, постеленный посреди кабинета (дар префектуре «от трудолюбивой сирийско-ливанской общины»), а затем на Мендеса.

— Можешь удалиться.— Секретарь сделал несколько шагов по направлению к двери, когда шеф окликнул его: — Нет! Не уходи, Мендес, иначе нас останется тринадцать в этом кабинете. Я не то чтобы суеверен... Но лучше, если мы будем предусмотрительны. Сегодня и без того пятница и тринадцатое. После всего того, что у нас произошло... можно ожидать чего угодно.

Полковник Вакариано заерзал в кресле, отыскивая наиболее удобное положение.

— Так что же все-таки произошло? — спросил он.

— Ну, Тиберио, ты же хорошо знаешь... Мертвые, которых мы вынуждены были оставить вчера у ворот кладбища, восстали из своих гробов и спустились в город.

— Я еще не видел ни одного из них.

— С вашего разрешения, полковник,— вежливо вмешался судья,— это ничего не доказывает.

— Но вы сами-то, собственными глазами видели кого-либо из покойников?

— Должен признаться, что нет. Но их видели лица, которым я полностью доверяю: наш префект, полицейский инспектор... а, да, наш уважаемый викарий...

— Тиберио,— сказал префект, протянув руку и положив ее на плечо друга,— в этот час в городе сотни и сотни граждан обоих полов видели мертвецов, расхаживающих, жестикулирующих, говорящих... и дурно пахнущих.

— Я считаю, кто уж умер, тому конец! — воскликнул полковник Вакариано.

— Не богохульствуйте, полковник. Кто умирает, тот отправляется на небо, в чистилище или в ад, в соответствии с божьими указаниями.

— Пусть так. Но не возвращается в Антарес,— возразил тот.— Вот что я хочу сказать.

— Полковник,— вмешался уже несколько раздраженный Иносенсио Пигарсо,— у меня есть предложение. Ваш старый друг Китерия в данный момент одна в своей вилле, говорят, сидит в кресле-качалке. Почему бы вам не навестить ее?

XXXV

Тиберио закурил, сделал долгую затяжку, выпустил дым через нос, закашлялся и наконец ответил:

— Потому, что я не хочу быть смешным. Где это видано, чтобы существовали живые покойники? Доктор Лазаро! Вы подписали свидетельства о смерти или не подписали? — Врач кивнул утвердительно головой.— Семеро были мертвыми или не были?

— Вне всякого сомнения.

— Но что такое смерть? — задал вопрос профессор Либиндо Оливарес, принимая свою излюбленную позу, как на портретах: щека обрамлена большим и указательным пальцами левой руки, а локоть опирается на подлокотник кресла.

Лукас Фаиа поспешил ответить не то полусерьезно, не то полунасмешливо:

— Смерть — отсутствие жизни.

Прокурор отрицательно покачал красивой головой, отвергая это определение.

— Подумайте о мильонах, о мильярдах человеческих существ, которые еще не родились и поэтому страдают (если я могу употребить здесь этот глагол) от «отсутствия жизни». Ведь нельзя же утверждать, что те, что еще не родились, мертвы.

Лукас Фаиа приподнялся в кресле и посмотрел на префекта:

— Майор, при всем к вам уважении, предлагаю всем снять пиджаки. Жара — как в Сенегале.

— Хорошая мысль! — воскликнул Вивалдино, стаскивая пиджак, как толстый банан, который сам снимает с себя кожуру. Остальные последовали его примеру, за исключением священника, который был

в сутане, и сеньора Кинтилиано, который счел неприличным для судьи оставаться без пиджака.

Поднялся профессор Оливарес:

— По моему мнению (и по мнению танатологов, конечно),— педант преподаватель улыбнулся, поглядев по сторонам,— смерть проявляется в полном прекращении функций нервной системы, функций кровообращения и дыхания... Более того! — воскликнул он назидательно с поднятым кверху указательным пальцем.— Смерть — не всегда мгновенна. Случается, что после прекращения упомянутых мною функций в течение ряда минут и даже часов могут наблюдаться частичные проявления жизнедеятельности: сокращения мускулов, например, перистальтические движения, пищеварение... Да, что еще?... Дрожание ресниц. Правильно, доктор Лазаро? А вы, доктор Фалькенбург?

Доктор Лазаро кивнул утвердительно головой. Тевтоно-бразилец отозвался сухо, с присущей ему острой иронией:

— Сеньор хорошо выучил урок.

Префект уныло смотрел на остановившийся вентилятор. Проклятая забастовка! По мере того как время шло, жара в помещении усиливалась — жара удушливая, влажная, вязкая. Теперь мухи, которые понемногу залетали через окна, становились все более надоедливыми, они садились на бюсты знаменитостей, прогуливались по головам префекта, полковника Тиберио, который с ругательствами отгонял их, кружили у самого лица судьи... И ужасная мысль начала зарождаться в головах присутствующих: подозрение, что эти самые мухи ползали по коже семи разлагающихся покойников. И поэтому, чувствуя приближение одной из них, прокурор так звучно шлепнул ладонью по собственному лицу, что все подскочили.

— Что это доказывает? — спросил полковник Тиберио, обращаясь к профессору Либиндо.— В конце концов вы верите или нет, что эти покойники действительно вернулись?

— Эх, мой дорогой полковник, по натуре я скептик, но, как гуманист, должен быть человеком, допускающим все возможности. Существует всегда «впервые» для всего. Я изучал оккультизм, знаю оккультные науки такими, какими они культивировались в средние века, в Верхней Галилее...

— Профессор Либиндо,— прервал его судья,— сейчас неподходящее время демонстрировать свою эрудицию. Мы попали в затруднительное положение, требующее безотлагательного решения, и, насколько я понимаю, нам нужно принять срочные меры в связи с этим... явлением.

Либиндо сел, скрестив руки, и сказал обиженно:

— Я отказываюсь от слова, сеньор префект. Вижу, что здесь есть люди, которые меня не понимают или не хотят понять...

Префект забарабанил по столу авторучкой, что смутно напомнило ему звуки барабана во время его походов в тяжелые времена, когда он служил командиром отряда.

— В итоге, профессор,— сказал он после того, как безуспешно попытался раздавить с помощью пресс-папье муху, ползавшую по чернильнице,— вы предполагаете, что возвращение мертвецов имеет сверхъестественное объяснение, не так ли?

— Нет! — воскликнул Либиндо Оливарес.— Я объясняю это иначе. Наш город охвачен массовой галлюцинацией.

— Ну уж нет! — запротестовал полицейский инспектор.— Я лично никогда не был человеком, подверженным галлюцинациям.

Несколько пар глаз обратились к судье, который также пожелал высказать свое мнение:

— Согласно тому, что я читал (это чтение у меня не было столь обильным и глубоким, как у профессора Либиндо), в истории человечества случались массовые галлюцинации. Это были, однако, преходящие моменты, своего рода вспышки. Чтобы то, что творится сейчас в Антаресе, могло быть объяснено просто галлюцинацией... придется признать, что галлюцинация может быть не только визуальной, но, простите, включать в себя и обоняние. И мне кажется в данном случае, если это галлюцинация, то она длится что-то слишком уж долго.

— Согласен! — сказал префект.— Этим утром, сеньоры (это не была оптическая иллюзия) у меня в гостиной побывал труп Сисеро Бранко. Он успел разложиться и наполнил дом зловонием. Говорил он обычным голосом, только... я бы сказал... как-то иронически. Между тем при жизни Сисеро никогда не держался таким образом ни по отношению ко мне, ни к полковнику Тиберио. Мы были его клиентами и близкими друзьями.

— Так что же в конечном счете,— спросил Тиберио, смотря искоса на майора,— этот человек... или этот покойник хочет от нас?

— Он мне сказал (не смейтесь, ради бога), он мне сказал, что представляет своих доверителей, то есть остальных мертвецов. В общем, они хотят, чтобы их достойно похоронили, — дескать, имеют на это право. И они назначили нам срок: до полудня.

XXXVI

Скрещивая и вытягивая ноги, инспектор Пигарсо взволнованно заявил:

— Нам необходимо найти решение сегодня же, так как в городе уже началась паника.

— Тот факт, что эти трупы среди нас, заставляет серьезно опасаться за здоровье и жизнь населения,— подтвердил доктор Лазаро, взглянув краешком глаза на своего коллегу и заметив, что тот едва кивнул головой в знак согласия.— Они даже могут вызвать эпидемию чумы.

— Я был вынужден оказать помощь десяткам пациентов, у которых случились серьезные сердечные приступы и нервные припадки,— добавил доктор Фалькенбург.

Из своего угла расстроенный викарий собора сообщил:

— Я уже исповедал сегодня более пятидесяти человек, но еще больше будут ожидать меня этим вечером.

— Это — большое несчастье! — вздохнул президент Коммерческой ассоциации.— Будто недостаточно было этой проклятой забастовки, и так принесшей огромные убытки нашей торговле!

— Вот именно,— сказал президент Ротари-клуба.— Представьте, сеньоры, что нам пришлось даже отложить sine dia[1] наш еженедельный обед, чего еще никогда не бывало.

Полковник Тиберио бросил на него разъяренный взгляд и, повернувшись к префекту, спросил:

— Так в чем же дело, майор? Мы ожидаем ваших распоряжений.

Вивалдино Бразан встал.

— Сеньоры, я хочу прежде всего поставить вас в известность о том, что было сделано мною сразу же после нанесенного мне страшного визита... Использовав передатчик присутствующего здесь нашего

[1] На неустановленный срок *(лат.)*.

уважаемого радиолюбителя доктора Фалькенбурга, я связался с губернатором штата. Когда я рассказал ему, что происходит в городе, он расхохотался и спросил, не подшучиваю ли я над ним. Я заверил, что нет. Поклялся памятью моей матери. Тогда губернатор обещал принять меры... но говорил при этом так, как если бы хотел отвязаться от сумасшедшего.

— Кто знает, может быть, мы действительно сошли с ума? — спросил Либиндо.— Подумайте об этой гипотезе, не такой уж абсурдной. Галлюцинация — это своего рода внезапный припадок острой шизофрении.

— Вы упустили хорошую возможность помолчать,— заметил Тиберио. И, повернувшись к префекту, сказал: — Продолжай, Вивалдино.

— Так вот, затем я вызвал главного редактора газеты «Коррейо до пово», видную персону, моего личного друга, который знает меня много лет, и поведал ему всю эту историю. Он не смеялся, но я почувствовал, что он считает все это нелепым. Обещал прислать репортера и фотокорреспондента, чтобы во всем разобраться... Затем мне удалось связаться с двумя телевизионными станциями столицы штата. В первой из них к аппарату подошел какой-то служащий, который, выслушав мой рассказ, рассмеялся и спросил: неужели мне нечего больше делать... Я вышел из себя и послал его к чертовой матери. Он обругал меня в свою очередь и бросил трубку.— Префект сделал паузу и вступил чуть ли не в драку с двумя мухами, которые намеревались сесть ему на голову, потом заговорил, слегка задыхаясь: — Мне больше повезло на другой станции. Я переговорил лично с директором, моим старым знакомым. Он меня выслушал и (о, чудо!) поверил всему...

— Должно быть, он еврей,— объяснил Либиндо с улыбкой всезнающего.— Это они обладают тончайшим нюхом на тайну и на все сверхъестественное и в то же время прочно стоят на земле, опираясь на материальную, конкретную, экономическую действительность мира.

— Вы нам нисколько не помогаете философствованиями,— посетовал префект, посмотрев сурово на профессора.— Время летит, мы уже здесь потеряли уйму его, не достигнув никакого практического результата. Приберегите свои фразы на то время, когда мертвые будут похоронены и город вернется в нормальное состояние.— Изменив тон, он закончил: — Итак, сеньоры, возможно, что завтра утром у нас здесь, в Антаресе, появятся репортеры «Коррейо до пово» и кинооператор двенадцатого канала телевидения.

Лукас Фаиа потер руки и воскликнул:

— Мы на карте мира! Попадаем в историю.

— Но какой ценой! — заметил прокурор.

Префект сел, совершенно изнемогая. Наступила тишина, слышалось лишь жужжание мух. Мендес позаботился принести три кувшина лимонада со льдом и стал угощать присутствующих. Потом, как бы решив, что это дало ему право вмешаться, подошел к столу шефа и тихонько сказал:

— Майор, падре Педро-Пауло находится здесь, в вестибюле.

— А... Что ему нужно?

— Я взял на себя смелость пригласить его.

— А зачем?

Остальные стали внимательно прислушиваться к разговору, который велся теперь громко.

— Он может быть нам полезен... Должен кое-что знать.

— Как? Почему?

— Сегодня утром через жалюзи моего окна я видел падре Педро-Пауло беседующим на площади с... трупом Жоана Паса.

Префект взглянул сначала на Тиберио, потом на судью, спросив обоих:

— Ваше мнение, сеньоры?

Полковник Вакариано пожал плечами с безразличным видом. Судья пробормотал:

— Мы не должны отказываться ни от малейшей возможности прояснить все это. Если присутствующие не возражают, я согласен допросить этого... этого молодого человека.

— Как вам кажется, падре Жеронсио? — спросил префект.

— У меня нет никаких возражений.

— Приведи его! — распорядился префект.

Мендес живо вышел из кабинета и вскоре вернулся с капелланом Рабочего поселка.

XXXVII

Педро-Пауло сделал общий поклон и встал посередине ковра перед столом префекта.

— Садитесь, падре,— пригласил Вивалдино, хотя не было ни одного свободного кресла.

— Нет, майор, спасибо. Я постою.

— Как угодно... Сеньор Вале, хотите вы задать вопросы нашему другу?

— Хорошо,— ответил судья,— если вы желаете, чтобы я вел допрос...

— Это что же, трибунал? — спросил священник.— Меня судят за какое-нибудь преступление?

— Да что вы, преподобный,— поспешил вмешаться Лукас Фаиа.— Что за мысль! Мы хотим, чтобы вы помогли нам разрешить некоторые трудности. Ваше показание весьма для нас ценно.

Кинтилиано до Вале задал первый вопрос:

— Правда ли, что вы разговаривали сегодня утром на площади с... с сеньором Жоаном Пасом?

— Да.

— И он... по вашему мнению, мертв?

— Да.

— Что заставило вас прийти к такому заключению?

Педро-Пауло провел платком между воротничком и шеей, прежде чем ответить. Потом, хорошенько взвешивая слова, произнес:

— Позвольте мне рассказать вам эту историю с начала. После того как Жоан Пас провел два дня и две ночи в местной тюрьме, я попытался повидать его, обратился в полицейское управление, но чиновник заверил меня, что Жоанзиньо убежал из тюрьмы и нашел убежище в Аргентине. Через несколько часов я узнал, что мой друг умер от легочной эмболии в больнице «Сальватор Мунди». Я поспешил туда и попросил, чтобы мне показали его тело, так как в последний раз, когда я видел Жоана Паса при его аресте, он был не только жив, но, как мне показалось, совершенно здоров...

Иносенсио Пигарсо выпрямился в своем кресле.

— На что это вы намекаете? — спросил он угрожающе.

— Ни на что... пока.. — ответил Педро-Пауло, не глядя на инспектора.— Я хочу сказать, сеньоры, что полиция запретила мне взглянуть на труп, который находился уже в заколоченном гробу, когда я пришел в отделение для бедняков упомянутой больницы...

— Вы что, усомнились тогда, что он действительно умер?

— Нет. Я прочел свидетельство о смерти, подписанное доктором

Лазаро Но когда этим утром я увидел Жоана Паса на площади, то я едва его узнал, так были изуродованы пытками его голова и все тело.

— Это ложь! Я видел труп этого человека, когда его клали в гроб. Он был точно таким, как и при аресте. Смерть — это подтверждено свидетельством — была действительно вызвана легочной эмболией.

Судья примиряюще поднял руку, и, когда снова заговорил, в его голосе звучала непоколебимость самого правосудия:

— Мы не расследуем в настоящий момент причины смерти гражданина Жоана Паса. Падре Педро-Пауло, вы, значит, опознали лицо, которое встретили на площади...

— Да, несмотря на то, что лицо было жутко обезображено, как вы все будете иметь возможность убедиться менее чем через час...

— Хорошо, падре,— ответил судья.— Нас интересует, почему вы пришли к заключению, что Жоан Пас мертв?

— Лицо его было трупного цвета, он не дышал... и я заметил, что роговая оболочка его глаз мутна... Ну и, помимо всего, от его тела исходил запах разлагающейся человеческой плоти.

— Но этот... этот *труп* ходил? Говорил? Думал?

— Я отвечу *да* на первые два вопроса. Что же касается третьего, то откуда мне знать, функционирует ли его мозг? Впрочем, то, что он мне сказал, свидетельствовало о том, что он обладает памятью, владеет словом и у него есть собственная воля...

— И что же он вам сказал? — обеспокоенно спросил полицейский инспектор, нервно покусывая потухшую сигарету.

Не сводя глаз с судьи, Педро-Пауло ответил:

— То, что он мне сказал, я не могу открыть здесь. Прошу вас не настаивать...

— Выразил ли он желание быть немедленно похороненным, как другие шесть покойников?

— Нет. Он заявил, что для него не так уж важно, что сделают с его телом.

— Что же он хотел тогда?

— Я уже вам сказал, что не могу это открыть. Падре Жеронсио разъяснит вам долг священнослужителя в отношении сохранения тайны исповеди.

— Так, значит, он исповедался? — живо спросил старый викарий.

— Не в религиозном смысле,— ответил Педро-Пауло.— Жоан Пас продолжает быть атеистом, как и при жизни.

— Но все это нелепость! — воскликнул Тиберио.

Кинтилиано оставался спокойным.

— Падре Педро-Пауло, я знаю, что вы очень начитанны и весьма сведущи в разных областях. Как вы объясняете, что семь трупов восстали из своих гробов и расхаживают по городу, будто они и впрямь воскресли?

— У меня нет этому объяснения.

— *Credo quia absurdum est* [1],— вмешался профессор Либиндо, произнеся эту фразу таким голосом, что можно было как бы видеть курсив латинской цитаты.

Лукас Фаиа, который теперь расхаживал туда и обратно, нервно проходя путь между своим креслом и окнами-дверями, тронул руку капеллана рабочих.

— С разрешения уважаемого судьи... Дружище Педро-Пауло, вы знаете, что наш дорогой викарий, увидев семерых мертвецов, вернулся в церковь и решил (даже объявил это громогласно), что начинается Страшный суд?

---

[1] Верю, ибо это нелепо *(лат.)*.

— Знаю. Сам падре Жеронсио рассказал мне.

— И как вам показалась эта мысль?

— Абсурдной. Я не верю в Страшный суд.

Профессор с апокалипсическим видом нацелил указательный перст на молодого капеллана:

— Вот она, сеньоры, «современная» христова церковь: католический священнослужитель, не верящий в Страшный суд.

Педро-Пауло пожал плечами:

— Ни в ад, ни даже в рай.

— Пожалуйста! — взмолился викарий.— Не говорите больше ничего. Иначе вы в конце концов признаетесь, что не верите в бога!

XXXVIII

Президент Лайонс-клуба поднял руку, как ученик, который просит у учителя разрешения говорить перед классом.

— Я был в церкви, когда наш достопочтенный падре Жеронсио объявил о Страшном суде. Признаюсь, что я вначале встревожился и у меня появилось желание бежать домой, но потом, поразмыслив, я пришел к заключению, что Страшный суд — это... такое большое дело... такое важное... такое... такое страшное, что бог не мог начать его, не предупредив заранее человечество, не послав какого-либо знамения. Не знаю, ясно ли я выражаюсь?

— Например,— предположил Мендес,— послав своих ангелов облететь весь свет, играя на трубах?..

Префект осудил секретаря, отечески строго нахмурившись.

— Понимаю. Вы представляете себе Страшный суд как самое пышное show[1], исключительно дорогой суперспектакль из числа тех, которым, скажем на телевидении, покровительствуют мощные фирмы, такие как «Стандард ойл», «Форд», «Дженерал моторс»... В итоге ваш бог — импресарио, проявляющий заботу об Институте общественного мнения, не так ли?

Тиберио Вакариано приподнялся в кресле, протестуя:

— Этот попик насмехается над нами! Я отказываюсь терять время на всякую чепуху.

Либиндо заговорил снова:

— Сеньоры, мы несправедливы к нашему уважаемому священнику. Он человек культурный и с большим опытом. И он нам еще не сказал, что думает об этих «воскрешениях»...

Головы повернулись к викарию, который пробормотал:

— У меня нет объяснения данному феномену. Никогда в своей жизни, уже достаточно долгой, я не слышал о каком-либо мертвеце, который бы воскрес...

— А что вы скажете насчет воскрешения Лазаря, как оно описано в Новом Завете? — спросил профессор со своей макиавеллиевской улыбкой.

— Но это произошло в библейские времена,— привел довод священник.

— Через две тысячи лет,— сказал Педро-Пауло,— если какая-либо ядерная война не уничтожит полностью Будущее, через двадцать веков наша эра, возможно, будет иметь мистический и магический престиж, равный или больший, чем престиж библейских времен.

Едва скрывая свое нетерпение, судья поглаживал пальцами узел

[1] Представление *(англ.)*.

шелкового небесно-голубого галстука, который так хорошо гармонировал с его темно-синим костюмом из английской шерсти.

Лукас Фаиа подошел к падре Жеронсио и почти присел на корточки у ног старика, всем своим видом изображая внимание:

— Наш любимый викарий еще не сказал нам, верит он или нет в воскрешение Лазаря...

Старый священник пристально смотрел на причудливый пестрый рисунок персидского ковра, как будто там мог найти правильное решение проблемы, поставленной перед ним журналистом.

— Ну, в те времена Иисус ходил по земле...

Педро-Пауло обратился к старцу:

— Предположим, что Иисус Христос вернулся...

— Прямо в Антарес? — быстро спросил майор Вивалдино.

— А почему бы нет? Вы что же, считаете, что Сан-Боржа, Алегрете или Сан-Сепэ — более подходящие города, чем наш, для того чтобы принять мессию?

— Идея чарующая! — возликовал Лукас Фаиа.— Представьте себе наш город, преображенный в святое место, более значительное, чем святилище Лурдской богоматери...— Он повернулся, сияющий, к президенту Коммерческой ассоциации: — Каково, дружище? Какие возможности для местной торговли? А?

— Прекратите, Лукас! — закричал Тиберио, проводя по лицу промокшим платком.— Глупость проявляется гораздо сильнее во время сильной жары.

Журналист замкнулся в обиженном молчании. Педро-Пауло, однако, настаивал:

— Предположим, что Иисус Христос действительно вернулся... Инспектор Пигарсо, не будет ли благоразумным отправить ваших агентов следить за Сыном человеческим? Смотрите, этот индивидуум опасен... социализированный подрывной элемент, террорист с преступным прошлым, с чернейшей карточкой в департаменте специальной полиции Понтия Пилата. Вспомните, что он говорил и делал против великого римского «истаблишмента»...

Иносенсио вскочил с искаженным лицом. Но молодой священник продолжал:

— Схватите Иисуса, инспектор, арестуйте его как можно скорей! Допросите его. Заставьте признаться во всем, назвать имена всех своих учеников и сообщников... Если же он не станет говорить, пытайте его во имя западной христианской цивилизации!

Со сжатыми кулаками Пигарсо устремился к Педро-Пауло, явно намереваясь ударить его по лицу, но Мендес бросился наперерез и своей длинной рукой, худой, но мускулистой, обхватил шею инспектора. «Подлый падре,— проревел Иносенсио, задыхаясь,— коммунист, мать твою...» Мендес, однако, еще сильнее сжал ему горло, лишив его возможности закончить ругательство.

Как человек, чувствующий себя виновным, вскакивает, пробуждаясь от послеобеденного сна, на который не имеет права, префект Антареса рывком поднялся с места, обошел стол и, подойдя к инспектору, воскликнул:

— Иносенсио, вернись на свое место и веди себя прилично! Мендес, ты его задушишь!

Секретарь освободил инспектора, и тот направился к своему креслу, ворча:

— Я не допущу злонамеренных инсинуаций, не допущу клеветы. Этот священник-смутьян дождется у меня... А вам, Мендес, не следовало показывать свою силу...

Секретарь вышел из помещения, чтобы распорядиться подать еще

лимонада. Оживленная дискуссия продолжалась более получаса. Многие говорили одновременно. Президент Коммерческой ассоциации преследовал одну и ту же муху с такой яростью, будто сводил с ней старые счеты. Профессор Либиндо в вынужденной реплике задал вопрос, знают ли присутствующие, что слово canicula[1] означает на самом деле «сука» и что это — древнее название планеты Сириус. Стоя посреди кабинета, падре Педро-Пауло начал ощущать всю абсурдность своего положения. Воспользовавшись паузой, он спросил префекта:

— Не желаете ли вы, чтобы я удалился?

— Нет. Побудьте еще минутку. Я хочу знать, можете ли вы что-либо посоветовать нам. Дело в том, что в полдень все мертвецы соберутся на эстраде на площади в ожидании нашего ответа.— Он взглянул на часы.— Нам осталось каких-нибудь полчаса, чтобы принять решение...

— Прежде чем прийти сюда,— сказал капеллан,— я повидался с Жемениано и попросил его снять запрет с кладбища, ввиду этих неожиданных событий... Он ответил, что это от него не зависит, что положение может быть изменено только по решению собрания. Я предложил ему созвать это собрание, и он обещал мне, что сделает это еще сегодня вечером. Очень сожалею, сеньоры, но я нахожу, что нет иного выхода, как только ждать...

— Но ждать с семью мертвецами, разлагающимися посреди площади? — спросил прокурор.— Сколько времени ждать?

Майор Вивалдино растерянно глядел на молодого священника, как на редкого зверя, еще не известного науке.

— У кого-нибудь еще есть вопрос к падре Педро-Пауло? — спросил он, оглядывая всех. Поскольку все продолжали молчать, префект пробормотал: — Хорошо, падре. Можете идти. Большое спасибо.

XXXIX

— Сеньоры, у нас всего двадцать минут на то, чтобы наметить план действий,— напомнил судья.

— Не желая вторгаться в чужую область,— сказал полицейский инспектор,— я все же считаю, что у нас нет иного выхода, как объявить осадное положение. После введения осадного положения прекращаются все конституционные гарантии. Я предлагаю, чтобы мы действовали в ближайшие часы, как если бы Антарес был окружен противником.

— И в самом деле,— высказал свое мнение прокурор,— мы подверглись нападению врага, который располагает весьма необычным оружием... я бы сказал даже — сверхъестественным... И этот страшный враг уже в наших стенах!

— Так что же нам делать, по твоему мнению, полковник Тиберио? — спросил Вивалдино.

— Ну, вы знаете, что я не сторонник мягких мер. Думаю, что мы должны позвонить командующему федеральным гарнизоном Сан-Боржи и попросить его прислать роту... или даже полк, хорошо вооруженный, для того чтобы заставить этих подонков-забастовщиков снять осаду с кладбища. Никаких уговоров: пуля и штык против них!

Префект рассеянно почесал затылок, сдул муху, севшую ему на

---

[1] Сильная летняя жара *(порт.)*.

кончик носа, взглянул на часы под портретом сенатора Пиньейро Машадо и увидел, что стрелки неудержимо движутся к цифре XII — роковому часу.

— Сеньор Кинтилиано, ваше мнение?

— Признаюсь, я несколько растерян. Никогда в жизни не встречался с проблемой такого рода.

— А вы, сеньор викарий?

— Самое большее, что я могу сделать, сын мой, это молиться за живых и за мертвых.

— Иносенсио?

— Мой план прост и эффективен: я снабжаю пятнадцать моих солдат противогазами, чтобы они не чувствовали зловония, вторгаюсь на эстраду и силой возвращаю всех покойников обратно в их гробы. На всю операцию потребуется не больше пятнадцати минут...

— Вы забываете,— вмешался доктор Фалькенбург,— что среди мертвецов находится дона Китерия Камполарго. Вы подумали, какое отвратительное впечатление может произвести эта насильственная акция на наше население?

— Что вы, доктор! — возразил инспектор.— Народ Антареса в настоящий момент согласится с чем угодно, лишь бы освободиться от омерзительного присутствия этих покойников.

Префект обратился к полковнику Вакариано:

— Так на чем останавливаемся?

— Ну, поначалу предложение Иносенсио показалось мне приемлемым, Даже лучшим, чем мое. Пятнадцать муниципальных полицейских быстрее и легче управятся с этой операцией, а сколько мы будем добиваться, чтобы из Сан-Боржи прислали солдат? И план инспектора обладает тем преимуществом, что он может быть осуществлен без всякой помощи извне. Но, признаюсь, мне претит мысль увидеть, как тело моего старого друга Киты полиция потащит в свой фургон...

Префект перевел усталый взгляд на людей, сидящих на диване.

— А вы, президенты Ротари-клуба, Лайонс-клуба и Коммерческой ассоциации... что вы нам предложите?

Поднялся первый из них:

— Сеньор префект, я предлагаю в братском духе Ротари-клуба: сердечно встретиться с мертвецами на площади и поговорить с ними, как друзья и братья,— постараться убедить их в том, что для блага жителей города они должны добром и как можно скорее вернуться в свои гробы.

— В соответствии с духом Лайонс-клуба, не менее сердечного и братского, чем дух Ротари-клуба, я поддерживаю предложение предыдущего оратора. Я — за переговоры. И вот уважаемый президент Коммерческой ассоциации только что шепнул мне, что и он того же мнения,— ответил второй.

— Но как мы все выдержим эти переговоры? — спросил старый Тиберио.

— Это уже другая проблема, полковник! — сказал Лукас Фаиа.— Мы можем прикрыть лица платками и стараться не подходить слишком близко к эстраде.

Грызя ногти, Мендес обеспокоенно взглянул на часы — без трех минут двенадцать,— а затем на бюсты Жулио де Кастильоса и Боржеса де Медейроса. *(Социальное развитие покоится в основном на смерти. Живые неизменно и все больше и больше управляются мертвыми.)*

Судья побледнел еще сильнее.

— Я тоже за то, чтобы попытаться достигнуть соглашения, как это ни тяжело будет для нас...— сказал он.

— Idem [1],— ответствовал прокурор, упорно думая о склянке с тальком, которая осталась у него дома в ванной, ибо его полные ляжки горели, как поджаренные.

— Доктор Лазаро? Доктор Фалькенбург? Лукас? Падре Жеронсио? — спрашивал префект.

Все четверо кивнули головой в знак согласия. Майор Вивалдино встал, тяжело дыша, с мокрым от пота лицом и широкими пятнами под мышками.

— Предложение президента Ротари-клуба, поддержанное президентом Лайонс-клуба, принято!

— Браво! — воскликнул Лукас.

Мендес, продолжая грызть ногти, неотрывно смотрел на часы, стрелки которых уже догнали одна другую на цифре XII. Журналист откашлялся и сказал с нервной торжественностью:

— Как бы ни было, сеньоры, в этот час о нашем городе начинают говорить во всем штате, во всей стране, во всем мире! Антарес попадает в историю! И «Вердаде» сообщит об этом из первых рук!

Четырнадцать пар глаз обратились к часам, стрелки которых только что встретились.

XL

То, что произошло далее, будет рассказано Лукасом Фаией в самой значительной в его жизни статье в следующих, опять-таки присущих только ему, выражениях:

«Внезапно стекло тишины было резко разбито звучным ударом, и тогда показалось, что небо, воздух, город, люди — все задрожало от удивления и испуга, которые длились долю секунды — время, достаточное для того, чтобы все мы поняли, что это соборный колокол начал отбивать полдень медленными, долгими и заунывными ударами. Я почувствовал эти удары колокола внутри черепа. Похоже было, что огромное сердце Антареса звонит, поминая своих живых и своих усопших. Я выбежал на балкон, влекомый своим журналистским инстинктом. Прикрыл глаза от яркого света полуденного солнца и внимательно осмотрел площадь... Сердце у меня бешено заколотилось где-то около горла. «Мертвецы подходят! Мертвецы подходят!» — почти закричал я. Все столпились на балконе префектуры, и я стал громко называть своим друзьям имена семерых трупов по мере того, как их узнавал.

Первым поднялся на эстраду сапожник Жозе Руис (Барселона). Затем я различил дону Китерию Камполарго, вышедшую из своей виллы. Сисеро Бранко появился из переулка Кастильцев и пошел навстречу, чтобы помочь ей перейти улицу и подняться на эстраду. Профессор Менандро Олинда покинул свой домик с синими изразцами и шел по улице широким, легким шагом так, как бы шагал человек на поверхности Луны. Он надел фрак и желтые туфли — походил на большого черного жука. Падшая Эротилдес и алкоголик Кашасовый Пудинг шли со стороны реки, взявшись за руки. Поднявшись на эстраду, они сели на одну из скамеек, подобно парочке влюбленных. Под конец из-за платана появился, хромая, Жоан Пас и присоединился к другим под навесом легкой эстрады в стиле пагоды, которая украшает нашу старую площадь Республики.

[1] Тоже *(лат.)*.

Мы стояли на балконе в тревожном молчании под палящими лучами солнца, которое походило на огненное око бога-мстителя, возвещающее конец света. До конца моего земного существования, если даже проживу сто лет, я не смогу забыть этих страшных минут!»

XLI

На площади неожиданно появилась еще одна фигура — уличный фотограф Ярослав. С завязанным на затылке платком, плотно закрывающим нос и рот, он вышел из-за кустарников и смешной походкой персонажа мультипликационного фильма приблизился к эстраде. Подойдя к покойникам метров на десять, он в какие-то секунды установил штатив своего фотоаппарата, сунул голову под черную тряпку, щелкнул затвором и, взвалив камеру на плечо, чуть ли не бегом направился к зданию префектуры.

— У этого бродячего щелкуна все же есть нервы,— проворчал полковник Тиберио.

Все вернулись в кабинет.

— Ну что ж,— вздохнул Вивалдино Бразан, одергивая свой пиджак, как рыцарь, одевающий панцирь перед схваткой,— настал критический момент.

По телефону префекта доктор Фалькенбург соединился со своей больницей и попросил срочно послать на один из углов площади больничную машину с врачом и парой санитаров. Вслед за ним доктор Лазаро вызвал «Сальватор Мунди», повторил ту же просьбу и, натянуто улыбаясь, пояснил:

— Для оказания первой помощи. Случаи солнечного удара, дурнота, нервы, понимаете?

Стоя на коленях в углу кабинета, падре Жеронсио молился, сложив руки и опустив голову.

— Мы не заслуживаем этого! Боже мой, мы этого не заслуживаем! Мы — народ спокойный и трудолюбивый! Мы никому не делаем зла! Мы не заслуживаем этого! Не заслуживаем этого!

Взглянув на него с презрением, полковник Вакариано проворчал:

— Есть люди, которые не заслуживают того, чтобы называться мужчинами.— И добавил громче: — Пошли, друзья!

Доктор Лазаро прошептал своему знатному пациенту:

— Полковник, вам не следовало приходить. Возвращайтесь, ради бога, домой, пока не поздно! Ваше сердце не выдержит!

— Ни один Вакариано никогда не заболевал в час борьбы,— хвастливо заявил Тиберио.

— Но речь идет не о борьбе человека с человеком,— ответил врач,— мы столкнулись со сверхъестественным явлением! Положите по крайней мере таблетку нитроглицерина под язык.

Он сказал это и решительно направился к площадке центральной лестницы. За ним последовали префект, полицейский инспектор, судья, прокурор, профессор Либиндо и главный редактор «Вердаде».

Заметив отсутствие врачей и трех президентов, Иносенсио Пигарсо повернулся к двери кабинета и дерзко спросил:

— Представители производительных сил не сопровождают нас? И представители класса медиков?

Пятеро оставшихся посреди кабинета в нерешительном молчании переглянулись и направились за остальными. И вот все тринадцать самых важных персон Антареса, а также Мендес стали медленно спускаться по лестнице префектуры, сохраняя торжественное молчание.

(Окончание следует)

ДИТЕР ШУБЕРТ

Донна Клара

РАССКАЗ

Авторизованный перевод с немецкого и вступление СЕРГЕЯ ЛЬВОВА

В центре Берлина на рано просыпающейся и, в отличие от других берлинских улиц, поздно засыпающей Фридрихсштрассе под 129-м номером стоит несколько старых домов. Их объединяет общий номер и просторный двор, на котором растет старая шелковица. Рядом большая улица, а здесь тихо, только шуршат под ногами осенние листья да перекликаются дети и птицы. У этих домов, у этого двора, у этого дерева — история необычная. Прусский король Фридрих II завидовал знаменитым шелковым мануфактурам короля французского. Его прусское величество изволили снестись с его французским величеством и, получив согласие августейшего собрата, выписали в Берлин несколько старинных гугенотских семей, которые уже не в первом поколении успешно занимались во Франции шелководством.

То ли французские власти настоятельно посоветовали шелководам-гугенотам внять приглашению Фридриха II, то ли они сами не забыли преследований, которым подвергались по религиозным мотивам их предки во Франции (побоище в Васси и Варфоломеевская ночь были кровоточащими ранами в семейных преданиях каждого гугенотского рода), так или иначе, они поменяли небо и землю католической Франции на небо и землю протестантской Пруссии. Со всеми чадами и домочадцами, с пожитками, с саженцами тутовых деревьев и с тщательно сберегаемой в пути шелковичной греной [1] прибыли они в Берлин. Здесь им отвели землю, на которой они прежде всего посадили саженцы тутовых деревьев, иначе называемых шелковицами, а потом построили дома. Двор, на котором, далеко отступя от красной линии Фридрихсштрассе, стоят дома за номером 129, был некогда владением гугенотской общины в Берлине.

Хотя я в Берлине не впервые, никогда бы сюда не попал, ничего бы об этом дворе и его истории не услышал, если бы не пошел навестить известного писателя и издателя Виланда Герцфельде. Покуда мы разговаривали с Виландом Герцфельде, к нему на огонек зашел сосед по лестнице и собрат по профессии детский писатель Дитер Шуберт. Он подхватил нить разговора, и из рассказов их обоих — оба отличные устные рассказчики! — я узнал историю двора, в котором они живут.

Привезенные из Франции шелковицы на берлинской почве прижились, шелководы из гугенотских родов тоже. Хуже было с шелкопрядами. Гусеницы охотно ели листву тутовых деревьев, но вить коконы не пожелали — берлинский климат пришелся им не по вкусу.

Фридрих II был разочарован, но вскоре ему стало не до затеи с берлинским шелком, иные заботы отвлекли короля — его армия и его тактика несли поражения. Про гугенотов-шелководов забыли. Им было не под силу снова сниматься с места и отправляться восвояси. Так они и остались жить в Берлине. Просторный двор, по которому я проходил, когда шел к Герцфельде, двор со старой шелковицей, под которой мы разговаривали с Шубе́ртом,— это сохранившееся в центре сегодняшнего Берлина воспоминание о забытой, но примечательной строке на страницах истории.

Герцфельде поселился тут в начале пятидесятых годов, а Шуберт — старожил. Среди этих домов, в тени этой шелковицы прошло его детство. Воспоминаниями о нем навеян рассказ «Донна Клара», который вы сейчас прочитаете.

[1] Грена — яйца бабочек шелкопряда.

Живыми прототипами этой увлекательной, остродраматичной и очень человечной истории были соседи Дитера по дому, по двору, товарищи его детских игр. Покуда я переводил этот рассказ, я все время мысленно видел старый двор, старые дома во дворе, старую шелковицу, посаженную тут некогда гугенотами, и мне казалось, что я вижу и всех тех людей, с которыми вы познакомитесь, читая рассказ Дитера Шуберта, впервые предстающего перед советским читателем. Неожиданно, смело и убедительно переосмысляются на его страницах понятия «святая», «святое сияние», «чудо». В нем прославляется земное чудо — скромный подвиг мужества, бесстрашия и самоотречения. В годы бесчеловечной нацистской диктатуры этот подвиг превращает одинокую, странную, нелепую старуху, какой она представляется детям с ее двора, в человека, способного вызвать не только молчаливое уважение окружающих, но даже воскресить то лучшее, что еще сохранилось в их душах.

На этом можно было бы, пожалуй, закончить представление читателям Дитера Шуберта и его рассказа. Если бы не разговор по телефону, который состоялся у меня с автором рассказа перед самым отъездом из Берлина.

— А той шелковицы, о которой я написал в «Донне Кларе» и под которой вы меня сфотографировали, больше на нашем дворе нет.

— Как нет?!

— Сломало ураганом.

(В середине ноября прошлого года над Германией пронесся короткий, но сильный ураган, который повалил много деревьев и наделал разных бед.)

Итак, старой шелковицы, посаженной на берлинской земле французскими гугенотами, больше не существует. Но в рассказе Дитера Шуберта старая шелковица воскресла, обрела в нем новую жизнь. Так же, как воскресло в нем детское воспоминание о странной старухе. Одни считали ее ведьмой, другие — ясновидящей, третьи — святой.

А на самом деле она была просто человеком, хорошим человеком, добрым, смелым, гордым, способным даже свою старость и немощь, даже свою комическую внешность превратить в вызов врагу, в назидание равнодушным, в призыв к колеблющимся. И это, по-моему, и есть подлинное чудо, свершившееся под старой шелковицей.

В нашем доме жила странная старуха. Мы прозвали ее донна Клара. Каждый день после обеда, конечно если не было воздушной тревоги, она выходила из дверей флигеля. Шаркая большими мужскими полуботинками, она направлялась к старой шелковице, такой старой, что листва на ней уже не поспевала за сменой времен года и, случалось, зеленела под рождество. Донна Клара прислонялась к стволу дерева, иссеченному глубокими морщинами и трещинами, подтягивала спадающие шерстяные носки, поправляла рюши на блузке и решительно насаживала себе на нос пенсне. Потом она пересекала двор и через глубокую арку ворот переднего дома выходила на улицу. Мы бежали за ней и пели:

«О, донна Клара, мне танец помнится твой! Ты так чудесно трясешь своей бородой» [1].

У нее на подбородке росли вьющиеся седые волосы.

Мы ее побаивались. Ясно, она скрывает тайну и, видно, зловещую. Даже наша дворничиха, которая знала все и про всех, не могла сказать про донну Клару, дама та или девица, а может, еще кто. О ней ходили самые разнообразные слухи: ведьма, святая, на худой конец — ясновидящая. Одноглазый Атце Реттиг утверждал, что донна Клара — обанкротившаяся содержательница парижского борделя или сбежавшая из монастыря французская монашка, а может, французская графиня-инкогнито. Во всяком случае, француженка, зовут-то ее Бонель. Когда-то она была очень красивой, это точно, у нее были большие глаза и глядела она ими приветливо. Непохоже, что она может сглазить.

---

[1] «Донна Клара» — название немецкого танго, популярного в конце 20-х — начале 30-х годов. Дети пародируют его первую строфу. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

Каждый день я забирался на шелковицу и прятался в раскидистой кроне, так что снизу меня не было видно. Зато я оттуда мог заглянуть в окно донны Клары, а заодно и в кухню Марты Лемпфуль. Марта вставала с постели только вечером, мылась с головы до ног, при этом зажигала свет, чтобы разглядеть себя в зеркале. У нее на груди слева, там, где сердце, красовалось большое родимое пятно.

Как-то осенью я узнал о донне Кларе больше, чем рассчитывал. Через открытое окно ее комнаты виднелись сразу две донны Клары — она сама и ее отражение в большом зеркале с позолоченной рамой. Обе донны Клары держали в одной руке щипцы для завивки, в другой — седые волосы. Две пары щипцов, два парика, две головы, и обе лысые. Я испугался. Голая голова донны Клары поразила меня куда больше, чем голое тело Марты Лемпфуль. Лишенное одежды, тело шлюхи Марты громко говорило о грехе, лишенная волос голова донны Клары тихо свидетельствовала о непорочности, а может, и о святости.

Я поклялся, что никто не узнает о ее лысине, но в тот же вечер проболтался моей подружке Ильзе Моллентин. Мы сидели на плоской крыше флигеля, покрытой толем: над нами — небо, под нами — весь остальной мир, рядом с нами — дымовая труба, от которой пахло не то походным костром, не то коптильней. Запах такой, что слюнки текли, и слюны хватало, чтобы плюнуть, нацелившись, на трубу. Ильза Моллентин восхищалась моей меткостью. Я показывал ей, как изгибать язык, если хочешь собрать слюну, как сделать глубокий вдох и как, наконец, плюнуть. Ильза была готова без конца смотреть, как я это делаю, а я — наблюдать, как это получается у нее. У нее не выходило даже и в половину так хорошо, как у меня.

— Плевать по-настоящему могут только мальчишки,— сказал я, чтобы утешить Ильзу.

— У девочек языки такие же,— ответила она, и мы осторожно пощупали пальцами наши языки, а потом испуганно поглядели друг на друга. У Ильзы Моллентин глаза были большие и синие, они влажно поблескивали, и пальцы ее на вкус оказались солоноватыми. Теперь мы были все равно как помолвлены. Мы потрогали наши языки, и это связало нас навек нечестивой связью. А мне стало окончательно ясно: я люблю Ильзу Моллентин не потому, что ее отцу принадлежат три первоклассные дойные коровы, которые стоят в коровнике на соседнем дворе.

— Бедная старуха! — прошептала Ильза, когда я поведал ей о моем открытии, и добавила: — Только, ради бога, не рассказывай об этом больше никому!

— Никому и никогда!

— Мужчина должен уметь молчать.

— До гробовой доски! — ответил я торжественно. Ясно! Об этом я уже был наслышан. «Кавалер наслаждается, но хранит молчание»,— говорил дядя Алоис, когда приезжал в отпуск из Парижа.

Но, черт его знает почему, едва я слез с крыши и пошел во двор, прикосновение к языку показалось мне невинной забавой, и я подумал, что поторопился со своим обещанием. Покуда мы с Атце Реттигом рыли яму около шелковицы, надеясь откопать жестяную коробку с тысячемарковыми банкнотами — она приснилась Атце во сне,— я решил, что буду молчать хотя бы до тех пор, пока мы не найдем коробку.

Мы выкопали довольно большую яму и здорово вспотели. Мы копали на том самом месте, где было больше всего корней и где, через полтора года, лежал почтальон Новак, в которого попал осколок зенитного снаряда. Он лежал такой, как всегда, угрюмый, в форме почтальона, подпоясанный военным ремнем, всем своим видом показы-

вая — нахожусь при исполнении служебных обязанностей, и вовсе не был похож на покойника. Мы похоронили Новака на том месте, где он был убит, и одноногий Калиш удивлялся, какая тут податливая земля. Откуда ему было знать, что это мы с Атце Реттигом перекопали тут все — мы искали жестянку с тысячемарковыми банкнотами. Может, ее спрятали в другом месте, может, нам перебежал дорогу черный кот дворничихи, а может, Атце Реттиг все перепутал во сне или плохо разглядел место своим единственным глазом. Я попрекнул его, а он сказал, что мой отец как был в душе красным, так и остался, а Ильзу Моллентин обозвал вонючей скотницей. Наш спор был кратким. После него я взирал на мир, как Атце Реттиг — только одним глазом. Другой на некоторое время закрылся.

До самой зимы мы с Атце не разговаривали, и я очень удивился, когда по дороге из школы он вдруг подошел ко мне. Он на меня не глядел, я на него тоже. Помолчав, он прошептал:

— У донны Клары — ребенок!

Мы стремглав пронеслись по улице, одним духом пересекли двор, взлетели на второй этаж флигеля, прижались ушами к дверям донны Клары. Облупившаяся краска царапала мне щеку. Пахло капустой, и мы услышали голос младенца — рев и визг, которые, как утверждал Атце Реттиг, он слышал уже не раз с прошлого вечера. Тикали стенные часы, и раздавался голос донны Клары: «Агу, агусеньки, агу!» Больше ни звука. Я плотнее прижался к двери. Внутри больше ни звука, только стенные часы глухо и часто отбивают время. Кто-то сбегал вниз по лестнице. Калиш! Мы крадучись вышли во двор и скоро увидели, как он спешит на улицу.

— Полноги, полноги,— шепотом сказал я, потому что у Калиша была деревянная нога, короткая подпорка, сделанная, по его словам, из выдержанного дуба.

В России он потерял ногу, заказал себе взамен другую из немецкого дуба, а смастерил ее английский военнопленный. Таким образом, его душевное равновесие было восстановлено полностью, но физическое — лишь отчасти. Небритый Калиш проковылял мимо нас, попыхивая трубкой, припадая на короткую ногу и распространяя вокруг себя острый запах — так пахнет картофельная ботва, когда ее жгут. На снегу отпечатались неровные следы.

В тот же самый вечер, светлый от выпавшего снега, мы увидели донну Клару. Старуха поразительно изменилась и никогда больше уже не выглядела так, как раньше. Выпрямившись, она стремительными, энергичными шагами пересекла двор. Даже у шелковицы не остановилась. Она скрылась в темной подворотне, а вернувшись, улыбнулась, да нет, прямо-таки рассмеялась во весь рот, крикнула: «Чертовы бандиты!» — и запустила снежком в нас, швырнув его слабой, неумелой рукой. Смотреть жалко! Конечно, она ни в кого не попала. Донна Клара хихикнула и снова нагнулась за снежком. Вряд ли беглая монашка стала бы так себя вести, и я предложил Атце Реттигу побиться об заклад, что ее смешные выходки загадочным образом связаны с чужим ребенком. Атце Реттиг отказался от пари, он и сам так считает.

А ночью была воздушная гревога. В бомбоубежище все со страхом ждали, когда начнут стрелять зенитки, Мэнне Бизельт здорово подражал звуку их выстрелов: «Бульон, бульон!»

Калиш шепотом молился, прося пресвятую деву Марию, чтобы самолеты повернули обратно. Эта молитва помогала всегда, после того как все бомбы были сброшены. Мы с Атце Реттигом ждали донну Клару с ребенком, зенитки начали стрелять, а бомбы рваться, но донна Клара с ребенком так и не появились в убежище.

— Ну что ты об этом думаешь? — спросил я.

— Видно, она младенца-то сперла,— ответил Атце Реттиг.

На следующий день, рано утром, прежде чем Атце Реттиг успел, как намеревался, сообщить в полицию анонимно по телефону, что «некая старуха, проживающая в нашем доме, похитила чужого ребенка и держит его взаперти в своей квартире; причиной похищения, вероятно, является то, что она не смогла в свое время родить ребенка от собственного мужа», на лестнице раздались крики.

Кое-как одевшись, я выскочил наружу. Жена Калиша, нечесаная и, верно, неумытая, вцепилась руками в перила, а ее муж пытался оторвать ее от перил. Ему это никак не удавалось: одна нога — ненадежная опора. Чем яростнее тянул муж, тем громче вопила фрау Калиш. Я понял из ее воплей, что на рассвете двое мужчин в кожаных пальто увели с собой донну Клару. На руках она держала ребенка, завернутого в одеяло.

— Христос-младенец сошел на землю раньше срока, я сама видела сияние! —кричала жена Калиша.

— Ни черта ты в этой темноте не видела! — орал Калиш.

— Видела. Венец светился! — И толстая фрау Калиш разрыдалась.

Потом Калиш с мрачной физиономией ходил с ней из одной квартиры в другую, он был готов дать ей пинка своей деревянной ногой, а фрау Калиш, заикаясь, просила извинить ее: мол, никакого дитяти и никакого сияющего венца не было, это, мол, Манке — уполномоченный по ПВО — посветил своим синим карманным фонарем. Лицо ее опухло от слез. Манке, туберкулезный художник, рисовавший красивые открытки, от которого уже с утра несло водкой, подтвердил ее слова: он-де хотел посмотреть, как выглядит старая шелковица в рассеянном синем свете.

— Невесть чего болтает, сам посинел, до того набрался,— возмущалась дворничиха,— и на лестнице все ступеньки заплевал.

А почтальон Новак громко и настойчиво разглагольствовал о вражеской пропаганде неарийских элементов. Мой отец, который не отличался храбростью, сказал мне, что я ничего не видел и не слышал.

Накануне рождества во дворе состоялось собрание всех жильцов. «В присутствии ортсгруппенфюрера [1]»,— написал Новак в объявлении, наклеенном на доску, которую называли у нас «немым швейцаром». Объявление, вероятно ввиду особой важности, было приклеено десятипфенниговыми почтовыми марками.

Снег крупными мягкими хлопьями падал на землю. Приближался вечер. Во дворе собрались почти все жильцы нашего дома. В середине стояли: Новак в форме почтальона, Калиш в форме железнодорожника и худой бледный человек в форме штурмовика — это и был ортсгруппенфюрер Краузе. Все трое в сапогах. Краузе раскрыл рот, на холоде заклубился пар его дыхания, и неожиданно высоким голосом сообщил жильцам, что «по предписанию высокой инстанции» — на последних словах голос его стал выше, и он еще раз повторил: «высокой инстанции», и тут в одной из квартир раздался свист — засвистел закипевший чайник. Пока чайник звал нас домой к уютному вечернему чаепитию, худой человек в слишком широком мундире, в болтающихся штанах и сверкающих надраенных сапогах сообщил нам, что в нашем доме арестована некая Бонель за то, что прятала в своей квартире еврейского ублюдка, внука, и притом незаконного, своего разведенного мужа-еврея. Последний разыскивается.

С этого дня никто во дворе не решался больше высказывать свое-

[1] Ортсгруппенфюрер — руководитель местного управления нацистской партии в гитлеровской Германии.

го мнения об этой истории. Единственным, кому недоставало донны Клары, был маленький Ирмфрид. В хоре мальчиков он исполнял партии сопрано и всегда задавался, потому что у него был высокий, чистый голос. Нашу песенку о бороде донны Клары он украшал колоратурными руладами.

Примерно в это же время мы — Атце Реттиг, Маннэ Бизельт и я — перестали радоваться, когда по радио объявляли, что вражеские самолеты появились в воздушном пространстве Ганновер — Брауншвейг: слишком уж близко и слишком часто падали теперь бомбы. У Атце Реттига под Киевом погиб отец. А моего снова забронировали на заводе Сименса. А Ильза Моллентин попала в руки своего двоюродного брата. В ихнем коровнике он научил ее целоваться. Первое прикосновение ее языка к моим губам выдало мне измену. Я давно догадывался об этом и теперь мечтал, чтобы пуля угодила в острый кадык ее кузена-ефрейтора — у него были желтые зубы и он всегда похвалялся своим участием в ближних боях. По мне, это могла быть и любая другая смерть, и я не взял своих слов обратно даже тогда, когда мое пожелание сбылось.

Моя мать, которая часто болела, очень страдала оттого, что, поссорившись с ветреной Ильзой, я лишил нас источника молока, что был на соседнем дворе. Но любовные и питательные дары Ильзы все равно прекратились бы. Новак донес на ее отца, что тот «отрицательно высказывается о старом борце» [1]. В своем коровнике Моллентин отозвался нелестно и слишком громко для бесчисленных ушей Новака о некой породе собак, «которые набрасываются на древних старух и грудных младенцев».

Вскоре после того как отца Ильзы забрали в армию и мать увезла ее в Баварию, где ей пришлось доить куда больше коров, вернулась донна Клара. Стояла весна. Мы — я, Атце Реттиг и Маннэ Бизельт — спорили во дворе о том, у кого броня толще: у нового немецкого линкора «Тирпиц» или у старого английского «Repulse» [2]. Скрипнули тяжелые ворота, и из темной подворотни на залитый солнцем двор вышла донна Клара. И мы увидели: у нее лысая голова.

Умора да и только! Старуха, в огромных полуботинках, на распухшем носу погнутое пенсне, идет с гордо поднятой головой, а ее лысина сверкает в лучах весеннего солнца. Но я не засмеялся. Никто из нас не засмеялся и не запел дразнилку. Мы глядели ей вслед и видели, как она шагает по двору, как проходит через путаницу света и теней под кроной старой шелковицы и ее голова то светится, то гаснет. Наконец она скрылась в дверях флигеля.

— Значит, сияние было,— прошептал кто-то рядом со мной. Это была жена Калиша. Она тащила сетку с картошкой.— Значит, было все-таки святое сияние! — сказала она и, переваливаясь с боку на бок, с трудом волоча тяжелую сетку, пошла к дому, громко повторяя все те же слова.

— Святое сияние,— передразнили мы ее.

На первом этаже распахнулось окно. Шлюха Марта высунулась из окна: в цветастом халате, бигуди на соломенно-желтых волосах. Резким, прерывающимся голосом она потребовала, чтобы мы заткнулись, а потом тем же резким, истерическим голосом спросила, что, к чертовой матери, смешного в том, что женщине остригли волосы, что ее обрили наголо...

— Обрили наголо! — кричала она.

---

[1] «Старый борец» — в нацистской Германии так называли членов национал-социалистской партии, которые вступили в нее до захвата власти Гитлером.

[2] «Отпор» *(англ.)*.

Во рту у нее сверкал одинокий золотой зуб — никогда раньше я его не замечал,— груди тряслись.

За такое зрелище взрослый мужчина не пожалел бы денег, но мы наслаждались им недолго. Во дворе появился Новак, и Марта Лемпфуль скрылась в комнате.

— Молчать! — приказал Новак.— Окна закрыть!

Все повиновались. Кроме донны Клары. Лысая, она стояла у открытого окна, остановив неподвижный взгляд на Новаке. Громко стуча подковками сапог, он вплотную подошел к изрисованной мелом стене дома и угрожающе уставился на старую женщину. Его круглая плешь — эдакая крохотная площадка для игры — рядом с роскошной лысиной донны Клары выглядела жалкой и ничтожной. Мне показалось, что поединок их острых взглядов длился целую вечность. Вдруг Новак повернулся и ушел со двора. Клик-клак, клик-клак — болталась подковка на правом каблуке. Такого еще отродясь не бывало! Новак привык наступать, а не отступать. Его лозунгом всегда было «Зиг хайль!» — «В победе благо!» И вот теперь его обратила в бегство старуха. С ним было покончено, от него осталась только мертвая шелуха мундира, и, даже вернись он сейчас с подкреплением, ничто не восстановит померкшую славу непобедимого старого борца.

Одержав полную победу, донна Клара могла бы быть довольна, но она на этом не успокоилась.

Сразу после отступления Новака она перешла в атаку: вытащила во двор стул с прямой высокой спинкой — старомодное сооружение,— на нем можно было сидеть либо скорчившись, либо выпрямившись, поставила его перед дверью и уселась, демонстрируя всему двору посиневший распухший нос и лысую голову.

Я наблюдал за ней из окна нашей кухни. Во всех окнах за занавесками виднелись лица. Все обитатели нашего дома, хотели они этого или нет, не могли не видеть старуху, которая сидела молча и очень прямо. Ее можно было принять за статую, если б она изредка не шевелилась, медленно и важно. Так, она взглядывала вдруг в сторону безо всякого видимого повода, закрывала глаза и медленно, очень медленно поворачивала голову, потом застывала в неподвижности, потом снова открывала свои огромные глаза, постепенно, миллиметр за миллиметром размыкая веки, и ее взгляд проходил сквозь людей и сквозь предметы. Ее череп был покрыт пушком. В солнечном свете, увиденный взором верующих, он вполне мог сойти за серебристое сияние.

— Святое сияние! — шептала жена Калиша и другие старухи.

— Обрили наголо,— повторяли за Мартой Лемпфуль люди, настроенные на более мирской лад. В пивной «У источника» Новак разглагольствовал за столиком постоянных посетителей о подрывной деятельности старой хрычовки, направленной на разложение нации. Он-де ей еще покажет. А мой отец вытолкал чуть не взашей из нашей квартиры тетку Гедвигу, которая пришла послушать очередную речь фюрера: ее приемник был в ремонте. В ярости он швырнул ей вдогонку ее подарок — кусок французского сала,— трофей дяди Алоиза. Толстая тетка Гедвига с парадно завитыми волосами не могла понять, почему отец грозится обрить ее наголо, если она заявится к нам еще раз. Мать безуспешно пыталась втащить разъяренного отца обратно в квартиру, повторяя, что бедному малютке этим все равно не поможешь и волос донне Кларе не вернешь. Во время всей этой сцены на кухне сильно пахло жареной картошкой, и с тех пор этот запах всегда напоминает мне счастливый день, когда мой отец наконец-то выгнал из нашего дома тетку Гедвигу, деятельную участницу женской нацистской организации. Как я ни старался, я не смог убедить отца, что лысина донны Клары была естественной, не смог ни в тот день, ни потом, когда отец

стал снова встречаться с прежними друзьями и поздно возвращаться домой, а мать волновалась и плакала. Да и я сам теперь не был до конца уверен, что тогда с шелковицы разглядел все точно и что донну Клару действительно не обрили наголо. Впрочем, это было уже не так важно. Факт, неопровержимый факт был налицо — лысая старуха, живой памятник, взывавший: «Помни о том, что они сделали со мной и с ребенком!»

Осенью начались дожди. На мокром дворе стояли лужи, ствол шелковицы почернел от сырости. В такую погоду донна Клара не могла сидеть во дворе. Она восседала у единственного еще не забитого картоном окна своей квартиры. Целыми днями за стеклом, покрытым дождевыми каплями, белело пятно ее головы. Потом снова засветило солнце, оконное стекло высохло, а старуха по-прежнему сидела у окна на глазах всего двора.

— Мадам Бонель, на улице солнце! — крикнула Марта Лемпфуль, но лицо за окном осталось неподвижным. Оно осталось неподвижным и тогда, когда Новак — его сопровождали двое мужчин в кожаных пальто — промаршировал по двору своим прежним молодецким шагом. Они взломали дверь в квартиру донны Клары и тут же, чертыхаясь, вышли обратно. Донна Клара умерла.

Когда ее хоронили, солнце так же светило. Марта Лемпфуль и жена Калиша спорили, кто из них имеет больше прав ухаживать за могилой мадам Бонель, а шлюха Марта закатила мне затрещину за то, что я сказал правду или то, что я считал правдой.

— У нее была лысина от природы,— сказал я.

Но никто мне не поверил. Никто и слышать не хотел об этом, особенно после того, как примерно через год мы зарыли Новака под шелковицей, потому что в нашем районе еще стреляли. «Святая Клара, мне танец помнится твой! Твой лысый череп сиял, как венчик святой!» — пели это или что-то в этом роде дети на нашем дворе. Точно я уже не помню. Мы — Атце Реттиг, Маннэ Бизельт и я — давно перестали петь вместе с ними. Днем мы торговали сигаретами и ломом цветных металлов на черном рынке, а по вечерам мы — юные спекулянты — танцевали в «Дельфи», что около Зоологического сада, фокстрот, свинг, иногда танго. Очень редко вальс.

■

ХОСЕ РАМОН МЕДИНА

Перевод с испанского ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

«Иностранная литература» в этом номере знакомит советских читателей с лирикой венесуэльского поэта Хосе Рамона Медины, недавно побывавшего в Советском Союзе. Благодаря усилиям советских литераторов на прекрасном русском языке — языке Ломоносова и Пушкина, Гоголя и Тургенева — появляются одно за другим произведения современной литературы, прозы и поэзии моей родины и в то же время читателям Венесуэлы становятся все доступнее творения русских классиков и советских писателей, переведенные на испанский язык. Не может не радовать столь ощутимое, реальное свидетельство обоюдного познавания, способствующего наибольшему взаимопониманию и укреплению дружбы между нашими народами.

И вот перед нами — лирическое послание Хосе Рамона Медины.

Хосе Рамон, принадлежащий к тому же поколению, что и уже известный в Советском Союзе по публикациям в «Иностранной литературе» поэт Луис Пастори, признан не только у нас, в Венесуэле, но и в других странах испанского языка, одним из выдающихся лириков Латинской Америки. Кроме того, он — авторитетный литературовед и критик, его перу принадлежат многие труды, посвященные венесуэльской литературе.

Однако бесспорно, что основной вклад Хосе Рамона Медины в культуру и литературу Венесуэлы представляют почти два десятка его поэтических томов.

Обладающий даром необыкновенной выразительности языка, глубины восприятия окружающего мира, философского осмысления проблем, волнующих человека, Хосе Рамон среди наших поэтов выделяется творчеством пытливого поиска, высокого лирического благородства, тончайшего психологизма, искреннейшего гуманистического звучания. Родники души питают его поэзию. Он — поэт раздумья над судьбами человеческими. Отсюда и элегичность, мягкая задушевность его поэтического слова.

Но мысли поэта обращены не в прошлое, он — человек настоящего — думает о будущем. Его лирика — не бегство от действительности, и сам он — не зритель, спокойно созерцающий современность откуда-то издалека.

Хосе Рамоном сказаны слова: «дружба со временем». «Дружба со временем», каким бы скоротечным оно ни было, ощущается и в его стихах. Строфы его связаны со временем, обусловлены временем, этой гераклитовой рекой, по которой мы спускаемся лишь один раз в жизни. Для Хосе Рамона, горячо влюбленного в красоту земного, притягательна мольба Фауста: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» —

поэт убежден в правоте, в конечном торжестве благородных идеалов человечества, поэтому его поэзия, сколь бы порой ни была она элегична, всегда несет в себе возвышенную ноту оптимизма, доверия, непоколебимой веры в победу человека. Другой видный венесуэльский поэт Рафаэль Анхель Инсаусти весьма удачно отметил, что Хосе Рамон Медина «никогда не уступает глухому голосу отрицания, взывающего из пропасти», и, наоборот, прислушивается к голосу любви.

А любовь для Хосе Рамона — это не только импульс, направляющий жизнь, но и чувство справедливости, всеобщей солидарности, все, что помогает нам быть стойкими, когда мы возлагаем на себя ответственность быть людьми, достойными того времени, в которое живем. Такую ответственность взял на себя и Хосе Рамон Медина, поэт и человек.

РЕГУЛО БУРЕЛЬИ РИВАС

* * *

Эти дни начинают печально гаснуть,
словно зима нагрянула на юную зелень
и нежные вены налились грубой кровью века.

Лучшее время года. Апрель поет над полями,
и устремляются к солнцу неистовые колосья,
но вдруг начинают клониться
под тяжестью невесомой.
Жуткой и непонятной,
неотвратимой и мрачной.

Кто поручиться может, что вечно
счастье покоя и созерцанье
золотых вечеров, в которых
детский лепет, любовная ласка...

В этом мире еще так много
темных снов, и угроз, и горя,
что, по-моему, невозможно
созерцание нежной розы,
невозможно остановиться
в тишине, если столько стонов
раздается вокруг и камни,
даже камни устали плакать!
Меч о меч ударяет, ломаясь
с беспощадным и грубым звоном.
Не пора ль человеку подумать
о зияющих общих ранах?
Мир взмутненной рекою хлещет
в шлюзы медленной древней жизни
и пожар, расширяясь, сжигает
наши хрупкие воспоминанья,
наши песни, наши улыбки...
Вот они умирают и гаснут,
и трезвонит по человеку
черный колокол на закате,
снова раня и призывая...

Она прошла, словно ветер

Она прошла, словно легкий, чуть шелестящий ветер,
отчужденная, одинокая, она пронесла в своих пальцах
незримый цветок печали.

Она была как пламя, скрытое слоем пепла,
она была тенью жизни, ищущей крова и ласки,
она была наготою под синим открытым небом,
светлою наготою, вызывающей бурю в молчанье.

До самых глаз поднимался чистый прибой возвращенья,
и тепло ее утренним золотом
освещало летнюю землю.

С тех пор любовь в моем доме
кружится маленьким вихрем,
а все, что было печалью, терзаньем и наслажденьем,
пылает огнем в камине и никогда не погаснет.

Знак

Я живу среди толпы, но в одиночестве
вновь и вновь я нахожу себя.
Моя судьба в том,
чтобы жить во всех, разделять со всеми
свет и слово;
моя жизнь в том,
чтобы касаться сердцем ясности дня
и бедности, существующей в мире;
моя жизнь в том,
чтобы на ощупь брести среди руин и воспоминаний.
Меня зовут, и я иду
туда, где звенит сталь
и пылает пламя.
Но ненависти не хочу подчиниться,
но злобе не дам набрякнуть нарывом,
но эгоизму не дам развернуться.
Пойдем, говорю я своей тени,
пойдем на улицу, на рынок, на спор и расправу,
пойдем сражаться против закоснелых привычек,
а потом опять возвратимся
под крышу родного дома,
в одиночество,
чтобы все обдумать,
чтобы, вступив в перемирие с бурей,
набираться силы для схватки.

■ ■ ■

Ты уже распростился с прекрасным и повседневным.
А я вспоминаю твой голос, голос борца и поэта:
звучит он с увядшей бумаги, и я на закате читаю
о том, как бродили мы вместе среди потемневших деревьев.

Уже не поют о розах, о лепестках печальных,
не верят, что можно выйти на старенькую веранду,
чтобы почувствовать: солнце сегодня прекрасней, чем раньше,
чтобы увидеть, как детские ручки тянутся к небу.

Я это знаю, я все это уже знаю.
Тетрадь твоих сочинений строго осиротела,
но в ней остались — и живы — запахи дня и века,
ты в них остался таким же, каким мы тебя любили.

Я слышу, я слышу, слышу твой глуховатый голос,
звучит он в пустых коридорах покинутой асьенды
и ударяет как эхо в рассохшееся фортепиано.

Любовь стала черной веткой,
залетя в пожар этих будней,
а мы с тобой застали только последний отблеск,
мгновенье прихода ночи, одерживающей победу,
безрадостную победу над холмами поселка.

Трепет птиц мы узнали,
жажду и наслажденье взлета,
но не поняли, не ощутили,
что пламя — в наших ладонях,
а сердца налились призывом.
Сегодня дождь... Уже вечер.
Декабрь ударяет в стекла,
дорога в увядших листьях
простирается в бесконечность.
Умолкли шаги за дверью,
и след замело... Я помню,
как мы освежали губы
вечерним вином лиловым.

Отдача

Как мираж возникает море,
сотрясая свою зеленую шевелюру,
влечет оно и вздымает на зыбкие пьедесталы
твое одинокое тело.

Ты чувствуешь, что уйти уже невозможно,
в этот трепещущий час становишься лишь дополненьем
к жаждущему пейзажу,
к деревьям, брошенным в соленую пропасть
и оплаканным воплями чаек.

Это новый мой дом — утверждаешь ты самозабвенно,
эти зеленые волны — зеркало без отраженья;
грохот воды и песок — отныне вот мои знаки,
а все, что до этого было,
оказалось лишь предисловьем
к этому часу полной отдачи.

А все, что до этого было
в тебе, вокруг и с тобой,—
предназначалось морю;
кровь в твоих жилах, быть может,
затем и существовала,
чтобы устало отдаться морю —
вся, до последней капли.

А потом ты узнаешь иное море —
волны его спокойней, даль его — голубее,
но сегодня ты чувствуешь только эти волны и эту бурю,
патетическую, как время, которому надо отдаться.

Профиль

Путник испытывает прочность земли.
Он долго шагает издалека,
а вернувшись, видит все не таким,
как было тогда... Здесь время прошло,
изменив названья вещей и мест.

В эту дверь когда-то стучалась любовь,
но мелодия замерла, не взлетев;
стерлись начисто на стене письмена;
только шелест песка, а не шум воды.

Одиноко неведомое...
Кого
звать, искать, называть
и к кому взывать
средь руин...

Подруга, присядь, отдохни,
подобрав печальные крохи дня,
на ладонь суровую их положи.
А потом — все сызнова начинать
нам с тобою придется среди теней.

Ты не удержишь меня...

Ты не удержишь меня, напрасны твои мольбы.
Море, волны, корабль. Время поднять якоря.
Я снова уеду, затем, чтоб захлебнуться жаждой дороги,
и далеко-далеко останется светящееся окно,
помнящее о том, как я был побежден тобою.

Туда, за пределы этого солнца,
за пределы этих гор,
похожих на гигантские двери,
за которыми — ненависть и любовь,
туда, за пределы этих городов,

обуреваемых сладострастьем,
уплыву я в поисках туманных земель —
исследовать шелест неведомых трав
и огонь, прорывающийся из мрака.

Ты не удержишь меня, напрасны твои мольбы.
Ведь если ты победишь, любовь может превратиться
в привычку.
Куда же тогда смогу простирать я руки,
если из нашей любви уйдет призыв неведомых стран?

Звезда

В небе одна... мерцает, сверкает,
такая далекая, такая близкая.

Смотрите! Невесомая, как мечта,
она звучит за распахнутым окном
флейтой
в глубине зеленой и теплой долины.

Какая невероятная чистота,
какая ярость невинных ароматов,
юная рука, простертая в ночь,
гуденье обретенного нами огня.

Убегает тень от легкого сияния.
Груды мусора,
осколки времени
скрываются во тьму под этим источником света,
показывающим камню его происхожденье...

А человек распахивает окно,
открывает двери и встает на пороге дома,
смотрит в небо, слушает гул ночи
и возвращается, чтобы возжечь пламя
от этой звезды, сияющей так далеко.

Женщина

Ты откапываешь, как археолог, черепки мечты,
забыв о времени,
о его потухшей золе
и безжалостных челюстях.
Твое лицо, отвернувшееся от фантазий и сказок,
встает над миром, словно годы и события
заставляют тебя всматриваться в бег песков
и скудную ясность вод.

Ты была прекрасна... Изваянная когда-то
из мрамора и фонтанов,
ты опиралась рукой на века.
Могущественная, как радость,
дающая жизнь, населяющая землю.

Но однажды ты открыла для себя берег,
затянутый зыбучим песком забвенья,
и потускневшее зеркало полузасыпанного колодца.
Сегодня ты борешься,
ты встаешь,
чтобы завоевать свое подлинное имя,
свое право.

Возвращение

Не знаю, сумею ли снова найти
все вещи на их привычных местах,
словно ничего не произошло,
словно лежит, как прежде, на всем
тот же добрый, мягкий, спокойный свет.

Вот зеркало, вот занавески крыло,
на столе — на месте своем — цветы,
старая лампа, как прежде, струит
тронутый полночью нежный свет.

Опять положим дрова в камин,
поставим кресло лицом к огню,
раскроем книгу на той главе,
где закладка.
И обретет покой
беспокойный, мятущийся бронзовый свет.

Здесь берег ветра, который всю ночь
будет ласкать наготу стены.

А потом нас жизнь заставит забыть
то, что мы свершили вот здесь, сейчас.
Неторопливый стакан вина,
глаз твоих волшебных креольский свет
или светлая жадность другой любви,
и улыбка, и песня... Все то, в чем живет
сочетанье мгновенное света и тьмы.

■

АЛАН СИЛЛИТОУ

Начало пути

РОМАН

Перевод с английского Р. ОБЛОНСКОЙ

Часть V

Меня нагрузили все в той же квартире, и вместе с Уильямом мы поехали на аэродром. Уильям только накануне вечером вернулся из поездки с бриллиантами, но все равно захотел сам меня проводить.

— У тебя все здорово пойдет. Ты чудо-парень. Ты когда с большим грузом идешь, по тебе сроду не угадать. Это уж точно. Ты будешь высший класс.

— Ладно, хватит,— сказал я.— Раскудахтался с утра пораньше. Мне надо выпить еще пятнадцать чашек кофе, надеюсь, на буфет времени хватит.

Накануне я побывал в аэропорту — надел очки в роговой оправе, кепочку, будто кого встречаю,— и теперь уже знал, куда там идти. Я попрощался с Уильямом и вышел из машины, а он поехал домой отсыпаться. Я был совершенно спокоен, меня ничуть не трогало, что я вывожу золото за границу,— мне казалось, это дело самое что ни на есть безобидное и нехитрое. Я ж не краду, стало быть, все в порядке. Просто я вьючный мул, только что жалованье хорошее.

Я зарегистрировал свой билет, стал на эскалатор и поехал в зал отправления — лучше пройти через таможню прямо сейчас, а то вдруг начну сомневаться. И тут в противоположном конце зала, в толпе у киоска с газетами и сувенирами, мелькнул хорошо знакомый, круто срезанный затылок Моггерхэнгера. Что он делает здесь, в аэропорту, я не знал и знать не хотел, но тем больше оснований поскорей покончить со всеми формальностями. Я предъявил билет и прошел к человеку, который просматривал паспорта. Рядом таможенник пронизывал взглядом каждого проходящего. Я глядел перед собой в открытую дверь, будто мне не терпелось выпить там кофе, и это бескорыстное стремление еще разок позавтракать придало мне естественности в ту минуту, когда я уже готов был заволноваться. Впереди я углядел черноволосую красотку, и, когда мне вернули паспорт, я не стал смотреть

[1] Окончание. Начало в №№ 8—10.

зверем на таможенника, а уставился на ее ножки. Никто меня не спросил, вывожу ли я что-нибудь, никто не тронул за плечо, и вот уже все позади, я у кофейной стойки, и такой меня прошиб пот под моим бронированным пальто, аж в глазах потемнело. Я нарочно помедлил у стойки в том месте, где меня еще мог видеть таможенник,— не из дурацкой напускной храбрости, а просто на случай, если у него мелькнули на мой счет подозрения: смотри, мол,— вот он я, мне незачем прятаться в толпе.

За полчаса, оставшиеся до начала посадки, я выпил две чашки кофе, съел сандвич, потом прошел к газетной стойке и купил «Файненшл таймс». Ноги и плечи ныли от непомерной тяжести. Еще не было десяти, а из-за двух чашек мерзкого кофе пришлось отправиться в уборную. У меня хватило ума не снимать там пальто, я знал: надеть его будет не просто. Но дело обернулось совсем худо: я не мог подняться с унитаза. Пальто придавило меня, будто каменное. Вставать не хотелось, сидел бы вот так и сидел, пока меня тут не застукают... А может, я наберусь решимости и разгружусь, брусок за бруском, а потом уйду из аэропорта и исчезну навсегда, по крайней мере, с глаз человека под колпаком. Я додумал все это до конца, и конец показался мне глупым и горьким — куда лучше попытаться встать и пройти к самолету. Ведь как-никак мне доверили нешуточное дело, и, если я дам маху, это ударит по Уильяму Хэю, он опять превратится в горемыку Билла Строу и ему будет заказан путь в ряды добропорядочных мошенников нашего общества.

Я опустился на колени, повернулся, оперся руками об унитаз. Из этой исходной позиции сдвинуться было трудно, но все-таки можно, и даже если я не сумею подняться с колен, то проползу по всему залу и поднимусь в самолет — скажу, я паломник, направляюсь в Лурд к мощам моей любимой святой, надеюсь, это поможет моей матери исцелиться от смертельной болезни. Нет, так дело не пойдет — я прополз вдоль стены туда и обратно. Такому меня не учили, а зря; когда вернусь, надо будет внести поправки в программу тренировок — если только я вернусь, если когда-нибудь выйду на свободу. Теперь я снова оперся руками об унитаз, потом рывком, дрожа от напряжения, встал, и тут как раз объявили, что посадка в мой самолет через выход номер тринадцать. Я застегнул брюки, пальто, взял чемоданчик и пошел навстречу неизвестности.

Я вступил на борт, и самолет сразу осел (а может, мне только показалось), и, едва я опустился в кресло в длинном душном салоне, меня обдало жаром, как в джунглях. Прежде я часто думал: наверно, страшно будет вот так оторваться от земли, а сейчас до того вымотался, что было уже не до страха. И ничего не чувствовал, только огромная тяжесть прижимала меня к спинке кресла, и совсем это было ни к чему — я и так к ней привалился. Самолет сразу ушел в облака и все время летел над этим белым ковром. Мое место оказалось у окна, рядом сидела какая-то девушка. Она случайно ткнулась локтем мне в бок и тотчас его отдернула — ударилась о металл. Отопление, наверно, было включено на всю катушку — девушка сняла пальто, а потом и жакет. С запястья у нее свешивался браслет, но на пальцах — ни одного кольца. Самолет тряхнуло, как на ухабе, и девушка ухватилась рукой за сиденье. Только теперь, когда мы поднялись уже на пять миль над землей, я подумал: каково это распрощаться с нею навсегда.

Мой багаж был весь на мне, точно тяжкие золотые латы, и я, понятно, стал думать, будет ли толк от такой обертки, если самолет разобьется при посадке. Если обломаются крылья — они как раз видны из моего окна,— она мне уж никак не поможет. Мы камнем пойдем вниз,

и мой вес, может, еще больше ускорит падение, а потом тело мое обнаружат в двадцати футах под землей — красавчик всмятку в золотой оправе.

На высоте шести миль я заметил в этом шикарном, сверкающем чистотой реактивном самолете самую обыкновенную муху. Эта грязнуха чувствовала себя тут как дома — глядя на нее, я успокоился, даже смех разобрал: это ж надо, она здесь больше к месту и ей здесь уютней, чем мне, да и всем восьмидесяти пассажирам, что расселись рядами в салоне. Да, эта муха пойдет далеко, ведь вон какое она выдержала испытание, чуть не на пятерку, дай бог всякой живой твари с честью такое пройти. Стюардесса продавала напитки за несколько рядов от меня, как вдруг самолет круто накренился, и она покачнулась, схватилась за сетку над головой. А моя соседка вцепилась в ручку кресла.

— Вам не по себе?

— Да, немножко.

Она полуобернулась ко мне, и я подумал: неужели другим тоже так везет на неожиданные встречи? Мне пришло в голову, что так и устроен мир,— со всеми так случается.

— Я летал десятки раз,— по привычке соврал я; этой доброй старой смазки для колес у меня всегда хватает.

— Я тоже. Но никак не могу привыкнуть. Сама не знаю почему.

— Тут одно лекарство — разговор,— сказал я.— И выпивка. Надо, чтоб было с кем болтать, о чем — все равно,— и выпить парочку рюмок коньяку или хоть бокал-другой шампанского.— Я окликнул стюардессу: — Полбутылки сухого, красавица. Идет?

— Спасибо,— с улыбкой сказала соседка, и я почувствовал, как приятно путешествовать. Груз больше не давил ни на спину, ни на грудь. Свою соседку я уже видел раньше, но только издали, а она меня, скорей всего, не видала, разве что мельком, и вряд ли теперь узнала.

— Я служил шофером у вашего отца,— сказал я.— А потом нашел место получше.

— Терпеть не могу, когда меня узнают,— холодно сказала она.— Меня это смущает.

— Виноват. Я подумал, а вдруг вы тоже меня узнаете — и тогда вам будет неприятно. Вот и решил сказать первый. Будьте здоровы!

Она выпила все до дна.

— Это вы все равно хорошо придумали.

— За ваше здоровье, мисс Моггерхэнгер! — сказал я, а шепотом прибавил: — Полли.— Я не раз видел эти жгуче-черные крутые завитки, но всегда издали, когда она подъезжала к конюшне — возвращалась с прогулки верхом и легонько подскакивала в седле и блуза цвета сливы или джемпер очень мило подрагивали. Или вечером, шикарно одетая, она скромненько садилась в чью-нибудь сверхмодерную машину и уезжала в город развлекаться. Мне стало легко и весело, даже голова закружилась, только я сам не знал, к добру ли эта встреча. Но ведь все вышло само собой, так что не мне судить.

— Я думала, что хоть в самолете можно остаться неузнанной,— сказала Полли Моггерхэнгер, надув губки,— но зря надеялась, черт возьми.

— Да вы не беспокойтесь,— сказал я, а сам глядел, как у нее раскраснелись щеки, когда она залпом допила второй бокал. Стюардесса разносила подносы с завтраком, и я заказал еще шампанского.— Что ж за еда всухомятку? — сказал я.

Я и сам от выпивки уже чувствовал себя куда лучше и вдруг вспомнил, что Уильям наказывал строго-настрого: «Не пей спиртного. Ни капли. Это гроб. Смотри, Майкл, даже и не пробуй». Он не раз повторял это, пока я тренировался, и я пообещал никогда, никогда, никогда и в рот его не брать: на что мне это нужно — пить, и не люблю я это вовсе. Один бокал мне, наверно, не повредил бы, тем более что было чем закусить, но две такие шампанские мины на высоте в тридцать тысяч футов, да еще в одиннадцать утра,— и у меня перед глазами снова поплыл туман, а ведь в соседнем кресле сидела прелесть что за девчонка, и мы уже познакомились, и она щебетала вовсю. Шампанское пошло ей на пользу: пока мы курили, я взял ее за руку, и Полли даже не подумала ее отдернуть.

— Отец сам привез меня в аэропорт,— говорила она.— Иногда он ни на шаг меня от себя не отпускает. До чего мне это надоело, ужас. Он думает, я лечу в Женеву повидаться со школьной подругой. Я, конечно, с ней встречусь, но постараюсь, чтобы это заняло не больше часа. А потом — три дня блаженства! Буду сама себе хозяйка, найму машину, прокачусь по берегу озера, погляжу, с кем стоит свести знакомство,— вот будет праздник.

Она спросила, чем я занимаюсь, и я ответил: разъезжаю по делам одной фирмы.

— А, контрабанда, надо думать.— Улыбка ее меня даже испугала — такая в ней сквозила насмешка.— Сколько же весит ваше пальто, что вы никак его не снимете?

— В это время года всегда прохладно,—сказал я, обливаясь потом.

— В этом пальто вы и на Северном полюсе не замерзнете. Не первый раз такое вижу.

— Я на прошлой неделе простудился,— сказал я.— Все никак не оправлюсь, вот и кутаюсь. Упал в речку. Вообще-то вышло это на подначку. Подружка моя говорит: слабо тебе прыгнуть, ну, я и прыгнул, прямо так камнем в воду и ушел. Чудом не подхватил чего похуже, больно грязная была вода.

— А зачем ей понадобилось, чтоб вы прыгнули? — с интересом спросила Полли и склонила ко мне голову, на белоснежную шейку упали черные кудряшки. Очень хотелось их потрогать, но я сдержался: ничего, всему свой черед.

— Да сам не знаю. Последнее время мы без конца ссоримся. Не клеится у нас с ней. Так дальше нельзя, и, может, я вообще к ней больше не пойду. Когда она подбивала меня прыгнуть в реку, я знал, она в ужас придет, если я прыгну. Ну, я взял да и прыгнул, думаю — была не была, хуже, чем у нас сейчас, уже некуда. И ошибся. Стало еще хуже. И все-таки мы пока вместе. Вообще-то мне с самого начала с ней не по себе. Понимаете, она из богатой семьи, это бы еще ничего, да вот беда: она совсем не умеет жить. Богатство ее загубило, больно избаловалась. Я не первый раз встречаю девушку из богатой семьи, и все они на один лад: трудно с ними, и в постели они тоже не сахар. Для таких дел лучше девушки попроще. С ними легче ладить.

Я знай болтал и болтал, а все равно понимал: просто во мне шампанское бродит и говорит за меня. А в мыслях у меня сейчас одно: переспать бы с Полли Моггерхэнгер! И так мне приспичило, будто от этого зависела вся моя жизнь, кто его знает почему. Только, несмотря на весь мой треп, а может, как раз из-за него, я совсем не думал, куда меня это заведет. Уильям Хэй первым долгом наказывал мне не пить, а второй его наказ был — не трепаться во время поездки, ни с единой душой не разговаривать. Я же не только разговорился, да так, прямо сам себя заслушивался, я сделал промах куда опасней: мимоходом

сболтнул, в какой гостинице остановлюсь в Женеве, мол, вдруг ей придет охота мне позвонить. И опомниться не успел, как она достала карандаш с бриллиантиком — уж, верно, папочкин подарок — и светло-коричневую книжечку и записала название гостиницы. Я и обрадовался, и струхнул, но выпитое шампанское приглушило оба эти чувства, а когда самолет стал приземляться, подпрыгнул и милашка Полли уцепилась за мою руку, я уже совсем засыпал, хоть по-прежнему усердно заговаривал ей зубы.

Я застегнул пальто и покрепче ухватился за поручни, а то как бы не повалиться головой вперед на гудронированную дорожку. Видел я совсем не так хорошо и ясно, как обычно, и решил: вернусь, надо будет сходить к глазному врачу, пускай пропишет очки. Что-то и впрямь случилось с глазами, и шампанское тут ни при чем — ведь выпил я всего ничего, просто устал, уходился, как никогда в жизни,— нет уж, пропади оно все пропадом, больше я в эти игрушки не играю, это моя первая и последняя поездка.

У паспортного окошечка никто меня не задержал, и скоро я уже поднял руку, подозвал такси и покатил по заранее условленному адресу в предместье О'Вив. Полли вышла передо мной, ее встретили подружкины родные и в большущей машине повезли на какую-то там виллу у Женевского озера.

В доме, где мне назначена была встреча, не работал лифт, и пришлось через силу втаскивать себя по лестнице целых три пролета. Я изнывал под тяжестью груза и, проклиная все на свете, взбирался со ступеньки на ступеньку; я часто останавливался, с трудом переводя дух, так что встречный джентльмен, немолодой добряк, поглядел на меня в тревоге — решил, наверно, у меня сердечный приступ. Я улыбнулся — ничего, мол, я в полном порядке, но он остановился и глядел, как я взбираюсь наверх, будто не поверил мне и сейчас заковыляет за одним из знаменитых швейцарских лекарей, а тот подхватит мой труп и смоется. На последних ступеньках я совсем высунул язык, это была самая трудная минута с тех пор, как я закрыл за собой дверь квартиры Уильяма, и только теперь наконец до меня дошло — ведь я же первый раз в жизни за границей. Кто его знает, почему именно сейчас я это понял, но только особого восторга я не почувствовал. Потом нажал потным пальцем кнопку звонка и вовсе про это забыл.

Рассыльный лет тридцати восьми в очках без оправы, волосы ежиком, спросил, что мне надо, я сказал — мистера Панка, и он сразу стал куда любезней и поманил меня то ли в коридор, то ли в приемную. И хотел было выйти, но я дернул его за рукав и знаками показал, что хочу выпить воды, а он понимал по-английски не хуже меня. Он подал мне в бумажном стаканчике холодной как лед воды и пошел обо мне доложить. В комнате полно было стульев, но я не сел — просто прислонился к стенке: уж очень устал и перетрусил. Мне даже померещилось, будто я пришел не туда, куда надо, и если не поостерегусь, меня обчистят и спустят прямиком в сточную канаву. Лучше уж оставаться на ногах — тогда, если запахнет жареным, успею дать тягу... Еще чуть — и я стал бы на четвереньки и завыл на луну, но тут явился сам мистер Панк и улыбнулся во весь рот — совсем как рассыльный, только еще шире и добродушней. Он тряхнул мою руку и сказал на отличнейшем английском языке:

— Рад видеть, что вы прибыли благополучно. Все в порядке?

— Да,— ответил я,— только черт его разберет, почему-то до смерти хочу пить.

Он весело засмеялся, хлопнул меня по спине.

— Все вы так говорите. Пойдемте ко мне в кабинет, снимете пальто. Погода стоит теплая — не по сезону. Ну как вам нравится Швейцария?

Я двинулся впереди него, будто и не услыхал его дурацкого вопроса, он захлопнул дверь, и тут до меня дошло: ведь он ждет от меня пароля, только тогда все станет на место.

— У меня добрые вести насчет сэра Джека Линингрейда. Ему гораздо лучше. Он шлет горячий привет.

— А-а,— сказал Панк с эдаким деловито невозмутимым видом.— В последний раз мы виделись с мистером Линингрейдом в Кентербери.

— Ну и прекрасно,— сказал я,— ради бога, помогите мне снять пальто.

Под пальто я был мокрый, как мышь,— что белье, что костюм, хоть выжми. Панк раскрыл шкаф и достал в точности такое же пальто, как то, которое я снял, только без внутренних карманов.

— Надевайте, не то простудитесь. Несколько лет назад мы вот так лишились одного разъездного агента, умер от воспаления легких. А вас мы не хотим лишиться, по словам мистера Линингрейда, на вас возлагают большие надежды. Говорят, вы весьма обещающий молодой человек.

Я надел пальто, даже застегнулся, и выпил еще стакан воды.

— А теперь мой вам совет,— сказал Панк.— Возьмите такси, поезжайте к себе в гостиницу и примите горячую ванну. Сразу почувствуете себя иначе, это уже проверено.

Номер оказался крохотный, из окна видны были крыши и голуби. Я повесил костюм сушиться, лег в постель и проспал четыре часа кряду, проснулся уже в темноте и почувствовал — охота поесть. Настроение у меня было хоть куда — как-никак заработал три сотняги,— и я спустился в ресторан, решил отпраздновать такое дело обедом по-заковыристей и выпить на радостях бутылочку вина. Отдохнувший, свободный как птица, я сел за отдельный столик и надеялся — люди глядят на меня с интересом. В ресторане было славно, я пообедал и уходить не спешил, дымил сигарами. А на сон грядущий раздумывал, как приятно жить на свете, когда у тебя водятся деньги. Похоже, деньги и есть самое главное, все остальное — пустяки. Интересно, был ли на свете хоть один незаконнорожденный, который желал бы чего-нибудь большего? И не такой уж я гад, вовсе нет, мне совсем не хотелось в придачу к деньгам еще и власти. Ничего подобного. Мне хотелось только денег — кому же от этого вред? Ради денег я пошел бы на все, ни перед чем бы не остановился. Жажда власти, по-моему, низость, а вот жажда денег — это благородно.

Я позавтракал у себя в номере, и тут зазвонил телефон и в трубке послышался девичий голос. Я не вдруг догадался, что это Полли Моггерхэнгер. То ли у меня было неладно с памятью, то ли я не тот, за кого себя принимал. Но, расставшись с ней на аэродроме, я ни разу про нее не вспомнил, а сейчас ее оживленный голос звучал у меня в ухе, и я так удивился, так это было неожиданно, я даже сам не знал, рад ли. Она сказала — вчера, мол, весь день провела с подругой и ее семейством и чуть не померла со скуки, и если от них не вырвется, наверняка взбесится и полезет на стену. Приятная картинка, но не мог я такого допустить — и пригласил ее пообедать.

Я понятия не имел, где в Женеве хорошие рестораны, и решил: если мы поедим в гостинице, она подумает, мне либо лень куда-то идти, либо некогда, ей и в голову не придет, что я не знаю Женевы. Накануне я был как в тумане, толком и не разглядел Полли — может, после сегодняшнего обеда вовсе и не будет охоты ее видеть. Уж очень

хотелось немного побыть совсем одному, самому по себе в этой непривычной обстановке, а чем дальше — тем непривычней и удивительней казалось мне все вокруг. Но как только в холл вошла Полли, мне стало ясно: в ближайшие несколько дней я уже не хочу быть один.

За обедом она сказала, что несчастлива и совсем не знает, как жить,— ну, тут я понял, ее отчаяние можно не больно принимать всерьез. А потом я сказал — страдание и есть соль жизни и кто не бывает несчастлив, тот живой труп, и она сразу повеселела.

— При таком отце, сами понимаете, я живу как у Христа за пазухой,— сказала она.— Он души во мне не чает, и у меня есть все на свете, и раньше мне это нравилось. Я была очень довольна своей жизнью. А потом я начала встречаться с мужчинами, и отец стал относиться ко мне гораздо хуже, хотя впрямую скандалов не устраивал. Дошло до того, что иногда, занимаясь любовью у кого-нибудь на квартире или в машине на заднем сиденье, я начинаю думать, что поступаю нехорошо, и уже года два как я почти не получаю от этого удовольствия. Родители всегда так — вырастят нас, а потом воображают, будто мы их собственность.

— Но теперь-то, я надеюсь, вы получаете от этого удовольствие? — сказал я и ткнул соломинку в стакан воды со льдом.— Это я беспокоюсь не о себе, а о вас.

— Можете не беспокоиться,— сказала она.

— Не буду. Это ведь не моя забота, верно? А вот куда бы нам пойти?

Она понятия не имела, и тогда я предложил проехаться автобусом вдоль озера к Шильонскому замку и пошел трепаться про Боливара и поэму Байрона, ей сразу загорелось ехать — она хоть и слыхала про все это, но удивилась и обрадовалась, что я тоже знаю, ей ведь, наверно, казалось, я заядлый контрабандист и только, откуда же мне все это знать. Я и впрямь ничего этого не знал, просто как раз сегодня утром прочел в путеводителе для туристов. Зато я как бы между делом рассказал про байроново жилье в Ньюстеде, и это все была чистая правда: совсем еще мальчишкой, а потом и постарше я ездил туда на автобусе — один раз с матерью, она навещала подругу в туберкулезном санатории неподалеку. Теперь нам было о чем поговорить, а скоро мы уже болтали в свое удовольствие и про всякое другое — сидели в автобусе, глазели на сверкавшее при каждом повороте озеро и нашептывали друг дружке всякие приятные пустячки. Под конец я уже не знал, о чем бы еще поговорить, и спросил, чего она желает от жизни, а она ответила: сама не знает.

— У меня всегда было все, что захочу, вот я и не привыкла ничего хотеть.

— Да уж наверняка вам хочется кой-чего такого, чего папаша не может дать.

— Лучше скажите, чего хотите вы, может, тогда я тоже что-нибудь вспомню. Наверно, я слишком счастлива, поэтому мне ничего не хочется.

— Или слишком несчастливы,— сказал я. Мне хотелось сбить ее с толку, так легче всего выудить из человека правду. Почему бы не пойти на такую уловку, я же в эту Полли нисколечко не влюблен.

— Может, вы думаете, я истеричка? Ничего подобного! — с вызовом бросила она.— Отец начал ходить к психоаналитику, а мне это ни к чему.

Я чуть не свалился со стула: это ж надо, знаменитый Клод Моггерхэнгер каждый вторник и четверг лежит на кушетке у психоле-

каря и выбалтывает свое прошлое! Но потом смешная сторона этого дела как-то слиняла, и мне даже стало не по себе.

— На что это ему?

Я предложил Полли сигарету, и она закурила.

— Наверно, для передышки, хочет провести время. Он вовсе не свихнулся, не думайте, ничего подобного. Просто не любит отставать от моды. Все Моггерхэнгеры такие.

— Даже вы?

— Ну, скажите, чего вы хотите от жизни, тогда я тоже скажу.

— Хочу, чтоб мне не приходилось задумываться, чего я хочу,— сказал я, стараясь не ударить лицом в грязь.— Хочу жить вовсю и не гадать, чем бы заняться да чего бы добиться. А ведь все только об этом и хлопочут. Всякому вынь да положь вон ту работу, или вот этот дом, или машину. Всяк загадывает: непременно буду главным — либо директором, либо управляющим. Всяк надеется заполучить то или это или приспичит ему жениться как раз на той женщине, которая, сразу видно, никак не про него. А получит человек все, чего добивался,— опять ему чего-то надо, а когда и хотеть больше нечего либо уж так выдохся — ничего и хотеть не может и сил не осталось добиваться, ну, тогда подворачивается несчастный случай или просто человек помирает — и все. Хотеть — это нас сам черт подуськивает. Вот мне и того хочется и этого, а через минуту глядишь — ничего мне не надо. Бывает, сам понимаю: не про меня это, безнадежное дело, а именно это мне и подавай, готов помереть — лишь бы добиться своего. Когда накатит жадность, мне надо всего сразу, так что я уж и сам не знаю, чего хочу, либо не знаю, с чего начать, и в конце концов так ни за что и не берусь. Вот меня и носит по ветру, как соломинку, а пока суд да дело, я просто живу, вот и все, и не так уж плохо живу, потому что стараюсь работать как можно меньше.

— Что-то не верится, что вы говорите правду.

Я рассмеялся.

— Самому не верится. А все ж я стараюсь. Да только что это такое — правда? Может, вы мне скажете, тогда угощу вас птичьим молоком. Мне не понять, чего я хочу, покуда у меня этого не будет,— вот вам чистая правда, но от такой правды страх берет. Чаще всего мне охота получать каждый год несколько тысчонок, купить себе домик и жить без заботы и работы.

— Очень скромное желание,— сказала Полли.— Вы вполне можете его ссуществить.

— Думаете, могу? — Я даже приободрился.

— По-моему, вы хотите очень немногого. Даже удивительно.

Вот тут я смутился и уже не очень понимал, что теперь говорить. Мы доехали до Шильонского замка, но внутрь не пошли, сели в кафе, держались за руки и толковали о чем попало. Сперва сидели за столиком на улице, а потом разразилась гроза, и мы зашли в помещение и ели еще пирожные с кремом и пили кофе. Небо было розовое, и молния перерезала его, точно гранат. Потом оно вдруг стало свинцовое, и гром уже не погромыхивал вдалеке, а так загрохотал — даже пол под ногами затрясся.

— Лучше всех живет тот, кому некогда задумываться,— сказал я.— Свою жизнь я уже загубил такими вот разговорами. И вы тоже свою загубите, если не поостережетесь. Мы с вами, можно сказать, одного поля ягода, и, по-моему, хватит нам ломать голову, думать, чего мы хотим от жизни, лучше возьмем от нее что можно и доставим себе удовольствие. Хватит, нагляделись мы и на стены, и на озеро поехали ко мне в гостиницу.

— Я знаю, мне не надо бы соглашаться,— к моему удивлению, сказала Полли, взяла меня под руку и так прижала ее к себе, я даже ощутил тепло ее тела,— но мне тоже этого хочется.

Мы пошли к автобусу, и я чувствовал себя настоящим героем, не хватало только трубки в зубах, и мне опять стало пятнадцать лет, как вечность назад. В автобусе мы принялись было целоваться, но все добродетельные швейцарцы на нас уставились, и мы отпустили друг дружку и сидели прямо, угрюмые, почти не разговаривали — уж очень мы себя выдали.

Пошел дождь, и я испугался: а вдруг Полли передумает, но она и бровью не повела. Портье отдал мне ключ и ни о чем не спросил, и мы поднялись ко мне в номер — в нашей благополучной пуританской Англии это было бы невозможно, так я по крайней мере слышал.

Через четыре часа мы тихонько спустились в ресторан подзаправиться, оба изрядно помятые и совсем без сил, и молча глядели друг на друга, пока нам не принесли еду, а потом накинулись на нее с такой жадностью, как перед тем друг на дружку, и за едой почти не разговаривали, словно первое наше затянувшееся свидание заменило пятьдесят миллионов слов, которые теперь уже вроде и незачем произносить.

Мы сидели и не спеша потягивали вино, так что под конец официант принес счет (деликатный намек, что уже время закрывать), тогда мы опять поднялись ко мне в номер и уж использовали ночь на всю катушку, покуда нас не одолел сон.

В Лондон мы летели одним самолетом. Мне казалось, это я здорово придумал — на случай, если меня запомнил какой-нибудь таможенник. Ведь если меня и впрямь кто приметил и подумал, зачем это я уезжаю, теперь он увидит: я возвращаюсь с красоткой, и его подозрения рассеются. И если на следующей неделе я буду улетать с того же аэродрома, он подумает, я опять отправился по тому же похабному делу. Уильям Хэй наверняка одобрит этот невинный обман. Пассажиров было немного, и, когда световой сигнал позволил нам расстегнуть привязные ремни и самолет начал взбираться в небеса, я сказал Полли, чтоб она шла за мной в хвост.

— Мне надо в туалет,— сказал я и подмигнул,— составь мне компанию.

Поблизости никого не было, я отворил дверь и сказал: входи, мол, скорей. Вошел следом, мигом защелкнул задвижку.

— Здорово придумано! — сказала она.— Мне бы и в голову не пришло. Ты, наверно, сто раз это проделывал со случайными попутчицами?

Мы крепко обнялись и поцеловались.

— Только сейчас додумался. Больше ведь негде, разве что в багажном отделении, так ведь туда не пробёрешься, не просить же у пилота ключ. Я так в тебя влюблен, а тут сиди — и даже дотронуться нельзя. И потом, мне надо кой о чем тебя спросить, а это можно, только когда мы целуемся.

Полли прислонилась к раковине.

— Ну спрашивай.

— Выйдешь за меня замуж? Я знаю, вопрос дурацкий, но я заранее не раздумывал, этим только все испортишь. Не отвечай сразу. Я еще не жду ответа. Просто мне хотелось сказать, до чего трудно будет

после этих дней с тобой опять спуститься с небес на землю. Если не захочешь больше меня видеть, я пойму. Только сам я чувствую другое и хочу, чтоб ты это знала, даже если сама решила, что никаких таких чувств ко мне у тебя нет. У меня же к тебе чувство такое, как самый горячий поцелуй, а для меня это очень много.

Ее кругленькая хорошенькая мордочка была обращена ко мне, а в зеркале у нее за спиной я видел свое лицо, и на нем была боль, смятение, и жадность, и ложь, и любовь.

Самолет тряхнуло, и Полли ухватилась за меня.

— Так что не отвечай,— продолжал я,— мне не ответ твой нужен, я не спешу. Я хочу быть перед тобой честным, и ты пойми, я не вру. Просто мне вдруг очень захотелось это сказать. Я никогда еще этого не говорил и никогда больше никому не скажу.

И тут нам стало не до слов...

Потом мы пробрались на свои места, стюардессы разносили подносы с едой и с любопытством на нас поглядывали. Одна всякий раз, проходя между кресел, мне улыбалась — она во всем была прямая противоположность Полли и очень мне приглянулась, я не прочь был бы и ее тоже грубо и непристойно утащить в хвост самолета. Но тут мы с Полли накинулись на обед, будто не ели целую неделю, и на этот раз я заказал уже не полбутылки шампанского, а бутылку, и стюардесса подала ее уж с такой торжественностью, словно мы только что сыграли свадьбу и летим в Англию на медовый месяц. Того и гляди, к нам подойдет с поздравлениями сам первый пилот и пожелает долгой совместной жизни — может, авиакомпания оказывает пассажирам и такие услуги; а механик, проходя в хвост, понимающе на нас поглядел; похоже, девушки болтали про нас и выложили, чем мы, по их мнению, занимались.

Полли ела, опустив голову, сама скромность, и я уж решил: наверно, думает про наше приключение и теперь, когда все на нее глазеют, скорей всего злится на меня и, когда прилетим, больше не захочет со мной знаться. Но она вдруг заговорила:

— Когда мы только познакомились, ты сказал, ты никому никогда не признавался в любви, предоставлял отношениям говорить самим за себя и никогда не произносил слово «люблю».

— Так и знал, что ты про это заговоришь. Да, правда. Прямо не знаю, что со мной творится. Все это так ново, я никогда ни к кому ничего похожего не чувствовал, оттого так и говорю. Наверно, дело в этом.

— Наверно,— сказала Полли.

— Я слишком много болтаю.

— Мне это не мешает,— сказала она.— Даже нравится. Никто из моих приятелей не умеет разговаривать. Так, как ты, не умеют. Они произносят разные слова, но разговаривать не умеют. Когда ты говоришь, я чувствую себя человеком, а от их разговоров только ясней и ясней вижу, что я им всем чужая. Не думай, я далеко не всему верю, что ты говоришь. Дело тут не в вере. Но настоящая близость приходит, только если люди разговаривают друг с другом.

Мне стало ее жалко и почему-то себя тоже. Наверно, хорошо, что она сейчас заговорила, а если б не заговорила, наверно, заговорил бы я.

— Я живу совсем не так самостоятельно, как тебе кажется,— сказала Полли.— Знакомые, у которых я должна была остановиться в Женеве, уже звонили отцу, сказали, что две последние ночи я у них не ночевала. Да и все равно он будет встречать меня в аэропорту, так что лучше держись от меня подальше, тем более раз он тебя знает.

Я был только рад послушаться ее совета, мне совсем не хотелось

опять сталкиваться с Моггерхэнгером. Я его не боялся, но Уильям Хэй строго-настрого предупредил, чтоб во время поездок с контрабандой я не ввязывался ни в какие истории. Только вот жалко, нельзя будет пройти через таможню под руку с Полли — а ведь ради этого я и летел с ней одним самолетом. Мы обменялись телефонами, но оба понятия не имели, когда сумеем созвониться, а тем более увидеться. Световое табло велело погасить сигареты и пристегнуться к креслам, самолет вдруг прорвался сквозь облака, под нами показалась электростанция Бэттерси, а мы так и не успели толком обсудить все, что было между нами нерешенного и уже начало нас всерьез мучить.

Я пропустил Полли вперед, а сам выждал немного и стал спускаться по трапу, точно раненый. Но едва спустился, сразу же чуть не бегом догнал ее, и мы как сумасшедшие поцеловались и только после этого прошли в зал для приезжающих.

— Я люблю тебя,— сказала она.— Я не хотела говорить, но я тебя люблю.

Она прошла в комнату для дам, а я принялся шагать взад и вперед по залу. От нечего делать поглядел на стойку с отделениями для писем и увидел конверт с моим именем. Я взял его и вскрыл, подумал — это какому-нибудь однофамильцу, но все равно любопытно, что там внутри.

«Сегодня хорош номер девять. Надеюсь, вы слетали успешно. Линингрейд».

Я дождался, пока Полли получила свои вещи и прошла через таможню — ей всего-то пришлось ответить на один короткий вопрос и улыбнуться. Сам я прошел, как мне было велено, через проход номер девять, хотя зачем это было нужно, не понял: ведь я сказал, что мне нечего предъявить, и теперь это была правда, и вот таможня уже позади, и я еще успел увидеть знакомый затылок: передо мною по лестнице спускался Моггерхэнгер.

Я немного помешкал, потом тоже сошел вниз, сел в автобус и покатил в город.

Дома меня ждал Уильям, сам он только что вернулся из короткой поездки в Ливан. Он сидел в халате на кушетке в общей комнате, и Хейзел внесла поднос с кофе. Эта девка из Сохо с жестким лицом и сладострастным телом время от времени его навещала, и сейчас он ей подмигнул, чтобы она оставила нас вдвоем. Он курил сигарету через нелепый длиннейший мундштук и уселся поудобней, приготовился слушать мой рассказ, а я подумал: потом, верно, все перескажет в организации Джека Линингрейда.

— На той неделе поедешь опять,— сказал Уильям, когда я кончил. Он глотал кофе, и тощее горло его судорожно вздрагивало, кадык ходил ходуном, будто при каждом глотке его ударяли по шее невидимым резиновым молотком.— Куда ехать, тебе скажут утром.

Он налил себе еще кофе; Хейзел в спальне тихонько что-то напевала.

— Что ты будешь делать со своими деньгами? — спросил я.

— Еще не думал об этом, дружище. На той неделе из Уорсопа приедет на несколько дней моя мамаша. Поселю ее в гостинице. Покажу ей всякие примечательные местечки вроде Тауэрского моста и Букингемского дворца.

— Очень мило. Даже трогательно.

— Нечего язвить, Майкл. Я ведь всего только человек.

— В том-то, наверно, и беда, что моя, что твоя.

— Слушай, парень. что тебя гложет? Сколько я ребят перевидал, все возвращаются гордые, точно индюки, что их не зацапали, а ты как в воду опущенный.

— Я из другого теста. Поездка дорого мне далась, и по мне это видно — ничего не поделаешь.

— А ты, парень, простая душа, черт подери, это уж точно,— сказал Уильям.— Вздремни малость, а потом сходим куда-нибудь, спокойненько подзаправимся. Хейзел я спроважу. Она не обидится. Не на что ей, черт подери, обижаться.

— Думаешь жениться?

— Ну, где уж при такой работенке. После, может, и женюсь.

Ни у него, ни у меня не было твердой почвы под ногами, но все равно нам хотелось того же, что и всем. Я лежал в комнате для гостей и думал о Полли, и вдруг меня разобрал страх, будто только теперь до меня доперло, как опасно было топать через таможню с грузом золота. В глазах потемнело, руки и ноги затряслись. Вся поездка показалась сном, и сон этот напугал меня больше, чем сама поездка. Наверно, я трус, и, выходит, нечего мне заниматься этим делом. Но я и правда вздремнул, а когда проснулся, понял, что не откажусь от него: я ведь уже обзавелся целью, предметом желаний, даже просто распорядком жизни, и все это отняло у меня ту решающую каплю мужества, которая требовалась, чтоб передумать и сойти с опасной дорожки.

Уильям будил меня, но голова у меня была как чугунная. Он поднес мне к самому носу чашку чая, и от этого запаха я сразу взбодрился.

— Выпей-ка,— сказал Уильям, и сквозь поднимавшийся над чашкой пар я увидел: он расплылся в улыбке до ушей.— Живо вскочишь на ноги, чем отлеживать бока. Нечего тебе весь вечер вариться в собственном соку.

— А почему бы и нет?

— Не понимаешь — не надо. Вот твоя деньга от Железного. Тридцать кусков. Легкий хлеб, легче не бывает.

Я взял у него из рук длинный конверт и сунул под подушку.

— Не больно-то легкий.

Уильям сел в кресло и уставил на меня свои серые гляделки — так и буравил, очень это у него внушительно получалось, как всегда, когда он пытался заглянуть мне в душу.

— Слушай, что тебя грызет?

— Крысы. Завладели мной с субботнего вечера. Скажи, ты любил когда-нибудь?

Левая нога у него дернулась, будто его стукнули по коленке, проверяя рефлексы.

— Неужто в стюардессу втюрился? Если да, лучше сразу выкинь из головы. Они в точности такие, как все, только что в белых фартучках.

— Ты мне не ответил.

— Отвечаю: нет. Любил отца, да его убило в шахте, когда мне было семь лет. Покуда он был живой, я не знал, что люблю его, а как помер, я понял: век его не забуду и уж никогда никого не полюблю... ну, может, мать, так ведь она еще живая, а стало быть, покуда это просто так, вроде как влюбленность. Мне многие женщины нравились, на некоторых я даже хотел жениться, а вот чтоб любить, нет, этого не скажу. Сейчас у меня дела пошли на лад, и я так и буду жить, покуда не надумаю, на что свою монету пустить. Я уже порядком поднакопил, скоро совсем богач буду, и знаешь, какие у меня мысли? Заведу хозяйство, стану выращивать овощи на продажу. Куплю на свои сбережения домик в Ноттингеме и акра четыре земли. Мамаша

тоже со мной поселится, коли пожелает, а может, еще и найдется такая женщина, захочет впрячься со мной в одну упряжку, тогда мне и вовсе ничего больше не надо.

— Ну и дай тебе бог, как говорится,— сказал я.— Может, и впрямь надо дожить до сорока, тогда сообразишь, чего тебе от жизни требуется.

— Я это с двадцати лет понимал. Да только ни себе не признавался, ни вслух не говорил. Ото всех затаил. А сейчас вот проболтался, потому — есть на это надежда, дело верное, черт подери. Ну да ладно, давай теперь выкладывай про свою зазнобу, я гляжу, ты из-за нее как в лихорадке. Хоть позавидую тебе... А вообще, давай выйдем и доберемся до какой-нибудь жратвы. А то у меня совсем живот подвело.

Мы пошли в тот самый ресторанчик в Сохо, где я повстречался с ним после приезда в Лондон; выпили по бутылке вина — Уильям сказал, нынче у него как раз день рождения.

— В день рождения я поминаю все чудеса, какие со мной приключились, и подсчитываю свои удачи. Когда я был малец, никому до этого не было дела. Никто не замечал никаких чудес, не до жиру было, быть бы живу. А теперь вот у меня есть время их поминать, стало быть, ясно — я живу в достатке.

— У тебя настроеньице что надо,— со смехом сказал я.— А сколько ж тебе стукнуло?

— Тридцать девять, и я не чувствую себя ни на день моложе,— ответил он, отрезая кусок эскалопа.

Мы вместе встречали его мать на вокзале Сент-Панкрас. Билл увидал — она выходит из вагона второго класса, и как закричит:

— Я ж тебе послал десять фунтов на билет первого класса, а ты вон мне какую гадость устроила! Неладно это, мать.

— Не смей со мной так разговаривать!

Я даже попятился: неужто это она так пронзительно заорала? И метила она явно в меня, я уж было решил — она чокнутая и приняла меня за Уильяма, а потом понял, у нее глаза косят. А она знай орет:

— Чего я там не видала, в первом классе, дурья твоя башка? В этих первых классах незнамо с кем придется сидеть. И нечего на меня гавкать. Никто не поверит, будто ты мне родной сын. И это после всего, чего я натерпелась! Лучше уж я прямо сразу подамся обратно в Уорксоп.

Уильям побледнел, но наклонился и поцеловал ее.

— Не уезжай, мать,— взмолился он, как маленький,— я ведь только хотел как лучше, чтоб тебе удобней ехать.

Ну и ну, подумал я, вспомнив, как он сам добирался до Лондона. За этот год у него многое переменилось.

— Где твой чемодан? — спросил он, когда зеваки, что сбежались на крик, стали расходиться.

Мамаша его была маленькая, тощенькая, в блекло-голубом пальто и мутно-голубой шляпке на пепельно-серых волосах — сразу видно: жизнь била и колотила ее всяко, а гордости из нее не выбила. В очках, зубы вставные, поди угадай, сколько ей лет, а все ж, как она ни старалась, она явно была ближе к шестидесяти, чем к сорока.

— Совсем из головы вон. Наверно, в вагоне еще.

— Пойду возьму,— сказал я.

Когда я приволок чемодан — а он был тяжеленный, я чуть кишки не надорвал,— они уже двинули к выходу: Уильям оставил там такси. Таксист поднял чемодан и выругался:

— Свинец, что ли, у вас там?

— Золотые слитки,— засмеялся Билл.— Она привезла из дому уголь!

Мамаша усадила меня в такси рядом с собой.

— Приятно впервой прокатиться по Лондону с двумя молодыми людьми. И впрямь большой город, правда, Билл? Побольше Уорксопа будет.

Я сошел у Кембридж-серкус,— не желал я слушать, что она станет говорить про колонну Нельсона. Но сам все равно прошел к Трафальгарской площади и замешался в толпу. Ветром у меня с головы сорвало шляпу, я кинулся догонять ее прямо по плитам, под брызгами обоих фонтанов, из-под ног у меня во все стороны испуганно разлетелись голуби. Я заглядывал в лицо каждой девушке: а вдруг это Полли Моггерхэнгер? Нет, я не был в нее влюблен. Слишком острый привкус был у моего чувства к ней.

Наконец я зашел в телефонную будку и набрал номер Моггерхэнгеров. Ответил женский голос, наверно ее мать.

— Полли дома?

— Нет,— сказали мне и повесили трубку.

Я пошел к Стрэнду, все надеялся ее встретить. Полюбовался немного витриной ювелира, потом той же дорогой двинул обратно и зашел в кафе перекусить. Есть не хотелось, я раскрошил на тарелке остатки пирожного, целлофановые обертки. Полил все это красным соусом и поплелся прочь.

Вижу — перед театром очередь, я стал в хвост и выложил тридцать шиллингов за билет. Вошел, сел, заиграли государственный гимн, а я не встал — неохота было чувствовать себя дураком. Остальное стадо поднялось на ноги, и кто-то позади меня сказал: надо проявить уважение, я-то, конечно, не поднялся, но откликнулся — мол, уж если встану, так разве затем, чтоб расквасить этому патриоту рыло. Он заткнулся, и тут погасили свет.

На сцену вышел какой-то дядя и стал бесноваться, бегать по гостиной и кричать, что мир весь прогнил. Вошла его жена — он давай кричать на нее, покуда она не расплакалась. Потом этот псих поганый стал грозить кулаком публике и обзывать нас всякими загогулистыми выраженьицами. Тут я поднялся и стал пробираться к выходу, меня принялись ругать — мол, мешаю слушать, в общем, я нашумел, как только мог, и вышел на улицу. Вот что получается, когда пришьешься к очереди и вообще к стаду, а только чудно: мне стало веселей, чем до театра.

Я пошел к Финчли-роуд и повстречал Бриджит: она поднималась по ступенькам школы Смога. Одета она была почти как до замужества — в черных спортивных брюках и розовато-лиловом джемпере. Она похудела, побледнела, молочно-белой, цветущей пухленькой рожицы молодой голландочки как не бывало, да еще под глазами черные круги, словно, покуда мы не виделись, она много пережила и маялась бессонницей. Она улыбнулась мне, протянула руку.

— Почему не звонила? — с упреком спросил я.

— А я звонила, но какой-то мужчина ответил, что тебя нет в городе.

— Точно,— сказал я,— я ездил в имение, навещал мать. Ее хватил удар, и, похоже, она долго не протянет. Если она и впрямь отдаст концы, мне достанется полмиллиона — правда, в этот мой приезд она уже еле ворочала языком, а все равно грозилась, что все оставит приюту для собачек. Да ладно, плевать. Как ты?

— Сама не знаю. Муж вчера уехал на неделю в Глазго, на какую-то конференцию. Так по крайней мере он сказал, и не смейся, пожалуйста. Это правда, я видела все письма, его приглашали.

Чем-то тяжелым меня стукнуло по плечу, я круто обернулся — и получил по животу. Это Смог колотил меня школьной сумкой с книгами, по которым он учился читать и писать.

— Был бы ты чуть повыше, я бы уж тебе накостылял. Когда подрастешь, не вздумай эдак развлекаться, не то влипнешь.

Бриджит дала ему подзатыльник, и его форменный картузик отлетел под машину. Он кинулся было за ним прямо наперерез другой машине, но я ухватил его за руку и спас ему жизнь.

— Осторожней, ради Христа,— сказал я.

— А мне плевать.

— Зато мне не плевать.— Я поднял его шапчонку и водрузил на место.— Пойдем-ка подзаправимся пирожными и чаем, согласен, Смог?

— Мы поедем домой,— сказала Бриджит.— Терпеть не могу ваши английские кафе, в них только и есть что крепкий чай да жирные пирожные.

Мы сошли с автобуса где-то на границе Хэмпстеда и тихими улочками пошли к новому жилищу доктора Андерсона. С фасада дом похож был на пассажирский самолет, приземлившийся на холме, и мы поднялись к нему по бетонным ступеням.

Бриджит ввела меня в гостиную — длинную комнату с окнами от пола до потолка, одна сторона ее выходила на газон. Смог скинул пальто и уселся на пол, попытался закончить картинку-головоломку, которую на три четверти сложила Бриджит, но у него не хватило терпения, он все смешал и принялся читать какой-то учебник. Бриджит позвонила, в дверях появилась смуглая немолодая женщина и спросила:

— Что угодно?

— Приготовьте нам, пожалуйста, чаю, Аделаида.

— Вы уже пили, перед тем как пошли в школу,— сказала Аделаида.

— Мне нужно еще, черт возьми, для троих.

Аделаида, ворча, вышла.

— Ну и жизнь,— сказал я.

— Ужас.

Мне до смерти хотелось еще разок слетать в Швейцарию —может, в самолете опять повстречаю Полли. Я знал, это чистый бред, и при чем тут Полли, когда у меня на коленях сидит Бриджит. Мы уложили спать бесенка Смога и остались вдвоем в гостиной. Жизнь совсем вышла из берегов: Бриджит нежно меня ласкала, а я мечтал только о Полли, которая была неизвестно где. Я отвечал на поцелуи Бриджит рассеянно, но достаточно крепко, и она ничего не замечала, продолжала меня ласкать. Может, она что и чувствовала, но оттого только еще настойчивей меня ласкала...

И вдруг на меня накатило что-то странное: отчаянно захотелось ребенка от Бриджит. Сам не знаю почему, но в эту минуту я вроде со стороны подумал — хочу, чтоб у Бриджит был ребенок. Именно эта мысль под конец, совсем уже на ночь глядя, вытеснила из моей головы Полли, и хоть она не больно-то приблизила меня к Бриджит, я по крайней мере перестал чувствовать себя перед нею последним подлецом.

Я не остался на ночь в уютном убежище у моей милой, а потопал на квартиру Уильяма — может, меня уже там ждут распоряжения насчет следующей поездки. Было три часа утра, распоряжений никаких, и в мечтах о новой встрече с Бриджит я завалился спать.

Поутру раздался телефонный звонок, и нам обоим велели сейчас же явиться с паспортами на квартиру в Найтсбридже, Уильям не успел даже позвонить матери в гостиницу. Я наскоро позавтракал и помчался — надеялся по дороге схватить такси. Уильям должен был выйти на десять минут позднее: входить вместе в тот дом не полагалось — вдруг нас кто заметит?

Было десять утра, час «пик», однако заторы на улицах еще не начались. Из-за угла вынырнула маленькая, но мощная легковушка и боком треснулась об автобус. Послышался звон разбитого стекла и глухой хруст и скрежет металла. Из автобуса повыскакивали пассажиры, вылез водитель. Никого не ранило, и я заторопился дальше, но все равно это была дурная примета. Я сел в такси и закурил: это уличное происшествие меня что-то расстроило. В приметы либо веришь, либо нет. Я не верю. Если не веришь, значит думаешь — ты не сам решаешь свою судьбу, она решается на небесах или где-то там еще. Верить в приметы — все равно что надеяться, будто ты как-то можешь распоряжаться своей судьбой. А мы ведь ничего этого не можем. Сигарета отдавала какой-то дрянью. Приметы существуют, чтоб пугать человека, а не предостерегать. Такими мыслями я себя старался подбодрить, да все без толку.

Я околачивался в приемной, поджидал Уильяма и листал охотничьи журналы. Наконец он явился, вид у него был какой-то встрепанный, но Стэнли сразу же провел нас в комнату. Мне почудилось, что-то неладно, и я слышал — человек под прозрачным колпаком орал в телефон, а потом я увидал: он вот-вот заглотает микрофон. Потом он положил трубку и принялся изо всех сил растирать руки, чтобы наладить кровообращение. Я подумал: пожалуй, эта работенка скоро его прикончит.

— Есть срочное дело,— сказал он.— Надо переправить большую партию товара, повезете оба, сегодня же, после обеда, по полсотни килограммов на брата.

— Ко мне мамаша приехала,— с улыбкой сказал Уильям,— я думал, у меня несколько дней свободных.

Джек Линингрейд (или как там его звали на самом деле) поморщился, лицо у него стало совсем белое.

— Посмей еще раз скривить рожу, мой милый, и у тебя будет целых десять лет свободных.— Он поправил галстук.— Вы поедете в Цюрих, мистер Хэй, и потом в Бейрут. А вы в Париж, мистер Каллен. Ваши самолеты отправляются через пять минут один после другого, Стэнли свезет вас на аэродром. Ну, что, вас уже трясет, мистер Каллен?

Он глядел на меня в упор — и не ошибся: я и впрямь дрожал и, чтоб не упасть, ухватился рукой за спинку стула.

— С грузом я буду поустойчивей,— сказал я. Больно уж все вышло внезапно, хоть я и ждал этого с той минуты, как нас вызвали по телефону.

По дороге в аэропорт мы решили, что Уильям пройдет через таможню первый, а я сразу вслед за ним — и тогда перед отлетом мы еще успеем вместе выпить. Он взял с меня слово, что я буду звонить его мамаше и погуляю с ней утром, и я сказал — я с радостью, если только все сойдет хорошо.

— Не вешай нос, старик,— сказал Уильям и, как всегда, широко улыбнулся, все свои вставные зубы показал.— Ты справишься молодцом, я знаю. Нагадал по картам и на кофейной гуще.

— Я утром читал свой гороскоп, там сказано, мои дела пойдут сегодня через пень колоду.

— Выкинь это из головы,— сказал он и хотел было хлопнуть меня по спине, но поднять руку оказалось слишком трудно.

Груз не очень меня тяготил, но мне казалось, я жутко толстый и весь мир видит меня насквозь, будто рентгеновскими лучами просвечивает. Я помешкал у книжного киоска и пошел к таможенному залу.

И в дверях примерз к полу. Два таможенника осаждали Уильяма вопросами, а когда я повернулся уходить, они стали по бокам и повели его куда-то. Ну, все, теперь он загремит, и я тоже... у меня затряслись поджилки. Вот он, зловещий конец нашего странствия по Большому северному тракту. Попался, не знаю, что делать, куда кинуться... Вокруг было довольно спокойно, народу немного, но мне казалось, это все полицейские и шпики и сейчас меня схватят и разорвут на части. Я точно одеревенел и даже не чувствовал стыда от того, что не мог взять себя в руки.

Двинулся я в ближайшую уборную, хотел облегчиться и тем временем подумать, как быть. Да только ничего не приходило в голову, я весь вспотел со страха, отродясь так не трусил — да если б я подозревал за собой такое, нипочем не взялся бы за эту работу. Я запер дверь, расстегнул пальто и трясущимися руками стал поскорей вынимать золотые слитки и спускать в унитаз. Побросал все сорок слитков и прикрыл их туалетной бумагой, извел на это полрулона, а сам думал — кой черт меня понесло в этот Лондон, оставался бы дома, поступил бы с Клодин по-честному, зарабатывал бы себе и ей на жизнь, как положено порядочному человеку.

Потом вышел я из уборной, вернулся в зал. План у меня был такой: освобожусь от золота и сбегу, укроюсь на два года в Шотландии на каком-нибудь уединенном островке — меня, может, и не убьют за трусость... как вдруг ни с того ни с сего ноги понесли меня к дверям в зал ожидания и я глянул в дальний конец на таможенников. Там стоял Уильям, улыбался во весь рот и разговаривал с теми двумя, будто с друзьями детства. Тут уж я совсем растерялся, но только на один миг, потому что Уильям весело помахал рукой и как ни в чем не бывало прошел в зал для отлетающих.

Я встряхнулся и скорым шагом вернулся в уборную. У писсуара стоял какой-то тип, другой вытирал руки. Я прошел к кабинке, но дверь оказалась заперта, ручка повернута на «занято». Я ринулся в следующую кабинку — вот сейчас перескочу через перегородку, пролезу под ней, удавлю типа, который там оправляется, и опять завладею своим золотом... Но кабинка, в которую я ворвался, оказалась той самой, где я был прежде; я содрал длиннющую ленту туалетной бумаги — золото было еще здесь, все слитки до единого. Ну и повезло же! От одного их вида я враз успокоился, рассовал золото по внутренним карманам пальто. Постоял две минутки в тишине, потом прошел к зеркалу, причесался, поправил шляпу, подхватил чемоданчик — сейчас мне было до лампочки, предрешена моя судьба заранее или я сам ее хозяин, я наконец-то очухался, а там будь что будет. Теперь уже никому не бросится в глаза, что я толстяк,— мне казалось, вся плоть моя истаяла, остались кожа да кости.

Я прошел через таможню, и никто даже не посмотрел на меня, только заглянули, как положено, в паспорт. Уильям поджидал меня у бара, перед ним стояла бутылка светлого пива.

— Ты чего так задержался, старая калоша? — спросил он.

— Я как увидал, они тебя допрашивают, ну, думаю, все, твоя песенка спета,— ответил я, и меня снова стала бить дрожь.

Он засмеялся и заказал для меня пива.

— Ничего особенного, задавали обычные вопросы.

— Вот сволочи, сучьи дети.

— Зря ты на них насыпался. Почти все ребята как ребята. Просто у них служба такая. Что толку на них злиться? Это вредно, еще язву наживешь.

— Тебя обыскивали, да?

— Просто заглянули в бумажник. Выездной визой интересовались. Я думал, они учуяли, что пахнет жареным, но ничего, обошлось. А все одно — в другой раз не полечу с этого аэродрома. Здесь меня уже приметили.

Объявили посадку на самолет, и он ушел.

В Париже я взял такси и поехал по условленному адресу в Ситэ. Города я не замечал, видел только — идет дождь; уж очень было обидно, что не встретил в самолете Полли. Чем больше проходило времени с тех пор, как я бросил на нее последний взгляд, тем хуже мне становилось. Я освободился от своего товара и, как было велено, вернулся на такси в аэропорт и там ждал до семи рейса в Лондон. Сидел в зале ожидания, пил черный кофе и, стараясь убить время, все поглядывал на одну официанточку, но она явно не желала меня замечать.

К девяти я был уже на квартире в Найтсбридже и получил из рук Стэнли конверт со всем, что мне причиталось. Потом он выпустил меня на лестницу — мы так и не обменялись ни словечком. У дверей я поймал такси и поехал домой, а там уже сидела мать Уильяма.

— Он сказал, вы обо мне позаботитесь,— сказала она, не успел я снять пальто.

— Вы еще не обедали, миссис Строу?

— Нет, голубчик, не обедала, да ты за меня не беспокойся.

— Я и сам голодный. Пойдемте съедим по парочке отбивных.

— Это я с радостью. А зеленый горошек к отбивной можно?

— Можно даже клубнику со сливками, если хотите.

Я не ждал, что она так сразу на мне повиснет,— думал: вот приеду домой и задам храпака. Но раз уж пообещал Биллу, так теперь не годилось просто спровадить ее в гостиницу. Она сидела в кресле, и рядом стояла рюмка коньяку.

— Я вчера познакомилась тут с одними, и они приглашали сегодня вечером распить с ними бутылочку. Я записала адрес их гостиницы, вот бы ты свез меня туда, сынок.

Она порылась в большущей белой сумке и протянула мне конверт — на оборотной стороне записан был адрес.

— Ну что ж, так и сделаем,— сказал я, довольный, что не надо ломать голову, куда бы ее повести.

Я прочел название гостиницы, и оказалось, это та самая, где я жил, когда приехал в Лондон,— адрес был записан несусветными каракулями, и на меня почему-то напало уныние. Покуда я глядел на бумажку, миссис Строу надела очки, будто решила помочь мне разобрать запись. Бояться мне нечего. В этом новом обличье им нипочем меня не узнать, им и в голову не придет, что это я тогда смылся, не уплатив по счету.

— Поехали, мать,— сказал я; мои прошлые грехи принялись щипать меня за ноги, точно злющие крабы, и мне хотелось поскорей от них удрать.— В этой вашей гостинице теперь не пообедаешь, поздно, так что зайдем в ресторан.

— Чего уж лучше,— сказала она и поднялась.— А туда потом поедем. На полчасика. Они такие славные люди. Муж с женой, из Честерфилда. Они мне так обрадуются.

Я надеялся накормить и напоить ее до отвала, чтоб она осоловела и ей никуда больше не захотелось, и помог ей влезть в меховое пальто — подарок Уильяма. За обедом она только про Уильяма и говорила.

— Он всегда был чистое золото, мой сынок... Я знаю, он сидел в тюрьме и все такое, а все равно парня лучше его не сыщешь.— Она в упор на меня поглядела, будто старалась понять, как я принял ее слова. И мне стало неуютно: такого честного взгляда я уже давно не видал. Взгляд этот требовательно спрашивал, и я боялся, она выведет меня на чистую воду.— Скажи, голубчик, а какая такая у него работа?

— Он разве вам не говорил?

— Да говорил. А вот теперь ты скажи.

— Работа такая же, как у меня.

— Ну, а у тебя какая?

— Я разъездной агент. Несколько машиностроительных фирм объединились и действуют сообща, а мы развозим образцы их продукции по разным странам. Платят хорошо, да только здорово мотаешься, бывает, прямо без сил остаешься.

Она не больно-то налегала на отбивные, а к консервированному горошку и вовсе не притронулась.

— Верно. Он тоже так говорил. А только боязно мне, как бы с ним чего не случилось. Мне тогда лучше помереть.

— Самолеты теперь не разбиваются. Зря вы волнуетесь.

Она строго на меня глянула, сразу видно: не поверила ни единому слову.

— А я не из-за самолетов боюсь, ты и сам знаешь. Что, может, нет?

Я засмеялся.

— Вы про что, мамаша?

— Я прожила на свете дольше, чем ты думаешь, и весь свой век только и знала что горе да беду, а ведь есть у меня глаза и уши, и, как гляну на Билла, мне сразу видать: что-то его точит, и чует мое материнское сердце — таится он от меня. Я из ума еще не выжила. Я много чего знаю и много чего чувствую, и у меня вся душа изболелась, потому как не говоришь ты мне честно и прямо всю правду, а ведь я в жизни столько всего натерпелась, меня больше ничем испугать нельзя.

Была она очень бледная, кожа вся в морщинках, будто мятая бумага. Да еще пятна пудры и румян на лице, так что оно похоже на китайский фонарик, и глаза — как свечи. Поглядел я на нее — и сердце сжалось.

— Это секретная работа,— сказал я.— Пожалуйста, не спрашивайте меня, ничего больше я не могу рассказать. Но это не опасно, уж для Билла-то не опасно. У него сейчас все в жизни идет как по маслу, вы не беспокойтесь. Я знаю, что говорю.

Ради бога, поверь мне, взмолился я про себя. Она с облегчением улыбнулась: моя горячность убедила ее. После я вспоминал этот разговор и не мог себе простить, что не намекнул ей на правду.

— А теперь я отвезу вас к вам в гостиницу,— сказал я, когда мы поели.

— Но мне сперва надо заглянуть к той паре. Уж, верно, это недалеко и можно взять такси. Билл вчера вечером дал мне десять фунтов. Он ничего для меня не жалеет.

Через несколько минут мы уже были в той самой гостинице.

Администратор по-прежнему сидел за своей стойкой, и у него был все тот же недовольный, въедливый взгляд.

— Привет,— сказал он мне.— Вернулись? А я думал, мы вас больше не увидим.

— Решил зайти расплатиться.

— Лучше поздно, чем никогда,— сказал он.

— Стало быть, и у тебя здесь тоже дружки, а я и не знала,— сказала смекалистая биллова мамаша, она стояла тут же и держала меня под руку.

— Мы будем в гостиной,— сказал я администратору,— принесите туда, пожалуйста, счет, двойной коньяк и пива. И для себя тоже.

— Когда вы вошли, я даже не сразу вас узнал,— сказал он с улыбкой.— С тех пор как вы эдак поспешно отбыли, вы, видно, преуспели.

Я двинулся дальше, и хоть мистер и миссис Биннс, приезжие из Честерфилда, оказались веселые и милые на свой стариковский лад, я слишком устал и потому не получил особого удовольствия от этого вечера. Мамаше Уильяма они обрадовались совсем не так, как ей хотелось бы, но кончилось все лучше, чем началось, потому как я накачал их всех до отказа и вдобавок заплатил почти двадцать фунтов по своему старому счету. Администратора от радости прямо слеза прошибла. Я уговорил его выпить еще рюмочку-другую коньяку.

— Меня тогда из-за вас чуть не выгнали,— признался он.— Потому что за месяц до того у меня еще несколько постояльцев съехали по-воровски, не заплативши. Сколько лет служу, никто ни разу не возвращался заплатить по счету. Первый случай. Я начинаю лучше думать о людях.

После такого сюсюканья мы все пятеро чуть не затянули «В доброе старое время», и тут уж я затолкал миссис Строу в такси и отвез в гостиницу, а сам этой же машиной поехал домой. Я так выдохся, даже не стал принимать ванну, пластом рухнул на кровать и как в яму провалился — проспал до полудня, и меня не тревожили никакие вещие сны.

Проснулся я от звонка в дверь, не то так до самого вечера и нежился бы в теплой постели. Я принял у разносчика телеграмм темно-желтый конверт, но был еще до того сонный, даже не заглянул — что там, в телеграмме. Кинул ее на стол, а сам опять повалился в кровать. Через полчаса я пошел в ванную и по дороге вскрыл конверт. Справлял малую нужду и читал: «Уильям остался Бейруте курятнике точка Железный переезжает точка адрес сообщу приветом Линингрейд».

Я сам удивился, как быстро все сообразил. В окно вливался солнечный свет, может, это мне и помогло. Билла Строу арестовали в Бейруте, а типа под колпаком специальный фургон везет по лондонским улицам в новое логовище. Как только его водворят на место, жди распоряжений, разве что международное расследование доберется и до нас, и тогда всем нам крышка. Хотел бы я знать, за что Билла могут судить в Ливане, да и может ли вообще тамошняя полиция привлечь его к ответственности, и как-то не доходило до меня, что это и впрямь серьезно,— вот если б его схватили в лондонском аэропорту, дело другое, его посадили б за решетку и закатали на всю пятерку, не меньше.

Я поставил чайник на плиту и стоял в халате, ждал, когда он вскипит. И вдруг меня аж затрясло: ведь покуда дойдут какие-нибудь вести, может, придется ждать не одну неделю. Если я что и узнаю от Джека Линингрейда и компании, так, наверно, в последнюю очередь, зато уж когда я им понадоблюсь и меня вызовут, я им скажу: я, мол, все у вас разнесу вдребезги вместе с вашим колпаком, если мне не выложат всю правду. А главная беда — надо позвонить билловой мамаше, но я решил: подожду денек-другой или дождусь, покуда она сама не затревожится.

Меня сызмала приучили верить телеграммам, а все же что-то мне не верилось. И, однако, я знал, тут чутье меня подводит и нет никаких сомнений: стряслась беда. Не только Билла поймали, но, пожалуй, я сам тоже под угрозой. Я пил чай с хлебом и размышлял. Я по-

пал в трясину, она меня засасывает, а вокруг на десяток миль ни души. Но беда в том, что мне вовсе неохота бежать. А раз бежать неохота, значит, лучше сидеть тихо. В общем, свою лень и вялость я обратил в добродетель. Когда сила рождается из слабости, ее питает могучий инстинкт самосохранения — вот на это я и рассчитывал. Больше мне сейчас не на что было опереться.

Я оделся и вышел из дому. По дороге положил в банк свои три сотни, и теперь на моем счету было уже шестьсот фунтов — про самый что ни на есть черный день. Я вытащил полкроны и подбросил: упадет лицом кверху — позвоню Полли, а тыльной стороной — попытаю счастья с Бриджит. Монета со звоном ударилась о тротуар, покатилась в сточную канаву, провалилась через решетку и только ее и видели. Ничего не поделаешь, все надо решать самому.

Бриджит не отозвалась, и я набрал номер Полли.

— Слушаю! — ответили мне.

— Это Полли?

— Да, что вам угодно?

— Мне нужна Полли.

Кто-то прошел мимо телефонной будки, в руках у него был плакат: «Атомная бомба убивает и детей тоже».

— Полли слушает. Кто говорит?

— Майкл.

— Какой еще, к черту, Майкл?

— Женевский. Помнишь?

— Ну конечно. Какая же я дура. Ты извини.

— У меня несколько свободных дней. Может, увидимся?

— Приезжай,— сказала она.

— А можно?

— Предки в Остенде.

— Тогда я мигом.— Я повесил трубку. Вышел из будки и подумал, уж не снится ли это мне, да нет, не бывало еще у меня таких снов. У меня уж либо все происходит наяву, либо и во сне не снится.

Через полчаса я подъехал к вилле Моггерхэнгера — меня так и обдало свежим запахом живой изгороди и распускающихся цветов. Серые тучи спешили вон из Лондона, к холмам и травам. Испанец Хосе отворил дверь и поздоровался со мной, как со старым другом.

— Мистера Моггерхэнгера нет дома.

— А я к Полли,— сказал я.

Она была в саду, срезала розы с кустов у задней стены. Я хотел поздороваться с ней сдержанно, чтоб не спугнуть, но она схватила меня за руки — а у самой руки как лед,— и не успел я опомниться, как мы с ходу стали целоваться.

— Я сто раз пробовал до тебя дозвониться, но твоя мамаша вешала трубку. А потом мне пришлось слетать в Париж.

— Я по тебе стосковалась,— сказала Полли.— Я думала, с тобой кончится, как со всеми другими: раз уж ты узнал меня в Женеве и потом на обратном пути в самолете, ты больше не захочешь меня видеть.

— Чтоб тебя узнать, ста лет не хватит,— сказал я.— Поехали обедать в Вест-Энд.— В логове Моггерхэнгера я чувствовал себя не в своей тарелке, хотелось поскорей убраться подальше — вдруг откуда-нибудь выскочит сам Клод? Я нюхом чуял: лучше поскорей уносить отсюда ноги, хотя опасаться вроде нечего, ведь Полли сказала, он в Остенде. Ну, а вдруг он поехал туда всего лишь на коктейль?

— Ох, нет,— сказала она.— В центре я больше не бываю, осточертело. Ты ведь водил отцовский «бентли», да? — Мы шли по дорожке,

и Полли вдруг бросила все розы, которые только что срезала, за лавровый куст.

— Будто во сне,— сказал я, чувствуя, как тепло моей руке в том месте, где ее все еще сжимала рука Полли.

— Тогда давай куда-нибудь поедем. У меня есть ключ от одного отцовского логова в Кенте.

— Это бы неплохо,— сказал я как мог равнодушней.

— Посиди в гостиной, выпей, а я пойду переоденусь.

— Я бы поглядел, если ты не против.

Она наскоро меня поцеловала.

— Нет, сейчас не хочется.

Она побежала вверх по лестнице, замелькали голые матово-бледные ножки, а я открыл банку томатного сока и все думал про Уильяма, как он старается откупиться от ливанской полиции, и про его несчастную старуху мать, как она сходит с ума от страха за сына и опрокидывает стаканчик за стаканчиком со своими честерфилдскими знакомыми, а тут Полли, шалая девчонка, втравила меня в сумасшедшую затею с моггерхэнгеровским дворцом на колесах.

Мы роскошно расположились на переднем сиденье, и я на третьей скорости промчал по Хэммерсмитскому мосту и дальше к Южной окружной; на магнитофончике крутились «Сказки Венского леса», и я дымил толстенной сигарой — такие Моггерхэнгер хранит в машине для лучших друзей. В Клэпеме впереди оказался бензовоз, он загородил всю дорогу, и объехать его было невозможно.

— Вон тот «купер» сумел его обойти,— сказала Полли.

— Я не хочу помирать раньше срока. Обгоню, когда будет сподручней.

— Он развел такую бензиновую вонь, у меня разболелась голова,— пожаловалась Полли.

Я включил мигалку, вывернулся влево и ринулся вперед. Бензовоз показался мне длиной в целую милю и шел быстро, но я довел скорость до пятидесяти и тут увидел — прямо на меня мчит автобус. Тормозить было поздно. Меня ослепили фары, а вернуться назад в свой прежний ряд я уже не мог. Стервец-водитель бензовозов решил, видно, меня прикончить: он не замедлил и не ускорил хода. Конечно честный трудяга и наверняка считает: зажравшихся боровов, которые раскатывают в роскошных машинах, надо ставить к стенке и расстреливать или давить насмерть автобусом.

Полли вцепилась в меня, и я подумал: а здорово так помереть! Но все же на какой-нибудь фут, не больше, опередил бензовоз и вроде избежал смерти, все поджилки у меня тряслись, язык пересох, а Полли без сил повалилась на сиденье и только удивлялась, как это люди могут быть такими негодяями.

Дорога впереди была пуста, и я сильно оторвался от бензовоза, лишь у светофора он протиснулся между мною и тротуаром. Я перегнулся через Полли и опустил боковое стекло.

— Желаешь меня укокать, приятель? — спросил я, выговаривая слова на ноттингемский лад.

Он был в кепке, рожа как блин, и ухмылялся до ушей.

— Ага.

— Что ж, пускай тебе в другой раз больше повезет.— Светофор засветился желтым, и я рванул вперед.— Ершистый парень, такого не заглотаешь — подавишься!

— Я перепугалась до смерти,— сказала Полли.

— Это он так шутит. Я среди таких ребят вырос. Работал с ними одно время, недолго. Он просто хотел поглядеть — может, я струшу

и отступлю. И я запросто мог дать задний ход, да только не дал. А ведь такое не часто удается пережить, верно, малышка?

Она взяла меня под руку.

— Но ты все-таки поосторожней.

— Пока ты со мной в машине, я рисковать не стану. Хотя самому-то мне наплевать.

— Наверно, у тебя была очень страшная жизнь, оттого ты и дошел до таких мыслей,— сказала она.— Ты все еще возишь контрабандное золото?

Мы ехали по двухрядной дороге, и машины не так теснились.

— Я это бросил.

— Давно?

— Да вот, зацапали моего лучшего друга. Теперь буду жить честно и поджидать порядочную девушку, чтоб не давала мне сойти с пути истинного.

— Ну, значит, не меня,— со смехом сказала она, и я прямо удивился: чем бы меня похвалить — молодец, мол, исправился,— она сказала, зря я вышел из игры, мало ли, что зацапали моего дружка, сейчас бы как раз и продолжать, теперь нескоро заберут кого-нибудь еще, это все равно как лететь самолетом: безопасней всего после большой воздушной катастрофы. Я смело обогнал бензовоз — все-таки это у меня здорово вышло, просто прелесть! — так зачем же отступать, когда дело вовсе не такое опасное? Я-то ведь болтал зря, вовсе я не собирался бросать свою выгодную работенку, и раз уж не спасовал между бензовозом и автобусом, так тут тем более выбора не оставалось: надо гнуть свое, тогда я в конце концов вырвусь из западни.

— Ты меня не знаешь,— сказал я,— я никогда ни от чего не отступаюсь.

В Тонбридже мы попали в пробку и двигались с открытыми окнами, а наше радио выдавало бетховенскую Пасторальную симфонию. Я совсем было забыл, в какой машине сижу, но вдруг увидел, как на меня глазеют, и сразу вспомнил.

— Скоро мы будем на месте?

Полли перегнулась и поцеловала меня в губы.

— Потерпи немножко. Терпение терять еще хуже, чем мужество. Через полчаса приедем.

Полли велела мне свернуть на боковое шоссе, а потом и вовсе на проселок.

— Папа никогда не ездит сюда в «бентли». Он берет «лендровер».

Колеса увязали в колеях.

— Оно и понятно.

Серые облака затянули небо, стекла в машине были опущены, и казалось, уже брызжет дождик. Проселок был изрыт тракторами, а в одном месте дорога показалась мне ровной, я разогнался — и тут колеса взбили воду в глубокой колее, высоко взлетела красная слякоть, аж ветровое стекло забрызгала, а кусты по бокам дороги ветвями царапали окна, сдирали краску с кузова.

— Зря ты меня не предупредила,— сказал я.— Мы б оставили машину у шоссе.— Даже Моггерхэнгер не заслуживал, чтоб с его машиной так зверски обращались, но теперь уже поздно было про это думать: мы опять нырнули в колдобину.— Еще далеко?

— Не очень.

Я поехал дальше — переваливался по буграм и рытвинам, поднимая фонтаны грязи, и наконец выехал на асфальтовый пятачок перед незатейливым двухэтажным кирпичным домиком. Сад был обнесен белым дощатым забором, посреди газона — маленький бассейн для

птиц. У парадного входа Полли порылась в сумочке, достала ключ. Но он не лез в замочную скважину.

— Дай-ка я попробую,— сказал я, но тут же стало ясно: она захватила не тот ключ.— Ничего,— сказал я спокойно, а сам прямо кипел от злости.— Как-нибудь заберемся.

— Ну какая же я дура! — чуть не со слезами воскликнула Полли.

— Не горюй,— сказал я и обнял ее за плечи.— Разыщем здесь где-нибудь гостиницу. Только не казнись — эх, мол, ошиблась,— и все обернется к лучшему, так всегда бывает.

Эта убийственная мудрость ее насмешила, а я попытался открыть окна.

— По-моему, ничего не выйдет,— сказала Полли.— Когда мы уезжаем, папа всегда запирает сам, уж это он умеет.

— Даже он может ошибиться. Пойдем-ка попробуем с тылу.

Опять задождило, а внутри, за окнами, казалось очень уютно. У черного хода на мокром насквозь коврике сидела кошка и тут же валялось с полдюжины бутылок из-под молока. Кошка встала, потерлась о лодыжку Полли — вроде обрадовалась, что кто-то наконец появился и теперь ее накормят. Дверь была заперта, да еще закрыта изнутри на засов, и я попробовал окна. Нет, ничего не выйдет, разве что выбить стекло.

— А еще на чердаке есть окно! — крикнула Полли.

— К сожалению, я забыл дома крылья,— отозвался я.— Ничего, влезу по водосточной трубе до конька крыши и съеду к окну. Ну, хочешь полезу?

Она прижимала к груди кошку — ох, и швырнул бы я сейчас эту зверюгу куда подальше!

— Нет,— сказала Полли,— не хочу, но ты ведь все равно полезешь.

Я пошел к машине за складным ножом, раскрыл его.

— Если свалюсь, пропорю себе глотку,— сказал я и зажал нож в зубах.

— И шею сломаешь. Нет уж, пожалуйста, не лезь.

— Дудки, теперь не успокоюсь, непременно полезу, а упаду — пеняй на себя. Придется тебе до конца жизни возить меня в кресле на колесах.

И я полез по трубе.

— О господи! — воскликнула Полли.

Мне надо бы для храбрости хлебнуть, тогда бы я действовал уверенней, но в машине спиртного не оказалось. Можно было подумать, я сызмалу верхолаз — такие крепкие у меня стали руки после уильямовых тренировок с чемоданом. Вот только дождь портил все дело, он поливал и меня, и трубу вместе со всеми ее кронштейнами, все стало скользкое. Я взобрался на крышу и начал осторожно подвигаться к окну.

— А может, и это окно тоже заперто! — крикнула снизу Полли.

Кажется, она хотела меня огорошить, чтоб я свалился, только я и сам думал: окно заперто,— потому и ножик прихватил. Трудней всего спуститься по скату мокрой крыши до окна. Того гляди, сорвешься, рухнешь вниз — и поминай как звали. Лучше бы уж крыша была соломенная, но Моггерхэнгер хозяйственный черт, он предпочитал, чтоб дождь стекал у него на глазах по черепице, а не впитывался в солому, а то и не уследишь, как протечет насквозь. Черепица блестела и отсвечивала, я спускался к чердачному окошку вслепую, поскользнешься — не видно, за что хвататься. Полли стояла в огороде, оттуда ей хорошо было меня видно на фоне неба, и я тоже видел ее внизу, среди сорняков и гниющей капусты.

— Ну как, откроешь? — окликнула она, хотя видела — до окна мне еще далеко. Я распластался на крыше, ноги развернул носками наружу, руки вытянул во всю длину. По шее лупил дождь, казалось, я вот так лежу целую вечность и нет у меня ни хладнокровия, ни уверенности, чтоб двинуться с места. Туфли заскользили, я с силой прижал их к крыше — съезжать, так хоть помедленней. Это удалось, я наткнулся на подоконник, сполз еще немного ниже и все-таки остановился.

Я удержался, можно сказать, на волоске — одними только ногтями вцепился в дерево. В трудный я попал переплет, и у меня было сейчас время подумать, чего ради меня сюда понесло и еще — как же я спущусь на землю, если не попаду в дом через окно. Вниз был только один путь: упасть, точно бомба из плоти и крови, грохнуться оземь, будто мешок с яблоками и апельсинами. Не дрейфь, сказал я себе, представь, будто земля вот она, рядом, тогда и волноваться нечего. И верно, мне стало поспокойней, я повис на одной руке, вынул из зубов нож и всадил в щель между подоконником и рамой. На счастье, окно оказалось не заперто, я потыкал ножом, чуть приподнял раму и дал ей опуститься на мои пальцы, их прищемило, но я уже ухватился обеими руками, подтянулся и приподнял раму повыше. Она опиралась уже мне на голову, потом на плечи, вот я уже укрылся от дождя и заглянул вниз, на чердак. Но как же все-таки туда влезть? Кожа на голове зудела, пот смешивался с дождем, но все равно первым делом надо просунуть внутрь ноги. Мне повезло: под самым окном стояла кровать и на ней матрац. Я проскользнул вниз, точно ящерица, и, падая, сжался в комок, но все-таки зацепился ногой за спинку кровати и растянул лодыжку. Меня так и ожгло, я завертелся, выругался, вмиг забыл обо всем, кроме этой мучительной боли — один на один с ней, один в целом свете. И все же я в доме, это надо отпраздновать. Я ухватился за кровать, осторожно покрутил ногой, пошел к двери и у дальней стены увидал штук шесть дорогих дробовиков.

Потом я отворил черный ход, и Полли сказала:

— А я думала, ты там уснул.

— Я здорово грохнулся,— сказал я. Мы шли через кухню, там пахло сыростью и заплесневелыми кукурузными хлопьями.— Есть тут где-нибудь коньяк?

Коньяк отыскался в буфете в гостиной, и мы изрядно хлебнули. Дождь барабанил в окно, он пробудил во мне распутника, и я обнял Полли.

— А ты закрыл чердачное окно?

— Вроде да.

— Пожалуйста, сходи погляди, милый.

Я проковылял на чердак, отыскал алюминиевую лесенку и опустил раму. Матрац был уже в мокрых пятнах. Я схватил охотничью двустволку и для смеха прицелился в тучу, которая мочилась на землю. Я торжествовал победу: все же пробрался в дом и сейчас крепко-накрепко обниму мою тепленькую Полли... На радостях у меня, видно, голова пошла кругом — гордый, как петух, я нажал оба спусковых крючка. Выстрел отдался в плече, опрокинул меня на пол, а двойной заряд дроби обрушил на меня ливень битого стекла и щепок — теперь меня, пятнистого от дождя и пота, в придачу перечертили кровавые ссадины.

В дверях появилась Полли.

— Ради бога, что ты натворил?

— Я ранен. Ну, что стоишь, помоги мне. Тут, видно, логово убийцы? Какой черт оставил заряженное ружье?

— Ты не ранен,— с упреком сказала она.

— Давай-ка отодвинем кровать и подставим под эту дыру ведро, не то ваш дом сгниет, как дряхлый старик.

Я с озабоченным видом ковылял и наводил порядок, а Полли удивлялась, как это я ухитрился, стреляя, растянуть лодыжку — в жизни, мол, такого не видала. И я никак не мог ее убедить, что лодыжку растянул, когда влезал через окно, просто она раньше не заметила.

Мы приняли душ, разогрелись, и застывшая, онемевшая кожа живо опять обрела чувствительность... Не хватило терпения добраться до спальни, мы так и повалились на полотенца и влажный коврик в ванной...

Одно нехорошо: в доме не оказалось никакой еды. В кладовке мы отыскали коробку сухого печенья и немного сыру, я соскреб с него плесень, и этими крохами да еще крепким сладким чаем мы кормились до следующего утра — правда, на еду у нас и времени-то не было. И свежим деревенским воздухом мы тоже не пользовались. Полли рассказала мне про свою жизнь: как ее дома воспитывали и каким было для нее ударом, когда она поняла, чем занимается отец. Он всегда в ней души не чаял, да и сейчас тоже, и не упускает случая ей об этом напомнить, и ребенком она всегда говорила, что когда вырастет, ни за кого другого не выйдет замуж, только за него. Она и меня спросила про мою жизнь, и я рассказал все, что сам про себя знал, и как я контрабандой перевожу золото,— тут она стала подробно расспрашивать про организацию Джека Линингрейда. Я рассказал ей, что Уильяма замели в Бейруте и что из-за этого, наверно, человек под колпаком перебирается в новое убежище.

— Все это лажа,— сказал я, растянувшись рядом с ней в постели.— И луна лажа. И весь мир лажа. И пускай облака мочатся на землю, пока не сдохнут. Только одно не лажа — твои поцелуи.

При этих словах Полли прямо обмерла в моих объятиях, я так прижал ее к себе — чуть не раздавил ее нежные груди, рука моя скользнула вниз, и Полли закрыла глаза.

— У нас будет миллион медовых месяцев,— сказал я еще,— и если жизнь подстроит нам засаду и попробует сцапать, мы дадим ей в зубы. Не мы для жизни, а жизнь для нас...

Потом мы с грустью шли к машине, и мне до черта хотелось, чтоб этот незатейливый кирпичный домик растаял под дождем и земля вновь приняла его в себя; невыносимо было думать, что кто-нибудь войдет в него после нас, разрядит высокое напряжение, которое мы породили и оставили здесь. Лучше уж взорвать его, только бы не это. Я гнал машину во весь дух, оба мы почти всю дорогу до Лондона молчали. Пробки не было даже в Тонбридже, и уже через два часа мы промчались по мосту и сквозь туман и слякоть влетели в Илинг. Я вновь окунулся в густое месиво действительности, и, когда подъехал в заляпанном глиной «бентли» к моггерхэнгеровской резиденции, у меня засосало под ложечкой.

Я вынул из отделения для перчаток оставшиеся сигары и попрощался с Полли, глаза у нее вроде были на мокром месте, и я подумал: уж не ждет ли она, что и я пущу слезу?

— Звони,— сказала она.

— А как же,— ответил я, не сомневаясь, что так оно и будет.

— У отца есть и другие гнездышки, туда тоже можно съездить. По всей Англии.

— Всюду побываем,— сказал я.

На коврике перед дверью лежали телеграмма и письмо. Я первым делом вскрыл телеграмму и прочел: «Завтра отправляетесь Рим точка ждите телефонного звонка Джек Линингрейд». Я достал из холодильника бутылку пива и положил на рашпер несколько сосисок, так что в квартире сразу запахло жильем. Телеграмма встряхнула и подбодрила меня, а поглядев на пухлое письмо Бриджит, я разозлился, хоть еще и не вскрыл его: мне предстояла работа, и я не желал отвлекаться. Я прочел в старых газетах парочку рассказов про ящур, узнал, что запас валюты в Англии уменьшается, золото все утекает. На это ушло какое-то время и чайник чая, но в конце концов пришлось вскрыть письмо.

«Дорогой Майкл,— писала Бриджит,— со мной случилось такое несчастье, даже не знаю, с чего начать». Тут я чуть не бросил письмо в огонь, но такой уж я добросовестный: заставил себя читать дальше.

«Я в ужасном отчаянье, все время плачу. Понимаешь, Дональд, мой муж, вернулся наутро после твоего ухода, я еще лежала, и Аделаида встретила его у дверей. Она как раз отвела нашего милого Смога в школу и вернулась и, наверно, сказала Дональду, что ты со мной спал. В общем, я проснулась оттого, что он сорвал с меня одеяло и стал, как бешеный, лупить меня кулачищами. Я завизжала, но он не угомонился, пока не избил меня до синяков. А потом начал обзывать меня всякими вашими мерзкими английскими ругательствами — так бранился, что и повторить нельзя.

Потом он заставил меня одеться, спихнул с лестницы и вытолкал за дверь. Под конец он и сам разревелся, а все равно колотил и пинал меня еще злей. Я шла по дорожке и плакала и слышала: он орет на Аделаиду и велит ей тоже убираться. Он ведь психолог и доктор, ему полагается быть мудрым и понимающим, а со мной он вел себя как скотина. И всегда такой был.

У меня в кармане нашлось всего несколько шиллингов, и я поехала на метро и на автобусе прямо к тебе. Никто мне не открыл. Я целый час просидела на ступеньках, все никак не могла прийти в себя и голодная была — ведь он выгнал меня даже без завтрака. Я пошла к подружке, она тоже из Голландии, живет в Челси с одним студентом, и она угостила меня чаем с сыром, но она совсем бедная и не могла меня приютить.

Я решила, что самое умное — вернуться к мужу, пришла, а его нет дома. Дверь стояла настежь, смотрю: Аделаида укладывает мои платья к себе в чемодан. Я сказала, если она не отдаст мои вещи, то я позвоню в полицию, а она обозвала меня шлюхой, сказала, пожалуйста, могу звонить куда угодно. Я стала набирать номер, тогда она побросала мои вещи на пол и убежала. А я аккуратно все сложила в свой чемодан и отыскала свой кошелек с деньгами. Если будет очень плохо, мне хватит, чтоб вернуться в Голландию, только я не хочу возвращаться — ведь вся моя родня ненавидит моего мужа, все станут говорить: вот видишь, не послушала нас — и не пустят меня на порог.

Я сидела в гостиной, кругом стулья, а я сижу на чемодане посреди комнаты и не знаю, как быть. Совсем растерялась, а ведь сама виновата. И тогда я подумала: «Как же это мне раньше не пришло в голову? Майкл поехал к себе домой в Ноттингемшир». Я ужасно обрадовалась. И адрес вспомнила: Рэнтон Грейндж, скорей вызвала такси, поехала на вокзал и купила билет до Ноттингема.

Ехала я чудесно: как только поезд оказался за городом, слезы у меня высохли и я позабыла про все неприятности и дешево пообедала в вагоне-ресторане. А потом пошла назад в свой вагон, и получилось очень странно. Иду через вагон первого класса, а там какая-то

маленькая старушка сняла с себя меховое пальто и старается выбросить его из окна. Рама опущена совсем немного, а пальто большое, старушке никак его не протолкнуть. Тогда она его вытащила, свернула в длину, чтобы легче пролезло, а сама все время плачет и что-то бормочет. Я вошла к ней в купе, заговорила, и она скоро забыла, что хотела выкинуть пальто, и стала рассказывать мне про свою жизнь. Но она очень быстро говорила, я ничего не поняла, подумала: она просто сумасшедшая,— у вас в Англии их так много.

Потом я вернулась на свое место, в третий класс, потому что пришел кондуктор и велел мне уходить. Ноттингем, по-моему, очень миленький и совсем не похож на Лондон — весь открытый, приятно посмотреть, и все такие оживленные, улыбаются, и я сказала себе: сразу видно, что это родной город Майкла. Я спросила какого-то железнодорожника, как попасть в Рэнтон, и он сказал — надо пойти на автобус, так что через час я уже была там. Какие места красивые! Только до твоего дома в Грейндже пришлось еще очень долго идти. К тому времени я уже немножко устала, но я надеялась, твоя мама не рассердится, что я решила тебя навестить.

Калитка была заперта, я позвонила, и ко мне вышел мужчина, я подумала, это твой брат, про которого ты рассказывал. Мне показалось, он добрый, но он посмотрел подозрительно и спросил, что мне надо. Я сказала, я хочу видеть Майкла, и он сказал, что тебя нет дома, ты в Лондоне. Это было ужасно, и я подумала: какой у меня сегодня несчастный день.

«Вы брат Майкла?» — спросила я. Он кивнул и так пристально на меня посмотрел. Он лет на десять старше тебя, довольно красивый, только глаза у него сердитые и усики рыжеватые. «Майкл мне много про вас рассказывал»,— сказала я. Он взял мой чемодан и предложил зайти выпить чашку чая, сказал, что не может меня отпустить, раз уж я приехала в такую даль. Он извинился за тебя, сказал, что ты редко так ошибаешься и что, когда дело касается молодой дамы, надо быть повнимательней. Я сказала, я надеюсь, что не потревожу вашу маму, и он ответил: «Да вы о ней не думайте». Она, видно, недавно умерла, и я удивилась, как же ты мне ничего не сказал, но ему только сказала, что прошу меня извинить.

Слуга взял мой чемодан, и мы пошли в дом — какой у вас большой особняк, и на лестнице развешаны картины, повсюду павшие воины, и я подумала: какой же Майкл счастливый, что провел здесь детство. Твой брат угостил меня обедом и велел подать бутылку вина, а потом еще одну, я ела и пила и все меньше огорчалась, что не застала тебя. Потом у меня закружилась голова, и твой брат попросил экономку отвести меня в комнату, чтобы я полчасика отдохнула. И он сказал, что потом отвезет меня на станцию. Я пошла за этой старушкой, и она привела меня в комнату, которая выходит окнами в очень милый парк — я таких еще не видала. Я подошла к окну и весь его разглядела. Потом легла на кровать, она была такая огромная, я в ней прямо потерялась. Я совсем замучилась — ведь сколько всего случилось за день, а до вечера было еще далеко, и я очень быстро заснула.

Когда я открыла глаза, твой брат, нет, этот дьявол, стоял у кровати и смотрел на меня.

Я спросила: «Пора ехать?»

А он стал раздеваться, и я побежала к двери, но она была заперта.

Он засмеялся и сказал: «Она к тому же звуконепроницаемая».

Я закричала: «Пустите меня! Я опоздаю на поезд».

А он говорит: «Поезда идут каждый день».

«Я скажу Майклу»,— сказала я.

«Да кто это, черт побери?» — спросил этот негодяй — он уже совсем разделся, был в одной рубашке.

Я сказала: «Ваш брат».

«Нет у меня никакого брата. Только сестра, и она, надеюсь, в Южной Америке».

Я побежала обратно к кровати, а он стащил с себя рубашку и говорит: «Не будь дурочкой, получишь удовольствие».

Я крикнула: «Кто вы такой?»

«Сын леди Чаттерлей».

Почему-то я перестала его бояться, и, когда он начал меня целовать, я уже ничего не могла поделать. Тогда я уже поняла, что, наверно, перепутала адрес, но через несколько дней Клиффорд сказал, что у них во всей округе нет людей с такой фамилией, он тут знает все родовитые семейства. Так что ты, оказывается, ужасный обманщик, и я никогда тебе этого не прощу, хотя все равно тебя люблю. Если б не любила, не написала бы этого письма.

Клиффорд посадил меня в Ноттингеме на поезд и умолял, чтобы я как-нибудь еще к нему приехала. В Лондоне я поехала к мужу, думала, мы опять будем вместе. Но он стал спрашивать, с кем я провела время, а я не сказала. Он ездил к тебе, говорит, хотел набить тебе морду, только не застал тебя. Мы вместе пообедали дома (он уже нанял другую экономку), и я думала — теперь все уладится, потому что после обеда мы легли в постель, но потом он опять стал спрашивать, где же я была эти дни, а я все равно не захотела говорить, тогда он сказал, ему пора ехать к больным на Харли-стрит, но сперва он еще успеет разнести весь дом и выгнать меня. Он побросал все вазы в камин, сорвал со стен картины и разбил окно. Потом ударил меня и еще пнул ногой. Он варвар и дикарь, и я подумала, если я с ним останусь, этому не будет конца. Он пинал ногами свою жену, поэтому она его бросила. Он пинает ногами бедняжку Смога и меня тоже. Я шла по дорожке с чемоданом, плакала и обещала себе, что никогда больше не стану жить с психоаналитиком. Теперь у меня есть комната и работа. Я живу в Кэмден-тауне и работаю продавщицей в магазине. Мне эта работа ужасно не нравится, потому что она меня очень связывает, и вообще мне плохо, потому что я звоню тебе, звоню, а никто не отвечает. Так что, пожалуйста, пожалуйста, приходи ко мне или будь дома, когда я звоню, потому что мне очень плохо, Майкл, и вся моя жизнь разбита. Я люблю тебя и хочу с тобой уехать. И хотя ты так меня подвел своими враками, я все равно хочу к тебе».

Так она писала еще на нескольких страницах, но я скомкал письмо и швырнул в корзинку для мусора. Какая она дуреха, это ж надо: поехала разыскивать меня в Ноттингеме. Ну как можно положиться на человека, если он все, что ему ни наболтаешь, принимает за чистую монету?

А похоже, ее занесло в тот самый очень даже величественный особняк, который я с таким знанием дела не раз ей расписывал, мальчишкой я часто ездил мимо на велосипеде и глазел на него с восторгом. Какой-то стервец воспользовался ее наивностью, и нате, пожалуйста, она теперь стоит за прилавком и обслуживает покупателей Экая незадача для девушки из молочно-масляных краев, которая приехала к нам поднатореть в английском языке.

Было уже за полдень, свинцово-серые небеса обещали дождь, и оттого мне стало еще жальче глупую Бриджит. Но хочешь не хочешь надо выйти из дому: в буфете хоть шаром покати и в холодильнике тоже пусто; я надел плащ, взял зонтик и пошел в соседнюю лавчонку, ее витрина была забита банками апельсинового сока и консервированного горошка. Я купил булку, шоколадный кекс и мороженые

рыбные палочки — все никудышный харч, от него тупеют мозги англичан. Крупные капли дождя нехотя капали с неба, старались вымочить меня на обратном пути, да не вышло, я быстренько укрылся в своей квартире.

Стал я звонить билловой мамаше, хотел рассказать, что приключилось с ее сыном, но администратор гостиницы сказал: она уже несколько дней, как уехала домой в Уорксоп, и я с облегчением положил трубку: одной заботой меньше. И вдруг до меня дошло: а ведь, пожалуй, это ее видела Бриджит в поезде, но я постарался не очень в это поверить. Я поставил на огонь чайник. На буфете была в рамке фотография матери Билла, время от времени я набирался храбрости и смотрел на нее, и тогда она заглядывала мне прямо в душу. И спрашивала, что это у Билла за работа, какого черта он валандается в Лондоне, ехал бы в Уорксоп и зарабатывал там себе надежный кусок хлеба. А потом принималась и за меня: ну, а ты, мол, что здесь делаешь, но я смотрел на нее и ничего не говорил и думал про себя: пускай ее держится своего Билла, а ко мне не пристает. Билл сейчас лакает с жадностью какой-нибудь паршивый шербет в далекой тюряге, того гляди, подцепит брюшняк, вот о нем и надо беспокоиться, а не обо мне, это уж точно.

Зато Билл по крайней мере не один, вокруг него разная шушера, все-таки живая плоть и кровь, а у меня если вдруг случится приступ аппендицита, я тут сдохну, и никто даже не узнает. Я не спятил, просто не люблю жить один, и старая биллова мамаша за стеклом очень хорошо это понимала. Я глядел на фотографию, и меня грызла совесть, и притом я понимал: не могу я помочь Бриджит, хоть выше головы прыгни, а все одно ничего не сделаешь, да и не нужно тут ничего,— ведь по меркам билловой старухи разве кто скажет, что Бриджит бедствует или страдает? Уж конечно не я, и я глядел на горестную фотографию — Билл своими руками любовно окантовал ее и застеклил, кстати говоря, не очень-то умело и аккуратно. Мне захотелось ринуться в Уорксоп, растолковать старухе, что приключилось с ее сыном, но я знал — не бывать этому: по приказу Джека Линингрейда я прикован к квартире.

От этого мучения меня спас телефонный звонок, и я с удивлением услышал переливчатый голосок Бриджит:

— Ох, Майкл! Наконец-то вернулся! Прямо не верится.

Я стал плести про мои воображаемые приключения в Лиссабоне — вроде я провел там несколько дней, но Бриджит не дослушала.

— Майкл,— перебила она,— скажи прямо: можно, мы к тебе приедем?

Я был начеку:

— Кто это мы?

— Смог и я. Я сегодня бросила ту работу и забрала его из школы, и теперь нам некуда деваться. Ох, Майкл! — Слышно было, что она плачет.— Позволь нам приехать.

— Ладно, валяйте.

Она засмеялась от радости.

— Я знала, что ты позволишь. Я и Смогу так сказала. Ох, когда мы увидимся, я тебя расцелую.

Что мне оставалось делать? Я сидел и ждал и время от времени свирепо косился на мамашу Строу. Будь в доме спиртное, я бы напился вдрызг, но не было ничего, кроме капли хереса, а я его не терплю.

Смог кинулся ко мне и заплакал, я подхватил его, посадил к себе на колени.

— Снимай пальто,— сказал я Бриджит. Она стала худенькая, бледная, но от этого казалась только интересней.

— Кроме тебя, мне не к кому пойти,— сказала она.

— Знаю, крошка. Знаю. Я получил твое письмо. И как это тебя угораздило закатиться в Ноттингем? Если опять вздумаешь туда отправиться, возьми у меня настоящий адрес моей матери.

Бриджит надула губки.

— Сама не знаю, зачем я туда поехала. Но тогда мне казалось, так и надо, и после этой поездки мне стало гораздо легче.

— Ну еще бы! — Я здорово разозлился, что ей было хорошо с кем-то, кроме меня.

Смог притих, так теперь нюни распустила Бриджит.

— Ну, извини,— сказал я и хотел встать и подойти к ней, но Смог так за меня уцепился, не давал шевельнуться. Лицо у него было все еще мокрое от слез.

— Я хочу жить с тобой. Мне раньше нравилось жить, а теперь жизнь стала плохая. Папка противный, и все у нас запуталось.

— Послушай, Смог,— сказал я,— жизнь у всех не сахар. Даже дети хочешь не хочешь вырастают и узнают это. Тебе скоро семь, ты почти мужчина. С тобой уже много всякого случилось, а дальше будет больше. Такая она, жизнь. Мы с Бриджит о тебе позаботимся, обещаю тебе. По мне, мы можем всегда жить все вместе, да только боюсь, твоему отцу это не понравится. Но все равно, ты не горюй, потому как мы с тобой друзья на веки вечные.

Он посмотрел на меня, рожица у него была маленькая, но черты уже определились, будто у четырнадцатилетнего.

— Можно, я попью чаю с пирожными?

— Пойдем в кухню и вместе их поищем,— сказал я.— Вот честное слово, не помню, куда они подевались.

Я обратил эти поиски в настоящую игру, и он увлекся, а я пошел в гостиную, поцеловал Бриджит, и она повеселела.

— Давай забудем про мое вранье,— сказал я.— Прости меня.

Она была вся теплая, промокла под дождем, от нее словно даже поднимался парок, мы обнялись, и тут в дверях появился Смог с пачкой шоколадного печенья. Он протиснулся между наших ног и точно укрылся в теплом шалаше.

— Вы построили мне домик,— сказал он.— Теперь давайте печь лепешки и гладить кошку.

— И я спою тебе «Вниз по матушке по Волге»,— сказал я.— А вот кошки у нас нет. Я сегодня утром протирал ею окна, и она сбежала.

Я уложил его в кровать Уильяма — вряд ли она так уж скоро понадобится хозяину. А мы с Бриджит, как заправские муж с женой, сели ужинать, и тут зазвонил телефон. Звонил Стэнли, сказал: завтра надо ехать в Рим и в девять утра я должен явиться по старому адресу, на квартиру в Найтсбридже.

— А что слыхать насчет Уильяма? — спросил я.

— Ничего нового,— ответил он.

Конечно же, они делают все что могут, но пока еще ничего сказать нельзя, хотя новостей ждут с минуты на минуту. Я прикусил язык и сказал: ладно, приеду.

На этот раз надо было везти не золото — предстояло пронести через таможню саквояж с новехонькими английскими банкнотами. Я обернулся за несколько дней, поездом и пароходом, высадился в Дувре, при этом у меня было специальное разрешение на спиртное и сигареты, так что никто ничего не заподозрил. Это была уже третья поездка и третья удача, я делал свое дело, посильно участвовал в международной торговле, а тут требовалось немало храбрости, и ведь я не только подставлял подножку, да как ловко, доброй старой Англии, но мне еще отваливали за это вволю деньжат — чего же

больше желать? Когда я получал свою долю, мне намекнули: банкноты, мол, все равно были фальшивые, но я не стал этим похваляться даже перед самим собой, просто намотал на ус и понадеялся, что окончательно свыкнусь с этими нехитрыми делишками. А с другой стороны, я же знал: счастье изменчиво, рано или поздно меня схватят или я стану этого опасаться и тогда мое лицо невольно меня выдаст, хоть сам-то я буду воображать, будто по-прежнему отлично владею собой. В общем, пора подумать о будущем, подготовить себе путь к отступлению, надо быть начеку и поостеречься на случай, если Джек Линингрейд и компания не захотят меня отпустить, когда я почувствую, что пора сматывать удочки ради моего же собственного блага, а ведь только оно и важно.

Я и в самом деле ездил еще не раз, и в банке на моем счету лежало уже почти три тысячи фунтов. Я решил их не касаться, покуда не завяжу с этой работой: вот куплю дорогой автомобиль, и тут меня ненароком зацапают и придется отсиживать года три, а то и все пять, а он будет ржаветь на улице. Нет, навряд ли эти поездочки сойдут мне с рук — стало быть, надо смываться.

Бриджит и Смог жили со мной, и я вроде остепенился и, как настоящий семьянин, нет-нет да и отправлялся на работу, чтоб заработать им на мясо и пирожные. Мы думали, доктор Андерсон станет беспокоиться, куда подевался его сын, поэтому Бриджит позвонила ему, хотела объяснить, что Смог жив-здоров, но экономка сказала, доктор Андерсон уехал на полтора месяца в Америку, будет там повсюду разъезжать и читать лекции. Я несколько раз звонил Полли, да все не мог ее поймать, и моя любовь была теперь уже не тяжким бременем, как вначале, а почти терпимой болью, хотя стоило мне вспомнить Полли — а вспоминал я ее пока еще нередко,— я вздрагивал, будто от удара.

И все равно надо было делать дело — на этот раз выдалась рискованная поездка в Лиссабон, зато назад я летел шикарно, на красавице «каравелле», можно было залиться шампанским и с удобством вытянуть ноги, а они изрядно потрудились и вполне это заслужили. Я хотел соснуть часок-другой, да не принял в расчет Арнольда Пилигрима, моего высокого тощего соседа. Я видел, как он вялой разболтанной походкой поднимался в самолет. А лицо у него было напряженное, каждый мускул словно стянут судорогой, и ясно было: он всю жизнь не понимал, как ему жить и что делать. А сейчас вроде раскумекал что к чему, да боится — уже слишком поздно, не справиться ему с тем, что надумал. Я это все понял задним числом, но его лицо — лицо человека степенного и, однако, сбитого с толку — запоминалось с первого взгляда, да и вся эта поездка осталась у меня в памяти, в некотором смысле она круто повернула мою жизнь.

Мы пили шампанское и трепались, и он рассказал — он только что договорился в Португалии поставить им сорок тысяч станков, или, может, автомобилей, или литров вина — уж не помню, чего именно. Сделка вроде удалась, и я предложил по этому случаю выпить. Я знал, мне пить и языком молоть не положено, да только я все меньше и меньше соблюдал эти уильямовы правила: кто в дороге не в меру сдержан, тот вызывает куда больше подозрений, чем болтун и выпивоха. Все равно Уильям гниет в тюряге — выходит, мог и поболтать.

Я призвал на помощь дух Джилберта Блэскина и сказал Арнольду Пилигриму, будто я писатель и ездил на недельку отдохнуть в Лиссабон. Тут крылась одна опасность, и я это понял, только когда

он заговорил: теперь он примется изливать мне душу и не замолчит до самой посадки. Так оно и вышло.

— Вернусь домой и убью жену,— сказал он.— Вот вам готовый рассказ, если вы писатель.

Я сидел с ним рядом и не мог поглядеть ему прямо в глаза, но он до того серьезно это заявил, я чуть не засмеялся.

А все ж сказать я ничего не сказал, и он спросил эдак требовательно:

— Вы, надо полагать, хотите знать, за что? Правильно?

— Зачем это мне? Я не ваша жена.

— Понимаю. Но я все равно расскажу. Мы с ней поженились совсем молодыми, ровно десять лет назад, и мы были по-настоящему влюблены друг в друга, так всегда бывает, когда женишься смолоду. Я ненавидел всех женщин, а она всех мужчин, и мы, как говорится, души друг в друге не чаяли. Первым делом купили домик в Пэтни, так как на службе меня очень ценили. По натуре жена была холоднова-та, но понемногу нам удалось это преодолеть.

В ту пору мы были еще совсем дети, нам даже в голову не приходило, что жизнь может потребовать от нас каких-то жертв во имя нашей любви. В каком-то смысле мы были правы: могло так сложиться, что мы прожили бы до старости во взаимном ослеплении, но, мне думается, всегда лучше вылезти из пеленок.

И вот жена моя подружилась с одной женщиной, они познакомились в местной библиотеке, обе брали там книги. Я так и не понимаю, что у них было общего, но дружба продолжалась, а женщина эта была очень самостоятельная и независимая. Она была замужем, но буквально помешалась на том, что, насколько возможно, должна сама себя содержать. Муж ее, фотограф, поставлял снимки в разные журналы, и сама она тоже пописывала в журналах. Мою жену эта новая подруга прямо заворожила, и она тоже стала рассуждать о положении и роли женщины в современном мире. До поры до времени такие идеи мне не мешали, я их даже одобрял. Эта подруга жила так, как мечтала жить моя жена, у нее было все: дом, хороший муж, ребенок, работа, которая доставляла ей удовольствие, даже любовник. Кажется, чего еще желать? В следующие два года мы даже стали друзьями с ее мужем, но не такими близкими, как моя Берил с его женой — мне он казался несколько чудаковатым. Я полагал, это хорошо, что они подружились, хоть я и не дурак и понимал, конечно, что та женщина в определенном смысле настраивает мою жену. Жена нередко ссылалась на нее в наших спорах и, случалось, приводила ее в пример, надо было понимать так: та живет как надо, а у моей жены жизнь скучная и ограниченная. А потом эта женщина отравилась газом.

Жена знала, что подруга ее очень подавлена и что-то ее гнетет, но самоубийство оказалось для нее полнейшей неожиданностью. Уже потом стало известно, что у мужа подруги была связь с другой женщиной и она узнала об этом, но ничего не сказала ни ему, ни кому другому. Хоть у нее и был любовник, а с изменой мужа она примириться никак не могла и, не говоря худого слова, покончила с собой. Моя жена была потрясена, смерть подруги не давала ей покоя многие недели, я даже побаивался, как бы она и сама не вздумала открыть газ. Теперь уже ничто на свете не казалось ей надежным. Я всячески старался ее утешить, но ей было не до меня. Она как будто даже считала, что я тут чем-то виноват — может быть, воображала, что, не выйди она за меня замуж, она бы так не увлеклась идеями, которыми была одержима подруга, и тогда была бы человечней, отзывчивей и, возможно, сумела бы проникнуть в душу подруги, понять, что та хочет покончить с собой. Берил думала, что могла бы удержать ту от

самоубийства, если б не верила безоговорочно в ее идеи, да еще не зависела так от моей любви и поддержки — хотя признавать эту зависимость нипочем не желала. Но было тут и другое, и я понял это лишь через несколько лет. Никогда не знаешь, что с чего начинается, но, мне кажется, я могу понять, чем дело кончится.

В самолете было жарко, и мой сосед вытер лоб и щеки. Он рассказывал так, будто все это не о нем, а о ком-то другом, улыбался, когда говорил о том, что его волновало, верней, губы его почти все время чуть кривила усмешка, в ней было и презрение и жалость к самому себе.

— Не стану плакаться или уверять, что я был полон истинной любви и понимания. Знаю одно: я любил ее, хотя она теперь твердит, будто вовсе я никогда ее не любил. Под конец стало казаться, что нас с женой связывает уже не любовь, а нечто прямо противоположное.

Я протянул ему сигареты. Он не стал закуривать, а может, вообще не курил. Он только пил. Тогда я закурил сам.

— Жалко все-таки. А вашей жене, наверно, не сладко пришлось.

— Конечно,— с ироническим смешком сказал он.— Это несомненно. И я жалел ее, я всеми силами старался ей помочь. Но ей все было мало. Ей непременно требовалось самой найти лекарство от своей боли, и лекарство оказалось такое: погубить меня. Только того ей и надо было — но для меня это слишком дорогая цена, хотя платить мне все равно пришлось. Путь для этого Берил выбрала древний как мир: изменила мне, завела любовника и не стала этого от меня скрывать — и в конце концов довела меня до исступления. Связь эта продолжалась два года, хотя потом Берил перестала выставлять ее передо мной напоказ, потому что постепенно чувство к тому, другому, стало глубже и серьезней. Она вяжет меня по рукам и ногам, потому что все время твердит, как сильно она меня любит, только меня одного, все остальное ничего не значит. Из-за этих уверений я все не решался с ней расстаться, а потом оказалось — она просто хитрила по наущению своего любовника. Она чудовище, но и я не лучше. Ей легко меня обманывать — ведь я постоянно в разъездах. И зачем только я взялся за такую работу, если я не могу доверять жене? Чтобы оправиться после самоубийства подруги, жене моей необходимо погубить мою душу, а мне, чтобы прийти в себя, надо убить жену. Такова вкратце суть дела, надеюсь, я не нагнал на вас скуку.

Перед нами уже стояли подносы с едой, и это дало мне силы слушать дальше.

— Мне очень интересно.

Он с жадностью накинулся на еду — планы насчет ближайшего будущего жены нисколько не портили ему аппетита. Я думаю, человек всегда ест с аппетитом перед тем, как совершить убийство, но не тогда, когда собирается покончить с собой, хотя, по правде сказать, слушая его, я все еще не верил, что это не пустые слова.

— Так вот, когда она стала осторожней, я стал настойчивей, я непременно хотел точно знать, что происходит. Я приставил к ней частных сыщиков и заплатил им не одну сотню фунтов, в лучшие времена я потратил бы эти деньги с бо́льшим толком — скажем, на ремонт дома. Возможно, она догадывается, что я установил за ней слежку, и пробует заметать следы. Но я точно знаю, где она бывает и что делает. И вот на этот раз, перед тем как я уехал, мы несколько дней допекали друг друга, под конец чудовищно разругались, а потом я заставил ее торжественно пообещать, что она бросит его, больше с ним не увидится и мы попробуем начать все сначала. Казалось, все сулит нам безоблачное будущее, но в глубине души я ни одной минуты в это не верил. Мы нежно поцеловались на прощание, и я уехал. А по доро-

ге в аэропорт заехал на такси в сыскное агентство в Сохо и дал им обычные указания, заплатил вперед солидную сумму наличными и распорядился: если она пойдет на квартиру к любовнику, они немедленно телеграфируют мне в мою гостиницу в Лиссабоне. Я решил твердо: если она еще раз меня обманет, я ее убью. Уничтожу. Она погибнет.

Когда я уезжал, я всем сердцем надеялся, что все образуется, она больше меня не предаст, все будет забыто и прощено. По дороге в Лиссабон и первые дни по приезде я был спокоен, полон надежд, телеграммы не было, и я верил, что мы и вправду начнем жизнь сначала. Так прошло еще несколько дней. Мне кажется, я никогда еще не был так счастлив, как в те дни. Деловые переговоры шли превосходно. Голова у меня работала отлично, и во время переговоров я стоял на своем тверже обычного. Наконец я уложил чемодан, у подъезда ждало такси, которое должно было отвезти меня в аэропорт, я уже выходил из гостиницы, и тут ко мне подбежал посыльный и подал телеграмму. Я прочел ее в такси, и меня бросило в жар, я откинулся на спинку сиденья и едва не лишился чувств. Мне привиделось — по стеклу струятся потоки дождя, а передо мной — распоротый живот, кровавые внутренности. Улицы блестели и содрогались под ливнем, а вы ведь знаете, день был ясный, ни единого облачка. Глаза мне изменяли, мерещилось что-то чудовищное. Я посмотрел вперед и увидел громадную лошадь, она лежала посреди дороги, загородив проезд, бок у нее был разворочен — наверно, она попала в какую-то страшную катастрофу,— белая лошадь, она билась, вскидывала в предсмертных муках голову, будто силилась лизнуть огромную красную рану. Берил была с любовником все ночи. Я отчаянно закричал, велел таксисту остановиться, но он засмеялся и проехал прямо по лошади. Белой кобыле не жить! Что еще мне остается?

У него тряслись руки, он даже выронил вилку. И не поднял ее, не попросил другую, стал доедать одним ножом, и чем больше я наливался шампанским, тем более зловещим казался мне нож в его руке.

— А убивать все равно ни к чему,— сказал я.— Вышвырните ее вон — и дело с концом.

— У меня нет на это сил.

— Да, не повезло ей с мужем — до того малосильный, только и может, что убить.

Стюардесса налила нам кофе.

— Я думал, вы писатель,— не без язвительности усмехнулся он.— Если вы и вправду писатель, вы должны понять: другого выхода у меня нет.

— А потом как же? — спросил я.

— Время остановилось. Нет больше покоя, ни единой минуты, нигде, никогда. На всем поставлен крест. Нет больше покоя, и любви нет.

— Да вы святой: вон чего захотели — покоя и любви — сказал я.— Первый раз встречаю святого — и где: в самолете, тридцать тысяч футов над землей!

В порыве добрых чувств он вдруг стиснул мою руку.

— Рад, что вы так говорите. Вы далеко пойдете как писатель.

Я протянул свою чашку, чтоб мне налили еще кофе, тут как раз самолет тряхнуло и горячая клякса разлилась у меня на брюках. Если мы разобьемся, его жена, считай, выиграла сто тысяч.

— Теперь мне полегчало,— сказал он.— Полезная штука — поесть и выпить шампанского. Пожалуй, и правда, я еще не конченый человек. После всего, что творилось у меня в душе на той неделе, я уже стал в этом сомневаться.

— Вот и хорошо,— сказал я.— Может, теперь вам и дома будет не так погано.

— Ну нет. В таком настроении я еще сильней ее ненавижу. Только в таком настроении я и могу ее убить. Во мне и дно океана, и выси небесные. И душа моя мечется между бездной и высью.

Он не плакал, но из глаз у него поползли слезы. Я приподнял бокал.

— А все-таки выпьем за счастливое приземление.

Он улыбнулся, и лицо у него стало совсем добродушное, будто всю душевную неурядицу как рукой сняло.

— А я вот мечтаю найти какое-нибудь глухое, укромное местечко, чтоб было где писать в тишине да в покое,— признался я.— В городе мне все равно как ореху в щипцах, давит он меня, только треск стоит. Чувствую, надо вырваться и засесть за работу.

— Это несложно,— сказал он.— Пока тянулась вся эта история с женой, мы с ней иногда говорили, что хорошо бы найти какой-нибудь уголок за городом и наезжать туда, попытать счастья — может быть, там вновь оживет наша любовь. Жена, конечно, никогда в это не верила, просто как только узнавала, что где-то продается что-то подходящее, пользовалась случаем отослать меня из города, а сама в это время без помех встречалась с любовником. Ничего, скоро конец всем ее похождениям. Через час я вернусь и сразу же сделаю, что задумал. Я знаю, как я это сделаю. А пока вот что я вам скажу: в Фенах продается дом при старом железнодорожном полустанке. Он последнее время пустует, и как будто никто им пока не заинтересовался, так что, я думаю, за тысячу двести фунтов вы сможете его получить. У меня есть о нем все нужные сведения.— Он достал из портфеля несколько листков и протянул мне.— Я там был, место безлюдное, тихое, спокойнее не найти. Перед этой поездкой я хотел было его купить, но теперь с таким же успехом уступлю его вам. Здесь вот отчет инспектора. Дом в хорошем состоянии, разве что потребуется несколько галлонов краски.

Я сунул листки в карман.

— А вам самому они не понадобятся?

— Нет, нет. Я больше не нуждаюсь ни в покое, ни в укромном уголке.

— Тогда спасибо,— сказал я.— А может, ваша ненависть к жене — та же любовь?

— В раю оно, может, и так, а в нашем грешном мире — нет. Я уже никогда ее снова не полюблю.

Самолет приземлился, я сошел по трапу вслед за своим спутником, а в автобусе, на пути к таможенному залу, стал малость в сторонку и разглядел его еще лучше: рубашка и галстук прямо сверкают, бородка аккуратненько подстрижена, шляпа самая модная, такой, видать, чистюля, любую женщину отпугнет. Наверно, надо предупредить его жену, сказать — он помешался, хочет ее прикончить, пускай поостережется. Я все не знал, как поступить, вышел за ним следом из автобуса и прошел в таможенный зал. Таможню мы случайно миновали в одно время. И вдруг он резко повернул голову и кинулся бежать, да так, будто кто-то ему на ушко скомандовал: стой, мол, сдавайся, а он все равно решил дать стрекача, хоть и нет надежды вырваться.

Смотрю, посреди зала стоит женщина, красивая, тоненькая, в скромной шляпке, в светло-сером костюме, и радостно и робко так улыбается, будто не хочет улыбнуться пошире — боится, что уже не нужна ему или что он не заметит улыбки, пройдет по ней самой, как его такси проехало по издыхающей кобыле. Только опять у меня ошибка вышла, потому как безотцовщина я, а такие чаще всех оши-

баются. Он бежал к ней, и она его увидела. Я смотрел во все глаза. Они обхватили друг дружку, будто любовники, которые не виделись сто лет, и чего-то бормотали и тяжко вздыхали, вот честное слово, хотите верьте, хотите нет. Они у всех на глазах расцеловались, и у него на лице застыла улыбка, а она по-прежнему робко так улыбалась и глаза прикрыла, будто какая сила ее захватила и она не может с собой совладать и к тому же не хочет видеть никого, кто, может, смотрит на них со стороны; и уж конечно она не хочет признать, что, когда кинулась в аэропорт прямо с заседания Женского христианского клуба, ее гнала страсть. Это было прямо трогательно — живая реклама цеха любовников, и у меня тоже разгорелся аппетит. Они в обнимку пошли к эскалатору, будто им по шестнадцать лет.

После всех его разговоров я думал, он прямиком отправится домой и вспорет ей живот, а теперь карты вроде показывали совсем другое, и я просто не верил своим глазам. Ошибка моя показывала, какой я еще младенец и как плохо разбираюсь в жизни. Только одно я и извлек из этого знакомства: сведения о заброшенном полустанке — там можно будет укрыться, когда я надумаю порвать с Джеком Линингрейдом и компанией. В ближайшие сутки пэтнийские любовники будут наверняка заняты только друг дружкой, и надо его опередить, махну-ка я завтра спозаранку в Фены, посмотрю домик — ведь раз он помирился с женой, он, пожалуй, опять захочет сам купить это прибежище.

Я предвкушал встречу с Бриджит и Смогом, но квартира была пуста. На столе лежало письмо,— оказалось, они со Смогом вернулись домой. Муж отыскал их, позвонил по телефону и плакал, рыдал, умолял вернуться: теперь, мол, они заживут все вместе, как счастливое и любящее семейство. Смог не хотел идти. Бриджит пришлось силком тащить его из квартиры, а он визжал и брыкался. Больше всего он расстраивался, что надо возвращаться в школу, писала Бриджит, и что теперь конец увлекательной игре в побег от папаши.

Я встал под душ — пускай льющаяся вода составит мне компанию и смоет тяжесть путешествия. За каждую поездку я почему-то порядком худел, правда, и уставал изрядно, трусил, как бы меня не схватили, и еще, может, совесть меня мучила — зачем вообще этим занимаюсь, так что я барахтался из последних сил, оттого, видно, и худел сверх меры. Мне казалось, из меня высосали всю кровь, а потом я лег, закурил сигару и как вспомнил — завтра увижу этот самый полустанок, сразу взбодрился. Посмотрел расписание поездов и позвонил в Хантингборо агентам Смату и Банту.

— Стоит дешево, потому что расположен за пределами пригородного пояса,— сказал мне агент,— но другого такого чудного местечка не сыскать. Я бы сказал, как нарочно для вашего брата писателя.

Участок был плоский, заболоченный, зеленовато-серый, но в хмуром бескрайнем небе как раз пробился солнечный луч, и все стало отливать металлическим блеском. Красота. Впервые с тех пор, как два года назад я выехал на своей старой калоше из Ноттингема, я почувствовал себя свободным человеком. В Лондон возвращаться не хотелось, но вот беда: я понятия не имел, куда ж тогда податься.

— Правда, на эти старые станции нелегко выправить закладную. Уж не знаю почему.

— Я плачу наличными.

Агент с лёта вырулил на горбатый мостик, пересекающий дамбу, и меня так тряхнуло, чуть голова не оторвалась.

— Тогда все в порядке,— сказал он не удивленно и не уважительно, а скорее с завистью.

Ближайшая деревня называлась Верхний Мэйхем; миновав ее, мы проехали еще полмили и свернули в тупик, и в нем, в самом конце, находился этот полустанок — достаточно далеко даже от самых ближайших домов.

— Есть у вас еще покупатели?

— Были двое или трое, да отпали. Один лондонец, из Пэтни, совсем уже собирался купить, но что-то давно глаз не кажет. Кто первый пришел, тот и счастье нашел. У меня ключи только от черного хода.— Он первым делом отворил деревянную калитку, она тут же сорвалась с петель и упала. Он поднял ее, прислонил к стене.— Здесь, наверно, сыровато, но на то это и Фены. Разок-другой протопите, только и всего.

Он отворил черный ход, и оттуда понесло затхлым. Внизу были три скромные комнатки и еще каморка при кухне.

— Уборная на участке,— сказал он.

Наверху было еще четыре комнаты и в одном из каминов полтонны сажи. Я не сказал ему, что сам был прежде агентом по продаже недвижимости. Водопровод оказался в неважном состоянии, но потолки вроде в порядке. Я стоял в конце участка и в бинокль разглядывал крышу — все ли черепицы на месте и не разваливается ли дымовая труба. Судя по отчету инспектора, через несколько лет тут не обойтись без серьезных работ,— стало быть, ясно, что и нынче дом в довольно жалком состоянии.

— Теперь пройдемте на станцию,— сказал агент. Ходу было ярдов сто по асфальту, кое-где разбитому до глубоких ям.

— Сколько здесь земли?

— Два акра. Есть где развернуться.

— А как тут насчет кроликов?

— Сколько угодно.

За дорогой было большое картофельное поле, а по другую сторону станции — фруктовый сад.

— Жемчужиной архитектуры не назовешь, но уют навести можно,— сказал я.

Слева была касса, и в ней сохранились все полки и отделеньица для билетов да еще какие-то шкафы. По другую сторону был зал ожидания, вдоль стен стояли простые скамьи. Мы прошлись по платформе, мимо женской и мужской уборных.

— Вы говорите, просят тысячу двести? — спросил я.— Цена окончательная или можно поторговаться?

— Окончательная. Дешевле не отдадут.

Я угостил его сигарой.

— Ну, а за тысячу?

Мы закурили и пошли назад к дому.

— Попробуйте,— ответил он.— Может, сойдетесь на тысяче сто.

— Что ж, предложу тысячу сто. И еще сотню придется пустить на ремонт, не то эта развалина рухнет.

— Сама-то постройка крепкая. Вы женаты?

— В разводе,— сказал я.— Лондонский дом оставил жене.

У него в конторе я подписал чек на задаток в десять процентов и назвал поверенных Уильяма в качестве посредников.

Я перекусил в гостинице в Хантингборо, потом вернулся поездом в Лондон. Дома застал все как было. Меня не ждали ни письма, ни срочные телеграммы, я огорчился, поел бобов с гренками и позвонил Полли — трубку снял сам Моггерхэнгер:

— Что надо?

— Можно Полли?

— Ее нет. Кто говорит?

— Кенни Дьюкс,— ответил я и положил трубку. Потом набрал номер Бриджит и услыхал голос доктора Андерсона:

— Кто говорит?

— Не ваше дело,— сказал я.— Я не к вам на прием, покуда еще не спятил, и не обязан вам отвечать. Мне нужна Бриджит.

— Так это вы? — вскипел он.

— Да, я. И если вы не против, я бы перекинулся словечком с Бриджит.

— Вы хотите сказать, с моей женой.

— С Бриджит Эплдор. С миссис Андерсон, если вам так нравится.

— Да, черт возьми, нравится. Нечего вам с ней говорить. А если вы еще встретитесь, я с ней разведусь, черт возьми, совсем и вы до конца жизни будете выплачивать судебные издержки. Я вас в бараний рог скручу.

— Послушайте,— сказал я, подальше отвел телефонную трубку и заорал, торопясь его обскакать: — Я буду встречаться с кем хочу и когда хочу, вбейте это в свою пустую башку. И если вы еще хоть раз ударите Бриджит или лягнете Смога, я погоняю вашу башку в Хэмпстедском парке вместо футбольного мяча.

Я положил трубку, и поднимать ее снова мне что-то не хотелось — две неудачи подряд. Ну, а вдруг в третий раз все-таки повезет? Я позвонил к Джеку Линингрейду и сказал, что вернулся, это не вызвало у них особого интереса, похоже, я уже совершил положенное число удачных поездок и теперь они рады бы от меня отделаться. Сам я тоже, как порядочный, собирался избавить их от ответственности за мое благополучие, да только когда мне это будет удобно. Пора уносить от них ноги, а то как бы не угодить в камеру по соседству с Уильямом, ведь если они решат, что я уже слишком много знаю, им упечь меня в тюрягу — раз плюнуть. Пожалуй, не случайно Уильяма зацапали не в Англии, а в Ливане — в Англии на суде он мог бы кой-что и порассказать.

Через несколько дней меня нагрузили золотом: надо было переправить его в Турцию, и я пересмотрел каждый слиток в отдельности, не полый ли он, не засыпан ли внутрь мак, потому как если меня обыщут и это обнаружится, мне припаяют двадцать лет. Они заметили мою настороженность, и она им не понравилась, а я увидал, какими взглядами они меня меряют, и мне это понравилось еще того меньше. Где уж мне воевать на десять фронтов. Перед линингрейдовской шайкой-лейкой, как и перед моггерхэнгеровской, я просто беспомощный щенок, вот из-за этого я и могу струсить, а вовсе не из-за короткой пытки, которой подвергаешься, когда обманом проносишь груз через таможню. Я вернулся из Стамбула и позвонил Стэнли— он сказал, теперь я три дня свободен, а потом будет аврал.

Покуда я с грустью думал о мамаше Уильяма, я вспомнил и про свою мать, написал ей, что жив-здоров, и дал адрес. И вот в дверь сунули письмо с ноттингемским штемпелем: к моему удивлению, мать писала, как беспокоилась обо мне, и как стосковалась, и как меня любит — слова «любовь» я, по-моему, сроду от нее не слыхал. Еще она писала, что месяц назад умерла бабушка. Бабушка, писала она, оставила мне запертую шкатулку, что́ в ней, никто не знает, но скорей всего там семейные фотографии, которых никто не видел уже много лет. Так что хорошо бы мне как-нибудь приехать и взять их, ну, а если я занят, спеху нет, она эту шкатулку для меня сохранит, когда бы я ни приехал.

Весь день я шатался по городу и всякий раз, как заходил куда-нибудь выпить кофе или перекусить, опять перечитывал это письмо. Меня тронуло, что мать тосковала обо мне, и любопытно было, что же там такое в бабушкиной шкатулке, а потому назавтра я сел в поезд на вокзале Сент-Панкрас и покатил на север, в Ноттингем.

Часть VI

Я развалился в купе первого класса и листал газеты и журналы, но скоро они мне надоели, и я пошел в вагон-ресторан обедать. Было уже поздно, и свободное место оказалось только за столиком, где напротив сидели еще двое. Мне хотелось посидеть одному со своими мыслями, неохота было даже передавать соль или пепельницу. Рука мужчины лежала на столе, и его девушка коснулась ее, потом положила на нее свою ладонь. Поезд мчался, а я глядел на окно и не мог оторвать глаз от бусинок дождя — они ударялись о стекло, разбивались на множество мелких капель и стекали вниз. Потом я услышал свое имя, с трудом оторвал взгляд от окна, и оказалось, красивая влюбленная парочка передо мной не кто-нибудь, а Джилберт Блэскин и моя старая знакомая Джун. Я онемел от удивления, а рот Джилберта, и без того не маленький, растянулся в приветливой улыбке.

— Решили отдохнуть от большого города?

Я через силу улыбнулся в ответ.

— Куда это вас обоих несет?

Я не видал Джун с тех пор, как мы не поладили в такси, и у меня все еще был на нее зуб.

— Мы с Джун вместе приехали в Лондон в моей машине,— объяснил я Блэскину.— А теперь вот вы вместе катите на север. У меня прямо голова идет кругом.

— Мир тесен,— сказал Джилберт.— Это всем известно. Но теперь она возвращается на север со мной, правда, дорогая?

— Я бросила работу в клубе,— сказала мне Джун.— Мы с Джилбертом знаем друг друга не первый месяц и решили поселиться вместе. Забавляемся старой как мир игрой в мужа и жену.

Они уже выпили коньяку, а теперь нам подали суп, горячий, как кипяток. Блэскин выпил за ее здоровье.

— Возможно, мы даже поженимся. Мы об этом еще не говорили, но похоже, к этому идет. Я уже, слава богу, развелся.

Мне невыносимо было глядеть, как их переполняет счастье.

— А что случилось с Пирл Харби?

Он поморщился, но я ждал ответа.

— Она меня бросила.

— Иначе говоря, это вы ее вышвырнули.

— Она меня бросила, дружище.

Нам принесли второе, и я спросил Джун, как поживает Моггерхэнгер, да только мой вопрос ей не понравился.

— Ты такая же дрянь, как твоя машина. Пропади ты пропадом!

— Рад бы, да не получается.

— Ты хочешь сказать, пока не получается.

Потом она улыбнулась, не могла она долго злиться — слишком была счастлива.

— Моггерхэнгер пришел в клуб и вызвал Кенни Дьюкса. И сказал — Кенни вроде хотел сбежать с его дочкой Полли, а она, скажу я тебе, довольно-таки распутная сучка. Моггерхэнгер сказал, чтоб

Кенни не смел больше ей звонить. Кенни жутко заволновался, стал все отрицать — в общем, слово за слово, Клод ему наподдал, и Кенни вышвырнули из клуба.

Я засмеялся: видно, всему виной был мой случайный телефонный звонок, но я ничего не сказал Джун, а вслух подивился моггерхэнгерову дурному характеру и неразумной подозрительности. Джун просто по-бабьи завидует Полли, подумал я. Ну, а с Кенни Дьюксом мы квиты — я вспомнил, как я по его милости лишился места шофера.

Обед закончился вполне по-дружески, ведь все мы здорово набрались. По дороге в купе Джилберт упал, и я наступил на его шляпу. Он рассвирепел, но я посоветовал ему вести себя потише, стоит ли собачиться, я ж не нарочно.

— Не вздумай к нему цепляться,— накинулась на меня Джун,— не то я выцарапаю тебе глаза.— Потом подняла шляпу и нахлобучила Джилберту на его непристойно голую башку.— Пойдем, дорогой.

Ссора не помешала нам усесться в одном купе.

Я спросил, пишет ли он новую книгу.

— Постараюсь, чтоб не писал,— сказала Джун.— У нас хватает времени только на то, чтобы жить, правда, миленький?

— Почти,— ответил он, встал, взялся за край багажной полки и начал подтягиваться на руках.— В настоящее время я пишу монументальный труд, не роман, под названием «История резни». Мой издатель полагает, что в теперешнее мирное время на такую книгу будет спрос.— Он задохнулся от подтягиваний и сел между нами.— Живя с моей дорогой Джун, я соберу отличный материал. Мне всегда не везло с женщинами, и я не знал с ними счастья, потому что ни одна не осмеливалась со мной воевать. А Джун мне как раз под пару. Вчера вечером в ресторане она швырнула авокадо, расплескала масло и все вокруг роскошно заляпала.

— Он под столом пинал меня ногами.

— Хотел посмотреть, что ты станешь делать,— с улыбкой сказал Джилберт.— Раньше, когда я так делал, мои дамы только смотрели на меня с упреком.

— В другой раз я весь стол опрокину,— пообещала Джун.

— Великолепно! — воскликнул он.— А я сверну тебе шею, черт возьми.

Здорово он переменился, просто любо смотреть. А Пирл, сдается мне, угодила в сумасшедший дом. В Ноттингеме я сошел, а счастливая парочка покатила дальше целоваться и миловаться в свое удовольствие.

Накануне я послал матери телеграмму, так что она пораньше отпросилась с работы, и я застал ее уже дома. С вокзала я ехал на такси и чуть не вывихнул шею — все старался издали разглядеть скалу, на которой стоит замок,— я погружался в воспоминания и радовался им и в любую минуту мог без печали из них вынырнуть. Враки все это — будто назад пути нет, домой возврата нет, ведь по правде-то я никогда и не верил, будто всерьез отсюда уезжаю.

Мать прибирала у меня в комнате.

— Я только на один день,— сказал я,— завтра надо быть на службе.

Потом она прошла в кухню, зажгла газ, а я стоял тут же и смотрел.

— А что у тебя за служба?

— Разъезжаю...— сказал я и прибавил свои обычные объяснения.

Она еще раньше накрутила волосы на бигуди и обмотала голову платком, чтоб их не было видно.

— Ты нашел хорошую службу.

— Заработок подходящий.

— А нравится тебе твоя работа?

— Работа нетрудная.

Мать рассмеялась, и мы плюхнулись в кресла друг против друга.

— Ты всегда искал работу не бей лежачего.

Я протянул ей сигареты.

— Ну, а твоя работа как?

— По-прежнему тяну лямку. Зато сыта и держу хвост морковкой. Есть хочешь?

— Нет.

Она заварила чай, разлила, положила сахару, плеснула молока, помешала ложечкой и подвинула ко мне.

— Жалко, я не был на бабушкиных похоронах,— сказал я.— Но я не знал.

— Мы пробовали тебя разыскать. Я даже в полицию ходила, но они не могли помочь.

У меня душа ушла в пятки.

— Больше я пропадать не буду.

— Хорошо бы, а то вдруг со мной что случится. Обузой тебе я, надо думать, не стану, я ведь выхожу замуж. Мы с Альбертом думаем пожениться месяца через три.

— С Альбертом?

— Увидишь его нынче вечером, если пойдешь со мной в город.

Бабушкина шкатулка хранилась наверху, мать дала мне конверт с ключом. Шкатулка была заполнена не доверху. В ней лежали старые арендные книжки — бабушка берегла их всю свою жизнь,— и все страховые полисы, срок которым давно истек, и, кроме того, метрики, семейная библия — оказывается, в начале и в конце на чистых листах бабушкиной рукой и другими до нее вписаны были даты рождения и смерти нескольких поколений нашей семьи. Были в шкатулке и рекомендации от людей, на которых бабушка работала с двенадцати лет,— пачки никчемных, ветхих бумажек, какие всегда скапливаются у старозаветных полуграмотных людей. В комнате было сыро и холодно, и я разодрал несколько арендных книжек, сунул их в камин, сложил кучкой и чиркнул зажигалкой — получился славный костер. Тут же оказались какие-то газеты полувековой давности, я отложил их в сторонку — потом прочитаю, любопытно, чего ради она их хранила. Потом показалась пачка старинных фотографий, среди них несколько дагерротипов — все члены нашей семьи, которые дали деру из Ирландии.

Я сравнил даты на обороте с записями в библии, и одна фотография особенно меня заинтересовала — это был первый Каллен, он прибыл из графства Мейо во времена знаменитого голода и привез с собой жену и шестерых сыновей. На фотографии он был очень похож на меня, какой я выхожу на карточках. Меня прямо жуть взяла. Полли Моггерхэнгер как-то щелкнула меня в Женеве, и на том снимке я вышел такой же застенчивый и скованный, как он. Человек, снятый в тысяча восемьсот сороковом году, был в хорошем костюме, из жилетного кармашка петлей свешивалась часовая цепочка. Он был повыше среднего роста, лет под тридцать, в старомодном котелке. А вот губы у него мои, такие же тонкие, и прямой нос, и так же расправлены плечи и голова эдак гордо вздернута, будто ничего хорошего он не ждет. И меня вдруг прямо ударило — да ведь он уже восемьдесят лет как помер, и, может, еще через сто лет кто-

то будет так же глядеть на мое фото и такие же у него будут мысли. Когда глядишь на фотографии, которые сохранились у какой-нибудь старухи, время теряет всякий смысл, будто оно вовсе и не двигается. Я попробовал представить себе жизнь этого малого в Англии той поры — да не получилось. Вместе со своими сыновьями он работал на железных дорогах Кембриджшира, и, наверно, они неплохо зарабатывали. На фотографии он отлично одет.

Я сунул его фотографию к себе в бумажник и опять принялся рыться в шкатулке. Там оказалась еще шляпка, несколько вышитых носовых платков, псалтырь, молитвенник, мужской шейный платок, а может галстук, и золотые часы — я их завел, но они все равно не пошли. В самом низу лежал кожаный мешочек, набитый чем-то тяжелым. Я развязал шнурок — посыпались золотые монеты. В мешочке оказалось пятьдесят золотых соверенов, и каждый стоил, наверно, четыре или пять фунтов — таких монет я сроду не видал. Вон сколько золота — у меня даже слюнки потекли, и я, точно скупердяй какой, стал перебирать их и пропускать между пальцами. Я здорово задержался наверху, как бы мать не подумала — я помер, и я сложил все обратно, кроме золота, и медленно спустился в общую комнату.

Мать подняла голову от книги.

— Что-нибудь нашел?

— Фотографии, арендные книжки и вот это,— сказал я, и мешочек со звоном упал на стол.

— Это еще что?

— Пятьдесят золотых соверенов.

Мать поднялась.

— Еще чаю хочешь?

— Если свежий — хочу. Тут половина тебе, половина мне. В каждой половине сто фунтов с хвостиком.

— Это оставлено тебе,— отозвалась мать из кухни.

— А я хочу пополам.

Ей это явно было приятно.

— Ну ладно. Тогда, может, мы с Альбертом закатимся на несколько дней в Париж. Мне всегда хотелось там побывать.

— Вот и хорошо! — Я обрадовался, что она не пустит эти деньги на всякие разумные расходы по дому и на одежду.

Вечером я познакомился с Альбертом, и мы отлично поладили, это вышло очень кстати: мать хотела, чтоб на свадьбе я ей был за посаженного отца, а выдавать ее за кого попало я бы не стал, это мы оба понимали. Она принарядилась и сделалась совсем молодая — встреть я ее такую в Лондоне и не будь она моей матерью, я бы еще мог за ней приударить. Что до Альберта, ему подкатывало к пятидесяти, и почти всю жизнь он проработал рабочим на фабрике. Еще мальчишкой он вступил в коммунистическую партию и с тех пор занялся самообразованием, так что нам нашлось о чем поговорить. Перед войной, когда он был совсем молодым парнем, профсоюз послал его в Россию и он пришел от нее в восторг. Даже и теперь он был не из тех, кто от нее отвернулся. Он знал все, что там происходило, но продолжал верить в светлое будущее и во многое другое. Кой в чем я с ним не согласился, но наша семья всегда отличалась веротерпимостью, так с чего бы мне не уважать его взгляды? Мы все пили и никак не могли наговориться, и я видел, как матери приятно, что мы пришлись друг другу по душе. Я и впрямь был не против, чтоб он съездил в Париж на калленовское золото. Наверно, бабушке удалось столько отложить во время войны, когда она работала на оружейном заводе. Приятно знать, что не все досталось миллионе-

рам. Наверно, не так-то просто ей было превратить свои сбережения в золото, чтоб они не потеряли цену,— хорошо, что и в нашей семье кто-то хоть раз поступил мудро.

Я оставил свои двадцать пять соверенов в бабушкиной шкатулке, запер ее и двинул обратно в Лондон.

На вокзале Сент-Панкрас я купил газету, чтоб не скучно было ехать в метро, развернул ее и сразу увидел крупно напечатанные слова, от которых мне стало, мягко говоря, не по себе: «В Темзе найдено обезглавленное тело. Полиция ведет розыск в районе Пэтни. Муж отравился газом». Я прочел сообщение несколько раз. Ее голову обнаружили в грязи... Да, значит, тот малый, с которым мы летели из солнечной Португалии, все-таки сделал свое дело, и нежная встреча в лондонском аэропорту ничего не изменила. А теперь напечатана кровавая сплетня, и ее читают все машинистки, стенографистки и секретарши. Меня чуть не вырвало, перед глазами как живое встало его безумное лицо, каждая черточка, а ведь в самолете, пока он рассказывал, я не мог его толком рассмотреть и так и не понял, что же скрывалось за этим приветливым, умным и все ж чудны́м взглядом.

Историю его я слушал с жадным интересом, да и как могло быть иначе — кого из нас не захватят рассказы о свирепой ревности, прямо тебе средние века, о материнской любви, о злобе, даже если все это и кажется подчас смехотворно нелепым? Но я не мог заглянуть к нему в душу, а потому не мог поверить, что все это не пустые слова. Зато впредь я буду знать; когда человек говорит, он приоткрывает свое истинное нутро. Если кто дошел до ручки, он не способен врать, уж тут чутье должно тебе подсказать, что с человеком творится. Но моя обленившаяся душа ослепла и оглохла, заросла шерстью, и я тогда ничего не сделал. В моем сознании должно что-то взорваться, не то будет поздно и душевная вялость кончится для меня катастрофой,— но как его вызвать, этот взрыв?

Поезд метро грохотал в недрах Лондона. Я втиснулся в него вместе с толпой служащих и, несмотря на все эти мысли, невольно читал подряд дурацкие рекламы на стенах вагона. Потом отвел глаза и уставился на чью-то спину — на ней-то уж ничего нельзя было прочесть.

Дома меня ждало письмо от агентов по продаже недвижимости, и я с облегчением узнал, что тысяча сто фунтов, предложенные мной за дом и помещение полустанка Верхний Мэйхем, всех устраивают. Меня просили поскорей отдать распоряжение моим поверенным, чтоб можно было оформить бумаги. Повторять не потребовалось — уже наутро я позвонил в контору Смата и Банта и попросил тут же приняться за дело, а то как бы кто не предложил больше и не перебежал мне дорогу. Тот житель Пэтни вышел из игры, но ведь могут найтись и другие охотники, а при моем ненадежном положении мне как никогда хотелось заполучить в собственность это уютное убежище.

Я позвонил в штаб-квартиру, хотел узнать, когда надо ехáть. Стэнли оказался разговорчивей обычного.

— Нет, Майкл,— сказал он,— еще денек-другой вы не нужны. Утром в Цюрих летит Артур Рэймедж, а он стоит двоих. Так что обождите до послезавтра.— Я хотел было сказать: нечего, мол, этому жадюге Артуру Рэймеджу отбивать чужой хлеб, да Стэнли уже повесил трубку.

Рэймедж был настоящий король контрабандистов, о нем ходили легенды. Уильям называл его чемпионом, чуть не молился на него: тот возил контрабанду уже многие годы, ни разу не попался, переправил больше золота, чем все пароходы компании «Кьюнард» и так разбогател от своих заработков — даже завел в Норфолке отличную доходную ферму. Он здорово справлялся с самыми хитрыми поручениями, и ему платили дай бог всякому. Уильям говорил — если б Рэймедж написал про все свои дела книжку, она шла бы нарасхват, только ему припаяли бы триста лет отсидки за подрыв британской экономики. Каждый раз, как премьер-министр толкает речугу в парламенте насчет того, каким бы способом выбраться из финансового кризиса, можно голову дать на отсечение: тут опять поработал Артур Рэймедж. Только Британия успеет пополнить свой золотой запас с помощью займа за океаном и облегченно вздохнет — глядишь, Артур Рэймедж (с помощью организации Джека Линингрейда) снова начнет опустошать казну. Если принять эту болтовню всерьез, пожалуй, и впрямь поверишь, будто солидные займы предоставляют те же люди, которые через Джека Линингрейда получают свое золото обратно, а все ради того, чтобы ихняя лавочка работала без перебоев и чтоб росли комиссионные и прочие доходы.

Вышел я из дому, отправился в Сохо подзакусить. По дороге позвонил Полли, и счастье мне улыбнулось: она сама сняла трубку. И явно мне обрадовалась:

— Завтра работаешь? Нет? Тогда приезжай.

У самой будки парень обнимал девчонку, и ему не терпелось занять мое место.

— Я должен был утром лететь,— сказал я,— но для разнообразия в Лиссабон махнет другой.

— Вот и хорошо, лишь бы не ты, милый,— мягко сказала Полли.— Я по тебе соскучилась. А какой же это бедняга летит вместо тебя?

— Есть такой Рэймедж, эти две недели он будет вылетать в один и тот же день. Да ты его не знаешь. Я и сам видел его только раз. Он чемпион.

Она перебила меня, словно боялась, что я завелся на целый час.

— К десяти дома никого не будет. Позвони и приезжай. Поможешь мне срезать розы.

— Только пускай они не колются.

Полли засмеялась и повесила трубку Я сделал то же самое, оттолкнул парня и девчонку — они прямо рвались в будку — и вышел на улицу.

Старший официант поклонился мне, совсем как когда-то Уильяму, и я подумал: дурная примета, а все равно было приятно — ведь если не знаешь, что заказать, он побалует лучшим сегодняшним блюдом или предложит что-нибудь необыкновенное, бывает, ты и не в настроении и есть неохота, а все одно не устоишь. Чтоб поуспокоиться, я на славу поел и запил полбутылкой шампанского. Если все выйдет по-моему, впереди у меня вот что: брошу возить контрабандой золото, сделаю предложение Полли Моггерхэнгер и припеваючи заживу с ней на своем полустанке. Да нет, сколько бы я ни строил распрекрасных планов, ничему этому не бывать, это просто воздушные замки, все уже решено за меня и от моих желаний и надежд ничего не зависит. Однако эти мысли не больно меня мучили, по крайней мере аппетита они мне не испортили. Я огляделся по сторонам — не найдется ли подходящей девчонки, но, похоже, вечер

для меня выдался пустой, сегодня здесь было не очень-то людно, выбирать не из чего.

Я уже не раз нежился с Полли в разных постелях моггерхэнгеровского дома и в его логове в Кенте и теперь наконец понял, чего хочу, и хоть для такого парня, как я, жениться на ней вроде чистое безумие, все равно что сунуть голову в петлю, я твердо решил добиться своего. Я рассказал ей про свой полустанок и уж так расписал, до чего он красивый да уединенный, будто для такой пылкой влюбленной парочки уголка романтичнее не сыщешь в целом свете.

Мы возвращались в Лондон, и Полли сказала: ей очень все нравится, что я рассказываю про Верхний Мэйхем, и она со всем согласна, только не хочется слишком резко рвать с отцом, она его любит и надо бы, чтоб он рано или поздно примирился с нашим бегством. Сама-то она всем сердцем желает остаться со мной навеки (сдается мне, иногда она бывала еще покрасноречивей меня), но я должен запастись терпением и дождаться подходящей минуты, а тогда я помогу ей сбежать из дому.

Эти ее речи привели меня в восторг — стало быть, вот как серьезно Полли отнеслась к нашему будущему отъезду! Как же мне не сделать для нее такой малости — не помочь ей сбежать тогда, когда ей будет удобней, и раз уж речь идет о счастье всей моей дальнейшей жизни, что стоит еще несколько месяцев поработать у Джека Линингрейда?

Полли — первая, с кем я был до конца откровенен и открыт. Моя склонность к вранью куда-то подевалась, а если я чувствовал, меня опять подмывает сочинять, я нарочно порол уж такую дичь, что Полли при всем желании не могла поверить ни единому слову. Оказывается, любовь делает человека честным, да вот беда — в мире контрабандистов нужна увертливость, а такая вот честность может только навредить: как бы еще прежде, чем Полли сбежит со мной в Мэйхем, я в одну из своих поездок в лондонском аэропорту или в Гэтуике ненароком не выдал себя таможенникам. Она знала все хитрости, к которым я прибегал, чтоб, несмотря на свой груз, сойти за добропорядочного путешественника; я рассказывал ей, когда еду и куда, а если знал — и кто еще отправится в этот вечер или на другой день. Мне легко и просто было с нею откровенничать, это помогало тянуть лямку, пока наконец Полли не решит — пора, мол, укрыться в нашем гнездышке. И меня не брала досада, что оттяжка оказалась куда более долгой, чем я думал,— ведь с каждой поездкой мой счет в банке становился все внушительней.

Однажды я предложил Полли скатать со мной в Париж — мне как раз предстояло туда лететь,— но ее родители собирались на несколько дней в Борнмут и хотели взять ее с собой. Она сказала, ей ужасно хочется побывать со мной в Париже.

— Я пошлю родителей к черту,— сказала она.— Охота была три дня помирать со скуки в Борнмуте, когда мы могли бы провести их вместе в Париже, это несправедливо! Ты мне дороже родителей, и я поеду с тобой, даже если из-за этого придется с ними порвать.

— Нет, не надо,— сказал я.— Подождем. Пускай сейчас не проведем эти несколько дней в Париже, зато потом у нас их будет сколько угодно и не надо будет никого расстраивать.

Когда я отговаривал ее от каких-нибудь опрометчивых поступков вроде этого скоропалительного разрыва, моя заботливость трогала ее до слез. Я сказал — не хочу брать на себя такую ответственность, а вдруг она потом не сможет мне это простить? И вообще я надеялся,

что, когда мы сбежим и обоснуемся в Верхнем Мэйхеме, ее отец уж как-нибудь нас простит и снова будет мне покровительствовать и доверять.

Кончались такие разговоры всегда одинаково: приходилось снова остерегаться, хитрить, терпеть и не терять мужества, и вскорости я так свыкся со своим образом жизни, так уверовал в свои силы и способности, что приходилось глядеть в оба, как бы не оступиться. Я чувствовал — уж слишком я становлюсь самоуверенным, как бы это меня не погубило, да только воображал: раз я сам это понимаю, значит, мне уже ничто не грозит. Но ведь если дурак знает, что он дурак, он все равно умней не станет.

Раз вечером я повел Полли в свой любимый ресторанчик. Мы не виделись три дня. И еще не выпили ни глотка вина, а наши руки уже потянулись друг к другу и сомкнулись над столом, моя — горячая, ее — прохладная.

— Давай выпьем за наш отъезд,— предложил я.— Дело теперь за тобой. Скажи только слово. Я — готов. Поверенные уже все сварганили, через несколько дней все бумаги будут у меня на руках. Майкл Каллен станет владельцем недвижимости.

Полли казалась встревоженной, что-то ее точило.

— Мы просто возьмем и убежим?

— А как же? Мы ведь уговорились?

Она отняла руку, взяла стакан.

— Майкл, милый, сейчас я тебе что-то скажу, только не думай, что я глупая.

Все нутро у меня похолодело, стало ледяным, как это вино, которое мы пили.

— О чем ты, крошка? Никогда я о тебе так не подумаю.

Официант спросил, что мы будем есть.

— Позволь, я закажу,— сказал я.

Полли улыбнулась:

— Люблю, когда ты распоряжаешься.

Я велел подать для начала копченых угрей, потом итальянские пельмени, эскалоп и на сладкое — zabaglione. Официант отчалил, и она опять взяла меня за руку.

— Ты ведь знаешь, Майкл, у нас очень дружная семья... понимаешь? Я не в силах причинить папе с мамой большое горе.

— А я ничего такого от тебя и не требую,— сказал я; покуда мы не поженились, мне ее папа с мамой были до лампочки.— Это хорошо, что ты не хочешь их огорчать. Я тебя за это еще сильней люблю, если только можно любить сильней.

— Так вот,— продолжала Полли, и я приготовился к самому худшему,— я им все про нас рассказала.

Я чуть не свалился со стула.

— Ну и они как?

— Они приняли это очень хорошо. Отец тебя, конечно, знает, и мама помнит, но они хотят тебя повидать. Если ты в пятницу не работаешь, они приглашают тебя к обеду.

— Честное слово?

— Я очень волновалась, но не могла им не рассказать — мы ведь никогда ничего друг от друга не скрывали. По крайней мере подолгу. А если я возьму и убегу с тобой, они будут в ужасном горе. На такое у меня в последнюю минуту просто не хватит духу.

— Ну и хорошо, крошка.— И я огляделся, нет ли поблизости моггерхэнгеровских ищеек.

— Я рассказала, как мы влюблены друг в друга. И отец совсем не рассердился, сказал, чтоб я не волновалась.

Я пожалел, что заказал столько всякой еды, но, когда ее подали, принялся уплетать за обе щеки. Сейчас бы положиться на господа бога, да вот беда: мой оптимизм придушили еще в колыбели. Я боялся: Моггерхэнгер теперь вцепится в меня и либо разом прикончит, либо так прижмет, что придется удирать на край света, лишь бы спасти свою шкуру, и тогда прости-прощай и Полли, и мой полустанок. Но при этом ел я столько, можно было подумать — страх, который во мне засел, тоже был голодный.

— Все очень вкусно,— сказала Полли, видя, с каким аппетитом я ем; мы ждали следующего блюда, и она поглаживала меня по руке.— Все будет хорошо, Майкл. Ты понравишься моим, вот увидишь.

— Надеюсь,— храбро сказал я.— Я ведь, если захочу, кому хочешь понравлюсь, сама знаешь! Я влюблен, и уж ничто другое меня не волнует.

Когда я шел на обед к Моггерхэнгерам, я, понятное дело, волновался. Да и как могло быть иначе? Мне просто-напросто было страшно, вроде сам сую голову в петлю — Моггерхэнгер-то не дурак. А ведь если поглядеть с его колокольни, выходит, я хочу украсть у него дочь. Правда, он, само собой, приобретет сына, об этом тоже не надо забывать (так я говорил себе, когда покупал большой и дорогой букет для хозяйки дома, я знал, он больше всего любит, чтоб все делалось как положено), да ведь такого Моггерхэнгера это вряд ли утешит, видал он эдаких сыновей — уж конечно от них отбою нет. В общем, надо быть начеку: он, пожалуй, захочет как-нибудь круто со мной разделаться. И все-таки я не терял надежды на удачу, может, нам с Полли и повезет. Моггерхэнгера я уважал — уж больно крепко он стоял на ногах, а только все равно не любил я его. Не скрою, я был бы рад, если б он провалился в тартарары, но я знал, этого не будет, и знал: хоть и тащу в его логово букет, ни черта эти цветочки мне не помогут.

Хосе отворил дверь и принял мой плащ. В прихожей появилась миссис Моггерхэнгер.

— Очень рада, что вы смогли прийти, мистер Каллен. Муж и дочь прогуливаются в саду. Пойдемте и мы туда. Такой славный вечер.

Мы прошли через гостиную и вышли в сад. Миссис Моггерхэнгер была выше и тоньше Полли, но тоже темноволосая и в молодости была, наверно, еще красивей — хоть ей уже стукнуло сорок пять, и то бы я от нее не отказался. Лужайку заливал мягкий розовый свет, он растворялся в окружающей зелени, а поодаль, у кустов сирени, стояла Полли под руку с отцом и что-то ему говорила. Мне бы радоваться встрече с будущим тестем и тещей, да что-то мне тут не нравилось.

— Привет, Майкл, рад снова тебя видеть,— сказал Моггерхэнгер, да так дружелюбно, я чуть было ему не поверил. Поверить очень хотелось, но защитные силы моего подлого характера нипочем с этим не соглашались, и эта мучительная настороженность весь вечер меня не оставляла. Моггерхэнгер сказал, что хочет показать мне сад.

— Я интересуюсь садоводством,— сказал я,— люблю цветы, особенно розы, только мало в них смыслю.

Полли улыбнулась — умница, мол, ведешь себя как надо.

— Они лучшие друзья человека,— сказал Моггерхэнгер.— Я так говорю, потому что терпеть не могу собак.

— А мне придется почитать книжки по садоводству,— сказал

я.— У меня есть несколько акров земли и дом поблизости от Хантингборо. Там еще надо навести порядок.

— Это я научила Клода садоводству,— сказала миссис Моггерхэнгер, и в ее голосе слышалась скромная гордость.

Он выпустил руку Полли и взял под руку жену.

— Да, это все она, Майкл. И сад уберег нас от многих ссор. Когда я покупаю дом, мне всегда надо, чтоб там было вдоволь хорошей земли — насадишь всяких цветов, вот и есть на что поглядеть. При моей работе у меня не больно много свободного времени, но уж если я свободен, я никогда не скучаю. В Брайтоне у нас квартира на верхнем этаже, и мы развели на крыше шикарный сад. А когда ездим за границу, уж обязательно созорничаем, правда, Агнесса? — Он ухмыльнулся.— Обязательно контрабандой провезем домой какие-нибудь цветы. На таможне все проходит без сучка без задоринки. Эти ребята — они ко мне не цепляются. Знают, наверно, что́ там у меня, да я им подмигну — и порядок. Десяток-другой фунтов на благотворительность здорово помогает.

Агнесса рассмеялась.

— Бог с тобой, Клод, ты ведь никогда ничего такого не делал.

— Тебе это невдомек, мать,— чуть жестче возразил он.

— Становится прохладно, как бы Полли не простудилась,— сказала она.— Правда, детка?

— Ну что ты! — воскликнула Полли и прямо у них на глазах откровенно и нежно мне улыбнулась.

Я сел в кресло и потонул в нем. Слишком оно оказалось низкое и мягкое. Сразу захотелось подняться и встать во весь рост у камина — так бы я выглядел куда выигрышней. Но я остался сидеть и взял предложенное мне виски.

— А у вас что сейчас за работа? — с улыбкой спросила миссис Моггерхэнгер.

Я рассказал ей свою обычную сказку, но все сошло хорошо, потому как я ее малость приукрасил, сказал, будто меня переводят на более ответственную должность: наша фирма открывает новые отделения в Европе и даже в Турции, и моя задача так все наладить, чтоб мы и поле деятельности расширили и притом получили экономию.

Миссис Моггерхэнгер решила, что она сделала свое дело — беседа завязалась,— и пошла посмотреть, все ли в порядке с обедом.

— Полли говорит, вы с ней влюблены,— сказал Моггерхэнгер, и Полли встала и сказала, она пойдет посмотрит, не надо ли помочь на кухне.

«Влюблены» прозвучало у него так, будто он застукал меня, когда я пытался взломать его сейф, да притом уж очень неумело. Я встал.

— Садись,— сказал он.

Но я не сел, а отошел к каминной полке и допил свой стакан виски: не желал я слушаться этого гада, хоть он и папаша Полли и мошна у него чуть не самая толстая во всем Лондоне... или, по крайней мере, во всем Илинге.

— Я в нее влюблен,— сказал я,— влюбился с первого взгляда.

Он усмехнулся.

— Чего ты злишься, будто ядовитой слюной брызжешь? Я просто хотел услышать это от тебя самого, вот и все.

— Виноват, если говорил слишком резко,— сказал я,— но можете поверить, я в лепешку расшибусь, лишь бы она была счастлива.

Моггерхэнгер встал, пошел за бутылкой виски.

— Еще налить?

— Да.

— Не думай, будто ты на коне,— сказал он, нависая надо мной, как туча.— До этого еще далеко. Я знаю, ты малый не промах, вот я и хочу после обеда кой о чем с тобой потолковать. Мы уйдем в кабинет, а женщины пускай займутся своими делами. А пока давай выпьем.

Он только пригубил виски, и мы пошли в столовую. Никогда еще мне не было так мало радости от еды. Каждое слово я старательно взвешивал и только потом выпускал на волю, а уж там оно действовало, на благо мне или во вред, и так же вели себя Моггерхэнгеры-старшие и даже Полли. Она сидела тихая, такая покорная, и это было хуже всего, хоть изредка она и пыталась повернуть разговор в какое-нибудь новое русло. Но всякий раз беседа затухала, так и не разгоревшись.

К концу обеда заговорили про всякие места в Европе, куда ездят отдохнуть и поразвлечься,— про Клостерс, Монте-Карло, Мальорку, Кортина д'Ампеццо — мол, где лучше. Места все мне незнакомые, но я прикинулся, будто везде побывал, и разговор пошел веселей, в общем лед начал таять. И когда мы поднялись из-за стола и пошли опять в гостиную, мне дышалось уже куда легче. На беду, глубокие кресла опять сделали свое черное дело. Они были вроде одиночных окопчиков, засел тут — и уже никак нельзя вести беседу, можно только перестреливаться.

Чуть не весь вечер я гадал, что же у него ко мне за разговор. Добрый час мы через силу толковали о всякой пустяковине, потом Моггерхэнгер встал и попросил Полли и ее мамашу извинить нас. Я понял, что день-другой не увижу Полли, попрощался с ними и пошел за Моггерхэнгером в его «библиотеку». Здесь и впрямь были книги, стеллаж из пяти полок, а на них полно романов, я такие хоть убей не стал бы читать, но среди других я заметил и книги Джилберта Блэскина — «Влюбленные вампиры» и «Седьмое шоссе».

Глубоких кресел здесь, к счастью, не было, не то я совсем бы озверел и схватился бы за нож, я взял его со стола под конец обеда и сунул в карман. Стены были обшиты дубовыми панелями, Моггерхэнгер остановился у письменного стола, ни у него, ни у меня явно не было желания садиться.

— Коньяку?

— Плесните.

Он подвинул ко мне бутылку и ящичек с гаванскими сигарами.

— Одной хватит,— сказал он.

— Виноват,— сказал я и развернул сигару.

— И давай выкладывай нож. Из моего дома никто еще не выносил нож, разве что в спине.

Он засмеялся своей шуточке, и даже мне показалось, он ловко сострил. Я выложил нож на стол и подумал: лучше бы мне его не брать, потому как в кармане моего выходного костюма застыл соус.

— Мне просто интересно было, заметите ли вы.

Он сел на стол.

— Не люблю, когда упившиеся щенки устраивают мне экзамен, так что ты поосторожней.

А я и так был настороже, я ведь знал: хоть он носит золотые запонки и от него несет лосьоном, он настоящий дикарь, страшный тип, посвирепее всякой акулы.

— Так чего вы хотите? — спросил я.

— Не знаю, с чего начать,— усмехнулся он.

Да, Полли дала маху, зря она раскрыла ему нашу тайну. Конечно, он ей отец, но она ни черта про него не знает, она думает, он деловой человек, честный собственник, а он только и делает, что

прибирает к рукам чужую собственность. Под его злобным покровительством нам нипочем не пожениться, так что уважительно я с ним говорю, нет ли — все едино.

— Жалко, ты от меня ушел.

— Вы меня сами уволили,— сказал я.

— Твоя правда.

— Ну, а я и не мечтал всю жизнь просидеть в шоферах.

— Бывает работенка и похуже.

— И получше тоже.

— Хорошо, что ты так думаешь. Я со временем подыскал бы тебе кой-что получше.

— Я был своевольный, ничего не мог с собой поделать,— сказал я.— Но теперь уже начинаю себя обуздывать.

— Тогда, стало быть, еще не все потеряно.

— Это вы про что?

Он сел на крутящийся стул у письменного стола.

— Ты ведь хочешь войти в нашу семью, вот я и попрошу тебя доказать свое хорошее отношение к нам, свою преданность. Жене ты нравишься, это точно, о Полли и говорить нечего. А мне... что ж, я всегда считал, ты далеко пойдешь, да оно и видно, недаром же ты занялся такими делами. Приятно было услыхать от Полли, чем ты занимаешься.

Он пристально и жестко на меня поглядел, чуть усмехнулся, и я понял: ему ясно, что у меня на уме. Будь у меня хорошая бомбочка, чтоб прикрыть отступление, я бы повернулся и ушел. Немалого труда мне стоило сдержать улыбку, гримасу, необдуманную остроту — меня аж замутило.

— Трудней всего не болтать про свою работу,— сказал Моггерхэнгер.— Это я по себе знаю. Ты еще молодой, а только если б это мои дела болтались на кончике твоего длинного языка, я б не поглядел на твою молодость. Я понимаю, ты думал, это не опасно, мужчина своей девчонке рассказывает такое, чего и родной матери не доверит. И откуда тебе было знать, что у Полли сроду не бывало от меня секретов? Она иной раз и подержит что-нибудь про себя, да недолго — рано или поздно все равно признается мне или матери, и уж ты мне поверь, это самое правильное. Кто доверит мне что-нибудь стоящее, в накладе не останется, я уж буду за него до тех пор, покуда он сам будет держаться. А это не пустяк. Это, черт подери, очень много, Майкл, очень много, и я хочу, чтоб ты это знал.

Он даже разволновался, таким я его еще не видал. Да, такой будет властвовать до скончания века.

— Преданность — это самое лучшее, что есть на свете, Майкл,— неожиданно спокойно продолжал он.

Кому преданность-то? — подумал я, будто не знал, про что он толкует, а он продолжал свое, и меня аж затрясло, дальше — больше.

— Лавочку Джека Линингрейда я знаю сто лет. Я, если хочешь знать, был одним из ее основателей, да только сразу после войны меня выперли, придрались к одной малости... Я тогда еще не вошел в силу, не то что теперь... Это было делом рук того ублюдка под колпаком, он тогда еще здоровый был, бодрый. Лавочка-то сколотилась в начале войны, приноравливаться надо было не к одним англичанам, а еще и к немцам, того гляди, головы лишишься, и я там был главная опора, все на мне держалось. Францию немцы оккупировали, другие страны тоже, а наши люди все равно разъезжали по всей Европе, даже в Россию иногда забирались. У нас были конторы в Лиссабоне, в Лондоне, в Гибралтаре, в Цюрихе, в Мадриде, а уж как мы переправляли золото, этого никто не узнает — не их собачье

дело. Работенка и впрямь была собачья: как покажется им, мы мало даем в лапу, так хватают наших ребят то англичане, то немцы. Бывали времена, черт бы их подрал, когда они высасывали чуть не весь наш доход. Правда, после войны дело поправилось — тогда как раз спихнули Черчилля... да только меня самого тоже спихнули. На поверку-то это даже пошло мне на пользу, у меня прибыло сил толкать другие дела, и я сбил капиталец почище, чем если б остался с джековой бандой. Это все давно было, а в нынешнем году, Майкл, задумал я опять прибрать их к рукам.

Я хотел было взять вторую сигару, а этот хитрый гад раз — и отодвинул ящичек.

— Проще всего было заслать туда своего человека, чтоб разведал все изнутри. Я так и сделал.

Я чуть не подавился дымом.

— Уильям Хэй?

— Верно. У тебя шарики быстро крутятся, даже слишком. Только его застукали в Ливане. Я сперва подумал, это Джек постарался, решил от него избавиться. Ан нет, ведь если б Джек что про него пронюхал, тебя тоже засадили бы в эту яму в Бейруте, потому как это Хэй привел тебя к ним. Смекаешь?

— Меня аж пот прошиб,— сказал я.— Кровавый пот.

— Но они до этого не доперли. Ты чист, как стеклышко, сынок! А значит, можно действовать дальше.

— Да на что она вам опять понадобилась, эта лавочка? Или уж очень большую деньгу думаете зашибить?

Он расхохотался.

— Ничего подобного. Денег у меня куры не клюют, больше и желать нельзя, а то сам себя перестану уважать. Помираю со скуки — вот и затеял, надо ж на что-то употребить мозги и талант, не то основной капитал будет истощаться.

— Стало быть, вы мне предлагаете занять место Уильяма Хэя.

— Ай да Майкл! Вот бы мне такого сына! Ну, не взамен дочки, понятно! А теперь, глядишь, сбудутся мои самые несбыточные надежды — ты ведь, пожалуй, станешь моим зятем. Чего ж мне еще надо?

— Мои дела идут на лад,— сказал я.

— Согласишься выполнять, что я скажу,— пойдут еще лучше.

— А что именно?

— Просто сообщай мне, кто что делает, что, куда и когда переправляют. Тебе это раз плюнуть. У тебя на это талант.

— Если вы не против, я хочу денек-другой подумать.

— Еще того лучше. Язык наш — враг наш, а спешка и того страшней. Но ты, конечно, понимаешь, разговор у нас секретный, кому-нибудь заикнешься — жди беды.

— Зарубил на носу,— сказал я.— Но как же вы сокрушите такую организацию? Она, скажу вам, здорово крепкая и разветвленная.

— Это уж моя забота. Я все обмозговал. Ты только скажи — ты со мной, а уж когда я приберу ее к рукам, поставлю тебя главным управляющим. Заведешь дом, машину американской марки, яхту, а в жены возьмешь Полли, и, можешь поверить, лучшей жены тебе вовек не сыскать, да и лучшего тестя тоже, если уж на то пошло.— Лицо у него стало жесткое, и он продолжал: — Если такой парень, как ты, будет внутри этой паршивой лавочки, джековы ребята живо угодят в сети закона, я уж об этом позабочусь, Джек Линингрейд только диву будет даваться, почему это господь бог на него ополчился. А потом я самолично навещу этого паралитика, разнесу в щепы

его колпак, и он у меня издохнет, как рыба на суше. Так что подумай хорошенько, Майкл. Будем с тобой ворочать большими делами.

— Обещайте мне одну вещь, тогда подумаю всерьез.

— Любую,— сказал он.

— Узнайте, где Уильям Хэй, и помогите ему.

— Заметано... Жди его домой через неделю или две. Ни о чем его не спрашивай, встречай как брата и героя.

Он сказал, его шофер может меня подвезти до дому, но мне хотелось пройтись пешком: в голове все ходило ходуном, и я надеялся, ночной воздух поможет мне собраться с мыслями. Неохота мне работать на Моггерхэнгера, пускай это даже против моих же собственных интересов. Я не только не доверял ему — я люто его ненавидел. Правда, я здорово привязался к Полли, но я ведь думал, мы сбежим и заживем в Верхнем Мэйхеме, я надеялся — там он нас не разыщет. Всю жизнь обходился без отца, обойдусь и дальше. Тьфу, даже думать тошно. Какой уважающий себя человек захочет обременять себя отцом? Только не я, и я шел по улице, а в кармане у меня позвякивали две серебряные вилки, и я курил одну из шести сигар, которые прихватил из ящичка без ведома всевидящего Моггерхэнгера. Даже если б я решил отказаться от тепленького местечка у Джека Линингрейда, все равно не стал бы служить Моггерхэнгеру — он прельщал меня карьерой выдающегося гангстера, да мне она ни к чему, мне своя голова дороже. А уж Полли он за меня не отдаст ни при какой погоде, хоть бы я и помог ему сызнова прибрать к рукам лавочку Джека Линингрейда. И все его разговорчики насчет преданности и что он горой за тех, кто ему услужил,— пустой треп. Он получит что ему надо и даст мне ногой под зад, а потом заставит Полли забыть обо мне, выдаст ее замуж — и все дела.

Когда я подумал, что же она ему нарассказала, меня прошиб пот. На первый случай ему вполне хватит. А только почему она это сделала? Объяснить ему, что мы влюбились друг в дружку и хотим пожениться, отлично можно было и без этого. Я шел домой, и меня одолевали страшные подозрения: мне казалось, Клод уже заправляет шайкой Джека Линингрейда и ломает комедию — хочет проверить, верен я им или нет. А может, это вообще началось уже давным-давно, он тогда нарочно подстроил, чтоб мы с Полли летели в Женеву одним самолетом, знал: мы познакомимся, какой бы парень не познакомился с девушкой, если б летел с ней вместе. У меня даже носки пропотели от страха. А может, она ему и не дочь, может, он взял ее из какого-нибудь своего клуба, чтоб она сослужила ему такую службу.

Пришел я домой — и сразу звонок: наутро, мол, надо лететь с грузом в Цюрих, и мне враз полегчало. Я думал и думал о предложении Моггерхэнгера — и прошел через таможню, будто во сне.

Назавтра я вернулся из Цюриха и сразу отправился в штаб-квартиру — хотел получить деньги и сообщить, что все сошло хорошо. Стэнли отворил мне дверь, лицо у него было мрачное.

— Что случилось? — спросил я.— Или фирма обанкротилась?

— Брось свои дурацкие шуточки, Майкл! — заорал он.— Входи быстрей. Главный хочет с тобой говорить.

— А я — с ним,— сказал я.— У меня паршивые новости.

К моему удовольствию, он даже отшатнулся.

— Какие еще новости?

— А вот какие! — заорал я.— Я сыт по горло этими поездками по три сотни за раз. Я один из самых опытных ваших курьеров, мне

полагается четыре сотни, не меньше, и я требую прибавки. Соловья баснями не кормят.— Я швырнул к его ногам свое пальто — сам поднимет или пускай эта контрабандистская спецовка тут сгниет.

Стэнли попробовал меня утихомирить.

— Да ладно, Майкл, может, тебе и прибавят, только смотри не брякай прямо сразу, говори поосторожней, он сегодня не в себе Артура Рэймеджа схватили, когда он отчаливал в Лиссабон.

Стэнли говорил, а сам уставился на меня в упор.

— Ну, чего смотришь? — крикнул я.— Рэймедж был чемпион, лучше него не было человека в нашем деле. Чего ждешь? Думаешь, буду радоваться, что не я попался? Черт вас всех подери, кто-то не умеет держать язык за зубами!

Будто бы в горе, в ярости — а только это и могло меня спасти,— я отпихнул Стэнли и как бешеный ворвался в логово Джека Линингрейда, изо всех сил себя подхлестывая. У колпака стояли Коттапилли и Пиндарри, я их едва знал, но все равно пронесся через всю комнату и орал, что Рэймеджа продали, что это дело рук самого Линингрейда — он-де снял трубку и позвонил в лондонский аэропорт, втемяшилось ему в голову, будто Рэймедж зазнался и хочет расколоть организацию, стать во главе одной половины, а потом прибрать к рукам и вторую. А теперь ему конец, как Уильяму Хэю, и с Уильямом это тоже все сам Линингрейд подстроил.

— А теперь и я загремлю! — разорялся я.— Я уж чувствую. Вот и работай на эдакий гадючник! Вы заодно с таможенниками, вы что угодно можете с нами сделать. А потом и твой черед придет, Коттапилли, и твой Пиндарри, будьте уверены, и этот жирный слизняк, этот паралитик сам это знает. Мы для него просто марионетки, восковые куклы; сдрейфит или решит: пора — и живо нас в тюрягу упрячет. Он псих. Мы все ему верны, а ему мерещится — у нас только одно на уме, как бы его продать. Или просто злость на него находит, уж не придумает, как бы провести время, себя ублажить,— вот и подстраивает, чтоб нас схватили. И кого решит погубить, тому три четверти груза дают фальшивым золотом.

Я без умолку орал всякий бред, повалился на колени, потом на пол, вскочил на ноги, прислонился к стенке всего шагах в десяти от Железного и давай всхлипывать, а сам все время не спускаю с него глаз. Он аж позеленел, на висках, пониже черных редких лоснящихся волос, вздулись вены. И из стереорупоров со всех сторон загромыхал его разъяренный лай:

— Заткнись, лживая морда! Что ты мелешь!

Он поднял крупнокалиберный револьвер, направил на меня.

— Я человек верный,— сказал я, успокаиваясь.— Я работал на всю катушку, мистер Линингрейд. Можете на меня положиться, уж я не подведу. А если я что и сказал сейчас лишнее, так ведь эта новость меня как ножом полоснула. Жуть да и только. У меня прямо в глазах потемнело. Не могу я никуда ехать.

Он даже улыбнулся:

— Надо, мистер Каллен. У нас запарка. Срочное дело, молния. Вы говорите, вы человек верный, вот и поддержите нас.

Я стоял у самого колпака.

— Тогда гоните за поездку четыре сотни. Меньше мне нельзя, я купил дом, и у меня полно расходов.

Он прищурился. Ох и ненавидел же он меня, а сказать-то сейчас ничего не мог.

— Вы, часом, не женитесь?

— Вот еще. Просто мне требуется тихое местечко, чтоб было где отдохнуть между поездками, а то ведь и спятить недолго.

— Где же это?

— Беркшир,— сказал я.— Домишко небольшой, а кусается... что твой крокодил.

Джек Линингрейд ухмыльнулся, опустил свою пушку.

— Ладно. Четыре сотни. Но завтра утром — в Афины.

Я уходил, а сам только об одном и думал: хоть бы самолет в Грецию грохнулся вместе со мною, тогда конец всем моим бедам. Ведь я так влип — хуже некуда! Ясно же, кто подстроил, чтоб схватили Артура Рэймеджа. Клод Моггерхэнгер, больше некому: либо, не назвавшись, звякнул в лондонский аэропорт, либо решил услужить своему приятелю инспектору Лэнторну — может, тот недельку-другую будет глядеть сквозь пальцы на его художества. А кто сказал Моггерхэнгеру — мол, Рэймедж в золотом корсете каждую пятницу летает в Лиссабон? Его ненаглядная Полли. Кто спятил от любви и сдуру сболтнул ей? Я, да только я и не думал, что она это намотает на ус, а тем более в точности передаст папаше. А он зачем это сделал? Чтоб испортить всю музыку Джеку Линингрейду, это само собой, а главное — предупредить меня: иди, мол, ноздря в ноздрю с Моггерхэнгером, не то погоришь, как Артур Рэймедж. А Джек Линингрейд подумал: только я мог выдать маршрут Артура Рэймеджа, больше некому. Может, он бы прямо сразу меня и прикончил, такое у него было сволочное настроение, потому я и разыграл приступ ярости, будто я какой одержимый, да еще потребовал прибавки. И пока это подействовало. Теперь ему сам бог велел установить за мной слежку, мне дышать и то придется с оглядкой... нет, такая жизнь не для меня.

Но ведь если я смоюсь, меня все позабудут, а это тоже не по мне. Слишком далеко я зашел, насилуя и ломая себя, чтоб все оказалось зря. Мне нужна Полли, хоть она и предала меня самым бессовестным образом. Теперь уж ясно как день: с ней все было подстроено с самого начала. А все равно она мне нужна, нужна, как никогда, и как раз оттого, что предала меня, теперь-то я и почувствовал: мы созданы друг для друга, мне и не снилось, что в ней кроются такие глубины, столько всего намешано. Сколько раз я подминал ее под себя — счету нет, зато теперь она классно подмяла меня. Я думал, я уже вполне могу жить в джунглях, а выходит, я едва способен уцелеть даже на самом краешке. Да разве я могу с легким сердцем отправиться в Афины, я ж буду думать: Моггерхэнгер в любую минуту звякнет по телефону и меня задержат.

Я поехал. И вернулся. Просто, видно, Моггерхэнгер решил дать мне погулять дольше, чем я надеялся. Одно у меня было утешение в этой игре в кошки-мышки: мой счет в банке продолжал расти. Я заплатил наличными за полустанок в Верхнем Мэйхеме, взял документы на владение и запасные ключи, свез все в Ноттингем и запер в бабушкину шкатулку. Будь что будет, а здесь они в целости-сохранности. Работы стало поменьше. Может, в Англии уже не осталось золота, да ведь колеса джековой машины все равно бы не остановились, потому как он не только вывозил золото, но и ввозил! Я катил с грузом за границу, а другой в это время катил с таким же грузом в Англию. И обе поездки приносили доход, и все были рады и счастливы.

Вот я и приехал на несколько дней в Ноттингем. Мать не стала отпрашиваться с работы, а мне и одному было хорошо. День выдался холодный, ветреный, я поднял воротник пальто и, попыхивая сигарой — она ведь тоже согревает,— пошел прошвырнуться по Уоллатон-роуд. Давненько я тут не был, но все по-прежнему было близкое, хорошо знакомое. Здесь я родился, и все здешнее у меня в крови. Что ни

говори, а место, где родился и вырос, навсегда останется самым важным, все равно, где бы потом ни жил и чем бы ни занимался. Только здесь я чувствовал себя недосягаемым для всех на свете Моггерхэнгеров и Линингрейдов, здесь чувства имели под собой почву, память означала безопасность и знание всех и вся — силу.

Я свернул на Натхолл-роуд, и на меня повеяло неистребимым запахом вечернего тумана — он спускался с угольных копей и Пеннинских гор. Он пронял меня аж до самого сердца, все мое нутро взыграло, даже на девчонку потянуло. Что и говорить, я попал в переплет, но не так уж меня это напугало, кровь по-прежнему играет, значит я еще жив!

Я помягчел и тут увидел Клодин: она выходила из магазина самообслуживания и положила корзинку с покупками в детскую коляску, прямо в ноги спящему малышу. Она первая меня заметила, но даже если б я первый ее увидал, я все равно бы не улизнул. Она вся побледнела, и я, конечно, тоже, это уж как пить дать. Я поглядел на малыша — наверно, ему около года,— розовый, толстый, он мирно спал.

— Гляди, гляди, подлый ублюдок,— сказала она.

Я улыбнулся.

— Он у тебя как огурчик.

— Это девочка.

Я еще раз глянул.

— И ты на нее не нарадуешься?

— Ну, ясно. И Элфи тоже.

У меня отвисла челюсть.

— Элфи?

— Это его ребенок. Мы через это и поженились. Как раз вовремя.

— Выходит, я свободен. А я собирался звать тебя замуж. Я загреб в Лондоне кучу денег и последние три месяца выправлял бумаги на дом для нас с тобой, около Хантингборо, местечко что надо, за городом, заплатил наличными. Там сад — закачаешься, полно цветов, думал, он тебе понравится. И работу там подыскал — управляющим в фирме проката автомашин. Только у меня все не как у людей. Моя жизнь загублена. Сызмалу так было и, видно, до самой смерти так будет, черт возьми совсем.

— Надеюсь,— сказала она.— Свинья ты, вот ты кто. Да-да, надеюсь. Ты весь изоврался. Ненавижу тебя! Элфи в тысячу раз лучше, слава богу, что я под конец вышла за него, а не за тебя. Он, по крайней мере, меня любит, думает не только о себе. А ты — да начхать мне, как ты там преуспел в Лондоне, все одно тебе не сносить головы, это уж точно. В этом твоем местечке тебе тоже скоро станет жарко, а может, уже и стало. Я ведь тебя знаю, там, видать, запахло жареным, вот ты и смылся оттуда. Или, может, ты только вышел из тюрьмы? И не пяль на нее глаза, хоть бы и твой ребенок, все равно, нечего! Надеюсь, не будет в ней твоей погани, а вообще-то я, слава богу, опять в положении и уж теперь-то от Элфи.

Я опустил голову, прикинулся эдаким любящим.

— Жалко, что ты так настроена. Я не хотел тебя растревожить. Я думал, может, мы опять будем вместе. Затем и приехал. Я всегда был в тебя влюблен, сама знаешь, и сейчас тоже, хоть ты и подставила мне подножку, вышла за Элфи. Я уж не виноват, что ты меня не дождалась.

— Ох, да какой же ты поганый! — взвыла Клодин, да так громко — мимо шли женщины, нагруженные рыбой и хлебом, они уставились на нас во все глаза.

Клодин заплакала и пошла от меня, и даже малышка стала буянить под корзинкой со всякой бакалеей.

Я повернул назад, глядел ей вслед, и погано было у меня на душе.

Конечно, я поступил с ней как последний гад и здорово жалел об этом, но у ней-то, по крайней мере, теперь есть дочка и муж. И такая меня взяла досада — жуть. Я весь вспотел и несся, будто кто меня гнал.

Мать пришла с работы и говорит: давай, мол, не унывай.

— Вечно у тебя сердце не на месте, только и знаешь себя грызть. Не можешь, что ли, отложить все на потом, поживи еще малость, тогда и волнуйся.

Альберт работал допоздна, не мог с нами пойти, а мы сели на тридцать девятый и поехали в центр — решили посидеть часок-другой в винном погребке Йейта. Я заказал ей портвейн, а сам потягивал коньяк.

— Ты и впрямь выходишь за Альберта?

Она рассмеялась.

— Или приревновал?

— Да нет. Этого добра мне и так хватает. Просто жизнь какая-то длинная.

— Вот и хорошо, не то бы мы все уже померли.

На вид она была хоть куда — совсем еще молодая, перманент был ей к лицу, и накрашенные губы притягивали взгляд, отводили его от морщинок в уголках глаз — такая в два счета кому хочешь голову вскружит.

— Я еще и родить могу, коли придет охота,— усмехнулась она.

Мне даже чудно́ сделалось — вроде не верится, а только если это и впрямь случится, у меня появится братец, и он будет дядей какому-то моему новому мальцу-безотцовщине.

— Жизнь — она не только длинная,— сказал я,— она еще и путаная, настоящая каша.

— Покуда не простыла да вкуса не потеряла, оно еще ничего. Не знаю, Майкл, чудной ты какой-то. Бывает, вспомню твоего отца и думаю: ты весь в него.

Я залпом выпил рюмку коньяку, но вкуса не почувствовал, что тебе газированная водичка.

— Ты говорила, у меня отца не было,— сказал я и тут же пожалел о своих дурацких словах, услыхав материн ответ:

— Может, думаешь, ты Иисус Христос? Твой отец тоже вот так опрокидывал рюмку за рюмкой. И всегда заказывал мне портвейн. Чудно́. Этот нахал говорил, он, мол, думал — все женщины-работницы любят портвейн, и ведь не ошибся, я-то и впрямь его люблю. И ходили мы с ним в это самое заведение — в ту пору и выпивка-то не всегда была,— а уходили, когда здесь уж запирали, а на улицах затемнение, темно хоть глаз выколи, вот и шли домой, спотыкались на каждом шагу. Отец твой был помоложе меня, хоть я совсем еще девчонка была. Молодой сержант, а только разговаривал как офицер. Ох и славно мы с ним провели времечко, а потом его отослали в другое место. Он даже прислал мне письмо, а может, два, а как я написала ему — я, мол, беременна, он сразу бросил писать. Я до того обозлилась, взяла да сожгла и письма его, и фото.

Тут я почувствовал, что весь побелел, не терпелось узнать побольше.

— Что ж ты мне раньше ничего не говорила?

— Да как-то ни к чему было. Ты ж знаешь, у меня голова дырявая, ничего не помню. Красивым его не назовешь, но живой такой был, а по разговору слышно было — из образованных он, а все равно такими забористыми словечками сыпал, страх, всякий разговор ими пересыпал. А все ж лицом ты не больно на него похож. Моего в тебе уж очень много. А у него голова чудна́я такая была, и лысеть он начинал, хоть было-то ему всего двадцать. Но до чего ж удивительный

был парень — язык срамной, а сам другой раз до того бывал нежный да ласковый, прямо даже робел, за это я, может, его больше всего и любила. Месяц он, можно сказать, жил у меня, говорил — здорово интересно жить в таком вот доме, а все одно без бутылки виски не приходил, только тогда ему и было у нас уютно, когда выпьет. Славно нам с ним бывало. В войну я зарабатывала хорошо, вот и удалось исхитриться — заполучить собственный домик, тем более Джилберт помог. Он был такой — что хочешь насочиняет. Ухватит служебный автобус — и прямо ко мне. А то, бывало, ждет меня у фабрики — вот, помню, я радовалась! Только ему не говорила. Не то совсем меня засмеял бы: вот, мол, нежности, а мне обидно, я на такие слова злилась, даже посудой в него кидала, покуда не уймется. Любил он это дело — сидит и нарочно меня дразнит. Я его звала Бес Блэскин, и тут уж он хохотал прямо до упаду. И чего только мы не вытворяли, сыну всего и не расскажешь. А ты чего это весь побелел? Я думала, тебе от выпивки плохо не бывает.

Тяжелый ком, который я давно уже чувствовал внутри, вдруг колыхнулся, вроде рвался наружу.

— Пойду глотну свежего воздуха,— сказал я и встал.— Здесь духотища смертная.

— Ты и вправду страх как побледнел,— сказала мать и взяла меня за руку.— Что это с тобой?

Внутри у меня опять заворочался тяжелый ком.

— Давай выйдем отсюда.

— Ну, пошли, черт возьми.

Мы спустились по лестнице, и на свежем воздухе я малость очухался. Мать совсем растерялась, видно, думала, я вот-вот свихнусь, а что делать — непонятно, чашек да стаканов под рукой нет и кинуть в меня нечем.

Мы вышли на Слэб-сквер, освещенная ратуша казалась такой высоченной, я подумал: хоть бы она рухнула и похоронила нас обоих. Этот гнусный кобель с похабной своей башкой ничуть не изменился, так весь век и бегает по бабам. Бросает одну за другой, и к нему мигом кидаются новые, и всех ждет та же невеселая участь. Прожженный негодяй, обманщик, каких свет не видал,— и если матери не изменяет память, этот пенкосниматель, книжный червяк, который не сеет, не жнет, только весело живет, он-то и есть мой ничего не подозревающий родитель.

Мы зашли в «Восемь колоколов» и даже сумели отыскать местечко.

— Слушай,— сказал я,— я знаю этого типа, и похоже, он каким был, таким и остался.

— О господи,— сказала она.— Лучше ничего больше не говори, чтоб мне не расстраиваться. Так давно все это было, а ты опять все переворошил, я и расчувствовалась. Будто я по сю пору в него влюблена, в жеребца поганого. Сколько лет ведь была влюблена. А потом вроде забыла его. Да разве такое забудешь! Для женщины потерять любимого — почти все равно что ребенка потерять.

Я чуть не плакал, и не только от того, как меня перетряхнуло, и не от коньяка: я еще представил себе, до чего трудная была у матери жизнь, а все из-за Джилберта Блэскина и из-за меня — безотцовщины: я ведь не давал ей забыть подлеца. Чтоб как-то отвлечь мать, я немного рассказал ей о нем, хотел показать, какой он стал, а если удастся, и немного развенчать его в ее глазах.

— Поглядела бы на него сейчас. И смотреть-то не на что.

— Ну и я не лучше,— сказала она.

— Нет, лучше.

Она вспылила:

— Заткнись! Когда назад поедешь?

— Завтра,— сказал я.— Уехал бы нынче, да последний поезд уже ушел. Когда выходишь за Альберта?

— Через полтора месяца,— с готовностью отозвалась мать, будто я сменил пластинку.

— А может, тебе приличней выйти за Джилберта Блэскина? — спросил я, и она так громко расхохоталась, все в пивной стали на нее оглядываться: что, мол, такое у нас происходит, уж не над ними ли мы потешаемся?

Я поехал дневным поездом, он протискивался на юг через узкий туннель Трентского моста. В полях под проливным дождем как вкопанные стояли коровы, будто они и сами из дождя и хотят впитать его и еще раздуться. Я не успел позавтракать и теперь пошел в вагон-ресторан подзаправиться, но пока до него добрался, меня так растрясло, даже вроде есть расхотелось.

Я знал, в Лондоне меня ждут тревоги и заботы, но едва принялся за еду, и мне уже показалось — не так страшен черт, и скоро уныние как рукой сняло. Поезд мчал чуть не галопом, суп выплескивался из тарелки, даже трудно было за едой читать газету. Я поглядел, может, какой мой однофамилец помер, или женился, или его следует помянуть добрым словом, потому как он отдал свою славную жизнь в какой-нибудь войне — а их много идет сейчас в мире,— или, может, кто обручился, или у кого родился законный младенец. Да только ничего такого в газете не обнаружил и стал просматривать объявления — какие продаются дома и машины; но все оказалось не по моему требовательному вкусу.

Потом я проглядел колонку происшествий — может, за последние сутки таможенники зацапали Рона Коттапилли или Пола Пиндарри, этих двух столпов «компании» Джека Линингрейда. Ничего такого не оказалось, а только если я буду гнуть свою линию, этого недолго ждать. На вокзале Сент-Панкрас я сразу пошел в автомат и позвонил Моггерхэнгеру.

— Кто говорит? — спросил он.

Я сказал: я обмозговал его предложение. Он засмеялся.

— Так и знал, что ты не скоро объявишься, Майкл. Люблю, когда человек ничего не делает наспех, но ты больно надолго исчез, я уж думал, может, с тобой что случилось, может, зацапали тебя. Не похоже, конечно, да ведь при твоей работенке всяко бывает. Я слыхал, по вашей фирме порядком стукнуло, верно? Это я про Рэймеджа. Судьба, она, бывает, так оглушит — зашатаешься. Я насилу удержался, чуть было не послал Линингрейду телеграмму: соболезную, мол. Да, так что ж ты решил?

Я, пока слушал его лицемерные шуточки, до того распалился, аж вспотел от злости.

— Буду работать на вас,— сказал я.— Без дураков. Буду служить у Линингрейда, а как что узнаю, сразу вам звякну. Или Полли, это ведь все равно, как я понимаю. Иду на это только ради нашего с ней будущего счастья. Понятно?

Его голос так загрохотал, мне прямо показалось, он в соседней будке. Я даже с опаской оглянулся, но нет, рядом никого.

— Если будешь на меня работать, давай меняй тон. Я, знаешь, люблю по старинке. Раз ты так со мной разговариваешь, всякому ясно, на кого ты работаешь, а мы ж не хотим, чтоб об этом прознали, так что придется тебе малость сбавить тон, верно я говорю, Майкл?

Надеюсь, ты это поймешь, а я уж пойму — ты это делаешь ради будущего счастья Полли, ну и своего тоже. Так что ж, на одной волне мы с тобой или нет? Говори, и будем считать — дело сделано.

— На одной,— ответил я, а сам старался не пыхтеть в трубку и сдерживался, чтоб не выругаться.— Я звоню вам. Вы мне не звоните. Так будет лучше.

— Мы вот как сделаем, Майкл,— сказал он, будто и не слыхал моих слов.— Как что узнаешь — звони мне. А я никак не буду с тобой связь устанавливать, может, только иной раз найдешь записку у себя под тарелкой в том твоем итальянском ресторанчике. Старик Тонио у меня на жалованье, иной раз даю ему случай мне помочь.

— Что ж, ладно.— И я собрался с ним попрощаться, но он уже повесил трубку. Не было у Моггерхэнгера такого в заводе — прощаться, он боялся, это принесет ему несчастье. По его разумению, прощаться — только попусту слова тратить.

Затем потопал я к Блэскину: пускай женится на матери, покуда она еще не повесилась на шею этому никчемушнику Альберту. Мне-то уж теперь наплевать, что я безотцовщина, таким и останусь, покуда в землю не зароют, а вот пускай он мою мать сделает честной женщиной. Больно долго он скакал пустоплясом по свету, пускай теперь отольются кошке мышкины слезки, мои то есть. Я проехал на метро до Слоун-сквер и прошел несколько кварталов до дома Блэскина. Ох и повезло ж ему, что я его не застал, постоял я у дверей, покурил, поразмыслил, да и двинул прочь — через Темзу, восвояси.

Вошел в гостиную, гляжу: на кушетке сидит Уильям и эдак лениво листает «Ивнинг стандард». А у ног — два чемодана. Я на радостях расплылся до ушей, подхожу, а он мне:

— Пошел вон, чертов предатель.

— Что-о?! — заорал я.

Он поднялся, криво так ухмыляется.

— Не бойсь. А только и тебе этого не миновать. Не по моей вине, нет. Я-то буду ни при чем.

— Да в какое ж это я угодил болото? — сказал я и налил нам обоим.— Сроду никого не предавал. Тебя замели, потому как ты работал на Моггерхэнгера. Линингрейдовская отрасль британской промышленности про это пронюхала, вот тебя и цапнули.

Уильям взял стакан с виски.

— Все это время, парень, я просидел в мусульманской кутузке для рабов вместе с пиратами и, знаешь, отвык от неразбавленной выпивки.

А все ж он вылакал свою порцию, будто это апельсиновый сок.

— Коли ты говоришь правду, а похоже, так оно и есть, тогда следующий будешь ты — ведь это я тебя привел.

Меня опять прошиб пот.

— Тебя замели, потому что бейрутским легавым захотелось моггерхэнгеровских денежек — выкуп им был нужен,— сказал я первое, что пришло в голову.

Он горько засмеялся.

— Поступай как знаешь, больше мне и сказать нечего. А я вырвался — спасибо Клоду. Зашел за своими вещичками. Я опять в бегах, Майкл. Линингрейд и его бражка еще не проведали, что я вернулся. Как проведают, меня живо накроют. Это уж не сомневайся. Сказать по правде, не знаю, куда податься. Спустят на меня Коттапилли и Пиндарри, а они псы свирепые. Изорвут в клочья. Моггерхэнгер меня прятать не станет. Я ему уже звякнул, а он заржал и говорит: больше, мол, мне на глаза не попадайся. Через двадцать минут придет такси, поеду на вокзал. А на какой вокзал ехать — и сам не знаю.

— Подавайся на Кингз-Кросс,— сказал я,— и брось волноваться. У меня как раз есть подходящее местечко.— И я рассказал ему, как приобрел полустанок.— Там глушь. Никто тебя не найдет. Купишь кровать да стол — и всего делов, будешь в полной сохранности. Живи сколько хочешь. А через месячишко я и сам туда подамся. С деньгами у тебя как, порядок?

— Насчет этого не беспокойся,— сказал он.— А ты друг что надо, Майкл. Век этого не забуду. Я ведь сейчас и впрямь чуть не утоп в дерьме — Линингрейд как узнает, я вернулся, враз почует неладное.

— А он не узнает.

— Как бы не так. Его ищейки уже пронюхали, что я смылся из Бейрута. Моггерхэнгеровский человек посадил меня на самолет — тогда они еще не знали, а завтра кинутся меня искать, пока-то меня еще никто не выследил.

— Они как узнают — ты вернулся, а я им не доложил,— меня еще больше станут подозревать. Вот это переплет.

— Что верно, то верно, парень,— сказал Уильям и грустно так на меня поглядел — по глазам сразу видно было, что на душе у него грусть-тоска смертная. Куда девались портфель-чемоданчик, шикарный костюм, модная стрижка и модная шляпа, а без всего этого да после бейрутской выгребной ямы он такой был пришибленный и затравленный, будто за ним уже гнались по пятам.— Слушай-ка, может, давай вместе махнем на твой полустанок? — сказал он.— У меня есть два револьвера и патроны. Вдвоем в бегах легче. И уж коли они нас выследят, угостим их на славу. Вот честное слово, умней не придумаешь.

Я понимал, он дело говорит.

— Не могу. Сперва надо тут все закруглить. А через месяц там увидимся.

И в эту минуту в дверь позвонили.

— Надеюсь,— сказал Уильям.— Только помни, я тебя предупреждал.

Я выдавил из себя улыбку и помог ему с багажом.

— Не забуду.

Жалко мне стало, что он уезжает. Он увез с собой долю моего мужества, правда, кое-что осталось — хватило, чтоб позвонить в штаб-квартиру. Разговаривал я превесело, и Стэнли отвечал мне очень даже прекрасно. Хотел бы я притормозить, чтоб все неслось не так быстро, но это только навлекло бы на меня подозрение, значит, надо катить и дальше на полной скорости да глядеть в оба, как бы не свернуть себе шею. Капля пота на лбу может меня выдать, случайный пустяк, плохо зашнурованный башмак. Мне нельзя слишком худеть, не то они еще подумают: я трушу, ведь я играю с огнем.

Стэнли сказал — меня ждет обычное дело. Полечу послезавтра во второй половине дня, чтоб Коттапилли и Пиндарри успели улететь в Швейцарию. А потом неделю могу отдыхать. Я сказал, я буду у него в три, но Стэнли велел пообедать пораньше и приехать к двум: надо, мол, успеть нагрузиться.

— Я на все готов,— сказал я.— Похоже, нынче дела у фирмы первый класс.

— Наши клиенты нам доверяют,— сказал он со смешком и, еще не досмеявшись, повесил трубку.

В семь я перешел на другой берег Темзы и двинулся в берлогу Блэскина. Дверь отворила Пирл, и на ее мордочке не выразилось никакого удивления, а мордочка стала еще меньше прежнего — Пирл

коротко постриглась, лоб закрывала челка, и она уж совсем стала похожа на зверушку из телевизионного мультика.

Джилберт поднял на меня глаза.

— Какого черта вас принесло? Я думал, вы навсегда завязли в этом грешном Ноттингеме. В последний раз мы ведь, кажется, виделись, когда вы сходили с поезда в этом городе? Не сказать, чтоб я много помнил. Я тогда изрядно напился.

На нем был халат цвета сливы, в пасти — сигарета. Розовый череп совсем лысый — седеть нечему, зато серая щетина на морде выдавала возраст.

— Садитесь, выпейте чего-нибудь.

— Вид у вас неважнецкий,— сказал я и сбросил пальто.

Пирл примостилась на ковре у его ног — того гляди, снимет с него шлепанцы и начнет целовать ему ноги. Но она только прижалась к ним щекой.

— Были кое-какие неурядицы,— признался он, запрокинул голову и выстрелил в потолок струей дыма.

— Джун?

— Она,— рассмеялся Джилберт.— Ненадолго ее хватило, оттого, верно, и сбежала с этим шарлатаном — поэтом Роном Делфом. Так или иначе, я от нее отделался.

— Бедный, бедный Джилберт,— сказала Пирл.— Он несколько дней не ел, я пришла, а он лежал у газовой плиты пьяный, плакал и пытался открыть краны.

Он дернулся и резко поднял ногой ее голову.

— Это все твои жалкие выдумки, лживая сука. Не пересочиняй мою жизнь на свой лад, не то вышвырну тебя из окна прямо в помойку.

— Это у вас так все время? — спросил я: думал, может, они перестанут лаяться.

— Только при вас и вообще при свидетелях.

Джилберт улыбнулся.

— Когда мы одни, мы как два голубка, правда, лапочка?

— Да,— сказала Пирл и опять прижалась щекой к его туфле.

— Она хочет довести меня до сумасшедшего дома, но я сам ее доведу,— сказал Блэскин.

— Рад видеть, что вы так счастливы,— сказал я.— А как «История резни»?

— Паршиво. Написал пятьдесят страниц, а потом стал резать лимон и поранил палец. Ну и отложил все это. Опять взялся за роман. Идет отлично, ничего лучше я еще не создавал. Слава богу, что отделался от этой шлюхи Джун. Она переметнулась к Рону Делфу.

— У Джун от него ребенок, в восемнадцать лет родила,— сказал я.— Может, они теперь поженятся.

Он прошелся к дверям и обратно.

— Она мне не говорила, чей это ребенок. Ну и ладно, еще одна с плеч долой.

— Не огорчайся,— пыталась его утешить Пирл.

Он налил себе лошадиную дозу виски, поднял стакан и посмотрел на свет.

— Моча. Разве что покрепче. От виски я только начинаю брюзжать, да и то ненадолго, правда, Пирл? Поди свари нам, бога ради, черного кофе.

Он залпом выпил виски. Пирл покачала головой и пошла варить кофе.

— Вы были во время войны в Ноттингеме, верно? — спросил я.

— Не давайте мне больше пить, Майкл.

— С чего это?

Он швырнул стакан об стену, тот разбился вдребезги.

— Сам себе не дам. А в Ноттингеме — да, был... солдатский поцелуй, который кончился триппером. Мы все туда рвались. Ноттингем был красой Англии. Наверно, он до сих пор такой, да?

Вошла Пирл и поставила у ног Джилберта поднос.

— Неужели у вас не сохранилось о нем никаких чистых, целомудренных воспоминаний?

— Я устал от мазохисток,— сказал Блэскин.— Но только таких женщин я и привлекаю. А когда у меня заводится женщина другого склада, мы без конца сражаемся на равных, а потом расстаемся.

— А детей у вас много? — спросил я.

— Ни одного, насколько мне известно. Забавно бы иметь двоих-троих, я бы и их жизнь тоже поломал. И возненавидел бы себя еще сильней. Наверно, никто на свете так себя не ненавидит, как я. Оттого-то мне ничего больше и не оставалось, как засесть за романы. Надо ж было кому-то сбыть свою ненависть, а для этого лучше всего подходит огромное неразборчивое стадо — английская публика. Несколько тысяч читателей во всяком случае наберется, а это лучше, чем ничего. Ух, как же я себя ненавижу, я даже не личность — у меня только и есть что роман в душе, а в руке то, чему положено быть между ног. Пирл знай себе записывает, а кофе пока стынет.

Пирл поскорей налила ему кофе, даже кофейная гуща выплеснулась на блюдце. Если мне станет слишком опасно дальше знаться с шайкой Джека Линингрейда, я всегда могу опять здесь спрятаться, если только выдержу занудный поток блэскиновых жалоб на судьбу. Прямо страх берет, что я его сын, спасибо хоть, он этого еще не знает. Пожалуй, не надо мне навязывать матери в мужья такого истрепанного старого потаскуна, неважную я ей окажу услугу. Кофе пролился ему на халат, и вдруг мне стало его жалко: ничего этот попрыгунчик не добился в жизни, а в ту пору мне казалось — ничего страшней быть не может. И притом я понимал: если я и впрямь захочу у него спрятаться, он может и не разрешить, все равно — узнает он, что я его сын, или не узнает, а все ж хотелось ему сказать, хотелось убедиться, до чего же это гнилая душонка.

Пирл принесла еще подносы, поставила перед нами холодный ужин.

— Если что и есть в этом доме, так гостеприимство,— сказал Джилберт.— Первым делом еда, потом любовь, а на долю сатаны — цыплячья ножка.— При этих словах он разодрал цыпленка пополам, положил мне на тарелку костлявый и жилистый кус, себе мясистую заднюю часть, а Пирл тем временем принялась за рыбу и салями.— Вот теперь я начинаю припоминать смачный, злачный Ноттингем,— засмеялся он.

— А как насчет девчонки по имени Элис Каллен? — спросил я.

— Что-то знакомое. В Ноттингеме у меня была только одна девчонка — в ту пору я был робок, хотя она, думаю, вряд ли это заметила. Рассылал стихи по разным журнальчикам, все это было задолго до того, как я опустился до писания романов. Потом кончилась война, и я вступил в свой первый злополучный брак. Он продолжался семь лет, и жена полагала, что она обо мне заботится, спасает меня ради меня же от самого себя. Бедняжка надорвала сердце и скончалась, а через полгода я опять поймался на крючок. Второй попытки тоже хватило на семь лет, а потом моя жена нашла прибежище в объятиях человека своего уровня: он тараторил двадцать часов в сутки и все ни о чем, и он был много моложе ее — тоже очень кстати, он ее отвлекал, а я пока что проводил время с жен-

щинами много моложе себя. Так или иначе, все это с грехом пополам тянулось одиннадцать лет. Где она сейчас, понятия не имею. Зато я теперь просто наслаждаюсь жизнью с моей малюткой Пирл.

Он повернулся к ней и спросил зловеще-ласковым тоном:

— Пойдешь за меня замуж, детка?

Она вспыхнула, подняла голову от тетради, потом побледнела.

— Ты это всерьез, Джилберт?

— Вот видите, даже она научилась меня мучить,— сказал он мне.— Жизнь делается не лучше, а хуже. У меня уже начались головные боли.

— Это рак,— мстительно сказала Пирл.

— Если вы когда-нибудь женитесь, Майкл, держитесь за жену всю жизнь — каждая следующая всегда хуже предыдущей. Вначале Пирл была кротка и послушна, а ведь сейчас она прямо злобный тигренок. Да, молодые деньки в Ноттингеме и еще в разных местах — лучшее время моей жизни. Я частенько подумываю вернуться, разыскать девчонок, которых знал в молодости, и, может быть, жениться на которой-нибудь, если она еще ничего. Только, наверно, у всех у них уже вставные зубы, а этого я не вынесу — мои зубы будут по одну сторону кровати в стакане с надписью «его», а «ее» — по другую сторону, и мы забудемся сладким сном, а они станут злобно лязгать друг на друга, точно крокодилы. Или окажется, что она накручивает волосы на эти жуткие громадные стальные бигуди и ночью они станут выцарапывать мне глаза. Нет, это не по мне. Но Элис Каллен я и правда помню — вы с ней в родстве?

— Она моя мать,— сказал я. Он изрыгнул на стол недожеванного цыпленка, казалось, его сейчас хватит кондрашка.— В последний раз, когда я ее навещал, она все мне про вас рассказала,— продолжал я.— Так что я ваш сын.— И я растолковал ему, ошарашенному, что и как.— Она после этого так и не вышла замуж,— продолжал я.— Сдается мне, она по-настоящему одного вас и любила, только не призналась, потому что гордая всегда была, самостоятельная. Сейчас-то, я так думаю, она на вас и не поглядит. Да и вообще она через месяц выходит замуж за хорошего человека, он коммунист, вы ему и в подметки не годитесь. Ей наверняка будет с ним хорошо.

Блэскин встал — и не пьяный был, а на ногах держался не твердо.

— Пирл, поди на кухню, принеси из холодильника бутылку шампанского. По такому случаю надо выпить. У меня ни от одного брака не было детей. Я думал, что я бесплодный, да, наверно, с женами так оно и было. А теперь, оказывается, у меня сын от моей первой и настоящей любви... правда, в ту пору я не знал, что она и есть настоящая.

Он подошел ко мне, и я тоже встал, в руке нож.

— Положите его,— сказал Блэскин.

А я и не заметил, что держу нож.

— Почему вы бросили Элис Каллен? — И вдруг на меня обрушились воспоминания о Клодин, и я уже ничего больше не мог сказать. Ведь если говорить по чести, оставалось только пожать ему руку, мы ж с ним одного поля ягода.

— Не стану уверять, что я об этом сожалею,— сказал он,— потому что я и правда сожалею.

Он уставился на меня, а я на него и сам не знал, какого черта я впутался в эту историю. Пирл с бокалом шампанского в руке свирепо глядела на нас обоих, особенно на меня, будто мы все это разыграли назло ей, и я понял: она здорово меня невзлюбила. Я-то хотел только одного — чтоб все было просто, но едва я это всерьез

осознал, как понял: этому не бывать. Теперь, когда я нашел своего отца, я даже не мог его ненавидеть за то, как он поступил с моей матерью: ясно же, мне от него не будет никакого проку. Ну и хорошо, что мне не извлечь из него проку, зато у него не будет случая подточить силы моей души. А прибавить мне сил он не может, у него у самого нехватка. Оттого что мы с ним повстречались, мне пришлось лишний раз пошевелить мозгами — только и всего. Пока мы пили шампанское, он чудно так на меня поглядывал, боялся меня, что ли. Он и впрямь был потрясен, и я даже подумал: со скуки или от пустоты, того гляди, вскорости повесится. Но эта дурацкая мыслишка недолго продержалась у меня в голове, и тут он попросил, чтоб я рассказал ему, как мне жилось на свете. Я сперва наотрез отказался, сказал: он, поди, просто хочет после вставить все это в какой-нибудь свой роман. Он заплакал и сказал: верно,— и меня разобрал смех, а Пирл кинулась за таблетками, ну, я взял да и наплел ему про себя с три короба — ни словечка правды, а такое, что он, по-моему, хотел услыхать. Немного погодя я сказал: пойду схожу в уборную, а сам подхватил пальто — и деру, даже прощаться не стал.

Обошел несколько раз Слоун-сквер, потом позвонил из автомата Моггерхэнгеру. Ни ответа ни привета, гляжу — ящичек для монет отодран. В другом автомате набрал номер Блэскина, а у будки уже стояли двое, тоже хотели звонить.

— Алло? — сказал Блэскин.

— Это Майкл.

— Я думал, вы в уборной! — крикнул он.

— Я ушел. Я в Хэмпстеде. Не хочу вас больше видеть, слышите? Никакой я вам не сын, и вы мне не отец, влейте это в свой поток сознания.

Я с маху повесил трубку, даже не дал ему ответить, и протиснулся из будки. На полпути в «Конец света» вдруг вспомнил: ведь я не позвонил Моггерхэнгеру. Из первой же телефонной будки соединился с ним.

— Послезавтра собираюсь в Женеву,— сказал я.— Пиндарри и Коттапилли утром едут в Цюрих.

— Век не забуду твоей услуги. Теперь ты для меня первый человек.

— А с Полли можете меня соединить?

— К сожалению, нет,— сказал он, и я чувствовал: Моггерхэнгер старается засмеяться.— Поехала в Женеву повидаться со школьной подругой. Денька через три-четыре, наверно, будет... Может, тебе повезет, она тебя там дождется.

На ближайшее время прогноз лучше некуда, и я попрощался с Моггерхэнгером, вышел на свежий воздух и взял курс на реку. Вот бы провести несколько дней с Полли у Женевского озера! Красота! Перед этим вся неразбериха в моих делах и делишках сразу показалась мне совсем пустяком. Надо только не сдрейфить, быть начеку и не дать маху, надо набраться терпения, не горячиться да заклинать счастье, чтоб не изменило,— вот буду твердить все это как молитву, тогда выплыву из омута целый и невредимый и все у меня пойдет как по маслу. Я спущу пиратский флаг и заживу в Верхнем Мэйхеме под своим собственным флагом блаженства с моей лапочкой Полли Моггерхэнгер.

В ту ночь я спал крепко, безо всяких снов, и слава богу. Я думал, день перед поездкой в Женеву я проведу один, тихо-мирно, но, покуда я завтракал, раздался телефонный звонок. Кто б там ни

звонил, мне неохота было брать трубку. Я стал считать звонки, думал, больше пятидесяти не прозвонит, да на тринадцатом звонке мое терпение лопнуло. Снял трубку, сказал резко:

— Алло?

— Майкл? Это Бриджит.

Я ждал кого угодно — Полли, Линингрейда, мать, Блэскина, даже Моггерхэнгера, только не Бриджит.

— Как поживаешь, крошка моя? Я тысячу раз тебе звонил.

— Врешь ты все! — крикнула она.— Я никак не могу тебя застать.

— Что случилось? — Она заплакала, и до меня донеслись ее всхлипывания. Мне уж не впервой было слышать, как женщины плачут, и теперь я не злился, а жалел их.— Ты что, милая? Чем тебе помочь?

— Скорей приезжай,— сказала она.— Смогу плохо!

— Сейчас прилечу вертолетом номер два,— сказал я.— А что с мальчишкой?

— Доктор Андерсон погиб на прошлой неделе в автомобильной катастрофе на автостраде. Да это-то ладно, не огорчайся. Позавчера его похоронили. Мне его не жалко. А Смог ничего не ест. Свернулся в темноте и даже глаза не открывает.

Дальше я слушать не стал, бросил трубку, схватил пальто и кинулся бежать.

На углу я поймал такси и велел шоферу жать вовсю, сказал: я только что узнал, у меня заболел сынишка, его жизнь в опасности.

— Будет сделано, друг,— сказал таксист и первый же перекресток проскочил на красный свет.— Я вас не убью,— засмеялся он.— Садитесь поудобней да успокойтесь малость.— Он промчался через Челси, Кенсингтон, мимо Гайд-парка и через Сент-Джонс-Вуд. Я предложил ему сигару.— Зажгите и давайте,— сказал он. Мне почти не видно было его лица, он был в кепке, в очках, лет, наверно, сорока.— Что б ни делали, сперва успокойтесь,— сказал он.— Все обойдется. Уж вы мне поверьте. Детишки — они часто болеют, да это ничего, поправится. Сколько ему?

— Семь.

— Вот и хорошо. Самое опасное до пяти. А что с ним?

— Сам не знаю. Жена только что позвонила. Не мог от нее добиться толку.

— Женщины всегда так,— сказал таксист.— Ничего, друг. Зато они делают все, что могут.

— И даже больше,— сказал я.

Так мы промчались по городу, и скоро машина затормозила у лестницы, которая вела в сад. Я протянул таксисту два фунта, он взял один.

— Не терзайтесь уж очень-то. Держитесь!

— Всего вам доброго! — крикнул я и помчался в дом, а у самого прямо ноги подкашивались.

Я позвал Бриджит. В гостиной ее не было. Половина мебели исчезла, и по всей комнате на полу валялись чемоданы. Понятно, Смога совсем перевернуло. Как тут толком горевать по отцу, когда в доме все вверх тормашками? Меня вдруг ударило — до чего жестоко мир обходится с малолетками, и я кинулся в кухню. На электрической плите из кастрюльки выкипало молоко и вовсю воняло подгорелым. Бриджит здесь не было, я кинулся наверх, в спальни, заглядывал во все двери и наконец нашел ее.

Она стояла у окна, глазела на улицу.

— Я видела, как ты поднимался.

— Какого ж ты черта не вышла и не открыла дверь?

Я дико обозлился, но вдруг увидел Смога — он сжался в комочек на кровати. И вроде спал.

— Ну, что тут у вас? — Я понизил голос на случай, если он и впрямь спит.

Я знал, Бриджит хочет, чтоб я ее поцеловал и утешил, да только я думал о Смоге, а ей не больно сочувствовал. Она была в черном свитере, в черной юбке, в черных чулках и в черных домашних туфлях с черными помпонами — похоже, с головы до пят обрядилась в траур. Наверно, и ночная рубашка у ней черная, и если в случае чего ей понадобится вата, так тоже найдет черную.

Смог тяжело вздохнул и повернулся ко мне лицом, а глаза не открыл.

— Он пьет теплое молоко. Уже четыре дня больше ничего в рот не брал.

— А доктора ты не позвала?

— Нет еще. Его мать приезжала на похороны, а потом сбежала, бросила нас. Уехала в Шотландию.

— И он у тебя все время спит?

Она зажгла сигарету и кивнула.

— Поди в кухню, свари ему овсяную кашу,— сказал я,— потом нальешь в нее холодного молока, да положи масла. И сахару побольше. Сумеешь?

— Конечно сумею.

Она вышла. А я погладил Смога по щеке, и он посмотрел на меня.

— Ты что это? — спросил я.— Я пришел тебя навестить, хотел взять тебя погулять.

— Папа умер.

— Я твой папка. А я-то думал, ты знаешь. Я ж тебе сколько раз говорил.

— Ты дядя,— сказал Смог.

— А теперь и папка.

Он был очень бледный, губы в ниточку и розовые, будто их намазали помадой. Ноги у него подергивались под одеялом.

— Как себя чувствуешь?

— У меня в голове звенит.

— Будто телефон?

Он улыбнулся.

— Нет, будто один большой колокол.

— Это, наверно, уховертка взбунтовалась и давай на нем качаться. У каждого в голове живет уховертка. А знаешь, почему они забираются на колокол и звонят?

— Нет,— сказал он.— Почему?

— Это они тебе говорят — нам, мол, есть охота. Хотят, чтоб ты для них что-нибудь слопал.

— А я не голодный.

— Зато они голодные. Раз твоя уховертка так звонит в колокол, ей, видать, здорово не по себе. Хочешь, чтоб у тебя не звенело в голове, так надо чего-нибудь съесть.

Он оперся на локоть и сразу повалился.

— Правда?

— Правда.

Он подумал.

— А уховертки что больше всего любят?

— Да они ведь разные. Одни вроде тигров, этим подавай сырое мясо. Другие едят яичницу с беконом. А если они долго не ели, для

них первое дело хороший завтрак. Сдается мне, твоя из таких. Для начала надо немного овсяной каши, теплой, с молоком. На час уховертка успокоится. Потом съешь омлет.

— Неправду ты говоришь.

— Послушай, Смог, разве я когда тебя обманывал? Может, сказки рассказывал, только не врал. Ты попробуй, а не перестанет звенеть, будешь знать — я тебе все наврал. Или, может, ей просто требуется омлет.

— А где же каша? — спросил он.

— Не знаю, может, ее и нет. Я сейчас буду завтракать, начну с овсяной каши. Бриджит принесет ее сюда на подносе — чтоб я мог с тобой разговаривать, покуда ем. В пакете овсянки оставалось на донышке, но уж так и быть, дам тебе ложечку, просто чтоб успокоить уховертку. Понимаешь, если ее не накормить, она скоро кликнет на помощь своего дружка ежа, он тоже влезет на колокол, чтоб звенел погромче. Ну, вот и Бриджит, а то я прямо не могу дождаться завтрака. Я всегда начинаю с овсяной каши, так что смотри не зевай, я ведь живо ее умну, тебе ничего не достанется.

Я ухитрился скормить ему почти всю кашу. Он попросил еще и омлет, но я дал ему глотнуть водички, прилег рядом на кровать, и он в два счета уснул.

— Сейчас пол-одиннадцатого,— сказал я.— В час разбудим и дадим гренок и яйцо. Вот увидишь, он теперь будет есть. Если я останусь на весь день, он к утру оклемается.

Я аж вспотел, так старался его накормить, и теперь мы с Бриджит пошли на кухню попить кофе.

— Я знала, что ты его накормишь,— сказала она.— Потому и доктора не позвала.

— Спасибо за такое доверие, только больно уж ты рисковала: вдруг бы Смог не выжил? А что это у тебя за чемоданы в гостиной?

— Еду в Голландию со Смогом недели на две.

— А потом что?

— Вернусь сюда. Этот дом мой.

— Будешь здесь жить?

— Продам.

Я сам сварил кофе: она сперва пролила молоко, потом рассыпала сахар.

— Останься со мной, Майкл. Мне одной не справиться.

— Сегодня останусь. Завтра я работаю. Еду на несколько дней в Швейцарию. Как приеду, дам о себе знать. Надо вытаскивать Смога. Сейчас попьем кофе и пойдем в гостиную, унесем чемоданы. Расставим мебель, малость приберем, а потом притащу вниз Смога, пускай увидит — всюду полный порядок, никакой неразберихи. Я сейчас только о нем беспокоюсь. Никогда я не верил, будто первым делом надо беречь женщин и детей, нет, беречь надо одних детей.

Мы прибрали гостиную, теперь здесь стало почти как при докторе Андерсоне. Бриджит села в одно кресло, я — в другое, рядом, и оба глядели через большие окна вниз, на газон.

— Извини, что я доставляю тебе столько хлопот,— сказала Бриджит и протянула мне руку.

— Да разве это хлопоты,— сказал я.— Жалко, что Андерсон умер. Раньше некогда было тебе про это сказать.

— Терпеть его не могла,— сказала Бриджит и выдернула у меня руку.

Я опять взял ее руку и встал, ей тоже пришлось подняться, и я прижал ее к себе. Ее слезы ожгли мне лицо.

— О чем ты плачешь? Не плачь, крошка.

Мне вдруг так ясно представилось, какая она была, когда мы встретились в первый раз,— пухленькая, румяная, она слушала мои враки и глядела на меня широко раскрытыми простодушными глазами, и пышные волосы были еще по-девичьи непослушные, не держались ни в какой прическе. А теперь проступил настоящий овал лица, чуть широковатого в скулах, а глаза озадаченные, несчастные — все не поймет, как это с ней такое случилось. Я взял ее щеки в ладони и стал молча целовать глаза, лоб, все лицо — говорить с ней было еще не время. Я когда кого целую, уж непременно скажу — я, мол, тебя люблю, никак не могу удержаться. Сейчас как раз и надо бы сказать эти самые слова, сдается мне, их она и ждала. Но не потому сказал я сейчас эти три слова, они сами у меня вырвались. А она отозвалась уж с таким жаром — мы сразу накинулись друг на друга, нам бы сейчас прямо на что-то опрокинуться, хоть на голые доски, только в таком доме наверняка найдется что роскошней.

— В целом свете ты один меня жалеешь.

— Ну, а как же. Я ж тебя люблю. Мы ведь с тобой спали, а с кем спишь, того должен любить, верно?

— Не знаю,— ответила она.

— А я тебя и не спрашиваю,— сказал я.

Мы пошли наверх, но мне было здорово не по себе — Бриджит все плакала, будто совсем потерялась, не знала, на каком она свете. Я только и мог, что лечь и крепко ее обнять.

— Ты своим родителям сообщила?

— Нет,— ответила она. — Да. Вчера написала письмо.

— Вчера? Письмо? — Я встал, зажег две сигареты.— А почему не позвонила? Или телеграмму бы послала.

Она улыбнулась, будто приятно удивилась своему неразумию.

— Не знаю. Правда, не знаю.

— Вот сумасшедшая.

— Знаю,— сказала она и опять заплакала.

Я обнял ее.

— Да нет, ты не сумасшедшая. Не плачь.

— Я не люблю своих родителей.

— При чем тут это?

— Я и в Англию приехала, чтоб отделаться от них.

Был уже час дня, когда мы оделись и пошли к Смогу.

Он лежал с открытыми глазами.

— Я вас слышал,— сказал он.— Вы что делали?

— Лежали в кровати и любили друг дружку,— сказал я.

— Это приятно?

— Ты голодный? — Я посадил его к себе на колени.— Бриджит готовит тебе еще завтрак.

— А уховертка ушла,— сказал он.— Колокол больше не звонит.

— Тогда дадим тебе сейчас яйцо, не то она проснется и опять примется за свои фокусы.

— Я хочу есть,— сказал Смог.

И он поел с аппетитом. Потом я стал читать ему одну книжку, другую, он все не хотел спать, но под конец уснул.

Я целый час бродил по Пустоши, по щиколотку в грязи и гниющих листьях. Пошел дождь, я заспешил к метро и ходил поблизости, пока не нашел книжный магазин. Увидал подержанную книжку Джилберта Блэскина за два шиллинга, но решил — дорого, и не купил. Все мне сейчас было неинтересно. Смог вроде начал приходить в себя, и я тревожился о завтрашней поездке.

Ребятня возвращалась из школы, пора было и мне назад. Казалось, твердая почва ушла из-под ног. Я повис в воздухе. Все, что сейчас происходит, никак не связано с тем, что должно случиться. Похоже, скоро конец света или неотвратимо надвигается что-то грозное. Обрубить бы канаты и удирать на всех парусах. Чутье подсказывало, где рубить и куда бежать, не было никаких причин его не слушаться. Но я знал: нет у меня надежды поступить, как велит чутье, а значит, мной завладела какая-то сила, еще посильней моего инстинкта. И играет мной. Меня потянуло убраться подальше от дождя, который пеленой заволок листья и кусты.

Я привел Смога вниз, в гостиную, и стал поить его чаем — он сидел у окна и с удовольствием глядел, как дождь разрисовывает стекло. Глаза у него уже не казались такими маленькими, как утром. Кожа — нежная, прозрачная, и, пока он не улыбнется или не попросит еще поесть, можно подумать — она прямо фарфоровая. Я сказал ему — я на несколько дней уеду, должен ехать по работе, а то не на что будет жить.

— А ты просто сходи в банк,— сказал он.

— В банке деньги только хранятся. Сперва их надо заработать.

— А я тебе их сделаю,— сказал он; весь рот у него был перемазан вареньем.

Ему уже не сиделось на месте, он помчался за фломастерами. Я нарезал бумажных квадратиков, и он их разузорил, но почувствовал — что-то здесь не то, и попросил меня нарезать еще. Потом попросил пятифунтовый билет — решил в точности его срисовать. А потом не захотел отдать обратно. Я сказал — ладно, даю тебе взаймы, а когда в субботу вернусь, ты, мол, мне эти деньги отдай, и если будешь вести себя примерно и хорошо есть, свожу тебя в магазин Хэмли и ты там на все пять фунтов накупишь игрушек. И он пошел спать очень довольный.

Я сказал Бриджит — я уезжаю ненадолго, и велел ей заботиться перво-наперво о Смоге, а потом и о себе, и она пообещала.

— Не люблю, когда летают самолетом,— сказала она.— Самолеты разбиваются.

— Со мной не разобьется. Этого я не боюсь. Я верю в это чудо техники.

Она еще прежде сбросила свои черные одежки и лежала сейчас в цветастом халатике, а на мне и вовсе ничего не было. Ночник освещал нас обоих. Я оделся, сказал — мне пора. Но мне боязно было, как бы с ней и со Смогом чего не случилось, будто я один был им опора и защитник, а без меня им грозят невесть какие напасти. Глупо, конечно, что я так боялся, а все оттого, что переоценивал свои силы, а их силы недооценивал. Бриджит вполне могла постоять и за себя, и за мальчонку. Но я еще со страхом думал, что ждет меня самого, когда я отсюда уйду, и пугало меня вовсе не то, что самолет ухнет вниз и разобьется.

Дождь перестал, в разрывах между тучами, которые гнал сильный ветер, мелькали звезды. Я уже спустился с лестницы и чуть было не повернул обратно. Но все же пошел прочь, и по звуку шагов можно было подумать: человек спешит. Если шаг у меня и впрямь был торопливый, я сам не знал, куда меня гонит, впервые в жизни мне стало по-настоящему страшно. Я шел через Пустошь, и на каждом шагу мне чудились засады, и я обрадовался, когда дошел до метро, до огней светофоров, и стал спускаться с Хаверстокского холма. Я решил идти домой через центр, ложиться в постель

еще не хотелось, вряд ли сумею уснуть. Каждая проносящаяся мимо машина успокаивала, от усталости мне наконец полегчало, я знал: утром я уже буду совсем спокоен.

Денек выдался хороший, прохладный, я принял ванну и побрился — хотел освежиться, да еще и смыть с себя грязь, ведь сегодня я надеялся встретиться в Женеве со своей Полли. Я сварил яйцо, потом позвонил Бриджит, сказал: я люблю и ее и Смога, пускай ждут меня в конце недели. Она пообещала, и я прямо почувствовал в ухе ее горячее дыхание. Она сказала: Смог здоров и плотно позавтракал. Сейчас он играет в саду с соседским мальчиком, сыном архитектора, того только что бросила жена. Смог уже строит планы, что он купит на те пять фунтов, когда я поведу его в игрушечный магазин. Хоть это приятно было услышать, и я повесил трубку.

Я стоял и глядел в окно на крыши и задние стены жилых домов, выходить было неохота — лень, что ли, одолела. Но скоро я подумал, каким хорошим завтраком себя угощу перед тем, как поеду в склад-квартиру Джека Линингрейда и пройду обычный обряд загрузки, и я надел пальто, шляпу, подхватил чемоданчик с пижамой и прочими мелочами, в последний раз обвел взглядом нашу берлогу и зашагал в Сохо. Река под мостом текла зеленая, маслянистая, я глядел на нее и ждал какого-нибудь знака. Ничего не дождался, а все равно приятно — вода течет, зыбится, вся в движении.

Я пришел в ресторанчик Тонио, и он встретил меня прямо как земляка. Теперь-то он мне не нравился: ведь Моггерхэнгер сказал — Тонио сообщает ему о приходе и уходе своих посетителей. Но я все равно улыбнулся, спросил, как жизнь, в общем, ничем себя не выдал. А когда он пошел передать мой заказ, я подумал (и только после узнал — так оно и было), он пошел звонить Моггерхэнгеру, что я, мол, здесь. Я, конечно, бросил бы сюда ходить, да уж больно хорошо Тонио кормил, а потом, если я перестану здесь обедать, Моггерхэнгер сразу меня заподозрит, и вообще, когда дело плохо, лучше поступать как хочется — на поверку оказывается, это ничего не меняет. Я не только поступил по-своему, я еще и всласть поел, а это очень кстати, ведь поездка предстоит дальняя — ни много ни мало в Бразилию.

Джекова бражка нагрузит меня золотом, я продам в Женеве один брусок, а с остальными быстренько махну в Рио-де-Жанейро. По разговору с Моггерхэнгером я понял: Полли вряд ли встретит меня на аэродроме, так что я прилечу и улечу еще до того, как она вздумает меня искать. Все мои планы были построены на песке, только потому и можно было надеяться на успех. Прилечу в Бразилию и пошлю за Полли, и в таком я был упоении — даже воображал, будто она с радостью приедет, а если станет разыгрывать неприступную или окажется, она уж очень под башмаком у Моггерхэнгера и не сумеет сбежать, тогда приглашу Бриджит со Смогом и уж они-то враз ухватятся за такое предложение. Все вилами по воде писано, только надежда крепка, и это хорошо, ведь у меня всегда так: чем крепче надеюсь, тем больше мне везет.

Я доедал zabaglione, и тут вошел Джек Календарь — вот уж кого мне в этот час вовсе не хотелось видеть. Я живо отодвинул от себя сладкое — не желал я сейчас его кормить — и закурил сигару. Подошел Тонио, вроде хотел спросить, подать ли мне кофе, а на самом деле собрался ухватить Джека за бороду и за ворот и вытолкать вон.

— Не тронь его! — рявкнул я.— Не то мы оба за тебя возьмемся.

Он глянул на меня как на сумасшедшего и пошел за вареным корнем одуванчика — у него это называлось кофе — по два шиллинга за чашечку с наперсток.

— Ну, какой счет? — спросил я Джека.— Чего стоите, садитесь. Я здесь в последний раз.

Он весь зарос седой кудрявой бородой, но был сейчас довольно чистый и от него не слишком разило.

— Счет десять — ноль в их пользу, но я не жалуюсь. Бросил наливаться всякой дрянью. И даже не голоден. Теперь молодежь дает мне деньги, я, так сказать, вписался в пейзаж. Все переменилось. Я у них не прошу, но они хотят быть великодушными, особенно те, кто беден. У некоторых, судя по виду, дела еще хуже моих, но они суют мне в руку медяк, а то и несколько.

— Это хорошо. Вы были на линии огня.

— Да,— сказал он,— но я не прочь отойти в тыл и месяц-другой передохнуть. Если мне это удастся, я наберусь сил и протяну до девяноста лет.

Его серые глаза выцвели, а сквозь бороду просвечивала белая как мел кожа.

— Я знаю одно славное тихое местечко, меньше ста миль от Лондона,— сказал я.— Вам бы полезно там пожить. Тот самый полустанок, я вам про него поминал.

Тонио принес нам кофе, а потом стал на пороге кухни и оттуда смотрел на нас. Я побоялся — вдруг ему нас слышно или, может, в столике спрятано записывающее устройство, и адрес написал Джеку на бумажке и еще сказал — там уже один человек живет, а имен никаких не называл. Потом набросал несколько слов Уильяму. Я понимал, они не больно сойдутся, и написал ему — пускай поселит Джека Календаря в зале ожидания, там он будет существовать сам по себе.

— Через несколько дней я тоже приеду,— сказал я,— погляжу, как идут дела. Денег на дорогу нужно?

— Если у вас есть, дайте фунт.

Я дал два, потом сказал — мне надо бежать, пора на работу. Я заплатил по счету, а на чай Тонио не оставил ни гроша — пускай, если угодно, доложит Моггерхэнгеру и про это. Он увидал, я ни монетки на столе не оставил,— и не подошел, не помог надеть пальто, ну, а я застегнулся и вышел на улицу. Как раз остановилось такси, кто-то вылез, а я вскочил.

День был предательский, небо над городом высокое, в нем маленькие облачка, а едва я приоткрыл боковое стекло, в машину ворвался холодный ветер — отличный день, прочищает мозги и будит, когда вставать еще неохота. Но я уже вышел в путь, верил, что все мне удастся, зорко смотрел вперед и чувствовал себя капитаном своей шлюпки, хоть она и дала течь.

Стэнли повесил мое пальто на плечики и в шкаф, там оно будет меня ждать.

— Коттапилли и Пиндарри уехали? — небрежно спросил я и надел сшитое на заказ непромокаемое пальто.

— Без сучка без задоринки.

— Хорошие ребята,— сказал я.— Ловкие.

Он, похоже, здорово устал — когда шел впереди меня в большой зал, даже сутулился.

— Вот билет в Женеву,— сказал он и сунул мне пластиковый бумажник.— Обратный.

— Надо думать.— Я засмеялся.— Я рассчитываю вернуться. Не вздумай и мне устроить такую подлость.

Он остановился, посмотрел на меня.

— Слушай, я сыт по горло твоими шуточками.

— А другие что, тебя не поддевают?

— Никогда,— ответил он.— Так что и ты давай кончай.

— То-то они и попадаются, раз у них нет чувства юмора.

Он аж вспотел.

— А кто попался?

— Рэймедж. Кто ж еще?

— В самом деле, кто?

— Пошли, не то я опоздаю.

Мне казалось, я очутился не среди хладнокровных, стойких контрабандистов, которые стараются перехитрить правительственных чиновников таможни и налогового управления, а среди сумасшедших. Я больше не ломал себе голову, что стану делать с золотом на пятьдесят тысяч фунтов, когда усядусь на него, будто наседка, в тени Сахарной Головы, сейчас я хотел только одного — добросовестно выполнить все, что от меня требуется, словно и впрямь собираюсь доставить их по условленному адресу для фирмы Джека Линингрейда, которая известна в Сити своей безупречной честностью.

Я зашагал через весь зал к колпаку.

— Доброе утро, мистер Линингрейд.

Он слушал пластинку — Шаляпин пел какую-то русскую песню, но Джек приглушил ее, и теперь она была еле слышна.

— Уже день,— сказал он.— Третий час.

Я, видно, был не в фокусе — он поворачивал зеркала и перископы, потом улыбнулся и спросил, готов ли я.

— Вы ж меня знаете,— сказал я.— Надеюсь, к двадцатилетию моей верной службы вы подарите мне золотые часы.

— Обсудим на правлении,— с сухим смешком сказал он.— А пока вы будете к этому чуть поближе, если начнете нагружаться.

Около меня на столе, покрытом фиолетовой скатертью, лежали пятьдесят тонких брусочков наилучшего золота, мое будущее богатство, на него я заведу большущее ранчо в Бразилии или в Аргентине и стану царствовать в своих обширных владениях. Я распахнул пальто, Стэнли опустил в один из кармашков первый брусок, я ощутил его вес и тепло, и мне показалось, будто все последнее время жизненные тревоги медленно переворачивали мне нутро, а теперь все там понемногу становится на место. Вот и второй брусок положен. Стэнли — умелый упаковщик, он всегда начинает сверху, чтоб под конец на пальто не осталось ни единой морщинки. Жалко, нельзя плыть в Бразилию пароходом вместе со Смогом и Бриджит, ведь тогда Смог коротал бы долгие часы, играя этими золотыми брусками на полу каюты, строил бы квадраты и пирамиды, треугольники и частоколы и глаза бы у него так и блестели. Я представлял себе это и улыбался, но вдруг заметил: толстая рожа Линингрейда повернута ко мне, глазки-буравчики уставились на меня из-за всех этих аппаратов железного колпака-спасителя — и мне стало не до улыбок.

Стэнли уложил третий брусок, и тут зазвонил телефон. Он снял трубку, Железный сразу же взял отводную.

— Когда? — крикнул Стэнли.— О господи!

Мне не понравилось, какой у него стал испуганный голос, но я решил — пока там с Линингрейдом ведут деловой разговор по телефону, я могу грузиться дальше, и взялся было за брусок.

— Не смей! — рявкнул кто-то.

Они оба уже положили трубки, Стэнли глядел на меня, лицо у

него стало серое от ужаса, будто я вышел из страшного сна, который преследовал его всю жизнь и вдруг обернулся явью.

— Это еще почему? — как мог высокомерней спросил я и перевел взгляд с одного на другого.

— Обоих схватили. Коттапилли и Пиндарри,— сказал Стэнли.

— Не повезло ребятам. А я при чем?

— Убью! — заорал Линингрейд.

— Врете,— сказал я.— Вы ж говорили, они уже улетели.

В глазах Стэнли показались слезы. Он плакал от ярости.

— Их взяли из самолета, он уже выруливал на взлет.

— Давайте лучше нагружайте меня,— сказал я.— Если их и впрямь схватили, мне сейчас в самый раз лететь. Никакой опасности.

На меня уставилось дуло пистолета, и я знал: у Стэнли наготове еще один, под курткой. Внутри стало до жути холодно и пусто, вот сейчас мне крышка! И я уже ничего не мог — только трещал без умолку, старался успеть сказать как можно больше слов, покуда я еще не ухнул во тьму, словно в эти последние мгновения у меня только и осталось что слова.

— Это ты на них донес,— тонко прокричали репродукторы.

— А какая мне от этого корысть? — возразил я.— Они сами чем-нибудь себя выдали, так что держите свои обвинения при себе.

У Стэнли прямо глаза на лоб полезли.

— Кто ж на них донес?

— Ты, вот кто,— сказал я.— Нагружай меня, и я поеду, не то выложу мистеру Линингрейду все, что про тебя знаю, а может, нам всем лучше поскорей отсюда убраться, вдруг Коттапилли и Пиндарри проболтались. А они проболтаются, это уж как пить дать,— прибавил я, будто ни минуты не сомневался. Я клепал на всех чохом, орал до посинения, чтоб скрыть, что у самого рыльце в пушку.— Сроду не видал таких двурушников. Все мы в опасности, надо держаться вместе и друг другу доверять. Больше нам надеяться не на что. Иначе нам крышка. Ну и сволочной мир: как запахло жареным, так все готовы один другому перегрызть глотку. Хуже, чем в джунглях. Я ваш лучший курьер, а вам моя верная служба — что выеденное яйцо. Если я все ж скатаю в эту поездку и выйду сухим из воды, больше я с вашей бражкой не вяжусь. Даже у воров и у тех не осталось чести. Тьфу, до чего противно.

Меня переполняло искреннее, неодолимое возмущение, но на этот раз оно не подействовало. Линингрейд включил громкоговоритель на полную мощность и прямо оглушил меня.

— Подлец, обманщик, предатель! Ты нас выдал. Говори, кому служишь, не то убью на месте.

Я уже готов был сказать правду, вот честное слово, но тут распахнулась дверь, грохнул пистолетный выстрел. Пуля просвистела мимо моего уха, опалила горячим ветром. Она, видно, перебила какой-то провод под железным колпаком — Джек орал там у себя, а нам было ничего не слыхать.

Закрыв за собой дверь, у входа встал Клод Моггерхэнгер, а Кенни Дьюкс с громадной свинчаткой и Резак — руки в карманах, верно, там у него тоже оружие не из приятных, ринулись прямиком к железному колпаку. Резак выхватил что там у него было в кармане, и налетел на Стэнли, тот стал отбиваться пистолетом. Оба повалились на пол у моих ног, и я отступил — как бы не запачкали мне башмаки, не помяли брюки. Они дрались как львы, я и не подозревал, что Стэнли такой сильный и храбрый, даже приятно. Они катались по полу, хлестала кровь — в руках у Резака оказалась бритва и ему нет-нет да удавалось полоснуть противника.

Столик с золотом опрокинулся, и сорок семь брусков разлетелись по полу. Кенни Дьюкс взялся за железный колпак, и громкоговоритель снова заработал — Линингрейд махал на Кенни руками и вопил, чтоб он ничего не ломал. А Кенни знай работал, будто он заправский демонтажник и хочет показать новому хозяину, как ловко он изничтожает железные аквариумы. Джек Линингрейд из-под путаницы оборванных проводов и обломков палил через всю комнату в Моггерхэнгера, а тот так проворно увертывался и пригибался, что тебе молодой.

В комнате орали, стреляли, а Стэнли, из которого кровь так и хлестала, молил Резака о пощаде, и Резак вроде уже решил, с него и впрямь хватит,— и вдруг пнул Стэнли так, что тот аж отлетел в другой конец комнаты. Окна, густо закрашенные черным лаком, были разбиты пулями вдребезги, железный колпак со всеми аппаратами и приспособлениями рухнул на пол и похоронил под собой Джека Линингрейда, а Кенни Дьюкс сверху все крушил его и крушил.

Я лежал на полу, смотрел на золото, ждал удобной минуты и, пока вокруг бушевала буря, засунул в карманы еще несколько брусков. Одна из последних пуль Линингрейда задела Моггерхэнгера, он судорожно взмахнул рукой, чуть не потерял сознание, на миг забыл о двери. Я вскочил, заячьим длинным прыжком метнулся вон из комнаты, позади остались вопли бойни, бодрящий звон бьющихся стекол. В прихожей стоял мой чемоданчик, я схватил его — не оставлять же им — и был таков.

Я не стал чикаться с лифтом и сбежал по лестнице, стараясь по дороге успокоиться. Вышел на улицу, зашагал мимо магазина Хэррода, на ходу застегивая пальто, потом свернул на Бромптон-роуд. Люди шли мимо, видно, я никому не бросался в глаза, да только я совсем растерялся, никак не мог решить, куда податься. Мне представлялся Верхний Мэйхем — Уильям Хэй, скинув башмаки, попивает чай в бывшем помещении кассы, потом он же задрал ноги чуть не выше головы, в руках романчик. Но ведь если я заявлюсь на полустанок, я его подведу, они меня в два счета выследят. Леса и поля тоже меня не привлекали, и в Ноттингем нельзя: будет беда матери. Только один человек и мог бы мне помочь — бабушка. Она защитила бы меня от всех гангстеров земных и небесных и близко их ко мне не подпустила бы. Но бабушка умерла, так что помощи отсюда больше не жди. Славный денек обернулся мелким дождиком и низкими тучами. Наконец-то я поймал такси.

— Куда?

— Лондонский аэропорт,— сказал я не думая. Опять во мне верх брал не рассудок, а нутро, хоть я уже начал его ненавидеть. Казалось, только что самые корни чутья, которое всегда меня вело, были подрезаны, но если так (а, судя по всему, дело было именно так), после потрясения и страха живучая моя натура, похоже, вновь воспрянула и я опять сумею справляться с неожиданностями и выходить сухим из воды. Нет, думать я не хочу, говорил я себе, пока такси мчалось по Кромвел-роуд на запад, только лишаешь себя удачи и счастливой возможности действовать.

Я еще мог поспеть на женевский самолет, в кармане у меня лежал билет да еще пять брусков золота — их хватит года на два. Я уже строил планы на будущее. Золото продам, открою в Цюрихе счет, куплю кой-какую поношенную одежду, рюкзак, назовусь студентом — мол, изучаю языки,— укроюсь в каком-нибудь тихом го-

родишке и погляжу, что будет дальше. Отращу бороду и усы и если буду платить по счетам и жить тихо-смирно, никто меня не заметит и не тронет. Пять брусочков — маловато, на Бразилии можно поставить крест, львиную долю съела бы дорога. Да и вообще спокойней будет не забираться чересчур далеко от лап Моггерхэнгера: в какой-нибудь экзотической Бразилии больше бросаешься в глаза. Немного погодя, не сразу, свяжусь с Бриджит. Ну, а Полли... похоже, она навсегда ушла из моей жизни.

Мы были уже на зеленой окраине Лондона, я с облегчением откинулся на спинку сиденья, закурил сигару, проверил билет. Порядок: билет как билет. Сумятица в голове улеглась — мысленно я освоился с новым, непредвиденным будущим. Моггерхэнгера я ненавидел всеми печенками и не чаял поскорей от него убраться. В последний раз, когда я ему сообщил про Пиндарри и Коттапилли, он уж так спешил все обтяпать, что и я едва не получил пулю в лоб. Вот кто продаст и глазом не моргнет, я ему и в подметки не гожусь, лучше бы мне с ним отродясь не встречаться... Но я-то, как всегда, надеялся на лучшее, вот и сейчас подумал: может, он теперь только рад будет, если я уберусь с глаз долой.

Я сунул таксисту пять фунтов и кинулся регистрировать свой билет. Времени оставалось в обрез. На аэровокзале в этот день было тихо, никакой особой суеты, с паспортом и билетом наготове я спокойно прошел в зал для отлетающих. От мысли, что я надолго распрощаюсь с Англией, я воспрянул духом: ведь позади останется болото, в котором я чуть не увяз, а впереди — пустота, совсем как когда я отправился из Ноттингема по Большому северному тракту попытать счастья. Может, парню вроде меня так и надо — каждые несколько лет поднимать якорь и пускаться в открытое море.

Билет прокомпостировали, я прошел дальше, с улыбкой предъявил паспорт. Таможенник внимательно меня оглядел, но пропустил, и вот я уже в зале ожидания. И вдруг почувствовал — помираю с голоду, совсем живот подвело; я остановился у стойки кафетерия и подумал — может, пока еще не объявили мой самолет, выпить рюмашку-другую коньяку и закусить пирожными с кремом, а может, поглядеть напоследок на Англию, какая еще видна за зеркальными стеклами, на взлетно-посадочные полосы, которые курились в тумане под моросящим дождиком. Вдруг кольнуло в сердце: жаль покидать Полли, но нет, не верится, что мне уж больше никогда ее не видать,— может, когда-нибудь судьба еще улыбнется мне и снова нас сведет. И потом, ведь есть еще Бриджит и Смог, о них я думал даже еще нежней, только вот не знал, как бы нам всем троим встретиться. Мне представилось — лет через десять Бриджит, уже почтенная женщина, едет с шестнадцатилетним пареньком по какому-нибудь городу Северной Италии, и на солнечной и пыльной площади они выходят из автобуса. А я сижу за мольбертом и лениво что-нибудь малюю, и на мольберте уселись голуби. Я встану, подойду к ним, а Смог будет начеку — как бы ее кто не обидел — и подумает: это еще кто, какого черта ему надо, вдруг, чего доброго, ее уведет, но Бриджит меня узнает, и я приглашу их в свое скромное жилище, и к этому времени Смог уже прекрасно меня вспомнит и в нем проснется былая привязанность ко мне.

Я спросил чашку кофе, и тут на плечо мне легла чья-то рука.

— Пройдемте со мной, сэр,— сказал длиннолицый бледный таможенник.

Сэром меня потом долго не величали, очень долго. Мы вернулись к паспортному столу. Там теперь были еще два таможенника, и тот, что меня позвал, спросил, сколько денег я везу с собой за гра-

ницу. Я ответил, и он попросил меня открыть бумажник. Я не испугался: денег у меня было не больше положенного. Мысленно я поглядел на себя со стороны — вон как спокойно, с улыбкой я открываю свой чемоданчик. Мне казалось, сейчас меня отпустят, как отпустили однажды Уильяма, и я уже поздравлял себя — мол, этот короткий разговор ничего не значит: ведь больше я уже не должен буду здесь проходить.

— Пройдите, пожалуйста, со мной.

Я вошел в другую комнату, подальше от глаз честных или удачливых пассажиров, которым не задавали никаких вопросов. Там ждали двое полицейских и еще один верзила — сыщик в штатском, я его узнал: ни много ни мало — сам старший инспектор Лэнторн.

— Снимите пальто.

Ну, конец. Лэнторн самолично вытащил пять золотых брусочков, и меня тут же предупредили: с этой минуты каждое мое слово может быть использовано как улика против меня, и таможенники перечислили статьи, по которым меня обвиняют.

По дороге в полицейский участок я понял — Моггерхэнгер донес на меня тогда же, когда на Коттапилли и Пиндарри. Уж если он закидывает сеть, так с размахом.

У меня дрожали ноги, но садиться не хотелось. Мне предложили сесть, а я все стоял, будто и этой любезности не хотел от них принимать. Лэнторн толкнул меня на скамью. Вот и мой железный колпак разбит вдребезги, на меня хлынул свет и так меня напугал, прямо дыхание перехватило. Когда же расшибут колпак Моггерхэнгера? Я подумал: я тоже приложу к этому руку — и улыбнулся. Но как я ни ломал голову, а несмотря на все его художества не мог придумать, за что его можно привлечь, ведь по полицейскому участку меня, стиснув мой локоть, вел инспектор Лэнторн — попробуй докажи при нем, что Моггерхэнгер в чем-то виноват! Будь для этого хоть какая-то возможность, Моггерхэнгер бы так не поторопился меня засадить.

Эпилог

Моггерхэнгер моими руками похоронил Джека Линингрейда, он заранее рассчитал: когда я попаду в лапы полиции, я живо заговорю — понадеюсь, что мне за это припаяют поменьше. Я и заговорил, да только не от слабости, а с позиции силы, я тоже заранее обдумал, как себя вести, и уж шел прямиком по этой дорожке, для Моггерхэнгера все получилось наилучшим образом. И для Лэнторна тоже — дело это стало одним из тех, которыми он прославился. Моггерхэнгер уверенно сунул меня в полицейский механизм, точно лом, и я не обманул их ожиданий, и, понятно, всякое дело против него самого расползалось по швам в руках у Лэнторна.

Я так старательно спасал свою шкуру, у меня не было ни времени, ни душевных сил раздумывать, как же это Моггерхэнгер сумел мной воспользоваться, но перед тем, как я загремел, у него на стене, наверно, несколько месяцев висела громаднейшая схема, и на ней булавки с ярлычком «Каллен», он перекалывал их с места на место, пока я наконец не угодил в капкан, который он для меня расставил. Да, здорово он все подстроил, если б я не так его ненавидел, я б им восхитился. Ведь в тысяче случаев я мог бы поступить совсем не так, как он рассчитывал, но он слишком хорошо разбирался в людях вообще, и во мне в частности: всякий раз, когда я

оказывался на распутье, я неизменно поворачивал, куда он хотел, а все потому, что он позаботился, чтоб мне казалось, так для меня выгодней. Он ловко расставил целую цепь капканов, я попался с первых же шагов и после этого вовсе перестал думать и остерегаться.

Я признал, что перевозил золото по поручению Джека Линингрейда, но что понятия не имел, насколько это серьезно. Мне помогли поверенные Смат и Бант, и только уже потом я узнал, кто им платил. Они пригласили опытного защитника старой школы, и он встал и сказал: Каллен, мол, человек хороший, хотя во многих отношениях наивный, и никогда не был замешан ни в каких беззаконных делах. Пускай их говорят сколько угодно, я слушал и улыбался про себя, но судья все равно пролаял — он бы дал мне не полтора года, а больше, да уж очень я глуп.

Когда меня взяли, я думал, мне припаяют десятку, потом, покуда шло следствие, стал надеяться на лучшее — чем дальше, тем меньшего наказания ждал, а разглагольствования защитника и того больше раздули мои надежды, и я уж думал: отделаюсь просто солидным штрафом.

Но мужчина еще не мужчина и не герой, раз он не отсидел в тюрьме, и мне предстояло обрести право на эту честь. Было о чем подумать, я, например, здорово удивился, когда увидел в суде мать — она свидетельствовала, какой я преданный и любящий сын. И уж вовсе обомлел я, когда вызвали свидетелем Джилберта Блэскина, «известного писателя, которого читают в лучших домах Англии», и он так стал расписывать, какой я хороший человек, я даже чуть сам не поверил. Послушать их, так выходило, будто до этой истории я жил совсем в другом мире, ну, прямо святой, каких поискать... а потом меня безжалостно сбросили с этих высот на грязную землю: поднялся старый сладкоречивый гад и объявил приговор — полтора года тюрьмы. Меня уж такое одолело бешенство и отчаяние — опомнился я только недели через три, и тут оказалось, я уже привык к тюрьме. Словно попал в какую-то новую страну и, покуда спал, обжился в ней.

Однажды ко мне пришли посетители, я бросил уборку, и меня повели на свидание, а с кем, я не знал. За двойным стеклом с проволочной сеткой внутри стояла мать с Джилбертом Блэскином. Я подался вперед, но ничего не сказал. Они сквозь стекло всматривались в меня, а я все не мог понять, чего они глядят и почему это они оказались здесь вместе. По обе стороны вдоль всей загородки заключенные и посетители перекликались, делали друг другу знаки, я увидел, мать шевелит губами, и только теперь сообразил: она чего-то там говорит, а мне не слыхать. Джилберт улыбнулся, поднял руку, даже не потрудился заговорить. Я тоже улыбнулся, вытянул голову и чихнул.

Они хотели мне что-то сказать, но уж, наверно, все это пустяки, ведь самое важное, чудовищное, подавляющее — что я сижу тут взаперти, за решеткой, будто обезьяна в дождливый день. Блэскин был в мягкой фетровой шляпе, выглядел он здоровым и бодрым, как никогда. Мать тоже надела шляпу, лицом и фигурой она была как раз ему под пару. Она даже немного пополнела.

До меня слабо донесся ее голос, но слов было не разобрать. Свидание затянулось. Я мог понять, почему пришла мать, ну а Блэскин-то тут при чем? Он наклонился как мог ближе к стеклу, приставил руки рупором ко рту и что-то заорал. И по его лицу, и по взволнованному лицу матери я понял, что-то он говорит очень для них важное, и вслушивался изо всех сил. Но все равно не разобрал ни слова, и он сделал еще одну попытку. Усилием воли я одолел

свою непонятливость, за стенами тюрьмы для этого вовсе не понадобилось бы никаких усилий. Слова донеслись будто со дна морского:

— На прошлой неделе мы поженились!

Это был удар в самое сердце, но, может, того-то мне и не хватало — он пришелся как раз туда, куда надо. Я громко повторил слова Блэскина, услыхать их мои посетители не могли, но прочли по губам, и оба засмеялись, помахали мне, поцеловались, взялись за руки — в общем, все ясно. Даже показали мне кольца. Потом я узнал — после того, как я побывал у Джилберта на квартире возле Слоун-сквер, он поехал в Ноттингем, разыскал мою мать и обхаживал ее до тех пор, покуда она не согласилась выйти за него замуж. С тех пор как они меня навестили, я стал замечать, что делается вокруг, стал осваиваться в этом новом мире, так что вроде наше свидание все-таки пошло мне на пользу.

Однажды во время прогулки по тюремному двору мимо проплыло хорошо знакомое лицо — это был Стэнли. Потом мы с ним заговорили.

— Меня перевезли сюда из Централки,— сказал он.

— Понятно. Может, тебя ко мне нарочно подослали, чтоб ты стучал, так я ничего не знаю.

Он теперь был мордастый, а двух передних зубов не хватало. Он улыбнулся и сразу уж такой стал жалкий, хуже, чем когда я его видел в последний раз.

— Вон как! — фыркнул он.— Похоже, твою доверчивость корова языком слизнула, а?

— А ты поосторожней: будешь язвить, не выйдешь отсюда живым.

Эти мои слова его утихомирили, тогда и я тоже остыл.

— Меня сцапали в аэропорту, ты, может, еще не знаешь. Я хотел увезти пять брусков в Женеву, да эта сволочь Моггерхэнгер так все подстроил — меня уже поджидали. А Моггерхэнгеру, верно, ты сказал, хотел со мной сквитаться, ты ж думал, это я виноват, что схватили Коттапилли и Пиндарри, ну и Рэймеджа, само собой... а с чего бы я стал на них стучать, какая мне выгода? И вообще, только я вырвался из вашего логова, меня тут же и замели. Я хотел свезти это золото в Женеву для пользы фирмы, а кто оценил мою преданность делу, черт подери? Я даже поспел на аэродром к своему самолету. Потому и из штаб-квартиры так сразу смылся. Вижу, Моггерхэнгер ранен, стало быть, думаю, наша взяла. А гляди, чем для нас дело кончилось. Теперь все мы, черт подери, угодили в железную клетку.

Сам не знаю, для кого я разводил благородное негодование и выставлялся в наилучшем свете, так что под конец засмеялся и замолчал.

Шли дни, недели, и я понемногу узнал от Стэнли все остальное: Джек Линингрейд — это знали все, кроме меня,— вовсе не был паралитик, а руководил операциями из своей железной клетки, просто чтоб всех дурачить. В этом его железном колпаке полно было всяких радио- и электронных устройств, вот только о вторжении Моггерхэнгера в тот последний день они, на его беду, не предупредили. А может, и предупреждали, да он слишком был занят мной, не заметил. Когда я удрал, схватка еще продолжалась и Стэнли вместе с Джеком Линингрейдом, отбиваясь, вырвались из дома, а все картотеки и часть золота достались Моггерхэнгеру — он-то уж, наверно, был доволен этим днем. Полиция никого и ничего в квартире не застала: у подъезда

Моггерхэнгера поджидали две машины, и он успел погрузить в них все улики и всю добычу.

Стэнли и Джек Линингрейд укрылись на тайной квартире в районе Хайгейта, но уже через час полиция их окружила. Все же им удалось выскользнуть из сети, и Стэнли прорвался к машине. Но только дал газ, их засекли, и синяя мигалка повисла у них на хвосте. Стэнли попался, а Джек Линингрейд улизнул, и уже сколько месяцев прошло, а о нем ни слуху ни духу — наверно, уехал в Канаду. Без своей брони — хоть она и служила ему долгое время верой и правдой — он оказался очень даже подвижен и неуловим. Похоже, он опять наденет какую-нибудь личину и еще поработает.

Хуже всех пришлось Стэнли — его закатали на четыре года. Я изо всех сил старался держаться от него подальше, но как-то он все ж подкрался ко мне сзади и хотел долбануть меня кулаком по голове. Удар был бы зубодробительный, только он не сработал: я успел увернуться и сразу сам ему вдарил, да не один раз — отдубасил за милую душу. В наказание меня лишили возможности выйти раньше срока, пришлось отсидеть все полтора года. Этой дракой я заслужил уважение здешних буянов, но толку от этого было чуть.

Меня несколько раз навещала Бриджит, говорила — она меня ждет, прижимала к решетке фото Смога, чтоб я видел, какой он стал здоровый и крепкий. Поначалу она была мне до лампочки, все и всех заслоняла Полли Моггерхэнгер. Я изнывал по ней: вот она, моя единственная великая любовь! Как выйду на волю, сразу кинусь к ней! Я понимал — она нипочем не станет меня ждать, а если б узнала про мои мысли о ней, очень бы весело смеялась, другими словами, нам больше вместе не бывать... но от этого я видел ее еще ясней, она становилась такой близкой, я даже в страхе просыпался по ночам: мне казалось, она тут, в камере, и сейчас тронет меня за руку. Так оно и продолжалось, я изрядно вымотался — слишком много душевных сил уходило на то, чтоб сохранять ее перед глазами, под конец я совсем скис, пал духом и образ ее понемногу выцвел. И уж так стало пусто внутри, лучше не вспоминать... но когда я оклемался, место Полли заняла Бриджит — и уже навсегда.

В камере нас было трое, иногда подбавляли четвертого, и часто среди ночи даже некуда было вытянуть ноги. И еще того хуже, я цеплялся за свою койку, будто она стала дыбом и я вот-вот свалюсь в пропасть, откуда нет возврата. Чтоб растянуться во всю длину и вообразить, будто сплю по-людски, я ложился на жесткий цементный пол и с облегчением прижимался к нему, даже когда он был ледяной: в этом сумасшедшем доме я только так и мог почувствовать себя немного ближе к земле. Я бы отдал правую руку, даже отсидел бы лишний год в тюрьме, чтоб хоть на несколько часов оказаться углекопом и спуститься во тьму, на тысячу футов под землю.

Уильям Хэй писал, что мой полустанок не в забросе, и, когда я вышел на волю, оказалось, он посадил в огороде бобы и картошку, а по границе участка и вдоль платформ — розовые кусты и подсолнухи. Когда я приехал на такси из Хантингборо, над дверью висел плакат: «Добро пожаловать домой, начальник станции».

Звонили свадебные колокола: пока я сидел под замком, Джек Календарь, который жил у меня на станции, женился на мамаше Уильяма Хэя — она узнала, что Уильям вернулся из Ливана, и приехала к нему. Уильям жил в помещении кассы, а его мамаша со своим новым мужем — в зале ожидания, их разделяло нечто вроде вести-

бюля — ничья земля, и там время от времени они ожесточенно сражались из-за таких пустяков, как ведро угля или чашка сахару.

Джек Календарь на полустанке совсем преобразился, прямо расцвел, стал сущим пижоном, только густая борода лопатой осталась та же. В старом шкафу он нашел форму железнодорожного охранника, завладел ею и раз в неделю заставляет миссис Строу отглаживать ее и приводить в порядок; в фуражке, со свистком и красным флажком он расхаживает по платформе и ржавым рельсам и озабоченно поглядывает на кармашек для часов — в кармашке лежат клегговы часы, я их Джеку подарил. Он поддерживает на станции порядок, заставляет жену драить медяшку, начищать фонари, подметать платформы и мыть уборные — правда, она при этом ворчит и ругается. Вокруг участка вновь протянулся забор, на клумбах запестрели анютины глазки и левкои. Для полного счастья Джеку надо бы услыхать гудок и увидать, как у платформы останавливается старый локомотив,— вот тогда бы ему ничего не оставалось желать от жизни. Только если б и впрямь такое случилось (но этому не бывать), он бы умер от разрыва сердца: мы уже года два знаем — у бедняги Джека Календаря мотор никуда не годится.

Библиотека на колесах раз в неделю доставляет ему книжки по астрологии — в свободное время он составляет для нас всех гороскопы. Он говорит, я буду жить тихо-мирно до тридцати пяти лет, а потом опять сорвусь с цепи. Что-то не верится, поживем — увидим. А ждать недолго, еще годик-другой — и тогда уж рукой подать. Бриджит не в восторге от таких предсказаний, а в остальном ничего против Джека не имеет, потому как Смог — ему уже четырнадцать — очень Джека любит.

Вскоре после того, как я вышел из кутузки, мы с Бриджит поженились, словно когда-то я это ей и обещал. Мы оба этого хотели, как только это стало возможно, ничего другого нам вроде и не оставалось. Она продала дом в Хэмпстеде за тридцать тысяч фунтов (несмотря на свою страсть лягаться, доктор Андерсон позаботился оставить дом ей), здравый смысл голландки, который наконец-то у нее прорезался, помог ей выгодно поместить эти деньги, и они приносят нам вполне достаточно, чтоб прожить скромно, но безбедно. Бриджит пополнела, стала румяная и уже совсем не похожа на сияющую взбалмошную девчонку давней лондонской поры. Но и я тоже стал поплотней, хотя и в меру, ведь я много работаю и много хожу по своим владениям: хочу оставаться в форме. Бриджит жарит бараньи ноги и делает клецки для меня и детей, а Джек Календарь с женой кормятся отдельно. Летом они раскладывают у самых рельсов костер и, как цыгане, на нем и кашеварят. В эту пору они особенно довольны жизнью и всего меньше доставляют беспокойства. Мы с Бриджит живем в доме, он теперь большой — детей у нас прибавилось, и мы с Уильямом пристроили сзади еще две комнаты.

Джек Календарь помогает с ребятишками — утром будит Джулию, Рэя и Джейка, кормит их завтраком и отводит в деревенскую школу. Поначалу местная ребятня потешалась над ним, а потом он им понравился — угощает сластями, водит на экскурсии по нашему полустанку. Когда приходит время убирать урожай, Джек по нескольку недель работает у местных фермеров, работает хорошо — и они дают ему молоко или яйца и уговаривают остаться подольше, а то и насовсем, но он не соглашается: больше всего на свете он ценит свою свободу.

Уильям приезжает, уезжает и опять возвращается. Деньги у него по-прежнему есть, но его мечта — выращивать где-нибудь в Ноттингемшире овощи на продажу, а мать чтоб была у него вроде рабыни —

так и не сбылась. Он опять отыскал какой-то источник, из которого черпает силы, он не из тех, кто рано удаляется на покой, для него безделье смерти подобно.

Года через два после неудачи в Ливане он снова занялся какими-то темными делами, может, даже контрабандой — он явно богател, честными трудами такого не наживешь. Однажды мы пошли с ним выпить в деревенский кабачок, и я спросил, откуда у него такая большая машина, да и одевается он лучше некуда, тут он сразу помрачнел и сказал: не суй, мол, нос куда не надо.

— Не бойся,— сказал я,— не собираюсь я просить, чтоб ты и меня приспособил к своему делу.

Его сразу отпустило, и он засмеялся:

— Не то что в прошлый раз, а?

— Нет уж. Я здесь пустил корни на всю жизнь.

— Хорошо, что ты, а не я.

Был теплый летний вечер, и кабачок еще пустовал.

— Я уж знаю, когда мне хорошо,— сказал я и отхлебнул пива.

— А все ж коли захочешь подработать, дай мне знать,— сказал Уильям.— Ты парень храбрый, и выдержки у тебя хватает, а этот товар всегда в цене.

— У меня его поубавилось.

— Потому что отведал тюряги? — съязвил он.

— Потише, ты. Я здесь уважаемый человек, домовладелец.

— Просто ты сейчас такую роль разыгрываешь,— сказал Уильям.— И неплохо играешь, как и все свои роли. К этой ты привязался надолго, да ведь не навек же.

— А вот я думаю, что навек.

Он подмигнул и поднял стаканчик с двойной порцией коньяку.

— Просто у тебя долгий хороший отдых. Скоро опять займешься делом. Твое здоровье, друг.

— Твое здоровье,— сказал я и улыбнулся.

Моя мать с Джилбертом Блэскином несколько лет прожили вроде счастливо. Она поехала с ним в Америку — он разъезжал с лекциями,— и там они оба взбесились: старались заставить друг дружку ревновать и к тому времени, как вернулись, вконец друг друга измотали. Уж не знаю, как это получилось, ведь матери было порядком за сорок, а только она родила Джилберту дочку, и он сперва совсем обалдел, а потом решил: ничего лучше в его жизни еще не бывало. Они приехали в новом «ягуаре» Джилберта нас повидать и остановились на два дня в гостинице в Хантингборо.

Я все не мог привыкнуть, что Блэскин мне отец, наверно, так и не привыкну. Я слишком долго накачивал себя выдумкой, будто мой неведомый отец погиб на войне, и все трубы и провода сыновней почтительности перержавели и под конец полопались. А все ж вот он, мой настоящий отец, вылез из «ягуара» и идет ко мне, даже не подумал помочь матери вылезть с новорожденной малышкой. Он высокий, лицо в морщинах, глаза уже не горят прежним огнем. Пока он не сел, он заполнял собой чуть не всю нашу маленькую общую комнату. Мы задали им отличный обед, за стол сели впятером: я, Бриджит, Смог, Джилберт и моя мать, и ели суп с клецками, говяжью грудинку, крем и пончики с яблоками. Джилберт был хмурый, будто его только что пытались отравить, но он все-таки уцелел и вот медленно приходит в себя.

После обеда он подтолкнул ко мне по столу сигару. Я ради такого случая купил бутылку коньяку и после нашего роскошного обеда налил всем по глоточку. Малышка спала в комнате Джулии, но мы могли шуметь сколько душе угодно: мать сказала — если уж Люси уснула,

ее и пушками не разбудить, я маленький был такой же. Джилберту этот поворот разговора пришелся не по вкусу, и он спросил, не собираюсь ли я заняться каким-нибудь делом.

— Да нет,— ответил я.— А вы?

— Он очень много работает,— сказала мать.— Я иной раз прямо помираю со скуки.

Я заметил, как он на нее смотрит, и он знал — я за ним слежу, вот и решил сказать какую-нибудь гадость.

— В Нью-Йорке ты не скучала. Просто исчезала на целый день.

— Так ведь мне твои друзья не компания. Им было неинтересно со мной, а мне — с ними. Они все шуты и наркоманы.

Мы с Бриджит засмеялись, Смог — ему тогда было восемь—тоже улыбнулся, и это подлило масла в огонь.

— Значит, ты ходила искать настоящего мужчину,— съязвил Джилберт.

— Нет, милый,— сказала мать.— У меня есть ты, мне искать нечего.

Она это сказала от души (по крайней мере я так понял), но Джилберту померещилось — она над ним измывается.

— Да я уж давно знаю, откуда взялась эта крошка Люси.

Я вскочил, сжал кулаки.

— Отцепись от моей матери, слышишь? Я думал, мы тут собрались славно провести вечерок.

Он прикусил язык, но после этого уже всем было не по себе.

На другое утро они уехали. А через год развелись. Мать не больно огорчалась — ведь у нее осталась дочка, есть на кого потратить еще двадцать лет жизни, разве только помешает какое-нибудь новое приключение. За Люси приглядывала соседка, а мать опять пошла на фабрику. Блэскин назначил ей кой-какое содержание, видно, подумал обо всех годах, когда ни гроша не давал на меня, и теперь она могла бы и не работать. Но она сняла на эти деньги квартиру, научилась водить машину, купила в рассрочку малолитражку и каждые месяц-два приезжала с Люси в Верхний Мэйхем проведать нашу компанию. Смог, несмотря на разницу в возрасте, всегда очень нежен с Люси, и меня это здорово радует.

По самым последним слухам, Джилберт Блэскин опять живет в своей квартире на Слоун-сквер вместе с Пирл Харби. Когда он женился на моей матери, Пирл пыталась отравиться газом, но подружка вовремя ее оттащила — Пирл уже сунула голову в духовку. Эта попытка покончить с собой произвела на Блэскина большое впечатление — он услыхал об этом, как раз когда ушел от моей матери, и кинулся прямо к Пирл, может, надеялся, она рано или поздно попробует еще разок, и хорошо бы, когда он поблизости, тогда он все увидел бы своими глазами и мог бы вставить в свой очередной роман.

Я теперь ношу жилет и без золотого соверена в кармане не выхожу из дома. Мы возделываем свой сад, и я все сильней люблю Бриджит и детишек, я связан с ними навечно. Смог уже высокий, тощий, темноволосый парнишка, не сегодня-завтра начнет бриться. Он неразговорчивый, а все ж время от времени нам с ним есть о чем потолковать. Он учится в средней классической школе в Хантингборо, играет там в шахматы и собирает гербарий. В последний раз на день рождения я подарил ему дорогой микроскоп, а на совершеннолетие пообещал десять соверенов из бабушкиного наследства. Мать вернула мне те двадцать пять, которые я ей оставил,— ведь медовый месяц с Альбертом в Париже так и не состоялся.

Я нет-нет да и задумаюсь над пророчеством Джека Календаря, что в тридцать пять снова сорвусь с цепи. И хотя эти вспышки инте-

реса говорят лишь об унаследованной от Блэскина дурости (ведь в таких вот бредовых пророчествах вовсе не обязательно искать правды, так же, в сущности, как и во мне самом), а все ж время от времени оно зацепляет во мне какие-то струнки — ни один человек не может провести весь отмеренный ему на земле срок под железным колпаком.

Силлитоу — меняющийся и верный себе

Десять лет назад журнал «Иностранная литература» впервые познакомил советского читателя с творчеством молодого, но уже завоевавшего популярность английского писателя Алана Силлитоу. Именно его первый роман «В субботу вечером, в воскресенье утром» (1958) послужил своеобразной точкой отсчета, от которой начался подъем так называемого «рабочего романа», а точнее — романа рабочей темы в английской литературе конца 50-х — начала 60-х годов. Роман рабочей темы в известной мере пришел на смену книгам «рассерженных молодых».

Но живая жизнь литературы богаче и шире критических ярлыков. Уже второй роман Силлитоу «Ключ от двери» (1961) несет в себе черты и «рабочего романа», и романа антиколониалистского, и романа антивоенного, и романа «рассерженных молодых», в том смысле, что его герой тоже молод и уж во всяком случае находится в не меньшем конфликте с британским «истаблишментом», чем герои первых произведений Уэйна или Эмиса.

Хотя Силлитоу быстро перестал быть «рабочим романистом» в узком значении этого термина, прочная и глубинная связь с литературой рабочей темы очевидна в большинстве его произведений, созданных в истекшее десятилетие. Она проявляется в выборе героя, обычно выходца из рабочей среды, но прежде всего эта связь — в понимании противоположности и непримиримости интересов имущих и неимущих слоев Великобритании.

Первые два романа и многие рассказы Силлитоу можно определить как произведения непосредственного опыта: они полны точных деталей быта рабочих окраин, острых социально конкретных повседневных конфликтов. Нельзя не ощутить в них элементов автобиографических: работа на заводе, служба в британских колониальных войсках в Малайе.

Ракурс авторского видения меняется в двух книгах еще не законченной трилогии «Смерть Уильяма Постерса» (1965) и «Пылающее дерево» (1967). Главный герой, рабочий парень Фрэнк Доули, бросает работу, семью и уходит странствовать по миру, чтобы обрести себя. В орбиту повествования втягивается освободительная борьба алжирских патриотов против французского владычества, в которой Доули принимает участие, и «коммуны» интеллигентов, вызывающе громко декларирующих свой протест против буржуазного общества, а на деле мирно в нем существующих.

Оба эти обширных тома — книги глобальных вопросов: что есть мир и каковы роль и место человека в мире. Герои ведут длительные и достаточно абстрактные споры о переустройстве общества, да и сам автор как будто прислушивается к разным точкам зрения, не найдя еще верных ответов на вечные вопросы человеческого бытия. Надо сказать, что открытая дискуссионность этих романов не получила цельной, продуманной формы. Первые части трилогии и по композиции, и по стилистике рыхлы и аморфны.

В 1970 году Силлитоу, прервав работу над трилогией об исканиях Фрэнка Доули, выпускает роман «Начало пути». После двух предыдущих книг, социально-философских по духу, это произведение может показаться неожиданно непритязательным. Однако непритязательность эта обманчива.

Писатель избирает другой ракурс, особый угол зрения, чтобы еще раз критически осмыслить современную английскую действительность.

От подробных и типических картин жизни рабочего класса Британии к попытке философского обобщения злободневных проблем буржуазного общества, а потом к сатирической символике, гротеску и пародии в «Начале пути» — так, словно разноцветными лучами, высвечивает Силлитоу многообразие жизненных конфликтов, в которых сталкиваются его персонажи.

Для «Начала пути» писатель избрал старую, добрую, выдержавшую испытание неумолимым временем форму «плутовского романа» со всеми ее обязательными атрибутами: свободным, раскованным повествованием, произвольно перебиваемым историями жизни многочисленных второстепенных персонажей; с исчезновением одних персонажей и их совершенно неожиданными появлениями в обществе других; с удиви-

тельными и прихотливыми сцеплениями человеческих судеб; с нечистым на руку, но добродушным центральным персонажем и его бесчисленными амурными похождениями.

Сам Силлитоу прямо и недвусмысленно называет двух великих английских романистов прошлого, которые отдали дань «плутовскому роману» и традициям которых он с удовольствием следует: перепечатывая рукопись Блэскина, Майкл вставляет в нее — чтобы «подбавить толку блэскиновской малохольной муре» — двадцать страниц из смоллетовского «Родерика Рэндома», которого ошибочно приписывает Филдингу.

Центральный персонаж «Начала пути» Майкл Каллен — типичнейший герой-плут. Жуликоватый проказник с самого раннего детства, он крайне легкомыслен и неразборчив в средствах, но в то же время не лишен обаяния и отзывчивости.

Полное наивного хвастовства и скрытой насмешки над самим собой, курьезных теорий, которыми пробавляются герои, и разбросанных по всей книге метких авторских комментариев, повествование от первого лица создает особую атмосферу подогреваемого любопытством ожидания: в каких-то еще переделках побывает наш веселый и незадачливый герой?

С самых первых страниц рассказа Каллен бравирует собственной безнравственностью, в которой, по мнению героя, прежде всего повинны обстоятельства его появления на свет. Иными словами, не будучи рожденным «в законе», он не считает для себя обязательным следовать законам.

Для Силлитоу выбор подобного сознательного отступника от принятых в обществе моральных норм, своего рода социального изгоя, в качестве героя-рассказчика открывает возможность показать, сколь глубоко в этом обществе зреет недовольство и сколь естествен, хотя зачастую и стихиен, бунт против его устоев.

Так, например, Каллен многократно говорит о своей нелюбви к труду и нежелании «вкалывать». В то же время он сам вызывается помочь Клеггу («мне осточертело ничего не делать»), охотно таскает тяжелые сундуки и ящики («ведь мной никто не помыкал»).

Очевидно, что Каллен вовсе не против работы, как таковой. Он отнюдь не тот непутевый лодырь, каким представляется. И труд на фабрике, и работа в конторе претят ему, потому что он не воспринимает их как **свое** дело. Трудовая деятельность для Каллена — подневольная кабала, простейший и удобнейший способ порабощения его личности общественной системой, безуспешной борьбе героя с которой, в сущности, и посвящена вся книга.

С одной стороны, Майкл всеми дозволенными и недозволенными способами стремится занять «достойное» место в обществе, с другой — он всем своим поведением бросает обществу вызов, повсеместно нарушая принятые в нем нормы поведения или, быть может, точнее, правила игры.

Несмотря на постоянное бахвальство Майкла, с самых первых эпизодов романа становится ясно, что он — жулик наивный и не очень-то ловкий. Просто ему, как это и положено по схеме «плутовского романа», до некоторой степени везет. Но в подавляющем большинстве ситуаций это отнюдь не его заслуга, а воля всесильного случая. Ведь Клегг мог и не сдержать своего слова, а тогда Каллен остался бы и без работы, и без «гонорара» за свою мелкую и вполне безобидную, с точки зрения «деловых» людей, аферу. Конечно, негодование его патрона мистера Уикли напускное, недаром Майклу кажется, что тот ему подмигивает, когда обещает дать «приличную рекомендацию». Но беда Майкла в том, что он по простоте душевной действовал уж слишком откровенно, нарушая правила игры, принятые в мире бизнеса,— наверняка на совести мистера Уикли значительно более крупные и выгодные аферы.

Увы, Каллен, этот неунывающий жулик-простак, часто понимает сказанное ему до удивления буквально. Выслушав, к примеру, одиннадцать заповедей Моггерхэнгера, которым сам Майкл дает тут же точное определение — «заповеди джунглей», он тем не менее готов принять их как руководство к действию. Правда, пользоваться прихваченной в соответствии с одной из заповедей дорогой зажигалкой Моггерхэнгера ему приходится очень недолго.

Не желая становиться безгласным и отчужденным «винтиком» в механизме капиталистического производства, Майкл получает от автора-демиурга две возможные альтернативы, два искушения. Путь Моггерхэнгера, ценой преступлений, подлости, предательства добившегося состояния и положения в обществе. И путь Джека Календаря, сознательно отказавшегося от запрограммированности благополучного буржуазного бытия.

Оба эти пути Каллен отвергает. Он ищет и по чистой случайности — на этот счет Силлитоу не оставляет никаких сомнений откровенно пародийным «хэппи-эндом» — находит третий путь. Но важно, что и нечестное «начало пути» Каллена не принесло ему желанного богатства. Ведь скромно и праздно он живет не на собственные капиталы, а на проценты от наследства, оставленного Бриджит мужем-психоаналитиком.

Конечно, натяжкой будет сказать, что герой «Начала пути» видит свое предназначение в том, чтобы помогать сирым и убогим, однако Каллен, «дитя улицы», «безотцовщина», не может не испытывать братских чувств к людям со сходной неблагопо-

лучной судьбой, людям, обделенным детством, воспитанием, образованием, необходимым вниманием старших. Таким, например, как Джун или Уильям Хэй. Они для Майкла — «свои». Безалаберные, в чем-то слабые и беспомощные, но способные поддержать, не оставить в трудную минуту.

Каллену не суждено быть настоящим дельцом хотя бы потому, что он — добр. Его расчетливость и бережливость никогда не препятствуют ему помочь нуждающемуся — с завидной и нетипичной для большинства окружающих легкостью расстается он с заработанными в постоянном риске деньгами.

Меняется Майкл лишь в финале, становясь благополучным рантье, изредка вспоминающим о грехах молодости. Такое перерождение героя тоже выдержано в духе традиции «плутовского романа». Но этот иронический «хэппи-энд» не должен вводить в заблуждение. Ведь это всего лишь конец «начала пути», а не всего пути, и куда может занести Каллена его беспокойный характер, одному богу известно. А кроме того, «эпилог» венчает, так сказать, сюжетно-событийный уровень романа, а в нем имеется еще и символико-сатирический план, на который необходимо обратить особое внимание.

В «Начале пути» естественно выделяются две группы персонажей. Одни изображаются с добрым, сочувственным юмором: Каллен и его родные, Уильям Хэй (Билл Строу) и его трогательная и смешная провинциальная матушка, Джек Календарь, Бриджит и т. д. Для других писатель находит сатирические краски. Это — Моггерхэнгер, Блэскин, психоаналитик Андерсон, полицейский инспектор Лэнторн. Нетрудно заметить, что первые — люди, стоящие на нижних ступенях социальной лестницы, своего рода общественные «изгои». Вторые же — неотъемлемая часть «истаблишмента».

Во втором ряду выделяется зловещая фигура Моггерхэнгера, одного из заправил мира подпольного бизнеса. Силлитоу верно видит этот мир как зеркальное отражение мира бизнеса легального, однако в уголовном мире отношения в «сфере производства» еще более обнаженно жестоки, а неимущие еще более угнетаемы и попираемы. Моггерхэнгер точно так же, как и Уикли — только грубее и бесцеремоннее,— выставляет за дверь Майкла.

Моггерхэнгер не только крупный профессиональный преступник, рэкетир и содержатель сети злачных заведений, но одновременно и респектабельный богатый бизнесмен, пользующийся уважением окружающих и полным благорасположением полиции. Фактически он неподвластен никаким законам — законы подвластны ему. Думается, можно без особого преувеличения сказать, что образ Моггерхэнгера вырастает до обобщающего, символического портрета одного из реальных хозяев современной Англии. К нему как нельзя лучше прикипают слова поэта о «капитале его препохабии».

С хорохорящимся Майклом Моггерхэнгер играет, как кошка с мышкой, никогда не упуская случая дать парню почувствовать степень реальной несвободы в среде «вольных» «джентльменов удачи». Убежав от рабского труда на фабрике и в конторе, Майкл попадает в не менее жесткие и безжалостные тиски.

А что же представляет собой образ Каллена на символическом уровне? В нем есть немало черт, присущих ряду героев Силлитоу, начиная с Артура Ситона из романа «В субботу вечером, в воскресенье утром». Человек без твердых моральных устоев, заброшенный в жестокий, несправедливый мир, где каждый против всех и только за себя. Это — очередная модификация старого героя, стихийного и анархичного бунтаря против тех, кто «наверху», против «крыс», по терминологии молодого Силлитоу.

В конфронтации Майкл — Моггерхэнгер яснее и рельефнее всего видна та роль, которую юный плут играет по отношению ко многим персонажам книги.

Каллен — носитель авторского отрицания. Сам далеко не добродетельный, он, получая очередной урок плутовства, тем самым служит как бы катализатором, выводящим на свет пороки внешне респектабельных и благопристойных граждан «истаблишмента». Ведь на всех без исключения персонажей мы прежде всего смотрим глазами героя-рассказчика.

Мрачным и уродливым гротеском встает образ Моггерхэнгера. Близки к карикатуре и образы других персонажей из ряда «имущих»: врача-психоаналитика Андерсона, истязающего свою жену и ребенка, и писателя-декадента Блэскина. Оба они, представляющие традиционно самые гуманные профессии, не способны проявить даже к своим близким ни капли внимания и сочувствия. Сам факт принадлежности к «истаблишменту» лишает их человеческой полноценности, превращает в бездушные и пустые манекены.

Бедняга Каллен так до конца и не может примириться с мыслью о том, что Блэскин его отец. В очередной раз наслушавшись высокопарных и пустопорожних блэскиновских разглагольствований, Каллен достаточно самокритично замечает: «Жаль, я не работал на фабрике, не то посоветовал бы ему засучить рукава да заняться делом». В Блэскине эгоизм и индивидуализм буржуазного интеллигента находят свое крайнее, гиперболизированное выражение — он просто не способен услышать, что говорит собеседник, понять его чувства.

Чрезвычайно любопытен в символическом плане образ Джека Календаря, этакого «хиппи-перестарка» — колоритное и достаточно неаппетитное ходячее воплощение маркузеанского «великого отказа».

Легко обнаружить незамысловатую символику и в финале. Каллен покупает не просто собственный «дом с садом», о чем мечтает любой уважающий себя западный обыватель, а заброшенный полустанок. «Начало пути» завершается тупиком...

В некоторых частях романа, особенно в эпизодах, посвященных шайке, промышляющей контрабандой британского золота, отчетливо звучат пародийные нотки. Джек Линингрейд, «Человек под колпаком», воспринимается как веселое литературное озорство, вполне злободневное издевательство над создателями всяческих монстров, населяющих «криминальный роман» и литературу «ужасов». Различим элемент пародии и в том вдохновенном вранье, которым потчует Майкл простодушную Бриджит, расписывая времяпрепровождение своего «благородного семейства». В данном случае объектом пародии становятся разделы «светской хроники» в иллюстрированных еженедельниках, разжигающие жгучий интерес обывателей к «сладкой жизни» «высшего света».

У Силлитоу лучше всего получалось и получается отрицание. И в «Начале пути» не изображены те силы, которые могли бы реально противостоять жестокому давлению капиталистического общества, в разной степени ощущаемому большинством персонажей книги. Правда, Майкл бегло, но уважительно говорит о приятеле своей матери коммунисте Альберте, который сумел пронести сквозь долгие и нелегкие годы верность своим идеалам. С гордостью бросает Майкл в лицо своему блудному родителю Блэскину: «Он коммунист, вы ему и в подметки не годитесь». С этим трудно не согласиться, хотя о самом Альберте мы узнаем до обидного мало.

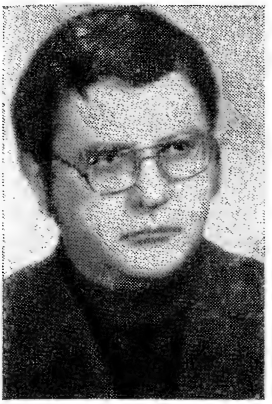
В следующем за «Началом пути» романе «Путешествие по Нигилону» (1971) писатель продолжает рисовать сатирическую картину современного западного общества. Придуманная писателем фантастическая страна Нигилон вбирает в себя все мыслимые пороки буржуазной государственности. Однако сатирические стрелы Силлитоу иногда не имеют точной и конкретной цели, и тогда критика системы буржуазного государства оборачивается критикой самой идеи государственности.

Плодотворно работающий в последнее время Силлитоу в конце 1972 года выпустил еще одну книгу, под названием «Сырье». Эта откровенно не завершенная в композиционном отношении вещь неожиданна по жанру. В ней делается попытка синтезировать роман-автобиографию, эссе, содержащие достаточно спорные размышления о творчестве, и страницы острой антибуржуазной публицистики. И «Нигилон», и «Сырье» — книги в значительной мере экспериментальные, так что наиболее цельным и художественно убедительным произведением последних лет остается роман «Начало пути».

Силлитоу — в напряженном поиске. Только что закончена и сдана в издательство завершающая часть трилогии. Писатель пробует разные ракурсы видения, меняет жанры и формы.

Лишь в одном он постоянен и верен себе. В последовательном неприятии буржуазного мира и в глубоких симпатиях и сочувствии к пусть не всегда однозначно положительному, не «голубому», но всегда к неимущему и демократическому герою.

ГЕОРГИЙ АНДЖАПАРИДЗЕ



ЛЕШЕК МАРУТА

Рассказы

■

С польского

Писатель

По профессии Пищак был дантистом и как будто даже очень способным. «О, это молодой многообещающий стоматолог!» — с большим уважением говорили о нем пациенты. Но Пищак не желал копаться в чужих зубах, он мечтал о другой, гораздо более блистательной карьере...

«Мир буквально кишит молодыми способными дантистами,— говорил он.— Я хочу стать писателем».

И он не пропускал ни одного литературного мероприятия, ни одной лекции или авторского вечера. С почтением, с неизъяснимым благоговением всматривался он в бледные одутловатые лица литераторов, выступавших с чтением своих произведений.

После каждого такого вечера Пищак робко подходил к автору и, волнуясь, спрашивал его: «Мэтр, я хочу стать писателем. Что мне надо делать»?

«Писать, писать и писать!» — отвечали маститые, умудренные опытом художники.

«Читать, читать и читать...» — советовали писатели среднего поколения.

«Прежде всего, старик, отрасти себе бороду,— поучали его молодые.— И потом смени, ради бога, эти шмотки. В пиджаке, брюках да еще при галстуке ты похож на заурядного мещанина. А художник должен быть слегка небрежен, он обязан даже внешностью выделяться из серой толпы посредственностей. Придумай какую-нибудь деталь туалета, чтобы придать своему облику печать неповторимой оригинальности; ну, скажем, бант, шляпу со страусовым пером, бархатную пелерину, шнурки вместо галстука или кальсоны цвета бордо — словом, что-нибудь необыкновенное!»

Следуя советам богемы, Пищак однажды явился на работу с бантом в волосах.

В белом халате, с алым бантом на голове он сразу же стал сенсацией врачебного мира. Пациенты буквально давились от хохота; никого больше не пугала бормашина, да что там, даже здоровые люди да-

вали вырвать себе по два-три зуба, чтобы только посмотреть на оригинала.

Но Пищак не намеревался понапрасну растрачивать свой талант за бормашиной и козьей ножкой.

По совету писателей среднего поколения он принялся интенсивно читать.

С утра, повязав алый бант на пышной шевелюре, он обегал книжные магазины и приносил домой огромные связки книг.

Остальную часть дня Пищак проводил в кресле, погруженный в чтение. Но он не был пассивным потребителем литературы. Нет! Он тщательно выписывал в специальные тетради наиболее значительные мысли авторов, особенно удачные описания природы или душевного состояния героев. Словом, все то, что могло в будущем пригодиться ему в работе.

По вечерам перед сном Пищак заучивал наизусть свои дневные записи.

«Гончие устремились вперед,— декламировал он.— Их лай становился все глуше и глуше, пока наконец не растворился в лесной тишине».

«Мадам,— повторял он цитату из другого произведения,— с тех пор как я увидел вас, невыразимое предчувствие счастья наполнило мою мятущуюся душу...»

Но литературный океан безбрежен, и, хотя проходили годы, Пищак еще не прочитал всех авторов.

К сорока годам он сумел только поверхностно ознакомиться с творчеством древних, к пятидесяти — едва одолел средние века и только в шестьдесят с изрядным хвостиком принялся за великих реалистов девятнадцатого века. Характеристика деталей (фасадов домов, оград, меблировки, туалетов), выписанная только из полного собрания сочинений Бальзака, заняла сто толстых тетрадей.

Чувствуя приближающуюся кончину, Пищак с ужасом понял, что литература поглотила его и что для собственного, оригинального творчества ему осталось очень мало времени...

А книги между тем заполонили всю его квартиру. Уже много лет Пищак обедал на избранных сочинениях Крашевского, спал на сложенных стопами изданиях Диккенса, сидел на Прусте, размышлял на Достоевском.

Теперь появление в книжных магазинах очередной новинки приводило его в ярость. Стоя перед витриной, он долго грозил кулаком томикам дебютантов и кирпичам современных прозаиков, показывал язык сочинениям классиков, оплевывал через стекло работы критиков. Затем, однако, вбегал в магазин и покупал новые поступления. По четвергам, пятницам и субботам Пищак возвращался домой, нагруженный центнерами литературных еженедельников. А по воскресеньям он просматривал зарубежную прессу.

Казалось, чтение отняло у него все время и он так и не сумел написать свое, заветное произведение. Но это неверно! Его ближайшие друзья утверждают, что незадолго до смерти расцвел, наконец, самобытный талант Пищака и стремительным потоком прорвал плотину чужих мыслей, описаний, диалогов, там и сям разбросав жемчужины собственных, насквозь оригинальных чувств и идей.

Бедняга писал в ужасных условиях: лежа на Шекспире, почти совсем придавленный собранием сочинений Толстого. После его смерти обнаружили только маленькую, наполовину исписанную бумажку.

С благоговением взял я в руки этот драгоценный плод всей его

жизни. Какую же глубину мысли должен был содержать этот короткий шедевр! Вот что я прочитал:

«Был уже полдень, когда Вишневский захлопнул дверь своей квартиры. Он не спеша спускался по лестнице — ступенька за ступенькой,— пока, наконец, не вышел на улицу. А там подметал тротуар наш дворник, пан Ментусик.

— Что слышно? — спросил его Вишневский.

— Ничего нового,— ответил Ментусик.— Все по-старому».

Герострат

Ни для кого в нашем доме не было секретом, что Левандовский работает над проблемой уничтожения мира. Об этом знала вся наша улица! Но факт этот существовал лишь где-то в подсознании, и редко кто задумывался над ним. Целый год занимались мы своими семейными и служебными делами, политикой, спортом, игрой в тотализатор и только в период летних отпусков разговоры коснулись особы Левандовского.

Это имя вызывало у людей самые различные реакции: один стучал пальцем по лбу, другой пожимал плечами, третий крестился украдкой. Только я принимал все всерьез: как-никак уничтожение мира — вещь немаловажная и в какой-то мере касается меня!

Однажды я зашел к Левандовскому—якобы по вопросу о разведении сада на территории нашего двора. До этого я знал Левандовского только с виду. Невысокий, сгорбленный, очень скромно одетый, всегда в широкополой, надвинутой на глаза шляпе, проходил он ежедневно утром по двору между кричащими детьми, прихрамывая на одну ногу. Жилище Левандовского вполне соответствовало его внешности. Небольшая, дешево меблированная комната, заваленная столярными и прочими инструментами, свидетельствовала о странностях своего хозяина.

И часы. Вся стена была увешана разнообразными часами: позолоченными, из красного дерева, с маятниками, с ключиками, кукушками, курантами.

Как раз в тот момент, когда я вошел в комнату, все часы пробили пять раз. Глухо и звонко, громко и тихо...

Левандовский совершенно не интересовался садом.

— Сад? — махнул он рукой.— А зачем? И так уж скоро...

— Что скоро? — подхватил я.

Левандовский недоверчиво посмотрел на меня, но в конце концов отбросил нерешительность:

— Ну да ладно, я скажу вам, все равно уже на улице об этом болтают!... Скоро наступит конец света!

— О-о! Каким образом? — Я продолжал разыгрывать наивного человека, чтобы вызвать его на откровенность.— Комета хвостом сметет? Реки разольются? Солнце погаснет? Или, может, какой-нибудь атом разнесет?

— Нет! — зловеще захохотал Левандовский.— Я его уничтожу!

— Вы? Но зачем? Разве вам плохо живется на свете?

— Плохо. И потому я решил покончить с ним.

Его объяснение потрясло меня.

— Те, кому плохо живется на свете,— сказал я,— накладывают на себя руки, прыгают из окон, топятся или... да разве перечислишь все способы...

— Уничтожить мир — тоже способ, хе, хе! — ввернул Левандов-

ский.— Почему только я должен погибнуть? А весь мир, полный идиотов и хулиганов, будет торжествовать над моим трупом? Миллионы других людей будут смеяться, играть, наслаждаться жизнью, не подозревая ни о моем существовании, ни о моей смерти! Каждый человек имеет право на свой собственный мир... Это мой мир, и потому я его уничтожу!

Мне стало как-то не по себе.

— Вы извините,— прервал я его,— но это и мой мир, и я думаю, что тоже имею на него право.

Левандовский презрительно рассмеялся:

— Дорогой мой, ваши права меня абсолютно не интересуют. Вы только частичка моего мира, который я намереваюсь ликвидировать. Разве моя идея об уничтожении мира не интереснее, не величественнее вашего жалкого существования? В конце концов вас все равно, прошу прощения, кондрашка хватит. Родственники и знакомые проводят вас в последний путь на кладбище; на надгробном камне напишут: такой-то умер тогда-то и тогда-то... у м е р, а мир продолжает существовать как ни в чем не бывало! Но я, хе, хе, не умру так просто... Смерть — понятие относительное, так же как и время. Значит, когда мир погибнет, совершенно перестанет существовать, исчезнет и смерть! Разве это не изумительно? А?

— Но... каким образом вы намереваетесь совершить это? — спросил я, все еще не будучи в силах прийти в себя от изумления.

— Я работаю над созданием бомбы с часовым механизмом,— прошептал он доверительно,— над бомбой которая в мгновение ока развеет в пыль проклятый земной шар, раздробит его на мельчайшие атомы, которые в свою очередь распадутся в страшных взаимных ударах.

— И... и у вас есть уже такая бомба?

— Нет. Правда, сама бомба не особенно важна. Для нее придет время позже... Самое главное — часовой механизм,— добавил он, и глаза его заблестели.— Это должен быть механизм, какого никто еще не придумал; часы, которые не смогут найти ни ученые, ни милиция!

— И вы создали такой механизм?

— Еще нет. Не знаю, какие бы из этих выбрать? — Он показал на стену.— Может быть, те, с кукушкой? Нет, нет, они сразу обратят на себя внимание. Каждый скажет: слышите — кукушка! Ку-ку, ку-ку! И доберутся до бомбы.

— Возьмите тогда те, что вделаны в шкаф,— подал я ему мысль.

— Н-нет, тоже не годится. Кто-нибудь подумает: что же там находится, в этом шкафу? Откроют, а там — бомба!

— А карманные?

— Ни карманные, ни ручные не подойдут! — разозлился Левандовский.— Что вы! Бомба в них не уместится.

— Бомбу можно положить в портфель.

— Ну кто даст себе в портфель положить бомбу?!

— Да ведь вы сами должны ее понести...

— Я? Бог с вами! Ведь меня тут все знают. Сразу скажут: «Ого! Левандовский пошел мир уничтожать! Хватайте его! Милиция!..» Нет уж, лучше я обойдусь без ваших советов, не так-то легко уничтожить мир. Для этого нужно быть специалистом!

Я попрощался с Левандовским. Когда я выходил, часы как по команде пробили семь раз. Признаюсь, мне стало страшно при последнем ударе.

С тех пор я с философским спокойствием наблюдаю за событиями, происходящими в мире. Меня не пугают ядерные испытания, меж-

дународные конфликты, гонка вооружений и прочее в этом роде. О, наивное человечество! Только один человек на свете способен уничтожить этот мир. Левандовский! Да и тот никак не может придумать соответствующий механизм...

Навязчивый невроз

Известный психиатр доктор Птак, проводив очередного пациента, несколько минут посвятил физкультурным упражнениям: сделал три приседания, пять раз вдохнул и выдохнул воздух по системе йогов — и лишь только после этого бросил своей ассистентке короткую мобилизующую фразу: «Следующего, прошу».

В кабинет вошел высокий упитанный мужчина в элегантном, хотя и несколько помятом, костюме. Его заурядное, ничем не примечательное лицо выражало глубочайшую апатию. Пациент нерешительно остановился в нескольких шагах от врачебного стола.

— Подойдите ближе! Садитесь, пожалуйста,— любезно пригласил Птак.

Мужчина неловко присел на краешек стула и уставился в пол.

— Что вас беспокоит? — спросил его психиатр.

— Ах, доктор, я очень страдаю. Что-то неладное творится с моими мозгами. Я живу в постоянном страхе... Мне все время кажется, что меня вот-вот арестуют, что милиция и прокурор напали на мой след... По ночам постоянно снится камера, гюремная койка...

«Конституционно обусловленные психопатические черты,— заметил про себя доктор Птак.— Невроз и фобии... Особенно клаустрофобия — страх перед замкнутым пространством...»

— И знаете, доктор,— продолжал тем временем пациент,— я совершенно потерял способность радоваться жизни. Раньше я жил весело, открыто, а теперь всего боюсь, избегаю людей, особенно милиционеров...

«Типичная тяжелая психастения, осложненная невротическими реакциями»,— как всегда безошибочно, диагностировал доктор Птак.

— Я живу в каком-то нереальном мире. Грежу наяву. Например, воображаю, будто я уже в безопасности, где-нибудь в Австралии или Бразилии... А потом вдруг опомнюсь и...

Врач быстро протянул больному пачку сигарет, пододвинул графин с водой. Пациент тут же закурил, судорожно втянул дым в легкие.

— Вообще, доктор, я пессимистически смотрю на будущее,— закончил он свой рассказ.— Какой-то внутренний голос подсказывает мне, что я получу не меньше пятнадцати лет. Уже теперь, идя по улице, я машинально считаю решетки на окнах... Ах, доктор,— пациент закрыл лицо руками,— умоляю, спасите меня!

— Т-а-а-а-к! — задумчиво произнес доктор Птак, вставая из-за стола.— Т-а-а-а-к...—повторил он, прохаживаясь по кабинету.—То, что вы рассказали, неоспоримо свидетельствует о наличии у вас патологического преобладания второй сигнальной системы над первой, а также коры над подкоркой. Вместе с тем я подозреваю, что у вас нарушено равновесие процессов возбуждения и торможения... Но я должен вас

успокоить. Это не психическое заболевание. Вы страдаете простым неврозом, с некоторыми признаками вегетативных расстройств...

— Как это? — Пациент даже вскочил со стула.— Значит, этот... этот страх перед милицией, перед прокурором и тюрьмой — только болезнь, словом, нечто, не имеющее совершенно никакой связи с действительностью?

— Абсолютно никакой связи,— заверил его врач, и несчастный больной заметно повеселел.— Вашу болезнь можно легко и просто вылечить. Но главное, вы сами должны все время повторять: «Милиции не существует! Прокурора не существует!! Я чувствую себя все лучше и лучше!!!»

— Я уже сейчас чувствую себя лучше! — закричал пациент, заключая доктора в объятия.

— Ну вот видите! Кроме того, я рекомендую вам полный покой, смену обстановки, строгое соблюдение режима. А пока что пропишу вам бром с кофеином. Как ваша фамилия?

— Пищак. Алоиз Пищак! — прошептал пациент.

Он чувствовал себя обновленным. Апатии, подавленного состояния как не бывало. Жизнь снова поворачивалась к нему оптимистической стороной...

Через неделю, читая газету, доктор Птак наткнулся на заметку следующего содержания:

«После долгих поисков органам милиции удалось, наконец, арестовать очень опасного преступника Алоиза Пищака. Этот аферист, спекулянт и расхититель государственного имущества имеет на своей совести длинный список преступлений: взятки на сумму в несколько десятков тысяч злотых, хищения в магазинах и на складах, где он работал, спекуляция дефицитными товарами, нелегальная торговля валютой, подделка бухгалтерских документов, жульнические махинации с перепродажей квартир... Обвиняемый пытался доказать суду, что его преступная деятельность явилась следствием невроза, которым он якобы страдает с детства. Суд признал это объяснение несостоятельным и приговорил обвиняемого к пятнадцати годам тюремного заключения».

Доктор Птак глубоко задумался. А потом раскрыл врачебный журнал и рядом с фамилией Пищака написал:

«Больной П. находится на пути к полному выздоровлению».

Перевод В. ГОЛОВСКОГО

Золотоискатель

Собственно, я мог бы жить припеваючи на иждивении супруги, не связываясь ни с какой работой. Но соседи, как это у них водится, стали мою дражайшую половину подзуживать:

— Взялся бы ваш муженек за какую-нибудь работу. Сидит себе дома да бьет баклуши! Между тем промышленность нуждается в кадрах! А сколько их требуется сельскому хозяйству, торговой сети, транспорту...

Вот жена и насела на меня.

— Берись за работу! — зудела она у меня над ухом.— Для начала зацепись где-либо, займись чем попало. А потом тебя выдвинут, перебросят!

Не долго думая взял я лопату и спустился в наш палисадник. Откровенно говоря, делать там было нечего, и, скуки ради, стал я копать яму.

Через час высунулся из окна дворник.

— Чего вы тут роете? — подозрительно спросил он.

— Ищу золото,— буркнул я, не подумавши.

— Золото? — Дворник даже глаза вытаращил.— А разве есть в здешних краях золото?

— Конечно есть. Не видите? — Я показал дворнику свой единственный золотой зуб, еще довоенный.

— О боже! Погодите! Я только кликну зятьев.

Немного погодя мы копали уже вчетвером. К обеду, когда жильцы вернулись с работы, дом облетела весть, что мы обнаружили в палисаднике золотоносную жилу. К вечеру палисадник кишел народом. Я сразу перестал копать и принял на себя руководство поисками.

— Пять человек на промывку, к крану, шесть человек на разметку новых участков,— деятельно распоряжался я, заметив, что во двор стали проникать какие-то посторонние граждане с заступами и ситами.

На следующее утро к месту раскопок прибыл озадаченный управдом.

— Где тут руководитель работ? — стал он допытываться у граждан.

— Здесь! — крикнул я.

— Пан руководитель! — Управдом принялся размахивать руками.— Разве можно без спроса добывать золото? Надо зарегистрировать участки в магистрате и получить концессию в финансовом отделе.

Как и следовало ожидать, никакой концессии на добычу золота частным порядком я не получил. В то же время магистрат создал городское эксплуатационное спецпредприятие и предложил мне занять пост руководителя.

Я принял его без колебаний. Теперь у меня были: весьма приличный оклад, бухгалтер, кладовщик, десять землекопов и четыре промывальщицы. Но добыча золота недолго оставалась в компетенции местных властей. Эксплуатацией залежей драгоценного металла заинтересовались центральные власти. Пришлось везти в столицу пробы. С тяжелым сердцем отправился я к дантисту и снял с зуба золотую коронку.

В столице пробу приняли, похвалили, инициативу нашу поддержали и не мешкая создали внеотраслевое государственное предприятие. Директором этого предприятия стал я. Оклад мой увеличился втрое, в мое собственное распоряжение поступили: персональная машина, личная секретарша, курьер, тысяча землекопов, четыреста промывальщиков.

Работа закипела. Мы изрыли вдоль и поперек наш палисадник, соседние палисадники, снесли два дома, принялись осваивать соседнюю улицу. И тут возник конфликт между мной и городским управлением канализационных работ, производившим все земляные работы в городе.

Снова вмешалась столица. В результате я возглавил объединенное предприятие по добыче золота и производству канализационных работ. В молниеносном темпе мы перекопали ближайшие улицы и ряд объектов, докопались до военного городка. Опять конфликт. Вмешательство сверху. И к моим двум директорским постам прибавился еще чин полковника.

Мы рыли дальше. Званий у меня прибавлялось с каждым днем. Директор городских кладбищ — когда мы пробились через кладбище, директор газового завода — когда его пришлось снести, директор аэро-

порта — когда мы перепахали аэродром, директор заготпеска и гальки — когда мы, наконец, достигли реки...

Изнемогая под тяжестью всевозможных служебных обязанностей, я в конце концов обратился в министерство с просьбой, чтобы меня освободили от других должностей, разрешив сохранить за собой лишь пост генерального директора сети комиссионных магазинов, ибо тем временем мы докопались и до них. Там даже оказалось малость золота, но, к сожалению, выставленного на продажу. Столица выразила согласие.

Таким образом, теперь я генеральный директор, дела мои идут недурно. У меня автомобиль, вилла, солидные доходы. Правильно супруга советовала: только зацепись где-нибудь, делай что придется, все равно выдвинешься, перебросят тебя на другую должность... Святые слова!

Золота, разумеется, не нашли никакого. Но это уже не по моему ведомству.

Лаборатория

Я шел по пустынному полю, покрытому грязным тающим снегом, и с волнением думал о своем будущем репортаже из такого солидного научно-исследовательского центра, каковым, несомненно, являлась Лаборатория.

Голова моя была набита всевозможными нейтронами, мезонами, протонами, гиперонами, позитронами, и меня охватывал панический ужас при мысли, что во время предстоящих бесед я все это перепутаю.

Лаборатория находилась далеко за городом, и от последней автобусной остановки пришлось еще порядочное расстояние прошагать пешком. Так что у меня было достаточно времени, чтобы повторить мысленно очередность вопросов. Кроме того, я мог уже издали освоиться с видом Лаборатории, приземистое здание которой, лежащее на пустой равнине, отчетливо вырисовывалось на фоне серых холмов, окаймляющих со всех сторон наш город.

После двадцатиминутного марша я, наконец, доложил о своем прибытии в проходной, предъявив вахтеру редакционное удостоверение. Тут ко мне присоединился курьер, и вместе с ним мы направились в кабинет директора.

Профессор уже ждал меня, предупрежденный о моем визите по телефону вахтером. Он сидел в огромном кресле, а перед ним на сверкающем письменном столе красного дерева высились кипы книг и научных журналов. Даже на стенах кабинета висели графики, иллюстрирующие ход всевозможных сложнейших физико-химических процессов.

Я поздоровался с профессором, передал ему привет от нашего главного редактора, некогда учившегося вместе с ним в школе первой ступени, и не мешкая приступил к интервью.

— Пан профессор,— начал я, положив перед собой на стол блокнот и авторучку,— какие цели ставит перед собой Лаборатория и какова область ее исследований?

Профессор немного помедлил с ответом. Наконец, откашлялся и произнес тихим голосом:

— Цель наших исследований, гм, довольно специфична. Мы занимаемся тут исключительно ниспровержением общепринятых физических законов и правил математики.

«...Ниспровержение законов и правил математики»,— записал я в блокноте.

— А можно ли узнать зачем?

— По той простой причине, что их слишком много! Уже сейчас мы констатируем, что самые способные студенты и солидные ученые мужи не могут угнаться за научным прогрессом, не управляются с огромным, постоянно нарастающим потоком информации. Физика становится слишком трудной для физиков, математика — для математиков, необходимо частично освободить их от балласта. Такова наша основная цель.

— Понятно. В этой связи, пан профессор, не могли бы вы продемонстрировать нашим читателям на каком-либо небольшом конкретном примере свою методику ниспровержения, допустим, правил математики?

— С удовольствием — Профессор взял карандаш и лист бумаги.

— Вам, разумеется, известна теорема Пифагора?

— Пи-Пифагора? — переспросил я заикаясь.

— Ну та, которая гласит, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

— Да, конечно...

Профессор начертил на бумаге треугольник и квадраты.

— Достаточно только нарисовать треугольник криво — и равенство исчезнет! Тут даже излишни какие-либо доказательства. Это видно невооруженным глазом!

Я пригляделся к рисунку. Действительно, квадрат гипотенузы абсолютно не равнялся сумме квадратов катетов!

— Столь же просто мы опрокидываем теорему Талеса. Отрезки на разных сторонах угла вовсе не будут пропорциональны, если прямые, их отсекающие, не будут прямыми!

— Потрясающе! — прошептал я восхищенно и не без некоторой доли внутреннего удовлетворения.

— К сожалению, в связи с перегруженностью научной работой я не смогу лично сопровождать вас при осмотре Лаборатории. Но я уже распорядился, чтобы вам составил компанию доцент Маруля. Это наш выдающийся физик. Он уже собственноручно опроверг принципы динамики Ньютона, законы Бойля—Мариотта, Лавуазье и теорию относительности Эйнштейна.

Профессор нажал кнопку звонка, спустя некоторое время в дверях появился доцент Маруля, плотный, высокий, с бледным одутловатым лицом, значительность которого подчеркивали очки в золотой оправе.

Доцент Маруля, не говоря ни слова, повел меня по коридору к двери, на которой виднелась надпись: «Антиэлектрическая лаборатория» Когда мы вошли в нее, доцент остановился у крайней динамо-машины и молвил:

— Разумеется, профессор уже информировал вас о моих скромных научных достижениях. Однако он не упомянул о моем новейшем, сегодняшнем открытии. Так вот, оказывается, что электрического тока вовсе не существует, электричество — это фикция! Мне бесконечно жаль старика Фарадея... Увы, его теория индукционных токов была обыкновенной ошибкой, каковые не редкость в практике ученых. Видите ли, Фарадей утверждал, что если к цепи, состоящей из соле-

ноида, гальванометра и проводников, быстро поднести магнит, то гальванометр покажет возникновение электрического тока. А если вместо магнита взять палку! Пожалуйста... Подносим ее... Очень быстро подносим... Ну и что? Ничего!

Действительно, стрелка гальванометра не дрогнула. Доцент Маруля отложил палку.

— В заключение мы начисто опровергнем известный ньютоновский закон всемирного тяготения. Пройдемте, пожалуйста, в соседнюю комнату.

«Закон всемирного тяготения? — удивился я.— Ого, здорово замахивается этот Маруля!»

— Да. Якобы любые массы взаимно притягиваются. Вздор!

Посреди затемненной комнаты свободно парил в воздухе какой-то серебристый предмет. Однако, привыкнув к полумраку, я констатировал, что этот предмет подвешен на нитке!

— Но ведь он же висит на нейлоновой нити! — опрометчиво воскликнул я.

— Эта нитка настолько слабо видна, что ее как бы вовсе не существует! — сказал доцент.

Я признал его правоту. Мы повернули к проходной. По дороге я еще остановился у тяжелой свинцовой двери, ведущей в куполообразную пристройку. На ней красовалась предостерегающая надпись: «Ядерные исследования. Главный реактор. Посторонним вход строго воспрещен».

— А что делают здесь? — спросил я, подстрекаемый врожденным любопытством.

— Тут мы производим эксперименты, призванные доказать, что расщепление ядра вообще невозможно! Так одним махом я опровергну всю ядерную физику. А заодно и человечество избавится от самой большой заботы. Вы понимаете? — Тут доцент Маруля проницательно поглядел на меня сквозь золотые очки.

Мы обменялись крепким рукопожатием.

— Желаю успеха! — прошептал я. Доцент скрылся за свинцовой дверью, а я, погруженный в размышления, неторопливым шагом покинул здание Лаборатории.

Я прошел уже половину пути до автобусной остановки, как небо и заснеженные поля вдруг осветила вспышка и позади меня раздался оглушительный грохот. Сметенный воздушной волной, я упал на землю. А когда обернулся, то заметил, что Лаборатория исчезла. Над тем местом, где она стояла, выше туч вздымался столб дыма, увенчанный грибовидной шапкой.

Я во весь дух помчался в редакцию.

Перевод М. ИГНАТОВА

■

Литературное наследие

КАЛИДАСА

Облак-вестник

ПОЭМА

Перевод с санскрита и вступление С. ЛИПКИНА

Обычно, когда пишут о знаменитом поэте древности (а первых читателей и зрителей Калидасы отделяют от нас пятнадцать столетий, если не больше), то подчеркивают непреходящую ценность его поэзии: иногда — и совершенно справедливо — добавляют, что произведения поэта вошли в сокровищницу мировой культуры. Но не возникает ли при этом у читателя та почти крамольная мысль, что творения старинного автора можно назвать памятником литературы, а ведь памятник вызывает в нас чувство почтения, порою — благоговения, но редко — живое трепетание сердца? В самом деле, есть ли действенная общность между нами и поэтом, жившим в Индии в пятом веке, во времена династии Гуптов? (Некоторые ученые и народная традиция относят Калидасу к I столетию до нашей эры.)

Чем же близок нам старый индийский поэт? Манерой письма? Действительно, некоторые строки кажутся нам насыщенными экспрессией наших дней:

Я броситься за девушкой хотел.
Но сразу же собою овладел.
И что же? Не вставал я со скамьи
Но ощущенья таковы мои.
Что я пошел за ней, чтоб удержать
Вернулся, на скамье сижу опять.

Ничто, однако, не устаревает так быстро, как манера письма, если она не выражает сути письма. В этой связи уместно привести и другие строки Калидасы:

Не все хорошо то, что старо,
И плохо не все то, что ново.
Разумному сделать нетрудно
Отбор из того и другого...

Гёте, потрясенный «Шакýнталой» (драму Калидасы впервые перевел на немецкий язык Георг Форстер), зорко увидел в драме слияние целомудрия и зрелости, цвета и плода. Между прочим, у Калидасы Гёте заимствовал и предпослал «Фаусту» пролог, столь свойственный санскритской драматургии. Русским читателям хочется напомнить умные, точные слова о пьесе Калидасы, высказанные в «Московском журнале» Н. М. Карамзиным: «Творческий дух обитает не в одной Европе; он есть гражданин вселенной. Человек везде человек; везде имеет он чувствительное сердце и в зеркале воображения своего вмещает небеса и землю... Почти на каждой странице сей драмы находил я высочайшие красоты поэзии, тончайшие чувства... Калидас для меня столь же велик, как и Гомер».[1]

Основу для своих произведений Калидаса находил в индийской мифологии. Из десятой книги древних гимнов «Ригведы» Калидаса позаимствовал сюжет драмы «Завоеванная мужеством Урва́ши», из «Махабха́раты» — мотивы самой известной своей

[1] «Московский журнал», т. VI, кн. 2. М., 1972. Цитирую по книге И. Д. Серебрякова «Древнеиндийская литература». М., 1963.

драмы «Шакунтала». В этом смысле Калидаса поступал как и более поздние поэты арабского, персидского, среднеазиатского Востока, всегда опиравшиеся в своем творчестве на темы, уже широко известные, освященные традицией. Калидаса гениально (то есть человечно) преобразует эти традиционные темы.

Царь Душьянта влюбляется в «лесную девушку» Шакунталу, приемную дочь святого отшельника. Девушка ждет от царя ребенка. Царь забывает ее; тому причина — проклятие некоего гневного подвижника. Но можно ли забыть свою любовь? «Разве истинная любовь,— спрашивает автор устами одной из героинь драмы,— нуждается в приметах, в опознавательных знаках?»

Любви посвящена и знаменитая поэма «Облак-вестник». Я вынужден был в переводе прибегнуть к старинному звучанию слова «облако» (впрочем, охотно употреблявшемуся русскими классиками), потому что «облак» — мужского рода, а Калидасе необходимо подчеркнуть общность между тоскующим в разлуке мужем и облаком, оплодотворяющим дождем землю. Индийская поэзия основана на учении о дхвани. Мы бы сейчас сказали, что речь идет о подтексте. Мысль, высказанная поэтом, должна была, по мнению знатоков, углубляться смыслом невысказанным. Поэзия, основанная на дхвани, на способности и возможности читателя быть соучастником художественного творчества, считалась в Индии подлинной, высшей. Вот, как мне кажется, пример дхвани. Герой, обращаясь к облаку, говорит: «Как брат, как родич мой войдешь ты к моей супруге молодой». Здесь «брат облака» — не просто метафора: только на правах брата облак, не нарушая обычая, мог войти в покои жены своего собеседника.

Содержание поэмы сводится к следующему. Якша, полубог, слуга властелина богатства бога Куберы, был изгнан за некий проступок своим повелителем из Алаки, столицы Куберы, на дальний юг страны, на гору Рамагири, где некогда жил прославленный герой Рама со своей супругой Ситой. Изгнанник обращается к облаку, к потомку мифического облака Пушкары, с просьбой передать весть жене. Облак движется с юга на север, и перед нами, на его пути,— роскошные картины индийской природы. Описываются священное озеро Ма́нас, священная гора Кайла́са, священная река Ганга — они священны для индийца не только религиозной, но и патриотической святостью. Поэт заворожен своей родиной — ее дворцами и городами, ее реками, деревьями и цветами, ее народностями, ее мифическими животными, например восьминогими шарабхами, ее мифическими племенами — якшами или сиддхами.

С помощью санскритолога Б. А. Захарьина, сделавшего подстрочные переводы, я переложил стихами и прозой три драмы Калидасы — «Маля́вика и Агнимитра», «Завоеванная мужеством Урваши», «Шакунтала», перевел поэму «Облак-вестник» и главы из поэм «Род Рагху» и «Рождение бога войны». Книга выйдет в издательстве «Художественная литература». Поэма «Облак-вестник» предлагается вниманию читателей журнала с небольшими сокращениями.

Страстность поэта, его человечность, то есть все то, что поныне живет для нас, заставляют нас забыть о предрассудках древности, вернее, вспомнить, что великий русский поэт даже в мифе, даже в предрассудке увидел «нашей правды современной дряхлолетнего отца».

Часть первая

За некий грех был проклят якша владыкой-богом: «Целый год
Пускай, на склонах Рамаги́ри закат встречая и восход,
Под густолиственным навесом, в лесу, вблизи прозрачных вод,
Купаньем Ситы освященных, в разлуке с милой он живет!»

Он прожил больше полугода, не видя никого вокруг.
Его браслеты золотые упали с исхудавших рук.
Однажды на исходе лета на облак посмотрел он вдруг:
То на холмы ложился облак, то, словно слон, топтал он луг.

Пред облаком стоял в раздумье, глотая слезы, полубог:
Теперь спешат скитальцы к женам — ступила осень на порог,
В такое время и счастливцы всегда исполнены тревог,
А он тем более — изгнанник, что без любимой изнемог!

Но близок шра́ван — бурный месяц любовных ласк. И, весь в огне,
Решил он с облаком отправить весть о себе своей жене.
Поднес ему жасминов свежих и пред плывущим в вышине
Прекрасным облаком свой голос он поднял в горной тишине.

У смеси ветра, света, влаги и дыма разве есть родство
С той думой, что понять сумеет лишь мыслящее существо?
Об этом не подумал якша: любовь измучила его,
А тот, кто любит и страдает, не разумеет ничего!

«Могучий облак, ты свой облик менять способен каждый час.
Ты происходишь от Пушка́ры, чей блеск доселе не погас.
Пусть мне откажешь ты, прошу я: мне помоги на этот раз —
Чем недостойного согласье, милей достойного отказ.

Ты всем страдальцам сострадаешь, так смилуйся и надо мной.
Доставь жене моей посланье: бог разлучил меня с женой!
Плыви в Ала́ку, в город якшей, который озарен луной,
Что на челе сверкает Шивы, живущего в тиши лесной.

Пусть жены странников, в разлуке томящиеся много дней,
Расчешут волосы, надеясь на возвращение мужей.
Тебя увидев, кто к супруге не устремится поскорей?
О, пусть никто, как я, не страждет, наказанный царем царей!

Тебя легко-легко подгонит приятный, тихий ветерок.
Ты пенье ча́таки услышишь, как только обогнешь отрог.
Гирлянды журавлих, зачатья предчувствующих близкий срок,
Вдруг обовьют тебя на небе, среди синеющих дорог.

Как брат, как родич мой войдешь ты к моей супруге молодой,
Она считает дни разлуки, истерзана моей бедой.
Ведь сердце любящей подруги — листок, что вянет с быстротой,
И только стебелек надежды — оплот любви ее святой.

Когда твой гром, любезный слуху,— твой голос прогремит с высот,
Земля покроется грибами и все живое расцветет.
По водам Ма́наса тоскуя, фламинго пустятся в полет,
Питанье — лотоса побеги — добыв в дорогу наперед.

Теперь вершину Рамагири ты на прощанье обними.
Здесь каждый след святого Рамы благословляется людьми.
С тобою раз в году встречаясь, вершина слезы льет, пойми,
И эти слезы — пар горячий — как знак любви ее прими.

Я опишу тебе дорогу, простершуюся под тобой,
А после изложу посланье к любимой, данной мне Судьбой.
Когда почувствуешь усталость, нагорной опустись тропой
И пей из родника любого, прильнув к расщелине любой...

Крестьянам урожай даруя, ты влагу на поля пролей —
Любовь узнаешь простодушных крестьянских жен и дочерей.
И, чувствуя их робкий трепет, плыви над свежестью полей,
Слегка на запад отклонившись, на север двигайся бодрей.

Тебя, кто усмиряет ливнем лесной пожар на склонах гор,
С восторгом примет Амраку́та на свой утес вблизи озер:
Ведь и ничтожнейшие ценят поддержку друга с давних пор,
Так свойствен ли горе великой неблагодарности позор?

Когда, соперничая чернью с косою женской, средь плодов
Созревших манго ты возляжешь в благоухании цветов,
Гора, я знаю, очарует любви предавшихся богов:
Грудь обнажив, земля в средине темна и светится с боков!

И, отдохнув на горном ложе, чьи травы тешат женский взор,
И дождь излив, ты станешь легче и быстро выйдешь на простор,
Увидишь Ре́ву, чьи протоки дробятся близ Виндхи́йских гор:
Как будто на слоновьем теле — морщин затейливый узор.

Но, снова дождь пролив, наполнись — из Ревы ты воды испей:
Она слоновьей течкой пахнет, плоды бежать мешают ей.
Тебя качать не сможет ветер, когда ты станешь тяжелей:
Лишь то, что пусто,— легковесно, а в тяжести — исток вещей.

Кадамбы светло-золотые проснутся, первые цветы,
И почки первые средь листьев на берегах увидишь ты,
Земли почуяв крепкий запах, когда горят трава, кусты,
Твой путь повторят антилопы — ты их обрызнешь с высоты.

Предвижу: как бы ни стремился моей жене доставить весть —
В горах задержишься, чьим склонам дано пленительно расцвесть.
Когда услышишь крик павлинов — сумеешь ли глаза отвесть
От их глубоких, влажных взоров, в которых счастье жизни есть?

Увидишь ты в краю Дашарна: ограды тамошних садов
Цветеньем ке́таки белеют; в селеньях птицы вьют свой кров
На деревах священных; рощи уже темнеют от плодов
Поспевших джа́мбу; для фламинго здесь временный приют готов.

Войди в столичный град Види́шу, прославленный в любом краю:
Здесь утолишь ты, облак-вестник, страсть многомощную свою.
Испей воды из Ветрава́ти: взглянув на ломкую струю,
Я женщину, что хмурит брови, в ее изгибе узнаю.

Ты поднимись на гору Ни́чай: лишь сядешь на ее хребет —
Как волоски на теле, вздрогнут от страсти каждый лист и цвет.
В пещерах — пряный запах плоти, утех любовных бурный след:
Здесь горожане и плясуньи неистовствовали много лет.

Передохнув, плыви ты дальше и капель влаги не жалей
Для расцветающих жасминов, заглядывающих в ручей.
Прохладой одари цветочниц: стирают пот со щек, с бровей,
И вянут лотосы от зноя, свисающие с их ушей.

Пусть даже от пути на север и уклонишься ты чуть-чуть —
Дворцов высоких Удджаи́ни ты не минуй, свершая путь.
Там в очи местных уроженок такое счастье заглянуть —
Красавицы при блеске молний испытывают дрожь и жуть!

Ты страсть утишь водой Нирви́ндхью: чаруя всех, она течет,
Вкруг стана — пояс птиц кричащих, безумных от ее красот.
Река игриво обнажила и грудь, и пуп-водоворот:
Так женщина, когда полюбит, без слов прельщает и влечет.

Поблекнув от увядших листьев с деревьев, сброшенных сюда,
Река состарилась в разлуке, ее коса теперь седа —
Любовь покинутой супруги являет грустная вода...
Твой долг — дождем наполнить реку: вернешь ей молодость тогда!

В селениях Ава́нти чудно рассказывают старики,
Как царь Уда́яна был славен; ты этот край пересеки,
Лети в Вишала́; благовонны ее сады и цветники —
Как будто божества из рая их принесли к струям реки.

А ветер с той реки доносит цветенья утреннюю новь,
Дыханье лотосов раскрытых и птиц певучую любовь,
И женам, страстью истомленным, он силы возвращает вновь,
Как будто он — любовник пылкий, и речью он волнует кровь!

Плывут, из окон вырываясь, там благовонья для кудрей,
Благоухания для тела; ночь проведи в домах царей,
Где пляшут пестрые павлины — а в мире нет существ добрей,—
Где сладостны следы сандалий нарядных жен и дочерей...

Когда во мраке непроглядном — хоть проколи его иглой —
Спешат к любовникам подруги, а улица сокрыта мглой,
Как златом на точильном камне, ты вспыхни молнией ночной,
Но не шуми дождем и громом: их испугает голос твой.

С женою-молнией, уставшей дарить сверканьем небосклон,
Ночь проведи на кровле дома, где голуби вкушают сон,
А утром вновь пустись в дорогу — затем, что есть святой закон:
Пусть тот не знает промедленья, кто просьбой друга вдохновлен!

Любовники осушат слезы своих встревоженных подруг,
Лишь солнце выйдет, но за солнцем не следуй, вестник мой и друг:
Оно от слез освобождает цветы, расцветшие вокруг,—
Так не задень неосторожно его горячих, добрых рук.

Чиста, спокойна, беспорочна, вода Гамбхи́ры хороша,
И, радостная, отразится в ее душе твоя душа.
Ее улыбок — блестки рыбок средь лотосов и камыша —
Не отвергай, а с нею слейся, ненужной спесью не греша.

Сорви с нее наряд лазурный, который, кажется, слегка
Придерживает, как руками, она ветвями тростника,
И ты увидишь, как прекрасна та обнаженная река!
Расстаться ли с открытобедрой? Но с нею близость так сладка!

А утром ветерок, которым смоковницы освежены,
Повеяв запахом душистым лесной, цветущей стороны,
Тебя к вершине Девагири поднимет с синей быстрины,
И, весело сопя, упьются его дыханием слоны...

Достигнешь ты истоков Ганги — вершин, закутанных в снега,
Где мускусом газелей горных благоухают берега,
И ты предстанешь черным комом, а бык — Трехглазого слуга —
Как будто взрыл тебя, вонзая свои могучие рога.

Когда лесной пожар начнется среди дремучей темноты
От тренья ветра и деревьев и якам опалит хвосты —
Тысячеструйною водою залей пожар: без доброты,
Без сострадания к несчастным ни славы нет, ни чистоты...

Смиренно обойди ты место, где Шивы след запечатлен.
С моленьем-приношеньем сиддхи сюда идут со всех сторон.
Здесь от грехов освободится кто чтит и веру и закон,—
Он в полубога превратится, для светлой вечности спасен!

Вверх поднимись, чтобы к уступам Кайла́сы в гости ты попал.
Их потрясал Десятиглазый, они являют блеск зеркал,
В которые глядят богини; как лотосы — вершины скал,
Иль это белый хохот Шивы окаменел и засверкал?..

Тебя браслетами своими апсары с хохотом пронзят,
Чтобы на них, купальщиц юных, ты свой низвергнул водопад
И коль прогнать их не сумеешь в жару, когда ты чужд услад,
Их напугай раскатом грома — и побегут они назад.

Воды из Ма́наса напейся, где вырос лотос золотой.
Слона большого Айравату любезно тенью ты прикрой.
Деревья, что осуществляют желанья,— ороси водой
И поднимись на Гималаи, пленяя световой игрой.

Алака там к горе прижалась, как к мужу — милая жена
К ногам свою одежду — Гангу — беспечно сбросила она.
Над башнями ее чертогов темнеет облаков копна,
Как бы красавицы прическа жемчужной сетью убрана.

Часть вторая

С тобой сравню дворцы Алаки, где жены-молнии светлы.
Где слышны барабаны-громы, картины-радуги милы,
Где драгоценными камнями в покоях устланы полы,
Где башни, поднятые в небо, достойны, как и ты, хвалы;

Где на дворцовых плоских крышах, украшенных, как небосвод
Созвездий отблеском хрустальным, утех любовных сладкий плод
С подругами вкушают якши, где древо чудное цветет,
Где, словно барабаном, громом ты возвещаешь свой приход;

Где ты луне мешать не станешь, чтобы она свой свет зажгла,
Чтобы возникла в лунном камне вода, целебна и светла,
Чтоб камни лунные сквозь окна ласкали женщин, чьи тела
Изнемогли от ласк любовных,— тогда усталость бы прошла;

Где облака, которых к башням приподнял ветер молодой,
Стенные росписи чертогов своею залили водой
И, как бы убоясь, из окон дрожащей вышли чередой,
Хитро прикидываясь, будто преобразились в дым густой;

Где женщины, когда одежды любовники срывают с них,
Вдруг потеряв соображенье, самих себя стыдясь, нагих,
Бросают порошок сандала в огонь светильников своих,
Надеясь тщетно, что погасят весь жар каменьев дорогих;

Где путь ночной влюбленных женщин, едва заря блеснет светлей,
Поймешь ты по цветам, опавшим из локонов, из-за ушей,
По ожерельям, оброненным с подрагивающих грудей,
Когда красавицы спешили домой добраться поскорей;

Где, северней дворца Кубе́ры, увидишь ты мой дом: видна
Издалека над входом арка — подобна радуге она,
Где ма́ндару в саду взрастила, как дочь приемную, жена,
И к нам, чтоб мы цветы срывали, ветвей склонилась купина.

К пруду, покрыты изумрудом, ведут ступеньки в том саду,
Где лотосы в воде златятся у всех деревьев на виду
И гуси радостны и даже, увидев облаков гряду,
Отсель на юг не улетают, привыкнув к чистому пруду.

На берегу пруда прекрасна Гора Забав; ее покров —
Сапфиры, а кругом — бананы, и ярко золото дерёв.
Когда ты молнией сверкаешь, я мыслю, духом нездоров,
Что ты и есть гора, с которой жена беседует без слов.

В саду лианами обвита беседка и цветы кругом;
Растет багряный ствол ашо́ки с прелестной ке́сарой вдвоем:
Его, как и меня, пусть ножкой толкнет жена в саду моем,
Его, как и меня, любовным пусть напоит она питьем.

Изубран снизу изумрудом, зеленым, как весной бамбук,
Шест золотой стоит меж ними. На нем сидит павлин, твой друг.
Когда любимая в ладони ударит — он запляшет вдруг,
И зазвенят ее браслеты, и зазвенит земля вокруг!

С приметами такими в сердце легко найдешь мой дом, поверь.
Рисунок: раковина сверху и лотос — украшает дверь.
Но без хозяина жилище уныло выглядит теперь:
Так лотос блекнет на закате, и он тоскует от потерь!..

Там — лучшее творенье Брахмы — моя вторая жизнь живет.
Смугла, стройна, с глубоким лоном, уста — багряный, яркий плод,
Так бедра тяжки, что подруга походкой медленной идет,
Благодаря груди высокой чуть наклоняется вперед.

Глядит глазами робкой лани, почти всегда молчит: жена,
Разлучена с любимым мужем, быть молчаливою должна.
Как другом брошенная лебедь, она уныния полна,
Как лотос осенью ненастной, она слаба, она больна.

Дыханье на губах поблекших от жарких вздохов запеклось,
Она в тоске склоняет долу глаза, опухшие от слез,
Лицо ее полусокрыто копной неубранных волос —
Как будто месяца сиянье густою тучей облеклось.

Увидишь ты ее: то с жертвой она стоит у алтаря,
А то по памяти рисует, из красок облик мой творя,
А то грустит пред птицей в клетке, с любимицею говоря:
«Ты помнишь, как тебя хозяин голубил, на руки беря?»

То с милой лютней на коленях, одета в старенький наряд,
Она поет — слагает строки, что именем моим звенят,
С трудом настраивает струны — и застывает влажный взгляд,
Поет — и тут же забывает и собственную мысль, и лад.

То дни и месяцы считает, цветами завалив порог,
По лепесткам считает — скоро ль окончится разлуки срок,
То в чудном вымысле со мною сливается, и так высок
Сей вымысел: для бедных женщин он — утешения исток.

Днем, посреди забот обычных, разлука менее трудна,
Но по ночам невыносимо гнетет любимую она.
На земляном полу подруга лежит в слезах, не зная сна,—
Утешь ее моим приветом, встань среди ночи у окна!

Она лежит, как тонкий серпик — луны шестнадцатая часть:
Ее измучила разлуки сердцегубительная власть.
Ночь длится бесконечно долго — ей хочется ее проклясть...
Как быстро пролетали ночи, когда кипела наша страсть!

На щеки волосы нависли, омытые простой водой,
Не умащенные... А губы как бы обожжены бедой.
Она желает в сновиденье соединения со мной,
Но сон в глаза войти не может сквозь слезы, что текут рекой.

Рукой с отросшими ногтями отбрасывает от щеки
Ту косу, что груба на ощупь, что в первый день своей тоски
Она сплела; не красят косу цветов душистых лепестки,
Я расплету ее, как только вновь станут дни мои легки!

В окно посмотрит на мгновенье — там лунные лучи блестят,
Они стремятся ей навстречу и возвращаются назад:
Они страдающих не любят... И вновь она потупит взгляд —
Как лотос осенью, который не спит и все же сном объят.

Подруга мечется на ложе, не зная сна, худа, хрупка,
Не отягчает жемчуг шею, а тяжесть в сердце велика.
Ей сострадая, ты заплачешь, когда придешь издалека:
Слеза рождается слезою, тоской рождается тоска.

Она несчастна, потому что страдает от любви ко мне,—
Все это вижу я, как будто я с ней сейчас наедине.
Поверь, не хвастаюсь нисколько, рассказывая о жене,
В моих словах, о брат мой, вскоре сам убедишься ты вполне!

Она свои глаза не красит уж много месяцев подряд,
Не смотрит искоса игриво, не знает никаких услад,
Но задрожат глаза, как только предстанешь ты пред ней, мой брат,
Так при движенье быстрых рыбок два лотоса в воде дрожат!..

А если наконец уснула — возлюбленную не буди:
Лианы рук моих ей снятся, и трепет у нее в груди.
Пусть узел этих рук горячих не разорвут твои дожди,
Прошу: одну лишь стражу ночи ты подожди, о, подожди!

Ты разбуди ее позднее, повеяв свежим ветерком,
Что влагой напоен и пахнет ночным жасминовым цветком,
И молнию в себе смиряя, встань у окна и не тайком —
Открыто весть мою поведай ей громомётным языком:

«Я — облак-водонос, я — вестник того, что скорбью поражен.
Ты не считай себя вдовою — он жив, он верен, он влюблен.
Я тот, кто путников торопит — усталых и забывших сон:
«Вернитесь, косы расплетите своих измучившихся жен!»

Когда ты скажешь это слово, посмотрит на тебя она
Внимательно и благодарно: вот так в былые времена
Внимала Сыну Ветра Сита, в разлуке верная жена:
Весть о любимом для супруги почти свиданью с ним равна.

Ты ей скажи, долгоживущий: «В приюте Рамы твой супруг
Нашел прибежище. Он просит, чтоб у тебя как верный друг
Узнал я: как твое здоровье? Познавшим тяготы разлук
Узнать, что милая здорова,— есть исцеление от мук.

Отторгнут от тебя Судьбою, он от тебя неотделим.
В мечтах свое худое тело сближает он с твоим худым,
Свою слезу — с твоей слезою, свой вздох больной — с твоим больным,
Свою печаль — с твоей печалью, свое страдание — с твоим.

Бывало, при твоих подругах он шепотом произносил
То, что сказать не стыдно громко; теперь, в томлении, без сил,
Сокрыт от глаз твоих и слуха, меня изгнанник попросил,
Чтоб я тебе глаголом грома его посланье возгласил:

«Твой взгляд подобен взгляду лани, чело высокое — луне,
Твой стан я узнаю в лиане, изогнутую бровь — в волне,
А локоны — в павлиньих перьях, а щеки — в заревом огне,
Но цельное твое подобье еще не повстречалось мне.

Лишь камнем на скале твой страстный и юный облик воссоздам,
Себя чуть ниже нарисую, припавшего к твоим ногам,—
Как тотчас же от слез ослепну, и нет конца моим слезам:
Быть вместе даже на рисунке Судьба не разрешает нам!

Ты снишься мне, я простираю с надеждой руки, но, едва
К тебе приближусь, обретаю лишь призрак вместо естества,
И мне сочувствуя всем сердцем, лесные плачут божества,
Вот почему росой жемчужной покрыты ветви и трава.

Когда приносит с Гималаев на юг летящий ветерок
Мне запах почек деодаров, их свежий, их смолистый сок,
Хочу я к ветерку прижаться — ведь он твоих касался щек,
Он твой земляк, он северянин, а я на юге одинок.

Хочу, чтоб долгота ночная мгновеньем сделалась одним,
Чтоб день в любое время года был и прохладным, и сухим.
Ты знаешь, почему, родная, я стал беспомощным таким?
Меня измучила разлука, я болью долгою томим.

Но верю я в конец разлуки — огонь надежды не погас.
В отчаянье не приходи ты — вот мой совет и мой наказ.
Изменчив мир. Для всех живущих есть горя час и счастья час.
Пойми: Судьба — колесный обод — то вверх, то вниз бросает нас.

Когда, на змее Шеше спящий, проснется Вишну, вскинув рог,
Окончится мое изгнанье, окончится проклятья срок.
Четыре месяца осталось, день встречи нашей недалек,
Я жду, чтоб лунный свет осенний нас негой сладостной облек!»

Еще сказал твой муж: «Однажды лежали мы в тиши ночной.
Вдруг ты проснулась с громким плачем. Тебя спросил я: «Что с тобой?»
Не сразу, и улыбку пряча, ты мне дала ответ такой:
«Мне снилось, будто бы, негодный, ты наслаждаешься с другой».

Ты вестнику должна поверить. Порой услышишь иль прочтешь:
«Разлука — для любви погибель». Но это бредни, это ложь!
Любовь становится огромной, когда в разлуке ты живешь,—
Огонь охватывает душу, по телу пробегает дрожь!»

Я на твою надеюсь помощь, о брат мой, отпрыск облаков,
Не есть отказ твое молчанье: ты с виду, может быть, суров,
Но птиц, страдающих от жажды, водою ты поишь без слов;
Блажен, кто делом, а не словом помочь просящему готов.

Меня жалея или дружбы к беспомощному не тая,
Чтобы мою исполнить просьбу, плыви в далекие края.
Пусть красоту твою умножит дождя прозрачная струя,
Пусть будет молния с тобою — жена любимая твоя!

Критика

ВОЛОДЯ ТЕЙТЕЛЬБОЙМ

ПАБЛО НЕРУДА

Кровью залита земля Чили. Кровью тысяч и тысяч патриотов, павших жертвами фашистского террора. Свергнуто конституционное правительство страны. Подлыми изменниками убит президент Сальвадор Альенде. Зверская расправа учинена над верными сынами чилийского народа — и кто знает, сколько их погибло в бою, сколько подвергнуто жестоким пыткам в застенках!

Из Сантьяго поступила тяжелая весть о кончине великого поэта современности, великого чилийца Пабло Неруды, коммуниста, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», лауреата Нобелевской премии по литературе... Мы знали, что он очень болен, но мы знали и то, что он продолжал работать, писал лиричнейшие стихи — а страшная трагедия, обрушившаяся на его родину, преждевременно оборвала его жизнь...

Пабло Неруды нет в живых, но с нами — его сражающееся творчество.

Храня в сердце память о нашем большом друге, мы печатаем очерк, принадлежащий перу его боевого товарища, чилийского писателя-коммуниста Володи Тейтельбойма. Эти строки были написаны еще при жизни поэта-борца, голос которого никаким палачам не удастся заглушить.

Часто встречаются статьи, авторы которых предпочитают жизнь и творчество поэта делить на два периода: **до** и **после** испанской катастрофы. **До** — счастливое время, писал он о любви, пусть даже о несчастной; **после** — испорченный политикой и, что бесконечно хуже, коммунизмом, он утратил голос, чистоту, превратился в рифмующего или верлибрующего апологета революции.

Это не что иное, как чудовищный вымысел. Всегда, с самых юных лет, Неруда, близко принимающий к сердцу обстановку в мире и условия человеческого существования, хотел изменить уродливо, лицемерно созданное общество.

Каждую эпоху и каждый возраст отличают те или иные характерные особенности. Ребенком, подростком, юношей в расцвете сил, зрелым мужчиной, неразрывно связанный с общественной жизнью, в своем поэтическом труде он выражал наиболее существенные требования времени. Никогда любовь не заслоняла социального звучания в поэзии Неруды. Никогда политика не захлопывала дверь перед любовью в его творчестве. Сосуществовали обе — политика и любовь; о той и о другой поэт пел так, как считал нужным в тот час, в те дни, как это подсказывали ему совесть, чувство.

Пусть никто не заблуждается. На протяжении всей жизни, всех этапов творчества поэзия Неруды — нечто неделимое; она

развивается и обогащается благодаря открытому, активному, многообразному общению поэта с природой, с человечеством, с женщиной.

Поэт от рождения

Можно было бы утверждать, что Неруда родился поэтом. Его мать, которую он не знал, по-видимому, любила поэзию. Несколько лет назад мы с Матильдой Уррутиа [1] сопровождали поэта в поездке по его родным местам, в Парраль, который как будто все еще не может окончательно пробудиться от длительной сиесты, начавшейся в колониальные времена. Развалившийся дом, все вокруг покрыто пылью. Покинутые, заброшенные комнатушки в тени деревьев; буйно разрослась тут зелень, столь типичная для Центральной долины. В то время здесь не было никакой мемориальной доски, однако Неруда как бы установил ее в воспоминаниях о той, которую так никогда и не видел. Немного осталось на память о ней — об этой хрупкой деликатной женщине, заведовавшей местной школой, Росе Нефтали Басоальто, умершей от туберкулеза легких спустя месяц после рождения сына. Ее современники, знавшие эту сельскую учительницу, говорят о ней как о духовно одаренной женщине, любившей читать.

Та поездка на автомашине оказалась волнующим паломничеством в поисках близких и предков, колыбели и самых первых дней детства Неруды. Мы беседовали с братьями его отца — гордыми и бедными идальго Парраля, носившими, как правило, библейские имена, державшимися с исключительным достоинством. Один дядя поэта, в давние времена проводник по Кордильерам Анд, напоминал испанского рыцаря прошлых веков, хотя и отличался креольской мудростью и пристрастиями истого чилийца, уроженца нашей провинции. Двоюродные братья поэта — один из них, худущий, как веретено, живой портрет Неруды, полвека назад выигравшего «Праздничной песней» первую премию на студенческом конкурсе,— говорят о Паблито породственному нежно и вместе с тем почтительно.

В здешней, почти что деревенской, обстановке все пропитано духом крестьянской гордости, на всем лежит печать отдаленной провинции. Отовсюду несется аромат дикорастущих цветов. Все свидетельствует о могуществе древних корней, уходящих в глубь земли, в глубины народа. Во многом я убедился. Неруда — это порождение могучих недр: это объясняет главное в разросшейся на родной земле густой чаще его поэзии; это объясняет его как человека, зачастую обращающегося к изначальному, простейшему, к реальной земной жизни. Это он впитал с молоком своей кормилицы, этим он проникся под влиянием окружающего.

Однако земля отдельно от человека — это еще не все. Как только проснулось в нем сознание, слились воедино человек и земля, став первостепенной сутью, ключом в жизни поэта.

Однажды в «Исла негра» [1] на стол у огромного окна, ежедневно созерцающего океан, сестра поэта, Лаурита Рейес, положила рядом с раковинами и морскими трофеями, собранными на всех побережьях мира, большой пакет — старый, уже изрядно пожелтевший. С любопытством я заглянул в него, зная, что Лаурите свойственно удивлять неприметными сюрпризами, не проронив при этом ни слова. На первый взгляд — ничего особенного. В пакете оказались тетради школьных лет, в которых она, еще первоклассницей, выполняла карандашом свои домашние задания. Но на обороте страницы были исписаны чернилами — четким, ясным почерком. Для меня это явилось — говоря, конечно, в высшей степени высокопарным и гиперболичным языком — как бы открытием манускриптов Мертвого моря.

Тут же я прочел — одно за другим — стихотворения, написанные мальчиком в Темуко [2], самые ранние стихи, еще робкие, но созданные все же поэтом на заре его жизни.

Тогда этот ребенок с неутолимой жаждой поглощал содержимое книг, которые директриса лицея — полная непоколебимого величия, высокая женщина с зеленоватыми глазами — передавала ему, казалось, отделяя от самое себя как нечто таинственное, присущее ее душе. Звали ее Габриэлой Мистраль.

В те годы он описывал мир жуков, матьзмею, детские увлечения во дворе, когда ни слова не промолвлено друг другу; пожары, уничтожавшие дома на Юге, в Темуко, недавно отстроенном; обычаи местных племен и первые, ослепляющие впечатления от познания жизни, любви.

Первое бунтарство

Но это еще не все. Было заключено значительно больше в тех старых тетрадках, которые принесла его сестра — страж, хранительница давнишних, уже забытых семейных бумаг. Обнаружились в эмбриональном состоянии многие книги, которые так и не увидели свет, и предвозвестия целого ряда позднейших произведений. «Гелиос» — подготовивший рождение поэтического сборника «Сумеречное». В школьных тетрадях открылись неведомые до сих пор

[1] Жена Пабло Неруды. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

[1] Дом Пабло Неруды на побережье Тихого океана.

[2] Городок на юге Чили куда из Парраля переехал с сыном отец будущего поэта в 1906 г. Здесь поэт жил, учился до 1921 г.

ВОЛОДЯ ТЕИТЕЛЬБОЙМ
ПАБЛО НЕРУДА

строфы, отразившие скорбь ребенка, потерявшего мать:

Когда родился, умирала моя мать
в святости — душа скорбящая.
Прозрачным было ее тело. И сквозь кожу
светились мириады звезд.
Так умерла она. А я родился.
И потому невидимой рекой
течет поныне в моих венах непрестанно
сумеречная песнь.

Было ему тогда тринадцать или четырнадцать лет. Сам себя он считал поэтом «не буржуазным и не обездоленным». Критика, направленная против «буржуев сельских мест, где в поэте видят чуть не вора», повторяется не раз в этих ранних стихотворных опытах, подтверждая его бунтующую заинтересованность в социальных переменах, с самого начала характерную для поэзии Неруды. Ярким свидетельством могут служить строки «Лицея», написанного в те же годы:

Шестилетним я попал в лицей.
Влекло меня желание уже в ту пору
узнать хотя бы, что такое радость.
Подумать только, ее изведать
все же не пришлось!
С любовью отношусь — с любовью
относился
всегда я—к бедным братьям нашим,
сумевшим сохранить все чувства
человечьи
под игом непосильного труда
на шахтах. Там соки жизни
в слезах растратили они, в поте и плевках,
питая тигров, скотов терпя обиды...
А справедливость и на будущее право —
все излилось в стенаниях
под знаком преступления, ужасной боли!
Кровь, обжигающая кровь людская,
ответь мне, где же твой заряд энергии?
Отвечай! Призывом пусть священным
это будет
к тем, кто до сих пор рукой худою
поддерживает гнусного тирана—кубышку
глиняную с деньгами.

Даже увлеченного любовной лирикой, его не покидала мысль о судьбах человека. В сборнике «Сумеречное», например, его стихи «Старый слепец», «Ты плакала», «Пантеос», «Моление», «Припев турка», «Слепец с бубном», «Квартал без света», «Ночные мастерские», «Игроки», «Друг» говорят о еще незрелом революционере, который позднее — и это будет как кульминация непрекращавшегося процесса, как разлив реки, до сих пор иногда протекавшей под землей,— вступит в коммунистическую партию.

Это произойдет тогда, когда он выйдет из богатого сталактитами и соляными соборами туннеля «Местожительство — Земля» и отправится по улицам солнца и крови Испании, где поэт и народ свяжут вместе свои судьбы. Неруда свидетельствует: «Путь поэзии проложен по улицам и фабрикам, он — во всех колоколах, возвещающих рождение нового мира; и силой, надеждой, нежностью и упорством мы заставим его родиться. Мы — поэты? Да. Мы — народы».

В 1939 году Неруда возвращался из Европы, где он участвовал в спасении тысяч жизней испанских республиканцев и подготовке знаменитого плавания «Виннипега» [1],— я обратился к нему, попросив дать интервью для журнала «Кэ убо эн ла семана». Он передал мне только что написанное им стихотворение «Гимн и возвращение», в котором, в частности, говорится: «Искать отправился я павших по земле». Именно эта строка появилась в печати в таком виде: «Искать отправился я вина по земле» (по-испански: павшие — caidos, вина — caldos. — *Peg.*), что, собственно говоря, было излишне, поскольку вина, которые дают наши виноградные лозы, прославлены давно. Поэт потребовал поправки. В редакции решили опечатку исправить, и в следующем издании эта стихотворная строчка выглядела иначе: «Искать отправился я мозоли по земле» (по-испански: callos.— *Peg.*), что, бесспорно, вполне можно допустить, если идти по земле в тесных ботинках. Впрочем, если призадуматься, то и это не лишено известной логики.

Воинствующее достоинство

Уже тогда он был коммунистом без партийного билета.

Помню волнующие, страстные дни гражданской войны в Испании. Незабываемый литературный вечер, на котором Неруда не то вел диалог, не то выступал на пару с аргентинским поэтом Раулем Гонсалесом Туньоном (так же, как за несколько лет до этого в Буэнос-Айресе — с Федерико Гарсиа Лоркой). Впервые в Чили почувствовали сияние «Испании в сердце». В той возбужденной, взбудораженной обстановке Неруда основал Альянс деятелей культуры (и был избран первым его президентом), что само по себе означало новый этап в общественном сознании чилийского писателя и художника.

Когда он был выдвинут кандидатом в сенаторы от северных провинций, мы образовали комитет борьбы за его кандидатуру.

Он объехал всю селитряную пампу и уже не мог забыть лица рабочих, отливавших цветом йода, их глаза, горевшие черным пламенем и так ярко сверкавшие в этой пустыне. Его руки надолго сохранили память о рукопожатии здешнего труженика: «Оцарапаны были мои руки, и в ладони врезались следы маленьких кордильер».

Вспоминается, словно это произошло лишь вчера, тот день 1945 года, когда ему присудили Национальную премию по литературе, однако более ярко в памяти всплывает другой день и другое событие: 8 июля того же года в столичном театре Кауполикан Неруда официально вступил в коммунистическую партию. Да и не он один вступал. Следуя его примеру, в тот день публично вступил в партию блиста-

[1] С апреля по июль 1939 г. Неруда был занят организацией помощи испанским республиканцам. На судне «Виннипег», прибывшем в Чили в конце того же года, были отправлены испанские антифашисты, эмигрировавшие во Францию после падения Испанской республики.

тельный легион лучших представителей литературы и искусства — среди них Анхель Кручага Санта Мариа, Никомедес Гусман, Франсиско Колоане, Армандо Карвахаль, многие другие выдающиеся люди. С тех пор коммунистическая партия, являвшаяся со дня своего основания партией рабочего класса, стала также партией революционных деятелей культуры Чили. В рядах партии на поэзию начали смотреть другими глазами. В значительной степени благодаря Неруде были восстановлены наследие и традиции Рекабаррена [1]. Деятели литературы, искусства, культуры стали пользоваться поддержкой, ушли в прошлое былые обвинения в некой подозрительной деятельности, как это случалось ранее, в иные, грустные периоды сектантства. Литература и искусство заслужили уважение и признание как великолепное средство отражения жизни, важное само по себе, в силу красоты своей формы, своего человечнейшего содержания, в силу своего революционного значения.

Личное письмо миллионам

Габриэль Гонсалес Видела [2] отказался сделать какое-либо заявление, когда один из журналистов попросил его высказаться по поводу присуждения Пабло Неруде Нобелевской премии. Президенту-предателю пришлось дожить до дня чествования самого выдающегося из тех тысяч людей, которых этот изменник преследовал.

Мы были в доме Неруды, на улице Линч, в столичном районе Лос Гиндос, когда он писал свое «Личное письмо, которое должно быть прочтено миллионами» [3], его палящее «Я обвиняю» [4]. Он отлично понимал, что ему угрожало. Однако его преданность и верность народу, его совесть не позволили поколебаться ни на секунду. «Личное письмо» было отпечатано на ротаторе, вышло несколькими тиражами, достигавшими 200 или 300 тысяч экземпляров, его распространяли на улицах, его расклеивали на стенах домов.

Разъяренный предатель, бездарный и невежественный, обвинил поэта в «измене родине». Его тайные агенты пытались поджечь дом поэта. Началась охота на человека, охота на поэта. Сотни полицейских разыскивали поэта. Его портрет был помещен, как это делается с фотографиями «разыскиваемых преступников», на традиционных, печально знаменитых афишках, рассылавшихся по всем полицейским комиссариатам. Поэта хотели задержать, перехватить до того, как он покинет страну.

Много раз мы встречались с ним в глубоком подполье. В условиях изоляции он всегда нуждался в помощи друзей. Частенько мы прогуливались с ним между виноградных лоз и деревьев неприметного земельного участка в Санта Ана де Чена. Кое с кем из его близких мы отпраздновали день его рождения, сорок четвертый,— с тортом, со свечками, со всем, что полагается в таких случаях.

Неруда никогда не позволял себе капитулировать перед тяготами нелегального существования и неизменно находил время для творческой работы. В подполье, преследуемый, он создал свое монументальное творение, название которому — «Всеобщая песнь».

Вспоминаю поздний вечер в доме Луиса Энрике Дэлано [1], на углу улиц Санта Исабель и Сальвадор, где руководство партии устроило ему проводы накануне его попытки пересечь Кордильеры Анд верхом на лошади. Это было веселое собрание, хотя нам предстояло выполнить сложную задачу: опубликовать книгу автора, которого полиция преследовала буквально по пятам. И книга вышла в свет благодаря самоотверженности, мужеству, мастерству, бдительности рабочих в подпольных типографиях, а также благодаря организованности и умению сохранять тайну, проявленным всеми товарищами, которым было поручено это задание.

Зелеными буквами, каллиграфически

Письма Неруды летят, отмеченные знамением времени. И говорят о том, что его интересует в жизни. Приходят — столь непохожие на письма других, выделяющиеся его отточенным стилем. Они откровенны и изящны. Говорят действительно обо всем. Иной раз о его грусти, его разочарованиях, однако всегда — да и не могло быть иначе — это послания его поэтической прозы, важнейшая сторона творчества для того, кто хотел бы восстановить спектральную историю его мышления. Само собой разумеется, его письма выдают тайный танец дней его жизни, его настроений, его повседневных приключений и злоключений. Чего тут только нет — на этих страничках, заполненных упорядоченно, каллиграфически выведенными крупными буквами, и

[1] Луис Эмилио Рекабаррен (1876—1924) — один из первых пропагандистов марксизма в Латинской Америке, участвовал в основании Коммунистической партии Чили (в 1922 г.).

[2] Бывший президент Чили (1946—1952), пришедший к власти как кандидат коалиции демократических сил, но позднее изменивший своим предвыборным обещаниям и начавший репрессии против коммунистов, всего рабочего движения. Разорвал дипломатические отношения с СССР. По его распоряжению было возбуждено судебное преследование Неруды.

[3] Это выступление Неруды против «правительства национальной измены» Гонсалеса Виделы вначале было опубликовано в венесуэльской газете «Эль насиональ» 27 ноября 1947 г., поскольку чилийская печать подвергалась жесточайшей цензуре.

[4] Речь сенатора Неруды 6 января 1948 г. в чилийском сенате. 5 февраля был отдан приказ о его аресте.

[1] Видный писатель-коммунист, был послом правительства Народного единства.

ВОЛОДЯ ТЕЙТЕЛЬБОЙМ
ПАБЛО НЕРУДА

почти всегда зелеными чернилами. О житейской смеси рассказывается с чувством юмора и изумления. Отмечаешь свежесть мыслей, вкус, проникновенность. Его проза рождается из того же духовного источника, что и поэзия.

На протяжении долгих лет мы постоянно испытывали радость, получая от него письма. И поныне его поэтическое дарование не перестает проявляться в частой и активной корреспонденции. И неизменно в его письмах звучат политические мотивы как отражение его борьбы за правду и революцию. Даже находясь вдали от родины, он, как правило, сообщает свое мнение руководству партии по почте или с оказией.

Нет ничего более далекого от реальности, чем мысль о том, что Неруда — это лишь цветок в петличке лацкана пиджака коммунистической партии, почетный член, декоративный персонаж, символический активист, с помощью которого можно экспортировать престиж или позолотить прозу марксизма-ленинизма.

Напротив, его политическая мысль и политический вклад являются неизменно созидательными. Он не только систематически оказывает партии существенную финансовую поддержку. На средства Ленинской премии покупает дом, где мог бы жить и работать Генеральный секретарь ЦК партии, или высылает десять тысяч своей Нобелевской премии в кассу партийной организации. Он не только изобретательный добытчик средств в фонд народной борьбы, организующий, к примеру, аукцион, на котором за огромную стоимость продается ценная книга, но — и это более важно — он представляет собой активного политического борца, ни на один день не прекращающего своей деятельности. В то же время он отдает себе отчет в том, что основная его миссия на земле — быть поэтом. А поэзию никогда он не воспринимал как нечто асептическое, индифферентное, нейтральное или двуличное. Поэзия, по его убеждению,— это четко определенное выражение личной и общественной жизни. Неутомимый политический деятель, известный своими практическими суждениями, обладающий поразительным конструктивным талантом, он вместе с тем исключительно органичен и конкретен как поэт.

Его гражданское мышление не позволяет ему увлекаться словесным искрометанием, бессмысленной пиротехникой, что так очаровывает интеллектуалов. Это — поэт, каждую ночь любующийся небом с его тайнами, но твердо стоящий на земле. Он любит завтрашний день человека, устремлен в это завтра, не забывая, однако, что создавать это завтра нужно сегодня, как это и подтверждает история. Он знает, что завтрашний день будет творением не одиночки или кучки просвещенных, а явится делом всего народа. Он прекрасно понимает взаимосвязь мысли и действия, теории и практики, тактики и стратегии.

Гражданин Латинской Америки

Революционной партии он придает необходимое значение и с великолепной научной точностью пояснил это в своей поэзии. Он уверен, что без объединенного широкого движения, сформированного различными потоками трудящихся масс, спаянного, обладающего единой программой, любая победа народа была бы недолговечной или вообще невозможной. С большей решимостью, чем иной художник или религиозный фанатик, он утверждает свою позицию в борьбе, которая, как ткацкий станок, в единую основу сплетает нити идей и коллективных действий.

В борьбе — и об этом свидетельствует его творчество — он выступает против «беспорядка ради беспорядка». В народе он видит не толпу, а сознательную гражданскую армию, которая находится в процессе формирования и которая отнюдь не разбрасывает бесцельно бомбы со взрывчаткой. Он понимает, что осью жизни и борьбы служит рабочий класс, который станет, выполняя свою историческую задачу, оплотом нового общества.

Порой могло показаться, что для себя Неруда отвел роль пророка, который, говоря о прошлом или настоящем, призывает к действию. Но будучи подлинным гением латиноамериканской и испанской поэзии, он выступает и как политический деятель, принадлежащий не только литературе, но и общественной истории страны и континента. Народ, трудящиеся для него — не живой миф, не мистико-религиозный идеал; в рабочем классе, в народе он видит многообразную силу, которая добьется своего освобождения, претворения в жизнь чаяний человечества.

Неруда — сторонник открытой, принципиальной политической линии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нет, он не зажимает нос жестом эстета, стыдящегося своих неизящных обязанностей и долга, своей тягостной ответственности, требующей от поэта постоянной верности принципам марксистского гуманизма.

Находясь в Сантьяго, он буквально ежедневно высказывает свое мнение Партии — и не только по вопросам литературы и культуры, но и по самым различным проблемам и аспектам гражданской деятельности.

Благодаря поэтическому видению, реализму и разностороннему таланту писателя в новом освещении предстали многие темы культуры, ранее казавшиеся поверхностными, не связанными с общественной жизнью и политикой.

Неруда прилагает немало усилий, чтобы прорвать установившееся прагматическое отношение к действительности, вне всякого контакта с книгами, с духовной жизнью. Кроме того, художник стремится шире раскрыть дверцу, ранее ограничивавшую возможности художника общаться с народом, со всем человечеством.

С чилийской точки зрения

Неруда, благодаря своей многогранности и богатству духовного мира, напоминающий лучших людей эпохи Возрождения, живет в наше время, полностью отдаваясь своей поэтической миссии, и вместе с тем не забывает о своем долге патриота, призывающего на борьбу народы мира, при этом всегда оставаясь чилийцем. В поэтическом воображении он подчас переосмысливает битвы далеких предков, воскрешает картины былого.

Сохраняя верность истории своего народа, он вводит национальных героев прошлого в социалистическое искусство. По его мнению, патриотизм в современную эпоху черпает новые силы в реке коммунизма.

Стоит ли еще раз повторять, что Неруда стремится придать чилийской политике новые масштабы, дорожа больше постоянной сутью, чем преходящей внешней формой? Его высказывания всегда проникнуты национальным духом, воспевает ли он материнство, труд, безвестных тружеников или народ, и в этом — проявление его жизненной доктрины. И выражение его партийной деятельности. Он всегда плывет в кильватере народного Чили, пересекая многие моря, выдерживая кровопролитные бури.

Он продолжает и развивает лучшие национальные традиции, живые и революционные, которые помогают не забывать мертвых и не убивать живых. И вместе с тем он, как никто в наше время, считает своим долгом мобилизовывать и объединять чилийских деятелей культуры во имя высокой цели.

Самое удивительное — или самое естественное — заключается в том, что его слово как поэта еще более действенно, чем выступления в роли оратора. Его пламенная мысль, чудесные метафоры, героический ритм, обвораживающая каденция (многие музыканты, композиторы черпали вдохновение в его поэзии) позволяют ему глубже запечатлеть народное самосознание, пробудить затаенные мечты о величии и свободе, нежностью и энтузиазмом увлекая на труд по созданию новой и лучшей страны, Родины.

Партия никогда не поручала ему то или иное поэтическое задание, как это делали в свое время папы по отношению к Микеланджело и другим художникам. Но сам мир для него полон намеков, идей, и в окружающем мире он умеет добывать ценный материал — этот антипурист мотивов, антиэрудированный ученый, дикий поэт, просвещенный и невежественный, приверженец парафраз былой и новой правды, который ежеминутно ведет открытый диалог с жизнью, с природой, с человеком, с книгами, в единый сноп собирая колосья тем всех эпох, своего отечества и всей земли.

Долг и радость

Вспоминаю, как однажды утром мне довелось отправиться в «Исла негра», чтобы от имени Центрального Комитета попросить дать согласие на выдвижение его кандидатуры на пост президента Республики. Это не было предложением славы — даже не было уверенности в том, что цель будет достигнута. Предложение скорее включало в себя некий призыв к самопожертвованию. Пусть он поднимет объединяющее знамя в центре разъединенных левых сил, пусть своим примером и своим авторитетом содействует возрождению единства — и народ это поймет,— пусть собственным именем, а затем отказом откроет путь к тому, чтобы свои кандидатуры сняли и другие кандидаты, коллективной отставкой предваряя выдвижение единственного кандидата — Сальвадора Альенде.

Он понял меня с первого слова, потому что это предложение отвечало и его личной убежденности. Он должен был прервать опьяняющие или трезвые часы поэтического творчества и погрузиться в сумасшедший ритм предвыборных поездок по стране, включиться в бурный поток митингов, пересадок с самолета на самолет. Он воспринял все это как партийное поручение, как долг и радость. Поэт не имеет ничего общего с инертным политическим деятелем, похожим на изваяние. Ему по душе раскаленная обстановка собраний, он гордится тем, что стал поэтическим рупором, голосом мужественного народа, который в Неруде видит не только художника, но и патриота и революционера, достойного народной надежды.

Сто тысяч стихов

Непохожий на себя, бородатый Неруда пересек верхом на лошади Кордильеры Анд, сопровождаемый своими друзьями Виктором Бианчи и Хорхе Бельетом. Более четырех лет он находился в изгнании.

Как-то однажды, в 1952 году, в Кийоте во время первой трудной и героической предвыборной президентской кампании Сальвадора Альенде, мы узнали, что Неруда, после многочисленных ложных сообщений о его приезде, наконец-то вернулся в Чили.

Альенде тотчас же отправился на телефонную станцию и с радостью приветствовал поэта, возвратившегося на свою родину.

По истечении шестидесяти восьми лет жизни и более полувека труда, скитаний, борьбы Пабло Неруда — чилиец и латиноамериканец, несгибаемый коммунист, написавший свыше ста тысяч стихотворений,— сделал из поэзии и политики нечто органически связанное, нечто целое. И также единым целым предстают в его поэзии природа и человечество. Он создал космовидение, в центре которого — Человек.

Неруда — по-прежнему в бою.

Перевод с испанского Т. ВЛАДИМИРОВА

Критика

В. ДНЕПРОВ

К ПОНЯТИЮ «МОДЕРНИЗМ»

1

Вот уже несколько десятилетий с достойным внимания единодушием буржуазные критики повторяют одно и то же рассуждение:

никакого «модернизма» на самом деле нет. Его придумали марксисты, чтобы оправдать и провести свой эстетический консерватизм. Ход жизни в XX веке стал быстрее, тревожнее, драматичнее, искусство, чтобы не отстать, должно поторапливаться. Конечно, ускоренная и радикальная смена художественных форм, продиктованная ритмом времени, плохо согласуется с обычными сроками эстетической адаптации. Но допустимо ли на этом основании считать безостановочное рождение нового в искусстве чем-то ненормальным и ущербным? И разве нормы эстетической приспособляемости даны раз и навсегда, разве они представляют собою неподвижную систему отсчета?

Аргументация выбрана удобная и, казалось бы, беспроигрышная: можно ли усомниться, если речь идет о выборе между отважными искателями и косными запретителями. К тому же становится не заметно, что вопрос, подлежащий решению, заранее устранен и заменен существенно другим вопросом. Стравинского вряд ли кто-нибудь упрекнет в эстетическом консерватизме. По богатству эстетических перевоплощений он уступает разве только Пикассо, более всего приближаясь к нему протейской натурой своего гения. Но «в гроб сходя», в диалоге «Размышления восьмидесятилетнего» композитор сердито обругал модернистов: их музыка «чаще всего не современная, а модернистская». Да, не удивляйтесь, и Стравинскому пришлось различать современное и модернистское. «Противопоставление нового старому,— говорил он,— есть reductio ad absurdum и сектантская «новая музыка» — это язва на современности». Новая музыка отделяется от «новой музыки» в кавычках. И кавычки поставлены не зря. Они указывают на абсурдность разлучения настоящего и прошлого искусства, они запрещают разбивать вдребезги текучую, сгущающую в себе время сущность музыки, превращая ее в набор отдельных ярких звучаний. Как видим, вопрос об эстетическом консерватизме вовсе не совпадает с вопросом о модернизме.

Бесспорно: существует инерция сложившихся и уплотнившихся вкусов, своего рода эффект запаздывания в отклике на новые формы искусства. Тормозящая сила этой инерции, мешающая новым формам своевременно выполнить свою роль, становится больше, если закрепляется теоретически, если выход за рамки установившейся художественной системы объявляется выходом за границы подлинного искусства. Одно из важных значений эстетики состоит в том, чтобы опытом глубоких исторических изменений во вкусах предупреждать нас от эстетической косности и неподвижности, воспитывать в нас готовность вчувствоваться в новые формы, пройти через стадию ученичества в их усвоении, совершить духовную работу, необходимую для их включения в доступный нам мир художественного и прекрасного. Если все это произойдет, рамки эстетического мира раздвинутся, подобно тому как раздвигаются рамки вселенной вместе с появлением более мощных орудий наблюдения. Уясняя себе изумительное многообразие художественных ценностей, созданных на протяжении

тысячелетий в разных концах земли, мы вырабатываем духовные приспособления для борьбы с идеей эстетической привилегированности, с замкнутостью, упрямством и леностью вкуса. Чем жестче исключительность и негибкость вкуса, чем больше присущая ему сила эстетического отталкивания, тем ограниченнее и уже запас традиций, видов образности, способов изображения и художественных приемов, которыми может воспользоваться современное искусство для своего прогресса. Эта сторона дела имеет особую важность для искусства реалистического. Реализм, как доказывает вся его история, обладает громадными возможностями, так сказать, художественной абсорбции форм; его способность впитывать, преломлять, растворять, претворять элементы и обороты различнейших стилей намного превышает такую же способность любого другого художественного направления.

Устранение потерь, связанных с обедняющим воздействием эстетического консерватизма на художественное развитие, не может не быть одной из постоянных задач нашего искусствознания. Но если задача эта была бы полностью решена, проблема модернизма вовсе не исчезла бы; напротив, она выступила бы в наиболее ясном виде, свободном от всего затемняющего и наносного.

2

Упадок и гибель буржуазного общества отличаются от упадка и гибели предшествующих обществ своей диалектикой. Рабовладельцы или феодалы шли навстречу разложению, одряхлению, расслаблению несравненно покорнее, чем буржуазия. Буржуазия даже и в эпоху своего умирания обнаруживает несравненно больше цепкости, жизненного динамизма, способности к борьбе, чем господствующие классы прошлых исторических формаций. В своей книге «Империализм, как высшая стадия капитализма» Ленин писал: «Было бы ошибкой думать, что... тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма». Называя буржуазное общество «умирающим», Ленин вместе с тем утверждал, что «в целом капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде, растет» [1]. В этих словах дан подход к специфической диалектике капиталистического упадка: загнивающий, умирающий и вместе с тем — неизмеримо быстрее растущий.

В наше время обнаружилась огромная потенциальная мощь, заключенная в этой мысли Ленина. В исторический период, когда существование эксплуататорского общества поставлено под вопрос Октябрьской революцией и растущим новым миром, капитализм показал высокую приспособляемость, активность, изворотливость, мобилизуя для своего спасения возможности научно-технической революции. Неслыханная мера паразитизма и загнивания, ужасающие масштабы насилия, разжигания эгоизма, неслыханная мера удушения, растворения, растления личности, нагромождение средств массового уничтожения как регулярный метод наживы — и замечательно быстрый и широкий технико-организационный прогресс, гибкость в выборе методов и приемов господства, способность идти на компромиссы и уступки, если это нужно. Серийное производство капиталистических мифов — и умение реалистически мыслить, если требуют обстоятельства. Исторически реакционная система, обращающая прогресс в свое оружие, умирающее общество, использующее как лекарство — ускоренное развитие. Это не выдуманная, а совершенно реальная диалектика. Ни одно вновь утверждающееся общество не имело такого энергичного, умелого и беспринципного противника, какого имеет перед собою общество социалистическое. Капитализм вынужден прикидываться не тем, чем является на самом деле, вынужден носить социальные маски и, чтобы не быть узнанным, часто менять их. Такие неизбежные переодевания определяют идеологический ритм буржуазного мира, по-видимому, не в меньшей степени, чем технические перевороты.

Не заложена ли в своеобразной диалектике капиталистического упадка объективно историческая предпосылка и почва того явления, которое в области культуры мы называем модернизмом?

3

Интересно, что понятию «декадентство» гораздо больше повезло в буржуазной эстетике, чем понятию «модернизм». Последнее отвергнуто, первое легализовано и стало общеупотребительным. Правда, в либеральных учебниках оно рассматривалось чисто феноменологически, без увязки с биографией и судьбой общества, в котором возникло,— очередной «изм», вскоре заменный следующим «измом», очередной изгиб культуры, а не грозный симптом. Поэтому культурфилософы и историки литературы на рубеже XIX и XX веков чаще всего ограничивались систематическим изображением того особого комплекса чувств и мыслей, который охватывается понятием «декадентство». В некоторых случаях они говорили о пряной и тлетворной декадентской поэзии с интонацией снисходительной насмешки, с высоты буржуазного здравого смысла, в других — с интонацией тревожного недоумения и, наконец, в-третьих — спокойно докторальным тоном мудрецов, прослеживающих действие некоего биологического закона «вырождения».

Между тем появление декадентства обозначило важный момент в истории капитализма. Момент, когда процессы общественного упадка пересекли центр человеческой души, переломились через строй личности, формируя ее самочувствие и восприятие

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 422.

жизни. Это глубокая перемена. Недаром ее зафиксировали большие поэты, отличающиеся интуитивной чуткостью к тому, что Гегель называл «состоянием мира». Они впервые выразили надвигавшийся упадок языком лирики, обнаружили в тайниках собственного сознания его признаки; они стали художественными выразителями упадка и вместе с тем его жертвами. Они рвались прочь из буржуазного быта, но застряли в положении неприкаянности, одиночества и душевной бездомности. Они с отвращением относились к «нормальному» буржуазному человеку, но могли подтвердить свое отвращение лишь мучительным саморазрушением. Их отрицание отнюдь не было протестом. Они отвергали, но вполне признавали свое бессилие. Их индивидуализм знаменовал разложение индивидуальности. Их горькое стремление к красоте было подлинным, но оно соединялось с не менее подлинным чувством безвыходности. Конечно, можно назвать умствующе позирующих, кокетничающих «безднами» декадентов вроде Зинаиды Гиппиус. Но Федор Сологуб, проживший молодость, страшней которой нельзя себе представить, писал многие свои декадентские стихи с силой непосредственного, обнаженного, сосредоточенного переживания.

Ценнейший анализ декадентства мы находим в реалистическом романе XX века. «Жизнь Клима Самгина» Горького, романы Томаса Манна, «Жан-Кристоф» Ромена Роллана, «В поисках утраченного времени» Пруста, «Игра в бисер» Гессе стали не только зеркалом, поставленным на дороге жизни, но также зеркалом, поставленным на дороге культуры. Они отразили в себе целые культурные формации и не могли оставить без внимания столь характерное проявление духовной жизни, как декадентство. Они представили декадента как жизненный тип, как человеческий эквивалент декадентских стихов. «Декадент в жизни» в том смысле, в каком Белинский говорил о «романтике в жизни». Они не только уловили присущее этому типу ослабление жизненной силы, исчерпание естественной радости бытия, стремление бежать из действительности, но также выделили главные элементы, входящие в духовный состав причастной к упадку личности. Вот «формула» декадентства, составленная из кратких, метких определений Томаса Манна: «Жизнебоязнь». «Вражда к разуму». «Отвращение ко всему практическому». «Влечение к болезни и смерти». И замечательно, что «формула» декадентства у Горького многим походит на манновскую. О Нехаевой («Жизнь Клима Самгина»), которая «помешалась на французских декадентах», Горький пишет без насмешки и карикатуры, спокойно и вдумчиво. Она «отбежала в сторону от действительности и жила в мыслях, которые Дмитрий называл кладбищенскими». В ней особенно заметна прикованность к мысли о смерти, «о бесполезности бытия», характерно объединившаяся с мыслью о сладострастии: «Любовь и смерть... в этих двух тайнах скрыт весь страшный смысл нашего существования...» В Нехаевой есть также склонность к болезненному, отмеченная Томасом Манном: «Поймите же, я не выношу ваших нормальных людей, не выношу веселых. Веселые до ужаса глупы и пошлы». В ней типичная для эпох упадка сближенность любви с жестокостью: «Мы живем в атмосфере жестокости... это дает нам право быть жестокими во всем... в ненависти, в любви». И Толстого она не любит оттого, что за недоверием к разуму верно чует у него устремленность к отчетливо разумному: «В нем много взятого от разума же, из мутного источника. И мне кажется, что ему органически враждебно чувство внутренней свободы». Обязательное сознание обреченности: «Мы покорно и страстно приносим себя в жертву страшной тайне, создавшей нас». И, наконец, отвращение ко всему, что напоминает о действительности: «Не люблю яркие цветы, громкую музыку. Все это слишком реально, а потому лживо...»

Однако у Горького и Томаса Манна сходные факты выступают в совсем разных перспективах и потому обретают разное значение. В образе Ганно Будденброка запечатлелось, по словам писателя, умирание «европейского бюргерства», предвестие его гибели, его «духовный мир на рубеже нового века... за каких-нибудь полтора десятка лет до конца бюргерской эры» («Об одной главе из Будденброков»). Во всем душевном складе маленького Ганно, его страданиях, ранимости, слабости, утонченности, готовности к поражению обозначилось состояние исторического упадка—«его бегство в музыку, которое так скоро становится бегством в объятия смерти и по сути дела уже предвосхищает его желание уйти из жизни». Декадентство — предсмертный вздох «бюргерского мира». Но писатель видел самого себя на тонущем корабле, чувствовал свою принадлежность к угасающей форме жизни, сознавал, что ему из нее некуда уйти. Этот тесный горизонт диктовал ему выбор: нежизнеспособность, болезненная чувствительность, недовольство, обреченность или деляческая хватка, наглый эгоизм, «издевательски жестокая обыденность». Это выбор внутри границ буржуазного мира, и неудивительно, что Томас Манн предпочел неспособных к сопротивлению, поэтизирующих свою гибель декадентов агрессивным, готовым душить и убивать защитникам неправедного строя.

А Горький жил в другой, несравненно более обширной действительности, под другим — открытым и светлым — небом. Он не стоял перед выбором между сильными хищниками вроде Маякина и Варавки, и ущербными декадентами вроде Нехаевой. Он видел людей, у которых жизненность, реализм, активность соединялись с самой благородной идеей, самой возвышенной целью человечества. Об одном из таких людей — Кутузове — Горький прекрасно рассказал в «Жизни Клима Самгина». Но «кутузовщину» Нехаева отвергала как нечто

чуждое, неприятное, враждебное себе. С негодованием она говорила: «Народ, рабочий класс, социализм, Бебель... боже мой, как это скучно! В Париже, в Женеве я встречала социалистов, это люди, сознательно ограничивающие себя... Сам Кутузов — не глуп и, кажется, искренне верит во все, что говорит, но кутузовщина, все эти туманности: народ, массы, вожди — как все это убийственно!» Горький знал жизнь и умел говорить о ней правду. И то, что он сказал о первоначально буржуазной натуре декадентского распада,— точная истина. Недаром предательский ум Клима Самгина хотел использовать главную мысль Нехаевой против «кутузовщины»: «Социальные вопросы ничтожны рядом с трагедией индивидуального бытия».

Декадентство в сопоставлении с подлой трезвостью и бесчеловечной прозой буржуазности выглядит совсем по-другому, чем в сопоставлении с величайшим освободительным и революционным движением XX века. И Горький, как и все выразители пролетарской точки зрения, ясно понимал: для верной оценки декадентства необходимо и обязательно учитывать оба эти сопоставления и различные конкретные соотношения между ними.

4

Однако декадентство подверглось критике не только с позиций угнетенного класса, но и с позиций класса господствующего. Ницше объявил декадентству войну, желая увидеть эксплуататорский строй более здоровым, активным и прочным. Он разработал новую стратегию и тактику буржуазной культуры. При этом он вышел за границу искусства, отмечая явления упадка в современной философии, религии, этике, политике, во всем психологическом складе человека, находящегося в центре современной жизни. Он называл декадентами и «развратителями» не только Вагнера, Бодлера или Флобера, но и защитников гуманистической морали или буржуазной демократии. Ницше пытался встряхнуть буржуазную культуру, освежить и обновить ее, разбудить в ней чувство опасности и дерзость самоутверждения. С ироническим осуждением говорит он о проникших в культуру настроениях усталости, пресыщенности, безнадежности, отвергая тех, «кто не хочет жить», кто томится в печали и отчаянии. Все же этих, отвергаемых, людей надломленной души он относил к числу «высших» и отличал их от ненавистных и презренных. Ненавистных — тружеников, «восстающих рабов», требующих свободы и справедливости. Презренных и осыпаемых язвительными насмешками — мелочных, расчетливых, осторожных «филистеров», не осмеливающихся открыто объявить себя господами, играющих в равенство и демократию из страха перед пролетариями, не умеющими рисковать и идти ва-банк. «Высшие люди» отличаются от «толпы», «стада», «орды» духовной утонченностью, бескорыстным страданием, подлинностью личности. Однако самое их бытие — признак слабости наличного мира, многое в них «криво и безобразно». Они скованы предрассудками общечеловеческой морали, их жизнеспособность подорвана «великим отвращением». «С вами я погубил бы всякую победу... Нет в мире кузнеца, который мог бы исправить и выпрямить вас. Вы только мост, чтобы высшие перешли через вас!» Иерархию мифологически отвердевших типов должны увенчать те, кого зовет и ждет Ницше: «сверхчеловеки» — безоглядно решительные, сильные, победоносные, веселые. Те, для кого общая истина и общая нравственность не писаны: «Я закон только для моих, а не закон для всех». Существа, живущие в горних сферах духа, где «нет истины, все позволено». Существа, объединившие в себе внутреннее богатство индивидуальности с мощной жизнеспособностью и жестокой готовностью повелевать. Существа, чья нужда и хотение стоят над всеми человеческими ценностями. Этих «надчеловеков» легко принять за издевательски карикатурные воплощения идей Ивана Карамазова. Однако они запроектированы совершенно всерьез.

«Кроме того, что я декадент, я также еще и противоположность декадента»,— писал Ницше. Афоризм верен в гораздо более обширном смысле, чем тот, который в него вкладывал сам философ. «Восстающего раба» — отбросить и подавить; лицемерно буржуазного филистера — бичующе заклеймить; декадента — преодолеть. Но что такое это ницшевское «преодоление»? Говоря коротко: оставить суть и переменить форму.

Оставить суть: подтвердить недоверие и вражду к разуму; преклониться перед невнятицей темных инстинктов и отождествить инстинктивное с началом всякой жизненности; довести субъективизм до отрицания обязательной истины; унизить и третировать науку; заменить доказательства внушением; сделать обезумевший индивидуализм конечной целью всемирной истории; перевернуть шкалу моральных ценностей; обеспечить господство эстетико-психологической точки зрения во всех сферах культуры.

Переменить форму: окружить упадочные идеи ранее им не свойственной, эмоциональной атмосферой, сообщить им тон радости, безоглядной решимости, мощной жизнеспособности, дать упадку самоощущение подъема и возрождения, закат пережить как утреннюю зарю; поставить чувство нового психологическим центром реакционной философии, а ее движение к своей крайности, к своему пределу изобразить прорывом к новому; отнять идею культурно нового и молодого у низших классов, выходящих на арену истории, захватить эту идею как добычу и использо-

вать ее как добычу; разрубить связь реакционной философии с духом консерватизма и привить ей устремление в будущее; объявить философски предвосхищаемую кровавую заключительную стадию капитализма выходом на неоглядный простор будущего; отстаивать прошлое в форме утопии будущего, и чудовище, достойное кисти Пикассо, провозгласить человеком будущего.

Тем самым Ницше впервые создал динамический стереотип модернизма, разработал его психологическую схему, присущую ему систему перестановки акцентов. Выработанная философом парадоксальная идеологическая «технология» модернизма легко обобщается, легко переносится на новый материал — и это в немалой степени объясняет долговременное влияние Ницше во всех фракциях современной буржуазной культуры. Будучи яростным приверженцем классового общества, он вместе с тем обладал предвосхищающим чутьем нового, надвигающегося в развитии этого общества. В декадентстве он увидел признак конца, умирания сравнительно мирного, сравнительно демократического капитализма. И нельзя отрицать того, что в ницшевской оценке декадентства было кое-что верное. Точно так же Ницше, угадывая и раздвигая возможности, заключенные в союзе немецко-аристократической военщины с немецкой буржуазией, ждал наступления эры, заполненной насилием и мировыми войнами. В статье «Философия Ницше в свете нашего опыта» Томас Манн писал: «В своем философском утверждении силы он (Ницше.— В. Д.), подобно чувствительнейшему индикаторному инструменту, лишь уловил и отметил первые признаки нарождающегося империализма...» По поводу этих слов можно заметить, что Томас Манн, видимо, чрезмерно выдвинул вперед у Ницше момент предчувствия, предвидения, пассивного идеологического отражения и слишком далеко отодвинул в тень момент призыва, идеализации, активной подготовки всех ужасов империалистической эпохи. Однако Томас Манн вполне прав, усматривая внутреннюю связь философии Ницше с первыми намеками и признаками надвигающегося империализма. Скорбный опыт родной страны убедил его, что марксисты вернее, чем он сам раньше, толковали учение Ницше, и как художник духовно честный и мужественный, хотя и с немалыми оговорками, признал это. Поступая так, художник оказался на голову выше «линяющих марксистов» (по счастливому выражению Б. Рюрикова), которые, стесняясь, робея и жеманничая, избегают любых прямых суждений о классовой природе идеологии. Конечно, социологическая шагистика, деревянная прямолинейность убийственно плохи. Но понятийное «рококо» с закругленными неопределенностями, любезной уклончивостью мысли, блеклостью тона и милыми завитушками — нисколько не лучше.

Впрочем, наша тема требует, чтобы внимание сосредоточилось не на конкретно частном решении вопросов культуры у Ницше, а на алгебре, на форме этого решения. Ницше наметил общий прием строительства буржуазной культуры в XX веке. Сальто-мортале обращается в сальто-витале. Мертвая, обветшалая идея гальванизируется благодаря соприкосновению с новой формой — она дергается и корчится, как мертвая лягушка под воздействием электричества. Старое устремляется к новому, чтобы стать неузнаваемым. Духовный застой и оскудение маскируется движением и сменой в небывало быстром ритме. Будущее время делается орудием спасения того, что изжило себя во времени прошлом.

Это и есть модернизм. Он основан на извращенном отношении между новым и старым. Философия знала два вида отношений между содержанием и формой:

новое содержание в старой форме, ограничивающей, стесняющей, искажающей раззитие нового содержания;

новое содержание в новой соответственной форме, открывающей простор развитию содержания и мощно содействующей этому развитию.

Модернизм предлагает третий вид отношений:

старое содержание в новой форме, продлевающей бытие того, что пережило себя.

Модернизм вовсе не состоит в открытии, выделении и анализе непривычно новых форм. Мы оказались бы попросту глупцами, если бы приписали модернизму, уступили бы модернизму эту способность и функцию [1]. Сами формы не виноваты. Любые формы могут понадобиться культуре и искусству, если они оправдываются серьезностью и актуальностью содержания. Было бы печально, если бы мы заранее объявили те или иные из них неприменимыми при всех условиях,— все дело в том, чтобы они стали на свое место.

Модернизм, если иметь в виду не только искусство, а все ответвления культуры, можно определить так:

новые формы используются для подновления, сохранения, подтверждения старых, отмирающих, достойных гибели идей. Эту сторону модернизма глубоко прочувствовал Т. Манн. В своем «Фаустусе» и других сочинениях он вычеканил множество точных и метких формул, выражающих парадоксальное противоречие модернизма: «старо-новое»; «исполненный новизны возврат»; «одновременно прогрессивное и регрессивное»; «охранительный радикализм»;

[1] Модернизм, по большому счету, мало причастен к созданию новых форм в художественной ломке XX века. Они возникают очень различными путями, но главные из них, пожалуй, два: 1. Выделение из громадного богатства форм, созданных и создаваемых реалистическим искусством, отдельных форм, признанных актуально современными и повышенных до принципа особого стиля. 2. Изобретение форм, основанное на смутном предвосхищении нового содержания, на его ожидании, на эмоционально схваченных признаках времени. Впрочем, об этом следовало бы сказать особо и подробно.

«реакционный революционер»; «оживление того, что сходит в могилу»; «назад», разряженное под бурное «вперед»;

необходимый и законный процесс ломки и искания форм в культуре XX века становится модернизмом в той мере, в какой буржуазии удается подчинить себе этот процесс или, по крайней мере, социально нейтрализовать его. Отказываться от плодов художественной ломки на том основании, что ими злоупотребил буржуазный модернизм, было бы столь же неразумно, как отказываться от плодов революции научно-технической на том основании, что буржуазия ими воспользовалась в своей неудержимой жажде наживы;

универсализация новых форм, имеющих лишь частное значение, позволяет выдать обедненное, суженное, забитое в тесные колодки, искалеченное и разрушенное содержание за содержание всеобщее. Такая универсализация, такая претензия частной формы на всеобщность, такой отрыв новой формы от сферы ее действительной применимости составляют одну из главных структур модернизма;

не принимая в себя исторически назревших освободительных идей, новые формы идут к саморазрушению. Надламываясь под бременем противоречия со старой мертвой идеей, новые формы дичают, задыхаются, судорожно искажаются и теряют черты способного к ясному высказыванию художественного языка.

Легко заметить, что определение во многом упрощает вопрос. Но упрощения нельзя избежать в начале исследования. «Все *твердые* предпосылки, — писал Маркс,— сами становятся текучими в ходе дальнейшего анализа. Но лишь благодаря тому, что они твердо устанавливаются в самом начале, возможен дальнейший анализ без перепутывания всего» [1].

5

Было бы непростительной наивностью думать, что в XX столетии подчинение культуры буржуазным идеям и целям осуществляется само собой. Угроза капитализму слишком велика, и слишком опасно отдать стихии ход идеологических процессов. Поэтому создана гигантская, непрерывно выбрасывающая новые и новые теоретические «заготовки» идеологическая машина, предназначенная обеспечивать определенную социальную направленность культуры. Буржуазия ведет идеологическую классовую борьбу под лозунгом: классовой борьбы больше не существует. Растет промышленность, фабрикующая аргументы в пользу эксплуататорского мира и против мира социалистического. Видное место занимает в ней отрасль, выделывающая приемы одурачивания, соблазна, заманивания, сбивания с толку создателей культуры,— от приемов самых грубых и демагогических до самых тонких и косвенных. Чем независимее чувствует себя зависимый творец культуры, тем, разумеется, лучше. Явные сикофанты тоже необходимы; буржуазия скупает их оптом и по дешевке. Но у нее хватает ума, когда речь идет о сильном таланте, отпустить веревку, если она натягивается и грозит оборваться. К тому же из этого можно извлечь дополнительную выгоду хитролживыми разглагольствованиями о духовной свободе в царстве капитала. Непредвзятая верная оценка любого сколько-нибудь значительного явления культуры возможна сейчас лишь в соотнесенности с огромным фоном небывалой по масштабам, охватившей весь мир идеологической битвы.

Это справедливо и в применении к модернистской буржуазной культуре, то есть к способам подновления, укрепления, «реанимации» износившихся, мертвых идей. Нередко такая «реанимация» осуществима лишь с помощью фальшивок. К примеру, если имеется в виду «католический модернизм» — термин, вошедший в словари. Представитель католического модернизма, изображенный Мартен дю Гаром («Жан Баруа»), мучительно недоумевает, отчего католицизм пребывает в средневековой закоснелости, отчего цепляется за самые дикие суеверия, отчего не ищет мира с наукой и не вступает в контакт с новыми фактами и формами жизни. Его требование по сути дела сводится к тому, чтобы обветшавший, изъеденный молью времени обман заменить обманом более правдоподобным. И даже у Тейяра де Шардена, отразившего в своих произведениях глубокий кризис христианства, мы найдем элементы «католического модернизма». Они — в своего рода презумпции истинности, заранее ограничивающей исследование лишь вопросом об усовершенствовании христианства. Они—также в способах доказательства: к поднимающейся вверх лестнице естественной эволюции добавляются ступеньки, ведущие к богу. Тем самым доверие, завоеванное вдумчивым, богатым смыслом, изображением природного процесса, незаметно переносится на то, что доверия не может и не должно заслуживать.

Другой пример модернистской культуры в действии — современная буржуазная философия. Здесь совершается неустанная работа приживления нового к старому; свежие факты и закономерности привлекаются на службу к вполне исчерпавшему себя идеалистическому принципу. Нет даже и попыток создать оригинальную философию. Господствует возобновление или, словами Т. Манна, «исполненный новизны возврат». Принцип «нео». Неогегельянство, неотомизм и т. д. Экзистенциализм обошелся без приставки «нео» лишь потому, что, возрождая основы философии Кьеркегора, эклектически и некритически прибавлял к ним все, что требуется из других философий. Идеи-перестарки по-иному аранжиру-

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 46, часть II, стр. 332.

ются, камуфлируются частными закономерностями. Характеризуя нашу эпоху, будущие историки культуры, конечно же, скажут, что она была эпохой окончательной, исчерпывающей победы материалистической философии. Какой дух может претендовать на создание вселенной, измеряемой миллиардами световых лет, включающей состояния материи, принципиально недоступные представлению и улавливаемые лишь сложнейшими инструментами? Какой идеализм может справиться с тем, что автоматы ощупывают другие планеты и сообщают людям обо всем, что «узнали», или с тем, что машины мыслят?

Но, может быть, еще важнее, имея в виду судьбы коренных идей философии, помнить, что материалистическое понимание истории легло в основание социальной переделки мира — философия впервые стала экспериментальной наукой в полном значении этого слова.

Буржуазные философы свой идеализм проводят, укрываясь за словами об устарелости самого вопроса, разделившего всю мировую философию на два лагеря, под флагом нейтралистского безразличия к этому вопросу,— увертка, так сказать, с седой бородой, с почти двухвековой историей от остроумнейшего Юма до Сартра и сегодняшних неопозитивистов. Весьма интересно, что неопозитивисты, избегающие открытого философствования, вынуждены ради сохранения принятой системы идеологического камуфляжа отсечь части миросозерцания настолько существенные, что их теории можно назвать действительной философией лишь по недоразумению. Зато они дали ряд основательных и полезных обобщающих описаний современных научных методов. Часто неопозитивисты пытаются насильственно скроить эти описания таким образом, чтобы они работали на выгоду идеализму. Но нередко — просто блефуют: к добросовестному воссозданию путей современного научного исследования более или менее внешне присоединяют идеалистические фразы и заклинания. Все это — типичный буржуазный модернизм: старое прикидывается новым, используя черты, признаки, отдельные особенности нового.

Несомненно, что в модернизме немаловажную роль играет и симуляция нового. Этому содействует бешеный ритм, в котором работает буржуазная идеологическая машина. Теории, учения, точки зрения, «измы», школы летят друг за другом с такой быстротой, что нет времени присмотреться, вдуматься, свести концы с концами. Как будто жестокая рука хлещет кнутом взмыленные бока культуры, заставляя ее бежать из последних сил. Этот ритм, приучая к поверхностности и вечной жажде перемен, создавая формальную потребность в неожиданном и непривычном, хорошо служит задачам модернизма. Есть не только схемы и приемы, но также и ритмы, соответствующие натуре модернистской культуры. Идеологическую функцию современных культурных ритмов не нужно смешивать с психологическими следствиями общего ускорения бытия, вытекающего из научно-технической революции. Множество книг сейчас заполнено описаниями перегрузок, шоков, состояний ошеломленности, нарушений душевного равновесия, связанных с лавинообразно нарастающим потоком изменений в темпах и формах жизни. Остроумное резюме таких описаний читатель найдет в опубликованных порусски отрывках из книги Олвина Тоффлера «Столкновение с будущим». В серьезных работах такого рода есть, по-видимому, кое-что верное, предупреждающее о грозящих человеку опасностях.

Как бы ни обстояло тут дело, остается вопрос об идеологической проекции: о том, что всеми капиталистическими средствами культуры опасное перенапряжение не только не умеряется, но, напротив, взвинчивается, разжигается, преувеличивается, поощряется. Вопрос о том, что в головы людей вбивается совершенно фальшивая и недопустимая мысль, будто ритмы внутренней жизни, ритмы духовных процессов являются пассивным отражением и чуть ли не повторением ритмов жизни внешней. Мол, возникает характерная для эпохи недолговечность любого продукта духовного творчества. «Теперь,— пишет О. Тоффлер,— от мелькания стилей и школ живописи рябит в глазах. Едва успеешь заметить развивающуюся школу и понять ее язык, как она уже исчезает». Самая долговечная школа «господствовала максимум двадцать лет, с 1940 по 1960-й, после чего началась настоящая чехарда: «поп», просуществовавший пять лет; «оп», сумевший привлечь внимание публики года на два-три; наконец, «кинетическое искусство», самым смыслом которого является недолговечность». Эстетическая ценность какого-либо художественного течения принимается за нечто безразличное для его судьбы. Смена марок телевизоров или автомобилей, убыстрение передвижения и т. п. приравнивается к смене «марок» живописных или поэтических школ и стилей — то и другое становится проявлением и фиксацией господствующего жизненного ритма. Не гераклитовская, а кратиловская река времени: река неудержимо увлекает, не давая очнуться, оглядеться, разобраться, вчувствоваться. Она не намывает, а лишь смывает.

К этому добавляется влияние идеологической моды. Перенос механизма моды с одежды и внешности на сферу взглядов и духовных пристрастий — специфическое изобретение буржуазной культуры. В романе «В поисках утраченного времени» Пруст не только выяснил классовую натуру идеологической моды, но с основательностью подлинного художника описал способы ее действия. Модные шляпы и модные теории, модные юбки и модные мысли. Эти факты становятся принципиально однотипными. В одном и другом ряду мода действует с той же слепой силой принудительности, в одном и другом случае

противостоять ей может лишь человек редкой духовной и личной самобытности.

Идеологическая мода — тема большая, заслуживающая серьезного исследования. И одним из важнейших мотивов такого исследования непременно окажется внутренняя ее связь с функцией модернизма — культивировать новое только и исключительно за то, что оно новое. В своей книге «Введение в социологию музыки» Т. Адорно говорил, что идеологическая мода, создавая видимость бурного движения, по сути дела охраняет пошлейший консерватизм. Адорно остроумно писал о моде: «мельчайшая вибрация в пределах косного» или: «капризы скрытой, замаскированной неизменности». Как видим, формула «старо-новое» применима на всех уровнях, во всех аспектах проблемы модернизма.

Заблуждение по необходимости лежит в основании современной буржуазной идеологии. В этом одна из главных трудностей ее положения. Идеализм, бог, отрицание классов и их борьбы, идея собственничества, крайний индивидуализм — тягчайшие заблуждения человечества. Тут на помощь буржуазной идеологии приходит культура модернизма. Нередко она кладет заплаты новых обманов на обманы старые, перекрашивает их — выцветшие — в яркие и заманчиво новые цвета. Однако она действует так лишь в случаях, если другого решения нет. Расчет и деловитость подсказывают везде, где только возможно, другой путь: подкрепить заблуждения частными новыми истинами, подкрепить старые идеи уловленными в современной жизни формами. Оперируя одними лишь мнимыми величинами, легко сорваться. У Ионеско есть пьеса «Стулья». Там хозяева встречают несуществующих гостей, приносят каждому из этих несуществующих стул из другой комнаты, разговаривают с каждым сообразно его положению и характеру, отвечают на непрозвучавшие реплики и т. д. Мотив пьесы остроумен: в самой реальности приходится иметь дело с тем, что уже по сути не существует и чему значение придает лишь стул. Модернистская культура оперирует фикциями и видимостями, но из одних несуществующих ценностей даже и эту культуру построить нельзя. Она использует для своих целей новые явления действительности, новые, угаданные в современной жизни художественные формы, новые частные истины, открытия, факты. Всегда используя их всуе, во зло: новые явления действительности, вытекающие из коренных отношений общества и их представляющие, толкуются как устранение самих этих коренных отношений; новые художественные формы прикрывают застарелые, замшелые идеи; новыми частными истинами и фактами подпирается заблуждение в самых общих вопросах. Нам нужно ясно видеть состав, процесс и исток модернизма. Это знание — необходимое оружие в духовной борьбе.

6

В сфере искусства общее понятие модернистской культуры нельзя применять без значительных видоизменений и усложнений постановки вопроса. Оно и здесь вполне действенно, но действует особым образом. Суть в том, что буржуазии не удалось подчинить себе искусство в такой мере, в какой она подчинила себе другие сферы идеологии. Последние десятилетия дали этому подтверждение, на мой взгляд, в высшей степени убедительное. Буржуазные философы, экономисты, социологи в один голос доказывают, что капитализм неузнаваемо изменил свою сущность, что он реализует процесс «конвергенции», что возникло некое «постиндустриальное общество», что марксово понятие о классах, эксплуатации и классовой борьбе стало ныне всего лишь беспочвенным предрассудком. Такого рода концепции, по-разному теоретически оборудованные, выпускаются буквально сериями. И необычайно важно установить, что искусство не поддалось этим лживым мифам. В тех самых странах, где экономисты и социологи придумывали учения о коренной трансформации капитализма, честные художники с беспощадностью и достоверностью истины показывали, что, несмотря на все перемены, социальная природа буржуазии осталась той же, что и при Бальзаке: ее жадность и жестокость по-прежнему безграничны, она поставила трудящегося человека в небывало унизительное и зависимое положение, идущая от нее угроза человечности и человечеству громадно увеличилась.

И в современном капиталистическом мире великое дерево классического искусства продолжает расти и зеленеть. Это искусство стоит на страже человека: оно рассматривает и оценивает явления действительности, исходя из идеала гуманности, оно бесстрашно говорит человеку правду о нем самом и его жизни. Искусство более стойко, чем любая другая идеология, сопротивляется давлению со стороны буржуазии — факт принципиального значения.

Однако нельзя закрывать глаза и на то, что буржуазия, как никогда, стремится подчинить себе или хотя бы нейтрализовать искусство, что ее нажим и давление на художника стали неизмеримо больше, что атмосфера обмана необычайно уплотнилась. Художник — чувствительнейший медиум, и его не могут не затронуть процессы духовного и нравственного разложения, принимающие в буржуазном мире все более дикие и безобразные формы. Справиться со всеми обволакивающими влияниями, уловками, вырваться из всех расставленных на каждом шагу капканов действующему в одиночку художнику необычайно трудно. Под все растущим нажимом буржуазной идеологии возникает модернистское течение, поставившее новые фор-

мы на службу реакционным идеям — в их числе идее безыдейности.

Целостная картина искусства гораздо сложнее, чем картина других идеологий в буржуазном обществе. Между полюсами лежит обширная градация переходных состояний. Сплошная постановка вопроса, без конкретного и внимательно различающего анализа отдельного случая, ведет к серьезным потерям и уменьшению наследства, которым может и должна воспользоваться социалистическая культура. У некоторых крупных западных художников классическая традиция остается живой, несмотря на ощутимые следы модернистских тенденций. Эти тенденции легко заметить в сочинениях Пруста. Притом они не являются только внешним привеском к его искусству. Пруст, например, использует свои открытия в художественном психологизме и способах изобразительности, чтобы подтвердить идеалистический субъективизм, и, более того, делает вид, будто художественный анализ прямо вытекает из идеалистического представления о человеке. И вместе с тем Пруст неотделим от классического искусства, мы находим у него обширное реальное содержание, целый мир живой красоты.

Образцовым материалом для анализа современного модернистского искусства может служить «драма абсурда» Беккета.

1. Новая форма. Ее использование многими художниками, оперирующими существенно различным содержанием, показало, что в этой новой форме имеются многозначные и жизнеспособные элементы.

2. Новая форма назначена придавать современный вид старой-престарой религиозной идее абсурдности мира — то есть идее полнейшей несоизмеримости действительности с человеческим разумом, окончательной неприложимости всех критериев разумности к общей и личной жизни.

3. Едва только акт исчерпывающего отрицания совершится, делается ясным, что больше говорить не о чем. Это подтверждается историей творчества самого, обладающего немалым талантом, Беккета: его драма агонизирует, немеет, сводится к жесту — поскольку она не может жить за счет смысла, ее поглощает ничто.

Новая форма: создание небывало краткого и отрывистого диалога. Это уже не проза, это еще не стихи — движение слова, в котором особое значение получает ритм. Диалог годится для чистейшего пустоговорения, для передачи автоматизма человеческих отношений самого процесса жизни, разорванности времени на автономные длительности. Но он также годится для выражения неожиданно возникающих поэтических эффектов и передачи очень концентрированных, хотя и нерасчлененных, смыслов. Культивирование ситуаций, вполне незначительных, но вместе с тем сливающихся с всеобщими значениями.

Разработка драматического жанра, в котором фарсовое, сливаясь с трагическим, вместе с тем поглощает трагическое. Превращение арлекинады (или клоунады), которой так много занималось искусство в XX веке, во всеобъемлющий прием иносказательного изображения мира.

Старое содержание. Старая-престарая религиозная идея, более ста лет назад снова разработанная датским писателем-философом Кьеркегором. Реальный мир — творение и воплощение бога. И вместе с тем он противоречит всем духовным чаяниям и нравственным идеалам человека. Сие возможно, полагает Кьеркегор, если намерения, цели, разум бога и человека совершенно несопоставимы. Оттого человек, применяя свой разум, свои нравственные критерии к миру, может прийти лишь к абсурду. Божественный мир не может не быть абсурдным с человеческой точки зрения. С этих позиций сразу же — и навсегда — устраняются все стремления к разумно-справедливому переустройству мира. Заодно отменяется история как нечто осмысленное и заключающее в себе предпосылки великой цели. Нравственная стойкость человека не может быть согласована с законами действительности, она всегда строится вопреки и в противовес миру; нравственность — высокое упрямство человека, решившегося ни в чем не уступать миру. С религиозной точки зрения она оправданна с жизненной — абсурдна. Кьеркегор создает очерк пессимистического христианства, очерк мира, ничуть не стремящегося к конечному благолепию.

Эту идею вынес на сцену современной жизни Беккет. С одной существенной разницей: он не верит и в высокое нравственное упрямство человека, в способность его духа выдержать напор абсурда. Человек, его дух, его мораль так же расшатаны, нелепы, абсурдны, как и все прочее. Человеку свойственно ждать и надеяться, но и это абсурдно, так как ждать некого и надеяться не на что. Правда, при всем этом человек несчастен, и в этом можно было бы увидеть отзвук чего-то высшего. Но его отчаяние стремится к равнодушию, оно выражает не состояние кризиса, а хроническое состояние бессмыслицы. Все погружается в бездонные болота чепухи. Мир сегодняшний отвергается, но он вполне уподобляется миру прошлому и миру будущему, делаясь тем самым образом вечности и тем самым подтверждаясь. Эта моноидейность, эта отданность искусства мысли, разрушающей все ценности, окружает пьесы атмосферой унылого кошмара. И самое печальное в том, что, будучи, по видимости, тотальным отрицанием современных буржуазных отношений, драмы Беккета являются по сути — еще небывалым в серьезной литературе — их приятием. Ведь не имеет значения, совершается ли приятие под знаком утверждения или знаком отрицания. Нельзя не согласиться с тем, что речь здесь идет о характернейшем явлении модернистского искусства.

Разумеется, для полного анализа модернистского искусства необходимо рассмотреть его конкретно на фоне художественного развития всего XX века.

Но это — особая задача, выходящая за рамки данной статьи.

Писатель и время

ВГЛУБЬ, ДО СУТИ ВЕЩЕЙ

Писатели ГДР о себе и о своем творчестве

Составление, перевод с немецкого и вступление М. ХАРИТОНОВА

Человеческие и творческие судьбы четырех писателей, представленных в этой публикации, характерны для ГДР и ее литературы.

Бруно Апиц родился в 1900 году. С 1927 года член КПГ, в том же году началась его литературная деятельность. Затем — антифашистское подполье, гитлеровские концлагеря. После освобождения в 1945 году Апиц сразу включился в работу по восстановлению страны и созданию немецкого социалистического государства. В 1958 году вышло наиболее значительное его произведение — роман «Голый среди волков». Эта книга о человеческой стойкости и самоотверженности узников Бухенвальда, которые в неимоверных условиях концлагеря сумели спасти жизнь маленькому мальчику, получила мировую известность и была переведена на русский язык.

Эрвин Штриттматтер (1912) сменил в молодости немало профессий: был пекарем и кельнером, шофером и подсобным рабочим. Мобилизованный в гитлеровский вермахт, он дезертировал из него к концу войны. После земельной реформы в восточной части Германии Штриттматтер поселяется в деревне и вскоре начинает писать. С деревней, с переменами, которые произошли в жизни и сознании крестьянства после войны, связаны основные произведения Штриттматтера: романы «Тинко», «Чудодей», «Оле Бинкоп» и другие, хорошо известные советскому читателю.

Франц Фюман, родившийся в 1922 году, вырос, по его собственным словам, «в атмосфере мелкобуржуазности и фашизма». Призванный в гитлеровский вермахт, он уже в 1942 году опубликовал свои первые стихи, которые много лет спустя охарактеризует как «стихи молодого фашиста». Разгром нацистской Германии и советский плен круто изменили его судьбу. Одной из главных тем его дальнейшего творчества надолго останется расчет с прошлым. Творчество Фюмана разнообразно, он пишет стихи и прозу, выступает как детский писатель и переводчик. Произведения Фюмана не раз издавались на русском языке; совсем недавно однотомник его избранных работ вышел в серии «Библиотека литературы ГДР».

Криста Вольф моложе Франца Фюмана всего на семь лет — но в переломные времена это очень много. Как писательница, она полностью сложилась уже в условиях ГДР. Советскому читателю известен роман Кристы Вольф «Расколотое небо». Сейчас писательница работает над книгой, в основу которой положены воспоминания о военном детстве; в этой связи, думается, представят интерес публикуемые здесь отрывки из эссе, в котором Криста Вольф размышляет об особенностях писательского мировосприятия и писательских воспоминаний.

Четыре писателя, четыре поколения, четыре разных судьбы... Все они представляют сегодняшнюю литературу Германской Демократической Республики. Разговор, который они ведут на этих страницах о себе и своей работе, конечно, лишь частично отражает широту и разнообразие творческих поисков каждого из них. Но в нем отчетливо проявляется общее для всех стремление как можно глубже проникнуть в суть событий, чтобы со всей возможной полнотой и убедительностью отобразить ее в творчестве. Поиски идейной и художественной глуби-

ны — вот главный мотив, объединяющий их разные по характеру высказывания. «Если хочешь изменить жизнь к лучшему, надо добраться до корней этого лучшего, до сути вещей» — под этими словами Франца Фюмана мог бы подписаться любой из публикуемых авторов [1].

БРУНО АПИЦ

ПОКАЗАТЬ ВЕЛИЧИЕ И КРАСОТУ ЧЕЛОВЕКА

Й.-Г. Заутер. Сразу же после освобождения из концлагеря вы включились в работу по восстановлению страны, по созданию основ нашего государства. Причем выполняли вы самые разные обязанности. Для вас, человека, жизнь которого всегда была наполнена борьбой, это естественно. Как литератор, вы продолжали писать: радиопьесы, серии радиопередач. Лишь в 1955 году вы полностью перешли на положение профессионального писателя и приступили к работе над романом «Голый среди волков». Вам понадобилось столько времени, чтобы созрели ваши планы и замыслы?

Б. Апиц. Нет, но это время было полезным для работы. Представьте сами: вернувшись в 1945 году в разрушенную страну, можно было заняться чем угодно, только не усесться за письменный стол. Кем я только не работал — от редактора и директора Городского театра в Лейпциге до секретаря районного отделения Культурбунда. Потом я стал сценаристом на ДЕФА. Правда, сценаристом я был неважным, на ДЕФА меня терпели из вежливости; я сам ушел оттуда. Время с 1945 по 1955 год было заполнено работой. Людей той поры называют «активистами первого часа»; не берусь судить, отношусь ли я к их числу.

Вы спрашиваете, нужен ли был такой промежуток, чтобы я мог взяться за роман. Я ответил «нет», но добавил, что он был полезен. Еще в лагере я решил, что, если только выйду оттуда живым, расскажу о спасении одного польского малыша. До 1955 года у меня просто не доходили до этого руки. Но маленький поляк все эти годы не оставлял меня. Сама идея тем временем стала несравненно богаче. Я все яснее чувствовал, что речь здесь идет о большем, чем просто о спасении ребенка. Десять лет были годами кристаллизации.

Й.-Г. Заутер. К тому времени, когда вы начали писать «Голый среди волков», уже существовали такие романы о фашистских концлагерях, как «Испытание» Вилли Бределя, «Болотные солдаты» Вольфганга Лангхоффа или «Седьмой крест» Анны Зегерс и другие. Повлияли ли на вас эти книги и в чем, по сравнению с ними, была особенность вашего замысла?

Б. Апиц. Разумеется, я читал и Бределя, и Зегерс, но о влиянии тут говорить нельзя: у меня была иная тема. То есть не было прямого влияния, косвенное, возможно, и было, об этом судить не берусь.

Что же касается особенностей, то как раз за эти десять лет и определилась главная тема моей книги. Мне хотелось показать в ней величие и красоту человека, победу человека над фашистским варварством. Показать, как к концу войны в лагере креп фронт антифашистов и гуманистов, социалистов и коммунистов, а фронт фашистов с каждым днем слабел — чем ближе становился конец войны, тем он слабел все больше. Не знаю, насколько мне удалось отобразить это в романе. Разница между нами и фашистами состояла в том, что у нас, заключенных, была идея и перспектива — у них не было ни того, ни другого. Поэтому мы оказались сильней. Вот главная тема книги.

Й.-Г. Заутер. Роман «Голый среди волков» до сих пор держит в ГДР первенство по тиражу, он популярен далеко за пределами республики. Чем, по-вашему, это объясняется?

Б. Апиц. Не знаю. Я действительно не знаю причины. Может быть, дело в трогательном сюжете: спасение ребенка. Это многих привлекает.

Й.-Г. Заутер. Наверно, сыграл роль момент выхода романа?

Б. Апиц. Возможно. Хотя мой издатель мне тогда говорил: «Не верится, чтобы книга имела успех: людям уже надоело читать о концлагерях». Словом, я не могу вам объяснить секрет успеха — сам его не знаю.

Й.-Г. Заутер. В отличие от многих других, писавших на ту же тему, вы в своем романе не просто рассказали о страшных событиях и бесчеловечных мучениях. Вы показали и протест, и сопротивление политически сознательных сил, величие борьбы и интернациональной солидарности. Мне, во всяком случае, это кажется главным. Хочу спросить, какую роль в вашей работе сыграл документальный материал, личные воспоминания и писательская фантазия.

---

[1] Интервью с Бруно Апицем и Францем Фюманом, которые вел литературовед Иозеф-Герман Заутер, были опубликованы в журнале «Веймарер байтреге» № 1, 1973 и № 1, 1971. Интервью Гейнца Плавиуса с Эрвином Штриттматтером напечатано в журнале «Нойе дойче литератур» № 5, 1973. Интервью печатаются с некоторыми сокращениями. Фрагменты из эссе Кристы Вольф переведены по тексту сборника "Lesen und Schreiben", Berlin, 1972. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

Б. Апиц. Знаете, здесь все так тесно переплелось: документы, пережитое, вымысел,— что теперь я и сам не в состоянии отделить одно от другого. Конечно, я использовал много документального материала. Правда, я имею в виду не ту письменную документацию о лагерях, которая была опубликована, а опыт моей собственной лагерной жизни. Но насколько здесь можно отделить поэзию от правды, этого я вам сказать не могу. Поэзия и правда связаны, как сестры. Постараюсь пояснить это примером. Ребенок, о котором идет речь в романе, на самом деле появился в лагере со своим отцом. У меня же в романе ребенка приносит в лагерь чужой человек. Почему я так сделал? Видите ли, когда отец с риском для жизни спасает свое дитя — это, я бы сказал, нечто само собой разумеющееся. Но когда человек с риском для жизни защищает чужого ребенка — это повышает гуманную ценность поступка. Здесь можно говорить о еще более высоком уровне человечности. Словом, я опирался на документальный материал, но в то же время позволил себе и поэтический вымысел.

Й.-Г. Заутер. Какие персонажи имеют прямых прототипов из числа людей, которых вы знали в Бухенвальде?

Б. Апиц. В каждом случае нельзя говорить об единственном прототипе, любой из персонажей вобрал в себя черты многих моих товарищей по лагерю. Меня часто спрашивают, что стало потом с Гефелем, с Боховым и другими заключенными (о Пиппиге я еще скажу особо). Читатели отождествляют их с живыми людьми, хотя в посвящении я написал, что дал главным действующим лицам имена погибших товарищей, чтобы почтить их память. Настоящий Гефель не участвовал в спасении мальчика, я использовал только его имя. Гефель в романе — не реально живший Гефель. Он был приговорен к смерти и погиб задолго до того, как ребенок появился в лагере.

Й.-Г. Заутер. Пиппига вы упомянули как особый случай?

Б. Апиц. Да. Реальный Пиппиг вообще не имел никакого отношения к ребенку. Друзья мне рассказали, что, когда вышла книга, он был возмущен: «Что это тут Апиц понаписал, ничего такого на самом деле не было, это не я. Я ничего подобного не делал». Действительно, мой добрый друг Пиппиг тут ни при чем. Я использовал только его имя и любимую присказку. Когда ему говорили: «Руди, не делай этого, ты рискуешь головой», он отвечал: «Пиппиг-цыпик, не тужи и себя покажи». Мне это понадобилось для книги. И его единственного я заставил умереть. Поэтому мой добрый Пиппиг на меня и сердится. Впрочем, когда нам однажды довелось встретиться в Дессау, мы сели в уголке и выпили по стаканчику вина; надеюсь, он примирится со своей литературной смертью.

Й.-Г. Заутер. Вы работали над романом три года. Как вы его писали?

Б. Апиц. Да, три года. Как я его писал? Что вы имеете в виду?

Й.-Г. Заутер. Как вы работали над романом? Был ли у вас заранее определен весь план действия или замысел менялся, возникали новые повороты?

Б. Апиц. Я уже говорил вам, что за десять лет материал обогатился. Предварительного плана у меня не было. Я знал, как начать книгу и чем ее кончить. Что будет между началом и концом, мне было неизвестно; я сам это узнавал в процессе работы. Можно сказать, что этот роман, как и все мои книги, рос — выразимся так,— как растут растения. Про дерево знаешь, что на нем появятся ветки и сучья, вырастут листья, цветы, плоды. Но где появится ветка, где распустится лист, заранее не скажешь. Так и у писателя. Конечно, заканчивая какой-то кусок, я знал, что дальше должен писать только так и не иначе. Так я и делал. Я как будто пробивался с мачете в руках сквозь первобытную чащу в определенном направлении — в направлении финала книги. Между началом и концом были, конечно, и промежуточные станции. Например, смерть Пиппига. Я о ней знал заранее. Пиппиг должен был погибнуть, и к этому месту я двигался, покуда его не достиг. А дальше и до самого конца надо было опять пробиваться сквозь чащу. Словом, никакого плана или подготовки, все будто впервые. Я садился писать в три часа утра и работал до полудня. Приступая, я еще не знал, что буду сегодня писать.

Й.-Г. Заутер. Вероятно, созданные вами персонажи приобретали такую способность жить интенсивной самостоятельной жизнью, потому что вы — в данном случае именно вы — поставили их перед необходимостью действовать...

Б. Апиц. Да, это верно... Действующие лица романа были для меня живыми людьми, я с ними общался во время работы... Это чувство общности с героями, вероятно, и помогло мне психологически верно воплотить их образы.

Й.-Г. Заутер. То есть вы предельно вживаетесь в ситуацию, которую описываете. У разных писателей это бывает по-разному.

Б. Апиц. Когда я обдумывал сцену с Гефелем в карцере, я сам был в карцере, сам был Гефелем. Я пережил эту сцену, пока писал ее. Или сцену с Розе, когда он в тюрьме рассказывает воображаемому гестаповцу о своем лагере, о том, как там пели песню «Приютилась в лесу деревушка». Я не только записывал эту песню, я бегал по комнате и пел ее. Я был Розе. Я был каждым из своих героев.

Й.-Г. Заутер. Работая, вы отождествляете себя с ними?

Б. Апиц. Можно сказать и так. Писателю без этого просто не обойтись. Он должен уметь представить себя и негодяем. Я был и Рейнеботом, и Клуттигом. А как

описать негодяя, если не вообразишь себя в его шкуре? Тогда это будут одни слова. Я пытался и фашистов изобразить как людей. Но только каких людей!

Й.-Г. Заутер. А как вы писали: сразу, на одном дыхании или, написав короткий отрывок, много раз его переделывали?

Б. Апиц. Я никогда не писал на одном дыхании. Часто над одной фразой приходилось биться несколько часов. Прежде, чем писать на бумаге, я пишу в уме. Причем очень долго и трудно. Перебираю разные варианты. Стараюсь найти наиболее сильные слова. Собственно процесс творчества предшествует записи, для меня это потом уже просто техническая работа. Я не могу работать на пишущей машинке, не могу диктовать на магнитофон, я могу писать только от руки. Мне нужно видеть, как мысль возникает, формируется, закрепляется в буквах, в словах, в предложениях. Таков мой стиль работы. Есть дни, когда я ничего не могу написать. Вообще я пишу со скрипом. Для меня это тяжелое занятие. Я имею в виду и тот творческий процесс, который предшествует технической записи. Я тугодум, соображаю лениво. Иной раз сижу утром час-два перед чистым листом бумаги.

Й.-Г. Заутер. Писательский труд действительно изматывает и требует сил; многие этого не подозревают. При такой напряженной духовной работе очень важна разрядка. Что для вас служит наилучшей разрядкой, противовесом работе?

Б. Апиц. Три вещи. Во-первых, духовный покой и вялость, после того как я поработал. Я тогда бываю измочален, как каменотес.

Й.-Г. Заутер. Я бы сказал: заслуженный покой.

Б. Апиц. Принимаю это как комплимент: сам бы я этого не сказал. Во-вторых, я люблю посидеть над микроскопом и, в-третьих, не скажу играть — пиликать на скрипке. А лучший для меня отдых — моя дочурка Сабина.

Й.-Г. Заутер. Сейчас вы работаете над романом о женщине, судьба которой связана с целым периодом немецкого рабочего движения. Насколько ясно уже наметились контуры этой работы? Что вообще вы можете о ней сказать?

Б. Апиц. Да, я пишу, но говорить об этом сейчас бы не хотел. Видите ли, будь я столяром, я мог бы вам сказать, что через две недели стол будет готов. Вот он. Можете за ним сидеть, он не сломается, сработан как следует. Но я не столяр, хоть и не прочь был бы им быть.

Й.-Г. Заутер. Тем не менее хочу пожелать вам успешного завершения книги и поблагодарить за обстоятельную беседу.

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР

СИЛА ПОЭЗИИ

Г. Плавиус. Три твои последние книги — сборники рассказов и главным образом прозаических миниатюр. В 1969 году появился «Вторник в сентябре», в 1970 году — «Без четверти сто коротких историй», в 1972 году — «Синий соловей, или Так это начинается...». Какое место отводишь ты этим работам в своем творчестве?

Э. Штриттматтер. Некоторые литературоведы склонны видеть в моих произведениях «малой формы» своего рода упражнения. Что ж, пожалуй, это и есть упражнения; но я и на небольшом пространстве пытаюсь исследовать философские проблемы. Хотя одновременно — тут я не спорю — это помогает уяснить некоторые возможности построения романа, который я сейчас заканчиваю.

Я почти всегда писал о том, что меня интересовало. Вот уже около двадцати лет, как ты знаешь, я живу в деревне, встречаюсь с людьми разных профессий. То есть интересные для меня темы возникают не из воздуха. Когда обеспечены внешние потребности людей, они начинают задаваться вопросами: откуда я? для чего я? в чем состоит мой долг перед обществом? Это естественно для человека, таково его отличительное свойство. Кто дает ответ на эти вопросы? Пытается церковь, но, по-моему, неудовлетворительно. Экономисты и политики отвечают слишком односторонне. Остается попробовать художникам, это всегда было их заботой. К своей так называемой «малой форме» я обратился не ради самого жанра; эту форму мне подсказало само время.

Г. Плавиус. Ты затронул вопрос, на котором стоит остановиться. Конечно, писатель не стремится специально разрушать границы жанров. Он исходит из темы, из задачи, им движет определенный импульс. На примере твоих книг видна относительность разделения на жанры. «Вторник в сентябре» имеет подзаголовок «Романы в стенограммах». Из этих коротких рассказов можно было бы развить и произведения крупного жанра, они, без сомнения, дают такую возможность.

Э. Штриттматтер. Подзаголовок был в некотором роде «провокационным». Сборники рассказов обычно раскупаются плохо. В то же время романы читатель любит не слишком толстые. Поэтому я и назвал свои рассказы «романами в стенограммах».

Вообще у нас нередко разворачивают в роман замысел, который тянет не больше чем на рассказ. В этом смысле мой подзаголовок ироничен. Во всяком слу-

чае, обсуждение книги проходило оживленно. Выясняли, что же это на самом деле — карликовые романы или все-таки рассказы. И читатели приняли рассказы с «провокационным» заголовком лучше, чем если бы я предложил им «просто рассказы». «Романы в стенограммах» переведены и на другие языки.

Г. Плавиус. Все три книги весьма разнообразны по содержанию, и я вовсе не хочу втискивать их в рамки одной темы. Но все-таки есть некая сквозная проблема, которая в них так или иначе варьируется. Речь идет об отношении человека к природе. Сейчас эта проблема приобретает все более глубокое философское звучание... Ты исследовал ее, обратившись к форме коротких рассказов. Будет ли она продолжена в твоих новых работах?

Э. Штриттматтер. Я никогда не стремился специально писать о природе, как таковой. Мечтатели-природолюбы мне так же неприятны, как любые сектанты. Но, по-моему, занятые экономической и социальной борьбой, мы немного упустили из виду, что человек сам есть продукт природы и что он уничтожает себя, если высокомерно злоупотребляет урбанизмом, псевдопрогрессом. Не случайно защита окружающей среды стала модным словом и главной темой, которая особенно заботит правительства западных индустриальных стран.

Классики марксизма — Энгельс, например,— знали, как тесно человек связан с природой. А мы, «опьяненные прогрессом ученики», нередко забываем об этом.

Г. Плавиус. Могу ли я коснуться твоего нового романа?[1] Главный его герой, Станислаус Бюднер, по ходу действия становится писателем. Нечто похожее можно наблюдать и в ряде других романов: в «Присуждении премии» Гюнтера де Бройна, в новом романе Юрека Беккера. Герман Кант и Бернгард Зеегер тоже обсуждают проблемы своей профессии. Буржуазные авторы в подобных случаях говорят, что литература становится сама для себя темой, что повествование повествует само о себе. В условиях буржуазного строя такая тематика таит, очевидно, опасность изоляции от действительности, «искусства для искусства». В условиях социализма и конкретно в названных произведениях я такой опасности не вижу, но было бы интересно поговорить о причинах обращения к этой теме.

Э. Штриттматтер. Меня раздражает, когда кому-то чудится опасность в том, что писатель хочет рассказать о себе или о своей профессии. Я много лет слышу подобные разговоры на международных курсах германистов, куда меня приглашают в качестве гостя. Как правило, вопросы на эту тему раздаются с «леворадикальной стороны». Еще пять лет назад эти люди называли леворадикалами нас, потому что мы писали о своих социально-экономических заботах и успехах; теперь мы для них недостаточно левые. У меня нет охоты выслушивать поучения от таких людей.

Ты спрашиваешь, почему наши писатели именно сейчас стали обсуждать проблемы своей профессии. Мне такая постановка вопроса кажется слишком узкой. Я не верю, чтобы кто-нибудь из моих товарищей в романе, появления которого заранее опасаются, стал бы просто заниматься созерцанием собственного пупа. Они прежде всего задумываются над тем, нужна ли обществу их работа, за которую они, как правило, берутся по собственной воле, имеет ли их существование смысл.

Нас нередко сбивают с толку. То уверяют, что наша работа насущно необходима, то заявляют, что мы не так уж нужны и что лучше было бы, если бы мы непосредственно участвовали в производстве. Сейчас некоторые утверждают (и сами верят в это), что нас в один прекрасный день заменят удобные компьютеры. (Тут уж начинается новая религия с новыми богами.) В свое время, я думаю, наше значение снова возрастет.

Почему художник не вправе прояснить для себя свою роль в обществе, раз он занимается таким неконкретным и необычным делом? Ни к чему тут опасаться субъективизма и каждый раз вмешиваться в этот процесс самопознания.

Г. Плавиус. Много лет назад Брехт говорил о трудностях, которые возникают перед пишущим правду. Сейчас некоторые говорят о трудности писать и повествовать вообще. Они ставят под сомнение саму возможность повествования. Действительность, утверждают они, так сложна и непонятна, что отдельному человеку уже невозможно объять и объяснить ее писательскими средствами. Мне кажется, подобные леворадикальные тенденции заслуживают отпора. Однако задуматься над этим вопросом стоит и по другим причинам. Какие трудности возникают перед пишущим? Можем ли мы требовать от литературы информации, как требовали ее от реалистической литературы в прежние века? В условиях наличия средств массовой коммуникации, их повседневного воздействия, лавины информации и так далее? Ведь все эти факторы и при социализме ставят перед писателем вопросы: что взять из сегодняшней действительности, как взять, с помощью каких специфических средств воплотить?

Э. Штриттматтер. Когда возникает вопрос, можно ли сейчас писать по-старому, я не думаю, что следует говорить о леворадикальных тенденциях. Если сравнить, что заключает в себе больше информации о прошлом — художественная литература или учебники истории, то сравнение будет в пользу литературы. Почему вдруг в наше время художественная литература должна утратить свою познавательную ценность? Когда человек научился пользоваться огнем, для него это значило ничуть не мень-

[1] Имеется в виду вторая часть романа «Чудодей».

ше, чем позднее — овладение атомной энергией. Пока человек не научился применять огонь для своих нужд, он его боялся. Лесные пожары представлялись первобытному человеку чем-то вроде конца света. Нечто схожее происходит сейчас с атомной и с другими видами энергии. Если бы современная литература показала, как варварская политика некоторых капиталистических правительств порождает психозы, неуверенность и страх, это было бы немалым достижением.

Конечно, теперь уже нельзя говорить об атоме как о мельчайшей частице материи. Естественные науки доказали, что он расщепим на еще более мелкие частицы. Достижения науки во многих областях расширяют наши представления и знания о мире, который нас окружает. Но атом и при всем этом продолжает оставаться атомом, древесина состоит из атомов, а дерево, как и прежде, состоит из древесины. Беда, если открытое наукой многообразие собьет нас с толку и не в меру на нас подействует. Года два-три назад у нас бытовали лозунги, призывавшие писателя срочно заняться кибернетикой, иначе он не сможет разобраться в жизни. Но иная старушка не знает, как устроен телевизор, а обращаться с ним все-таки умеет. Я терпеть не могу этих истерик «оглушенных прогрессом». Цельный взгляд на мир ими утерян, и они пытаются заразить своим замешательством других. Говорят о мире здоровом и нездоровом, о том, что мы как раз живем в нездоровом мире. Давайте лучше будем говорить о здоровых и не очень здоровых личностях. Нездоровье начинается с нас самих, как только мы позволяем сбить себя с толку многообразию частностей и вариантов, открытых наукой.

Г. Плавиус. В «Синем соловье» есть место, близкое к этой теме. Там говорится о взаимоотношениях поэзии и науки. Наука расширяет сферу своего влияния, захватывает все новые области, создает новые отрасли, прокладывая себе путь к синтезу. В литературных дискуссиях иногда звучат опасения, что распространение науки, рост специальной литературы и тому подобное — все это может сузить сферу влияния искусства и даже совсем вытеснить его. Опасения такого рода звучали и во время дискуссий, проходивших в Советском Союзе.

Э. Штриттматтер. Ученый осуществляет анализ, художник — синтез. Во всяком случае он должен к этому стремиться, если хочет оправдать свое почетное звание. При этом он будет только благодарен, если наука экспериментально подтвердит его интуитивные предположения. Современники ждут от художника, что он прояснит для них мир в его гармонической целостности. Он должен синтезировать все, что было «разанализировано» в повседневной деятельности в условиях все разрастающейся специализации. Художник, который считает себя обязанным воспевать и описывать хаос или бескрайнюю анархию, сам оказывается в числе запутавшихся, тогда как его долг — вселять в современников уверенность. Мне, например, вообще не мешает то, что ты назвал «лавиной информации». Она не должна лишать меня уверенности и толкать к какому-то новому «изму». Я видел, как эти «измы» приходили и уходили. Но продолжают ли для народа существовать какие-нибудь «измы» двадцатых годов? Они интересны теперь только литературоведам. Конечно, каждый из этих «измов» может принести какие-то новые способы выражения, но во всех них есть для меня что-то сектантское.

Ты говоришь об опасениях, которые звучали в советских дискуссиях: не вытеснит ли наука искусство. Но ни в одной стране я не встречал столько ученых, которые не могут жить без литературы, как в Советском Союзе.

Ученый, который ничего не желает знать, как это ни парадоксально звучит,— неграмотный ученый. Думаешь, Эйнштейн ценил свою теорию относительности выше, чем музыку? Ученому, игнорирующему взаимосвязь между всеми отраслями науки и искусством, то есть узкому специалисту высокого уровня, не способному воспринимать мир как целое, всегда грозит опасность, что результатами его работы злоупотребят варвары.

В одной из своих книжек, о которых сейчас идет речь, я писал: большой ученый и большой художник всегда знали или догадывались, что между ними нет противоположности. Если хочешь, это мое кредо в данном вопросе...

Г. Плавиус. В заключении к «Синему соловью» ты пишешь: «Повествование есть исследование». Фюман свои рассказы тоже называет «исследованиями буржуазного общества». Тут видна тесная связь между искусством и наукой. Там же, в «Синем соловье», ты пишешь, что наша свобода возрастает, если нам удается ускорить свое духовное развитие. Не в этом ли состоит высшая задача литературы, не помогает ли она человеку осознать свободу, достичь свободы, обогатить представление о ней?

Э. Штриттматтер. Говоря коротко, я считаю искусство производительной силой, хоть ее деятельность и не поддается статистическому учету в литрах, сантиметрах, тоннах или в высоте космических рекордов. Науку у нас уже признали производительной силой. В отношении искусства по упомянутой причине на это пока не решились.

В моем новом романе об этом говорится примерно так: существует вещество, которое не разольешь по химическим колбам, не рассмотришь в электронный микроскоп. И все-таки оно существует. Имя ему — поэзия, и сила поэзии проявляется в положительных действиях людей, на которых она повлияла.

Что же касается взаимосвязи между литературой и свободой, то в «Синем со-

ловье» мне хотелось высказать примерно следующее: свобода наша, вероятно, состоит в том, чтобы ускорять свое духовное развитие. Ударение было сделано на слове д у х о в н о е.

Литература помогает осознать свободу? Это еще сказано недостаточно определенно. Надо уточнить, где, когда и кому она в этом помогает. Литература может способствовать и осознанию несвободы. И, как ты сказал, литература должна одновременно быть исследованием. Когда мы беседуем с женой о каком-нибудь новом писателе (он может быть и старым), мы спрашиваем друг друга: «Что он открыл нового?»

Художник, мне кажется, должен постоянно исследовать действительность, чтобы помочь жить себе и людям.

ФРАНЦ ФЮМАН

В ЗАМЫСЛАХ НЕДОСТАТКА НЕТ

Й.-Г. Заутер. Ваша судьба сходна с судьбой многих немцев, которые подались за дудочкой коричневого крысолова, а потом прошли долгий путь познания. Ваши первые стихи появились уже в 1942 году. Как бы вы оценили их сейчас и что побудило вас в тогдашних обстоятельствах искать поэтического самовыражения?

Ф. Фюман. Какого-то особого повода не было, я наивно и не задумываясь продолжал то, чем занимался раньше. Сочинительство с детства было для меня чем-то самим собой разумеющимся. Это была естественная, органическая потребность, я просто иначе не мог; сколько я себя помню, не проходило, пожалуй, и дня, чтобы я не придумал и не записал какой-нибудь истории, стихотворения, сценки или чего-то в этом роде. Так продолжалось и в годы оккупации [1], войны — до самого плена. Ведь и нацизм для меня тоже был чем-то само собой разумеющимся, не было причины выяснять свое отношение к нему. Все было и так ясно: Германия должна воевать, покорить мир и владеть им десять тысяч лет.

Как бы я оценил те творения сейчас? Это были стихи молодого фашиста, который, однако, не отдавая себе в этом отчета, ощущал глубокое беспокойство и страх. Странное дело: бессознательно я заходил гораздо дальше, чем осознанно. Нацистская Германия торжествовала победы, а в моих стихах беспрерывно рушился мир, все горело и обугливалось. Но самое странное было то, что я не чувствовал в этом противоречия.

Й.-Г. Заутер. К концу войны вы попали в плен к русским, и это событие поистине перевернуло вашу жизнь и ваши представления. Вы уже говорили, что там вы научились, как надо жить. Перемена, которая произошла лично с вами, помогла вам критически осмыслить и судьбу своего народа.

Ф. Фюман. Да, верно, мою жизнь это перевернуло. Правда, я бы лучше сказал, что осмысление предшествовало перемене. Если, конечно, под «осмыслением» вы не имеете в виду последующей деятельности, то есть сознательной писательской работы. Это был взаимосвязанный процесс...

Й.-Г. Заутер. Ваши первые литературные опыты, в том числе и послевоенные, относились к области поэзии. Считаете ли вы себя по преимуществу лириком? И кто из поэтов оказал на вас наибольшее влияние, кого вы считаете своим учителем?

Ф. Фюман. Из моих работ после 1945 года лишь стихи стали известны. Но я писал и прозу, ужасную дрянь. Слава богу, теперь все это забыто, никто об этом не знает, и я, конечно, не стану напоминать. Я знаю, меня и до сих пор все считают лириком, хотя я сам уже много лет себя таковым не чувствую. Я давно уже не писал стихов, только переводил их. Проза мне сейчас кажется более подходящим средством для того, что я хочу выразить.

Что же касается учителей и влияний, то это бескрайняя тема. В войну я пережил период чрезвычайного увлечения Рильке, в результате я несколько лет не мог писать ничего, кроме невольных пародий на Рильке, исписал массу бумаги — большая часть этого, к счастью, потерялась. Совсем иным, более значительным и глубоким событием оказался для меня Тракль, с творчеством которого я познакомился уже в последние недели войны,— это было для меня настоящее потрясение, оно многое изменило. Что до стихов, которые вам известны,— думаю, тут на меня оказал влияние Теодор Фонтане...

Й.-Г. Заутер. Видное место в вашем творчестве занимают сказки и сказочные мотивы. С чем это связано? У вас есть какая-то особая склонность к сказкам? Или они произвели на вас глубокое впечатление в детстве?

Ф. Фюман. Да, так оно и было. Я родом из мест, где сказка чувствует себя как дома. Это долина в Исполиновых горах, каждую зиму ее заносило снегом и приходилось разгребать глубокие заносы. Там были скалы и ущелья, гроты и родники, там жил Рюбецаль [2], а гномы, феи и привидения были так же обычны, как де-

[1] Имеется в виду оккупация гитлеровцами Судетской области, где родился Ф. Фюман.
[2] Горный дух, персонаж немецких народных сказок.

ревья и камни. Со мной все время были сказки: братья Гримм, Бехштейн, Андерсен, древнегреческие мифы Шваба. Они были для меня живой реальностью, повседневными буднями. На вилле у одного фабриканта имелось роскошное издание Шекспира, я не мог его прочесть, но был заворожен картинками: там тоже были ведьмы, короли, привидения... Ну и, конечно, Библия с прекрасными цветными иллюстрациями Шнорра фон Каросфельда. Вот духовный мир моего детства, среди этого я рос и, конечно, никогда не смогу этого забыть.

Й.-Г. Заутер. Фашисты извратили немецкие легенды и сказки. Не это ли побудило вас прояснить сказочные мотивы, противопоставить фашистскому толкованию подлинную диалектику сказок?

Ф. Фюман. Не думаю. Видите ли, фашисты извращали все. Таково просто свойство грязных рук, они пачкают все, к чему ни прикоснутся. Раз они прикоснулись к сказкам, они загрязнили и их. Но я думаю, эта грязь не проникла глубоко. Снегурочка как олицетворение нордической души и тому подобные толкования — кого они интересовали? Нет, мной руководило иное: стремление дать сказке новую жизнь как великому средству познания. Вот ты изучил немецкую историю, и для тебя это было откровением — а ведь она стояла у тебя дома в книжном шкафу, надо было только внимательно прочесть сказки, увидеть за ними не фантастику, а реальность. Там ведь уже обо всем написано — например, что войско войску рознь, что солдаты могут бескорыстно защищать пастуха, играющего на дудочке, а могут всей армией бежать с поля боя, забыв про золото, которое сулил им король. Простая сказка — но в ней все недавнее прошлое. Я открывал для себя такие простые, элементарные вещи и уже не мог об этом не писать. Мне хотелось раскрыть глубочайшую мудрость народных сказок.

Й.-Г. Заутер. Вы хотели очистить сказку от волшебного и мифического, чтобы уточнить ее смысл и дать ей рациональное истолкование?

Ф. Фюман. Очистить от волшебного и мифического — конечно нет. Ведь миф тоже повествует о чем-то реальном. Именно подлинная жизнь наполняет простые и вроде бы наивные детские сказки мудростью и содержанием, и я пытаюсь передать то, что открыл в них для себя.

Й.-Г. Заутер. То есть вскрыть в них рациональное зерно?

Ф. Фюман. Мне не очень нравится это слово, хотя по сути вы правы. В общем, это верно. Но яблоко или груша для того, кто их ест,— не только зерна или плоды. Рациональное зерно есть и в самом волшебстве сказки. Это волшебство усиливается, если ты что-то понял, но не перестает быть волшебством.

Й.-Г. Заутер. В сказках нашли выражение мечты народа, его надежды на справедливость, его всегдашнее стремление изменить жизнь к лучшему. Не это ли вы имели в виду, когда писали о «направлении» сказки: «Глубже, в землю, где корни, в самую суть»?

Ф. Фюман. Я хотел сказать именно то, что сказал. В стихотворении шла речь прежде всего о том конкретном факте, что «направление вглубь» — действительно главное в сказке. Стоит потратить любые усилия, чтобы пробиться к этим глубинам... Если хочешь изменить жизнь к лучшему, надо добраться до корней этого лучшего, до сути вещей, держаться подальше от поверхности. Это вовсе не значит, что «в глубине» всегда непременно добро, но там самое существенное. У чего-то, казавшегося на первый взгляд красивым и привлекательным, вдруг обнаружатся ядовитые корни, и станет ясно, что сама красота была ядовитой; а то, что, наоборот, казалось бы вроде невзрачным, приводит к золотоносному слою. Но чтобы понять это, надо сначала добраться до глубины. Думается, в стихотворении я это сказал проще...

Й.-Г. Заутер. А как возникают у вас сюжеты? Действие ваших новелл часто бывает основано на необычайном происшествии. Вы сознательно конструируете такие повороты или это результат внезапной фантазии?

Ф. Фюман. В любом рассказе и в любом стихотворении всегда есть элемент действительности, точнее — пережитого. Вокруг этого реального ядра выстраивается история, как градина кристаллизуется вокруг пылинки. Этим ядром могут оказаться взаимоотношения персонажей, событие, мысль, образ, сказочный элемент, происшествие — что угодно, у меня дома есть список 80, 90, 100 таких исходных точек, вокруг которых может сложиться сюжет... Я всегда исхожу из такого вот реального ядра, а потом пытаюсь строить на этой основе дальнейшее, причем, если хотите, как бы геометрически: довожу определенные взаимоотношения до конца, поворачиваю их таксяк, варьирую, разыгрываю, смотрю, что из этого получается, а получается иной раз что-нибудь такое, что не всегда и используешь в сюжете. Отделаться от этого бывает потом ужасно трудно...

Й.-Г. Заутер. В разговоре с Эккерманом в сентябре 1823 года Гёте сказал: «Действительность должна дарить мотивы, внешнюю основу, ядро, но создать из этого прекрасное живое целое — дело поэта». Отсюда рискованный вопрос: как вы создаете «прекрасное живое целое»? Как вы, собственно, работаете?

Ф. Фюман. Вначале я не думаю о том, чтобы создать, скажем, нечто прекрасное ради самой красоты. Вероятно, то, что получается, даже и не прекрасно. Работая, поневоле превращаешь нужду в добродетель. Пишется мне трудно — трудно не со-

чинять, а формулировать. Я работаю туго, медленно, и если продвигаюсь вперед, то лишь потому, что, как усердный служащий, сажусь за свой стол и прилежно стараюсь осилить какую-то норму. Обычно я принимаюсь за работу, как только встану, и сижу примерно с восьми утра до трех, половины четвертого. Потом делаю перерыв на два с половиной, три часа, иду за овощами или в книжный магазин, а вечером в семь, в полседьмого опять сажусь и до одиннадцати делаю еще немного, главным образом механическую работу — переписываю, например: я все пишу сам. Моя философия состоит в том, что можно и нужно работать каждый день, триста шестьдесят дней в году. Я работаю по возможности планомерно, назначаю себе на определенное время какую-то норму; впрочем, часто ее не выполняю. Но я ставлю себе сроки, даты. Недавно наметил себе свой первый пятилетний план.

Прежде чем я сяду и начну подыскивать слова, я стараюсь по возможности полно обдумать все в голове, чтобы уже иметь представление о работе в целом, об отдельных частях, о развитии действия. Но когда начнешь писать, все очень часто целиком меняется: наткнешься на какую-нибудь мелочь — и она перевернет все вверх дном. Пока я думаю, я брожу по Берлину или езжу на велосипеде. Потом принимаюсь писать, пишу от руки две-три страницы, перепечатываю на машинке, исправляю, шлифую, опять все перепечатываю, исправляю и шлифую — и так снова и снова, по меньшей мере четыре, пять раз, но иногда и восемь, девять, десять, пока не почувствую, что в меру своих возможностей нашел нужную форму. А иногда ничего не выходит, тогда хоть вой от бешенства.

Й.-Г. Заутер. Как вы работаете над образом и как добиваетесь обобщения?

Ф. Фюман. Прежде всего я стремлюсь как можно более четко представить себе своих героев. Кто они по профессии? Откуда? Как выглядят? Правда, сейчас я вспомнил, что внешность обычно не описываю. Но я должен ее знать. Мне надо также представить, как выглядит жилье моего персонажа, как проходит его жизнь, в каких местах, среди какой обстановки. Обстановку надо обязательно показать, пусть это и не пейзаж; в моих новых рассказах это сумрачный коридор и лестничная клетка. Затем для меня всегда важен интеллектуальный облик героя: что он читает? чем интересуется? какое у него образование? какие фильмы любит? и т. п.

Й.-Г. Заутер. А насколько сознательно вы стремитесь к обобщению?

Ф. Фюман. Степень обобщения зависит от характера повествования. В новелле она иная, чем в романе. Я никогда не ставлю перед собой задачи в одной истории дать всеобъемлющую картину общества, я выбираю тот образ, который мне нужен для действия; в разных случаях это бывает по-разному. С одной исторической повестью я потерпел неудачу, потому что задумал ее слишком мелко.

Й.-Г. Заутер. В своих новеллах вы разоблачаете варварство и антигуманность фашизма, его демагогию и безнравственность. Но вы исследуете его и как духовное, моральное преступление. В ваших недавних работах «Творение» и «Царь Эдип» на первый план выдвигается тема духовного оболванивания, которому подверг ваше поколение фашизм. С чем связано это перемещение акцента?

Ф. Фюман. Думается, с необходимостью более углубленно исследовать тему. Ведь фашизм опустошал и разрушал всю душу человека, весь его разум. Я считаю просто необходимым вскрыть все ужасные последствия фашизма, показать, что такое типично фашистский способ мыслить, философствовать, воспринимать искусство, видеть природу, любить и т. д. Во всех этих сферах человеческой жизни фашизм действовал растлевающе и разрушительно, об этом надо писать...

Й.-Г. Заутер. Каждая ваша работа в широком смысле актуальна... Имеете ли вы представление о том, какое воздействие оказывают ваши книги?

Ф. Фюман. Об этом трудно судить, чрезвычайно трудно. Я не знаю, можно ли вообще представить и измерить воздействие литературного произведения. Надеюсь, что мои работы оказывают какое-то воздействие, но какое и насколько сильное — этого я не знаю. Как вообще воздействует литература? Это непростая проблема. Тут легко обмануться. Попробую видоизменить вопрос и отнести его к себе, взглянуть на свою собственную жизнь. Как на меня воздействовала та или иная книга, какую роль в ней сыграла та или иная пьеса? На это крайне трудно ответить. Это очень сложно, и я вообще не очень верю, что существует способ как-то уловить это и измерить. Но надеюсь, что свое скромное воздействие мои книги оказывают.

Й.-Г. Заутер. Это находит выражение в тиражах изданий и переизданий ваших книг.

Ф. Фюман. Они очень разные, и это не критерий. Тут действуют многие факторы...

Й.-Г. Заутер. В вашем творчестве большое место занимают книги для детей и юношества. Что вас особенно привлекает в возможности писать для детей?

Ф. Фюман. Все! Дети — самая благодарная, самая интеллигентная, критичная, понимающая, отзывчивая, компетентная, словом — идеальная публика! Я уже говорил, что пишу трудно и туго, обычно это для меня мучительная работа, но писать для детей — одно удовольствие и радость. Так что тут не последнюю роль играют и эгоистические соображения: с ними я просто отдыхаю, работа для них доставляет мне огромное наслаждение...

Й.-Г. Заутер. Каковы ваши планы на будущее?

Ф. Фюман. Буду, конечно, расширять и углублять те главные темы, о которых мы говорили и от которых мне, видно, уже не уйти. Это ясно уже сейчас. Тут ничего

не поделаешь. У меня много планов, и все они сходятся к одной проблеме: детство в империалистическом обществе, молодой человек и военная машина империализма, механика манипуляций. Эта проблема неисчерпаема, в ней проявляются все новые аспекты, и я буду заниматься ею дальше. Кроме того, я хочу, конечно, по-прежнему писать для детей, продолжать свою работу посредника между великими национальными культурами. И потом, если удастся, хотелось бы опять обратиться к современному материалу. Так что в замыслах недостатка нет.

КРИСТА ВОЛЬФ

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ...

Наблюдение

Потребность писать по-новому возникает, хоть и не сразу, вслед за изменившимся мироощущением. За какой-то промежуток времени, как будто и небольшой, мы начинаем видеть, слышать, обонять, осязать иначе, чем еще недавно. Эта перемена совершается сама собой и касается даже неприкасаемых воспоминаний; мы то и дело видим мир (хотя что такое — мир?) в новом освещении; да и чувства наши кажутся теперь менее устойчивыми, чем прежде: заметней стало беспокойство.

Потребность найти всему этому выражение сильна, в конечном счете сильнее, чем искушение отмахнуться от этого. Тебе кажется, что вдруг потеряло смысл говорить давно известное на испытанный лад? Что добрые старые средства, еще пригодные вчера, сегодня стали непригодными, а результаты, которых они позволяли добиться, в одну ночь потеряли цену? Лишившись точки опоры, можно с величественной миной перетолковать для себя роковую драму; маскируя собственную несостоятельность, можно слезным или артистично-равнодушным голосом констатировать конец целого искусства — искусства прозы.

Можно, наконец, сделав последовательный вывод из собственной несостоятельности, «почетно» замолкнуть, примириться с тем, что тебе отказано в даре речи («отказано» должно звучать как можно более безлично, уточнять — значило бы снова: писать). Подобная позиция, как всякое отсутствие позиции, вряд ли способна убедить и, скорее всего, быстро превращается в позу. Тот, кто начинает отказываться, связывает себя с несправедливостью. Ему надо постоянно искать в окружающем новые оправдания для своего отказа. Прощай, честность.

Остается третье: попытка утвердиться в творчестве. Но кому это дано? И почему?

Случилось так, что беспокойство, которое, сгущаясь, искало выражения, сопровождало меня в местах, которые я не думала и не надеялась увидеть, нельзя желать того, о чем не знаешь. А теперь я бы уже не могла себя без этого представить: город Горький, Волга, гостиница «Россия», комната со светло-зелеными стенами и запыленным письменным столом, два окна, которые, как и балкон, где я стою, выходят на Волгу. Я спрашиваю себя, почему сегодня, на второй день, этот вид не совсем тот же самый, что был вчера, когда я только сюда приехала. Его не опишешь. Но ведь ничего не изменилось: ни погода — по-прежнему залита зноем блестящая под солнцем река и широкая равнина за ней... ни краски. Ни одной новой черточки в картине окрестностей, да и в моем зрении никакой глазной врач не обнаружил бы малейшей перемены.

Может, какой-то мираж встал между мной и рекой? Нет — время, всего лишь время: вечер, ночь и утро. Молодая переводчица, которая, безуспешно воюя с микрофоном, показывала нам из автобуса город, икона в доме Кашириных, перед которой подолгу стояла на коленях бабушка Горького, сундук, с которого Алеша Пешков испуганно наблюдал за ней, влюбленные парочки, плывшие, словно на ленте конвейера, по дорожке парка, близ которой мы сидели под открытым небом, слушая певицу в платье с золотыми блестками, взгляд журналиста, бывшего офицера оккупационных войск в Мекленбурге, когда он произносил имя женщины, которую просил нас разыскать: Берта Копп, женщина, с подоткнутой юбкой и босыми ногами, стиравшая белье у колонки перед своим домом,— ничто не прошло бесследно. Ни церквушка с золотыми луковками, до которой мы так и не добрались в городской сутолоке, ни даже множество серых собак, что лаяли на нас из подворотен и все, казалось, происходили от одной родительской пары. Как будто про них было сказано: «Ничто не должно быть потеряно», все они оставили во мне след (как уместно здесь слово «след»!). И вот я, стоя на том же самом месте, перед тем же самым пейзажем, в и ж у все уже иначе.

Фраза, которую мы часто употребляем, не вникая в ее суть до конца. Чтобы дойти до сути, надо собраться с духом, закрыть глаза, расслабиться. Вот они опять тут, волжские берега, они проплывают мимо медленно и неумолимо, под ногами тихо подрагивает корабельный двигатель, я на пароходе, еще не приехала в незнакомый город, но уже знаю, как все это будет: приезд, вид с гостиничного балкона, влюбленные пары... Знаю, как это останется в прошлом: уеду — и многое забудется, только не

этот миг, когда я, оглядываясь и предчувствуя, заручаюсь своим позднейшим воспоминанием, смиряюсь с тем легким головокружением, которое знакомо многим — невесомость, свободное движение в пространстве и времени,— и, отталкиваясь, погружаюсь в то, что мы, за неимением лучшего слова, называем «прошлым». Так я добираюсь до чего-то знакомого, обнаруживаю схожее в пережитом, возможно, начинаю понимать, откуда это взялось, сравниваю с другими узнанными мгновениями и могу, чего доброго, открыть в себе самой что-то, еще мне самой неведомое.

Вникаю до конца в суть слов.

Бессознательно я употребляю сравнения, связанные с работой ныряльщика, это приводит к проблеме глубины — хотя понятие это настолько пострадало от нечеткости и злоупотреблений, что иные теоретики не только презирают, но просто ненавидят его. В самом деле, «глубина» не есть свойство, присущее вещам. Ощущение глубины связано с человеческим сознанием. Мне вспоминается банка от сгущенного молока, которая приводила меня в замешательство, когда я была маленькой: на этикетке была изображена улыбающаяся медсестра, она протягивала зрителю на ладони такую же банку с этикеткой, на которой опять была изображена та же самая надоедливая медсестра — уже совсем маленькая, а на ее руке — проклятая банка... И так до бесконечности, которую уже было не различить, но где, однако,— и в этом-то состояло коварство внушения — все более крохотная медсестра протягивала потребителю все более крохотную банку со сгущенным молоком. Мне становилось не по себе от этой мысли, ибо, сколько ни напрягай воображения, это ни к чему не вело: воронка, по которой приходилось карабкаться фантазии, вела в пустоту.

Я пишу это в гостинице «Россия»: сознавая н а с т о я щ е е, в котором есть, скажем, эта река внизу и все связанные с ней реальные или воображаемые переживания, пишу о п р о ш е д ш е м, двигаясь вслед за которым я — по цепочке ассоциаций — вспомнила не только о прежних событиях, но и о прежних мыслях и в о с п о м и н а н и я х — и при этом ко всему прочему еще добавилась возможность, что когда-нибудь потом, в б у д у щ е м (которое в данный момент является настоящим) все это каким-то образом приобретет для меня значение. Хотя бы потому, что я об этом пишу.

Тут нет какого-либо чрезвычайного открытия, это несомненное, доступное каждому наблюдение, не такое уж редкое и не такое уж сложное. Это обычное состояние современной души — относительность объективного времени, которое на какой-то срок перестает быть объективным, повседневный опыт, свидетельствующий о том, что мгновение растяжимо до бесконечности, что на разных слоях оно вмещает в себя множество возможностей, в то время как пять минут сами по себе остаются скромными пятью минутами.

Наш мозг достаточно развит для того, чтобы линейной протяженности времени — назовем ее поверхностью — сообщить глубину почти бесконечную с помощью воспоминаний и предвидения. Если общество недостаточно использует эту распространенную способность, мы скучаем. И это может быть не только скучно, но и опасно.

Глубина... Если она не есть свойство материального мира, то, очевидно, это достижение человеческого опыта, способность, которая была приобретена им за долгий срок общественной жизни и не только сохранилась, но и получила развитие, потому что она необходима ему. То есть она присуща нам, субъектам, живущим в объективных обстоятельствах. Она возникает как результат неудовлетворенных потребностей и связанных с этим противоречий, напряженности, стремления человека перерасти самого себя — или, может быть, дорасти до себя. Может, в этом смысл и задача глубины нашего сознания. Тогда мы не вправе поступаться ею ради чего-то поверхностного.

Пять минут прошли. Чтобы описать их в прозе по-настоящему, не хватит времени, оставшегося на путешествие. Можно запечатлеть лишь одно наблюдение, частичный ответ на вопрос, что способно заставить человека заниматься литературным творчеством: должно быть, пишущий надеется, что его руке удастся движение, блистательное, мощное, которое приблизит его к истинной, настоящей жизни больше, чем иной жизненный поворот.

Вот почему даже в самые тяжкие времена люди не перестают писать; а раз так, можно надеяться, что голая, незащищенная жизнь не пропадет бесследно: неописанная, нерассказанная, неистолкованная, неосмысленная.

Медальоны

Нам, видимо, нужна для жизни санкция и поддержка фантазии. Иначе говоря: игра открытыми возможностями. Но одновременно в нас происходит и что-то другое — ежедневно, ежечасно: медленный и вроде бы неизбежный процесс огрубения, окаменения, привыкания. Особенно это сказывается на воспоминаниях.

Каждый носит при себе коллекцию цветных медальонов с надписями, иногда забавных, иногда страшных. При случае их достают и демонстрируют: нам надо время от времени подтверждать успокоительную однозначность своих ощущений, прекрасных и отвратительных, добрых и злых. Такие медальоны являются для воспоминания тем же самым, что обызвествленные каверны для туберкулезных больных или предрассудки для морали: когда-то активные, а теперь изолированные и потому за-

консервированные участки жизни. Когда-то к ним боязно было прикоснуться, можно было обжечь пальцы; теперь они холодны и блестящи, некоторые искусно отшлифованы, некоторые, особенно ценные экземпляры, стоили многолетней работы: ведь столько надо было забыть, столько передумать и переосмыслить, чтобы все осветилось правильным светом; для того они нам и нужны, эти медальоны. Вы поймете, что я имею в виду.

Однако мы привыкли называть «воспоминаниями» эти изящные художественные поделки, выдавая их перед людьми за настоящие, чтобы придать им цену, и чем ближе эта цена к той, которую за них готовы дать, тем больше мы считаем их настоящими.

У меня тоже есть свои медальоны. Один из них, особенно удобный и достоверный, можно, собственно, назвать фрагментом фильма. Сначала камера оказывается в спальне моих родителей, на месте ночного столика. При съемке сэкономили на освещении, раннее зимнее утро, затемнение. Оживленный голос из радиоприемника в соседней комнате называет дату, нам становится ясно: последний год войны. Упакованные чемоданы, мешки, в которые запихиваются постельные принадлежности; оценивающе взвешивается на руке чернобурка, затем запихивается обратно в шкаф — символ, потерявший смысл. Радиоголос из комнаты настойчиво и оскорбленно рекомендует всем штатским лицам покинуть город: враг у ворот. Взрослые возбужденно суетятся. Среди общей неразберихи — неловкая фигура, пораженная, недоверчивая, оцепеневшая; придется называть ее «я». «Меня» совсем затолкали.

Перемена кадра. Вторая сцена. Камера перед лестницей дома, в котором жила «я». Панорама: грузовик на улице — грузят уже упакованные чемоданы и мешки. Те же люди, что и в спальне, толкаются, суетятся, поднимаются — «я» поднимаюсь тоже. Спорящие голоса, вздохи, жалобы. Вопросы, ответы. Слезы, кивки. Машина отъезжает, несколько соседей остаются.

Так заканчивалось детство в те времена — в это поверит каждый, это отполировано до блеска от частых рассказов, в этом есть красивая жалостливость, это занимает прочное место в коробке с медальонами, и надпись гласит: «Конец детства».

Интересно, что это заснято без комментариев, если не считать нескольких подробностей, которые воспоминание невольно также сохранило: удивление, до чего серым был этот город, в котором царила такая пестрая жизнь и мысль, долго не покидавшая меня, делавшая меня одинокой среди одержимых, которые все еще ждали чуда,— ты больше этого никогда не увидишь. Еще не начав, я уже перестала ждать.

Может быть, однажды я захочу узнать, откуда возникла эта нелепая мысль. Вероятно, она уведет меня глубоко назад в детство — в области, которых избегаешь, отделывая медальоны, в края, куда кинокамера, если я не обманываюсь, не может за мной последовать. Язык же, надеюсь, будет со мной всюду, куда бы я ни осмелилась пойти: этой верой живешь.

Вспоминать себя, как и писать,— значит плыть против естественного на первый взгляд потока забвения. Это не так-то просто. Куда тебя занесло? Едва знакомый ландшафт, неопределенные краски, постепенно они проясняются: голубое — таким видит ребенок высокое летнее небо, определяя тем самым на всю жизнь, что значит «голубое». Картофельные кустики слева и справа, нагретый солнцем песок борозды под моей спиной — прекраснейшее, желаннейшее ложе. Почему я здесь лежу? Не знаю. Я не знаю, каким усилием мне удалось преодолеть привычку к послушанию, почему я не ответила на зов из дома. Наконец, тишина. Потом через некоторое время — ящерица на моем животе, она греется на солнце. Я задерживаю дыхание. Сейчас я счастлива, знаю, что не имею на это права и что я запомню это навсегда. Ночью будет воздушная тревога. Я заставляю себя думать о людях, которых убивают в эту минуту. Мне тем более совестно, что я не испытываю никаких угрызений совести и так счастлива: безобидное предвестье смешанных чувств, которые больше, чем что-либо другое, означают, что я становлюсь взрослой.

Неблагодарная сцена, без титров. Это не материал для медальона, здесь нечего делать кинокамере. Любой режиссер, не желающий возиться с внутренним монологом, должен бы от нее отказаться, как и от сцены на балконе над волжским берегом.

А рассказчик? Ведь он сам лежит в картофельной борозде, сжавшись до роста четырнадцатилетней девочки, он видит куст картофеля слева и справа и удивительный кусок неба, он пугается ящерицы и сдерживает дыхание — но одновременно он уже и вырос и смотрит на четырнадцатилетнюю с высоты. Считает, что через двадцать пять лет стоит тратить силы на воспоминания о той, что была тогда счастлива, хоть и не имела на это права. Он старается быть точным в описании и обнаруживает, что двадцать пять лет поработали не только над ним, но и над той давней сценой. Можно бы добавить: он рассказывает не «объективно» — это невозможно. И это не обескураживает его. Он решает рассказывать, то есть правдиво сочинять, основываясь на своем опыте.

Проза должна стремиться к тому, чтобы ее нельзя было экранизировать. Она должна отказаться от опасного соблазна пускать в оборот ремесленные медальоны, строить из готовых деталей. Она должна неподкупно опираться на прежний опыт и, не позволяя себе насильственного вмешательства в опыт других, поощрять этот опыт.

◆

Очерки

ВАСИЛЕ НИКОРОВИЧ

ВОРОТА ВЕЧНОСТИ, ИЛИ ЧУВСТВО СОВЕРШЕНСТВА

Отрывки из книги

И петь тебе дано о реках, вспять потекших,
и о мостах, воздвигнутых на них.
Плиний Младший

Минус бесконечность

Железные ворота — родина Дуная.

Эта спокойная и огромная, точно море, река, названная Истром, а затем Данубием, «носителем туч», и почитаемая как божество, река, в кристально чистых волнах которой отражаются три столицы, река, благодаря которой эпитет «голубой» вошел в плоть песенных напевов, река, что и ныне яростно и неутомимо штурмует твердыню гор, а прорвавшись на равнину, не спеша скользит по ней, точно гладкая, непыльная дорога, чуждая превратностям и грезам, с тем чтобы вскоре самой стать олицетворением этих превратностей, этих грез — в дельте, с ее бесконечными водными и камышовыми пространствами, сонными мглистыми закатами, бесконечными стаями птиц,— эта мутная и голубая, стремительная и тихая, монотонная и напевная река существовала только со времени появления Железных ворот.

Железные ворота — самое значительное ее достижение, подвиг, ознаменовавший ее выход на арену истории Земли. До этого нынешний Дунай был разделен на два самостоятельных бассейна, куда стекались реки окружающих горных массивов. На северо-западе простиралось Панонское море, на востоке — залив Сарматского моря. Между ними огромным водоразделом — стена гор.

Рождению реки предшествовали долгие колебания почвы. Реки постоянно поднимавшегося Трансильванского плоскогорья обретали небывалую мощь. Новой реке, возникшей на западных склонах, пришлось штурмовать горы. Железные ворота — следствие этой упорной схватки, триумфальная арка, под которой торжественно вступает в мир новорожденная река.

Следовательно, учебные пособия, утверждающие, что Дунай берет начало в горах Шварцвальда, явно ошибаются. Его истинной колыбелью — о чем свидетельствует сама история земной коры — являются Железные ворота. Драма рождения могла произойти только здесь, в этом месте, отмеченном печатью изначальных земных разломов. Земля здесь в глубоких первородных рубцах. В грохоте реки, зажатой отвесными скалами, терзаемой порогами, слышится изначальный гром, возвестивший ее появление. Льды, скапливающиеся у горловины в огромные поля, чтобы затем сдвинуться с оглушительным гулом и отправиться вниз по течению, повторяют ежегодно, словно обряд, картину сотворения реки. Порой из страшной горловины вырывается опустошительный вихрь, будто олицетворяющий силы иного — огромного, недоброго мира.

...И все же древний человек чувствовал себя здесь неплохо, хотя и не прекращал связей с давней своей прародиной — Средиземноморьем. Иначе как же объяснить, что Дунайские ворота запечатлены в одном из наиболее известных мифов Средиземноморья — в мифе об аргонавтах. Древний Истр изображен там в виде сказочного спасительного пути для Ясона и его товарищей, похитивших золотое руно. Пройдя через студеную страну гипербореев у Железных ворот, аргонавты проследовали дальше в Иллирию и Сицилию и таким сложным, трудновообра-

зимым путем добрались наконец до родных мест. Итак, пороги древнего Истра были известны морепроходцам юга не только понаслышке...

Последовавшее затем превращение мифической Гипербореи в место, известное своими дорогами, пробитыми в скалах, и каменными сооружениями, ничуть не повредило ее славе — наоборот, положило начало одному из блистательных периодов истории Железных ворот. Это период строителей, стремившихся осуществить здесь обширный план покорения реки. Сперва проложили в скалах дорогу — вдоль всего порожистого участка. Канал, пробитый в створе реки, среди каменистых порогов, открыл путь для кораблей Востока и Мезии. Властителям Рима начала нашей эры Железные ворота представлялись системой водных и прибрежных путей, венцом которой стал в 105 году мост Аполлодора, самый крупный мост европейской античности. Прямое как стрела сооружение римлян покорило бога Данубия именно здесь, у 930-го километра, между Понтом и Дробетой.

Под ударами плавучих льдов мост Аполлодора постепенно разрушался. И поныне видны остатки его каменных опор, подобные башням, сохранившим в веках тайну своего рождения посреди дунайских волн. По реке плывут крепко сбитые венецианские гальоны, быстрые генуэзские караваны, затем все чаще появляются валашские баркасы, тихие молдавские парусники...

С появлением турецких фелюг в Нижнем Дунае здесь утверждаются порядки Леванта: из пестрых и шумных портов турецких провинций отправляются на промысел грабительские отряды конников, пиратские суда — и по всему берегу Дуная от Брэилы до разрушенного Северина поют балладу о похищенной красавице Кире и ее братьях-мстителях. Вход в это царство грабежа и насилия заперт у Железных ворот крепким замком из камня и железа. Это остров Ада-Кале, «остров-твердыня», бастион с толстыми стенами, катакомбами, окованными воротами, пороховыми погребами и пушками,— вечное яблоко раздора между двумя соседними империями: полумесяца и австрийского орла.

...В минувшем веке Железные ворота напоминали огромный, мощнейший механизм, царство пара и металла: устройства по буксировке караванов, различные службы, семафоры и бакены, штат речников, освоивших вождение судов у порогов. Но и этому миру предстояла недолгая жизнь. Людям, наделенным богатым воображением, поэтам Железных ворот, Дунай в этом месте представлялся не скопищем вспененных волн и подводных скал, а огромным куском опрокинутого неба, готового предоставить людям бесконечные молнии энергии и света, Дунаем-громовержцем.

Теперь над рекой снова протянулась прямая линия, связывающая кратчайшим путем две соседние дружеские страны, перед которыми социалистическая революция открыла небывалые созидательные просторы. Эта линия не только олицетворена массивным бетонным сооружением и всеми его силовыми установками, она снова — в какой уж раз! — меняет облик Железных ворот, пейзаж, географическое значение, экономическую роль, человеческие судьбы и т. д. И снова хочется сравнить это грандиозное сооружение не только с мостом Аполлодора, но и с моментом самого возникновения реки, когда сотрясалась земля и вырастали или исчезали горные цепи.

Вначале было Число

Да, вначале было Число. Я имею в виду то число, в котором выражена гармония элементов — вращение звезд или атомных частиц, согласное действие частей механизма, мощь энергии, пришедшей в движение, сила сопротивления конструкций эрозии времени, то заветное число с бесконечным количеством ответвлений, которое приходится отыскивать при каждом случае рождения нового.

Так вот, у строительства Железных ворот тоже имелось свое ч и с л о или ряд чисел, выражавших самую сокровенную его сущность как проявления силы, находящейся в вечном движении, реки, чью мощь можно было выявить, подчинить себе, распределить, преобразовать в соответствии с имеющимися возможностями. Иными словами, главный вопрос ставился так: какова «математическая формула» Дуная у порогов, на всем участке от Молдова-Веке до Турну-Северин? А затем еще точнее, еще ближе к поставленной конкретной задаче — где самое подходящее место для строительства плотины? А может, согласно другой формуле расчета, следовало построить несколько плотин, разделить участок на ряд ступеней?

...На эти и другие драматические вопросы (ибо речь шла не только об огромных финансовых средствах, но и судьбах человеческих) предстояло дать ответ д в у м р а б о ч и м г р у п п а м проектировщиков — Бухарестского и Белградского проектных институтов, образованных при Смешанной румыно-югославской комиссии, которая действовала с 1957 года.

Оперативные штабы находились на Дунае, где-то посередине исследуемого участка: румын — в Оршове, соседей — на противоположном берегу, в Текии.

Можно ли было тогда предполагать, что пройдет всего лишь несколько лет и старая Оршова исчезнет в дунайских волнах? А пока свыше сотни инженеров и разных специалистов устраивается тут во временных кабинетах, проектных конторах, квартирах. Атмосфера боевых буден: короткие выезды «в поле» на машинах или лодках, заседания, исследования, планы; шорох кальки, расчеты и перерасчеты до поздней ночи, а порой и до утра. Поездки в Бухарест, телеграммы, несметное число папирос и чашек кофе, мужчины в дождевиках и кепках, забрызганных грязью, лица, обожженные ветром и солнцем.

И постоянные совместные заседания рабочих групп то в Оршове, то в Текии. Средством общения служит язык д ж е р д а п — своеобразная мешанина из английских, русских и французских слов с естественными вкраплениями реалий родного языка. И главное — несомненный, убедительный язык цифр.

Обсуждается один и тот же вопрос: каково ч и с л о Дуная у порогов? Ответ должен быть ясным и простым... Бесконечные поиски в лабиринте вариантов преследовали, по сути дела, аналитические цели. Настала пора окончательных решений. Все 20, а то и 64 варианта сводятся в конце концов к двум: либо создать гидротехническую систему, первая ступень которой будет расположена около Юць, выше Оршовы, либо расположить плотину прямо посередине порогов, у Железных ворот.

Второй вариант проще, верней, экономичней — и правительства двух братских стран избрали его. Утверждение состоялось в 1960 году. Число Дуная было найдено. Имя ему — Железные ворота.

...Со временем зона поисков еще более сократилась — до 250 метров. Теперь обследовать предстояло к а ж д ы й к в а д р а т н ы й м е т р дна... Ибо передвинуть хотя бы на один метр вниз по течению о с ь плотины — значит получить внушительный прирост энергии. Но это связано и с большим риском — на дне обнаружен тектонический разлом. И все же в ходе долгих прений геологов в Оршове и в Текии постепенно вырисовывается окончательное решение.

...Собранные позднее воедино и переплетенные, проекты, расчеты, схемы составили т о л ь к о у р у м ы н с к о й с т о р о н ы 24 объемистых тома. Столько же томов, разумеется, оказалось и у ю г о с л а в с к о й с т о р о н ы. Целая библиотека, отразившая эту обширную первоначальную операцию, названную мной Э т а п о м Ч и с л а.

30 ноября 1963 года правительства двух социалистических стран — Румынии и Югославии — приняли решение о строительстве гидроэнергетической и навигационной системы Железные ворота.

Под знаком рогатой гадюки

...Что строительство это — предприятие из ряда вон выходящее, люди узнали внезапно. В это время строители ускоренно возводили две опоры канатной дороги: одну — на берегу реки, другую — на острове Колу, посреди Дуная. Это была, разумеется, необычная работа, она потребовала концентрации больших сил, но только после ее завершения, когда глазам людей предстали опоры во всей их громадности, облик стройки обрел тот оттенок величия, значительности, который сразу давал чувствовать вновь прибывшим, что здесь — единственное в своем роде начинание, что оно сродни самой природе.

Строительство двух колоссов, которым предстояло быть опорами одной из крупнейших канатных дорог мира, началось, словно военная операция, с захвата предмостного укрепления на острове Колу. Сравнение отнюдь не утрировано. Пришлось переоборудовать суда для подхода к этому негостеприимному берегу, заросшему дикой, враждебной чащобой. Это были подлинные джунгли, и передвигаться по ним можно было только при помощи топора, остерегаясь змей, ядовитых рогатых гадюк и неядовитых ужей, что появлялись в чаще из-под каждого камня.

Как только была освобождена от леса достаточная площадка на берегу, сюда привезли бульдозеры. Великаны на гусеницах продолжали штурм чащобы. Лес предстояло выкорчевать на всей площади острова, ибо здесь намечалось добывать песок и щебень.

Однако намеченные инженерами участки выемки пришлось перенести восточнее. Неожиданно возникли археологические проблемы. Под покровом дикой растительности остров скрывал остатки древней цивилизации. Здесь была неолитическая стоянка, в VII веке в западной части острова возвышалась византийская крепость, а семь веков спустя там же были возведены румынские укрепления.

Строителям пришлось умерить пыл, вести работу осторожно и бережно, чтобы не повредить остатки древнего жилья человека. Конечно, это в какой-то мере сказывалось на графике работ. Зато некоторые работники строительства превратились в страстных охотников за древностями. «Домашние» музеи стали модным хобби. В кабинете мастера Гыскана можно было увидеть ядра и древнюю

керамику, кривую саблю... В библиотеке инженера Гаврилэ Уркана красовался череп, названный домашними «дедушкой», кремниевая иголка неолитической поры, горлышко амфоры, рыбацкое грузило и разбитое ядро. А рядом — обрывок необыкновенно толстого каната только что построенного фуникулера. Подлинная история этих мест в реликвиях.

Для переброски балласта на другой берег мощные опоры были связаны друг с другом несколькими рядами канатов необыкновенной толщины, которые пришлось тащить с одного берега на другой при помощи речных судов. Под ними была протянута защитная сеть.

Эта чисто техническая операция самым неожиданным образом отразилась на всем облике Железных ворот. Увенчанные огромными металлическими коронами, высокие, мощные опоры, связанные воздушным мостом из канатов и металлических кружев, образовали необычную и грандиозную триумфальную арку.

Это был пролог. Пролог, недвусмысленно предсказывавший очертания будущего гиганта.

Честный ли противник вода?

— Вода — вещество вежливое,— говорит Дан Предою,— потому что структура у нее однородная. Но горе тому, кто пренебрегает ее законами: она мстит за себя беспощадно.

— Вода — сплошное вероломство,— замечает проектировщик Валентин Кленк.

— Ее спокойствие обманчиво,— подтверждает инженер Стелиан Деду, специалист по турбинам.— От нее жди сюрпризов в самую неподходящую минуту.

Народная пословица гласит: «Бойся трех бед — воды, огня и меча».

«От огня спасешься, от воды никогда» — утверждает народная мудрость.

«Сила воды пропорциональна кубу скорости» — гласит закон гидравлики.

Итак, какой же она противник? И как с ней следует вести борьбу? Каким бы ни был ответ, схватки, яростной, лицом к лицу, избежать было невозможно. Ибо для того, чтобы возвести фундамент и уложить бетон в огромное тело плотины, надо было обнажить дно реки, увести в сторону ее воды. И это не в самом удобном месте, а у порогов, где течение особенно стремительно...

Человеку, вынужденному бороться в самых сложных условиях, оставалось лишь избрать средства и наметить стратегию. Но и сама эта стратегия была объективно обусловлена особенностями реки. Штурм можно было начать только в середине Дуная, в с т в о р е, где речной гигант воистину неукротим. Ибо, если начать у берега, вряд ли бы удалось сомкнуть цепь бетонных блоков, образующих дамбу.

Что же касается выбора средств борьбы, то в сущности он был ограничен лишь двумя возможностями: строить мост или использовать специальную плавучую площадку. Без особых колебаний остановились на втором варианте: речь шла о плавучей платформе, которая упирается «ногами» в скалы дна и поднимается над водой, подобно острову. Но главный вопрос при этом оставался нерешенным: как поведет себя платформа в створе такой реки, как Дунай, скорость которого у порогов достигает трех-четырех метров в секунду? Ответить не мог никто, ибо подобной практики еще не было в истории строительства...

Первая платформа прибыла из Галаць к концу сентября. Вид ее произвел подлинную сенсацию. Равная половине футбольного поля, усеянная самыми разнообразными механизмами: электромоторами, компрессорами, подъемными устройствами, рефлекторами, а также рядом контор, складов, мостков и т. д.,—платформа, благодаря огромной подковообразной выемке посередине, напоминала фантастическое сооружение, сошедшее со страниц жюльверновского романа. Через подковообразное отверстие опускались на дно реки секции отводного ограждения: сперва вбивались стальные брусья, образовывавшие огромные «бочки», в которые ссыпали балласт. Напор воды был бессилен перед этими монолитными, одетыми в стальную броню блоками. Операция длилась 18—20 дней, после чего платформу брали на буксир четыре судна и передвигали на новое место.

Первый победоносный штурм Дуная длился до мая 1966 года — у реки был отвоеван отгороженный участок, подлинный плацдарм битвы за покорение Железных ворот. Наиболее ярыми врагами оказались подводные вихри у порогов, небывало суровая зима и, конечно, чувство робости перед слепыми силами стихии, перед неведомым. Робость, которую приходилось преодолевать изо дня в день...

Но будем искренни: легко ли было преодолеть это смутное чувство напряженности и тревоги, когда работать приходилось день и ночь в метель, посреди вспененных потоков, без устали штурмовавших сооружения людей? Когда платформа, повисшая над стремниной, покачивалась и гнулась, а вокруг и под ней в кромешной тьме неистовствовала смолисто-черная пучина. Или когда буксиры, передвигавшие платформу, напрягались до предела, когда их стальные корпуса стонали и скрипели всеми суставами и никто не знал, удастся ли им преодолеть

сопротивление потока. Когда толстые канаты звенели и трещали, готовые разорваться на части, а площадка могла стать каждую минуту игрушкой водоворотов. Когда возводимый блок вот-вот разлетится на части под ударами донных течений, которых нельзя ни предвидеть, ни покорить.

В таких случаях приходится спускать на дно одного из водолазов. И если положение особенно серьезное, прежде всего посылают лучшего из них — Иона Корбовяну. Он, как никто другой, умеет работать на ощупь, вслепую, потому что накопил богатый опыт, участвуя в поднятии затонувших кораблей.

...Случилось однажды, что, не достигнув дна, Корбовяну попал в водоворот. Его неожиданно закружило и с силой ударило о железную стену дамбы. Когда к нему вернулось сознание, он понял, что застрял, словно в капкане, в отверстии металлической стены. Назад не отойти — мешает боковое донное течение. Вперед не пускает металлическая каска.

Он немедленно сообщил наверх о случившемся. «Внимание, пытаемся извлечь тебя». Веревка, на которой он висел, натянулась. Сильнее, еще сильнее. Но напор течения не ослабевает. Водолаз чувствует, что сейчас его разорвет на две части. Он спешно передает: «Отставить!» Сверху сообщают: «Внимание. Посылаем человека на помощь». Это последний разговор, связь тут же выходит из строя.

Ион Корбовяну сохраняет выдержку, он спокойно обдумывает положение. Ощупью обследует ловушку: конечно, латунный воротник мешает ему сдвинуться с места. Пытается согнуть его — тщетно. Дыхание спирает. Надо подождать немного, отдышаться. И тут рядом раздается всплеск: второй водолаз спешит на помощь, отчаянно борется с водоворотом, вот-вот попадет в ловушку сам. Ион Корбовяну знаками приказывает ему отойти. Затем пытается объяснить товарищу, что он придумал. Освободить его могут, только если вытянуть на поверхность стальной брус, в отверстии которого он застрял. Надо только точно определить этот брус, не то — в случае ошибки, вполне возможной в такой темноте,— его перережет, словно гильотиной, пополам.

Однако как только второй водолаз отправился наверх, Корбовяну понял, что единственным, кто бы мог осуществить его план, был он сам, пленник стального блока. Только он, с его опытом, мог бы отважиться на такой риск. Тихо скользя вдоль восьмиметровой стены, он бы прощупал ребро бруса до самого дна... Очевидно, это поняли и его товарищи, там, наверху. Прошло уже несколько минут — они пытаются придумать что-нибудь, но действовать не решаются.

«Что ж,— думает водолаз,— остается надеяться на самого себя. Главное — не раскисать». Вокруг — вода, непроглядная тьма, вихри водоворотов. Но он-то привык к опасностям и одиночеству. Главное — высвободить латунный воротник и при этом не сдавить трубку воздухопровода. Он зажал обеими руками воротник. Напрягся весь. Еще усилие. Не хватает воздуха. Останавливается. Учащенно дышит. И снова сжимает воротник. Кажется, он немножко сдвинулся с места. Еще усилие. Дышать нечем. И вдруг — освобождение. Течение подхватывает его, он свободен, он может двигаться.

Через несколько дней водолаз Корбовяну спустится снова на дно реки и будет опять проверять стену ограждения. Описанный нами случай забыт, как и многие другие — не менее неожиданные и опасные,— здесь это привычные, никого не поражающие будни...

На хозяев платформ надвигался самый лютый враг — морозы и метели. Студеный, обжигающий ветер беспрестанно обдувал речную теснину. Внезапно меняя силу ударов, он бросал на платформы огромные валы. Железная паутина покрывалась ледяным панцирем. Спецовки затвердевали, словно кора деревьев.

Но вот прошли льды, растаяли снега, и люди на платформах, только что освободившиеся от ледяного наваждения, оказались лицом к лицу с новым противником. Им оказалось время. К маю, когда зацветает сирень, перекрытие Дуная должно быть закончено. Дни, потерянные в борьбе со стужей и стихиями, надо было вернуть, обгоняя природу, пробуждавшуюся от зимней спячки. Раскрывались сонные почки, приходили в движение соки, ядреный весенний воздух пьянил — захваченные чередою событий, люди мечтали о больших делах.

В один из этих дней капитан Ион Синка проявил особую отвагу. Неожиданный мороз сковал механизмы спускового устройства — кто знает, сколько дней пришлось бы потерять в ожидании солнечной погоды! Капитан Синка направил свой катер под платформу и держал его там, против ветра и течения, пока люди, привязанные веревками, удаляли наледь и осушали отсыревшие механизмы при помощи сварочных аппаратов.

Этот же накал борьбы и весенних волнений заставил бурильщика Бряжнэ, ввиду необходимости срочного вмешательства, спуститься на дно блока на крюке подъемного крана. Это был дерзкий и крайне опасный шаг; веревка, которой он обвязался, соскользнув вдоль тела, затянулась петлей на шее. Пришлось срочно вытаскивать его на поверхность.

Инженер Дан Предою, полностью захваченный этим долгим сражением с непокорной стихией, внезапно обнаружил, что потерял чувство реального времени.

У него было такое ощущение, словно он безостановочно катится куда-то кувырком, и нет никакой возможности увидеть домашних и хоть краем глаза взглянуть на кадры киножурнала, запечатлевшие его на платформе: вот уже две недели он каждое утро и каждый вечер дает себе слово, что пойдет в кино, и все напрасно...

Эра динамита

И вот настал этап взрывных работ — эра динамита. Важнейшая пора при строительстве любого гидроэнергетического объекта.

Но этап этот остается в тени, удел его — забвение, ибо затраченные усилия не выливаются в ощутимые, видимые формы, в долговременные сооружения, которые через годы и десятилетия будут привлекать к себе взоры людей. В самом деле, что остается после взрывов, поднимающих в воздух огромные массы камня и пыли? Следы работы взрывников исчезают навсегда, как только зальет водой фундамент плотины.

Кто еще вспомнит тогда о людях с суровыми запыленными лицами, обнаживших глубинные пласты земли, которых сегодня уже не видно, о которых никто ничего не знает? Посетители будут любоваться высокими стенами бетонной плотины, машинным залом, командными башнями шлюзов — массивными, прочными сооружениями комплекса. И надо обладать великодушием и добротой этих людей, унаследовавших свои качества от многих поколений горняков, чтобы не испытывать чувства обиды. Есть все же что-то несправедливое в том, что участвуешь в создании шедевра, заранее зная, что останешься неизвестным.

Пройдут годы... И кто будет знать, где ты работал, Александру Илиеску, горняк высокой квалификации, человек, срезавший клыки порогов, буривший скважины для взрывчатки, тщательно отшлифовавший каждый сантиметр скалы, дабы она слилась воедино с бетонной стеной? Ты явился сюда, следуя зову сердца, который посильнее любых соображений удобства, привычек, мелких хозяйственных расчетов. А ведь ты мог спокойно жить недалеко от родительского дома около города Ботошань, отбывая свои восемь часов ежедневно в учреждении, в котором работал. До этого ты предостаточно натрудил руки на строительстве железной дороги Бумбешть — Ливезень, потом на Биказской гидроэлектростанции, где пробивал большие туннели, а затем шесть лет в Лупень, прорубая штреки в известняковых породах. Теперь ты сед, дети уже подросли. Зачем же ты вернулся к этому суровому труду, не сулящему особой известности, славы? Молчишь... Неторопливо, по-шахтерски обдумываешь ответ или тебя не интересует мой вопрос?

— Почему же, интересует. Я отвечу, как ответил и другим. Ведь ты не первый задаешь такие вопросы. В поезде, бывает, зайдет разговор о Биказе или Железных воротах, так кое-кто удивляется, узнав, что там немало и нашего труда. Работа, конечно, невидная, говорю я, да ведь какая важная! Мы строим туннели, очищаем скалы. Работа опасная — допустил промашку, задумался, а людям гибель угрожает. Оттого многие и побаиваются нашей профессии. А зря... Кому-то ведь надо тут работать, верно? Оно, конечно, у других труд как бы на виду, ценится больше, да ведь человеку приходится думать о том, что нужно, без чего не обойдешься. Вот и соглашаешься... Не знаю, понятно ли я говорю.

Понятно, товарищ Илиеску. Ты, конечно, не оратор, зато как действуют твоя убежденность, твои честные глаза... Но я думаю о том, удастся ли тебе убедить тех, кого здесь нет сейчас, кому ты не можешь сам, своими словами объяснить, как мне. Тех, кто населяет всю нашу страну, и тех, кто придет после нас. Как они узнают о месте горняков среди строителей Железных ворот?

— Уж таков он, дорогой товарищ, наш шахтерский труд. Его не видно. И штреки, пробитые под землей, не видны. А вот свет, он виден. Лампочки, горящие в ночи, кто-то зажег. Теперь и дети знают, что свет идет от Железных ворот. А тут немало нашего шахтерского пота. Плотина эта не парит в воздухе, она лежит на скальной подушке. А подушку эту сотворили наши горняцкие руки. И если дети об этом не знают, так им объяснят родители или учителя... А если кое-кто совсем не узнает, невелика беда. Наш брат шахтер все равно доволен: мы делали то, что требовалось делать. Не знаю опять же, ясно ли я выразился...

Ясно. И глаза у тебя ясные. И слова, хотя порой ты запинался и ненадолго замолкал, ясны. Слова эти, которые я в точности воспроизвел здесь, насыщены поэзией. Ты смотрел на меня, чуть склонив голову набок, добрый, недвижный, и я ничего не сказал в ответ. Но долго после этого мысль моя возвращалась к нашему разговору, к твоим словам.

Рыцари без страха и упрека

...Строители гидростанций — я говорю о тех, кто побывал на двух-трех стройках,— люди степенные, у них семьи, дети, жизнь их зиждется целиком на труде. Для таких людей энтузиазм — в лучшем случае мгновенная вспышка, возрастной

порыв, романтизм — выражение, которое они по скромности отвергают. И «рыцари чистой души» — тоже слишком смелое определение, и потому я без их ведома помещаю его в самом сокровенном уголке их сердца. Заговори об этом, и они стыдливо отвернутся. Строители Ворот считают себя реалистами, людьми трезвого, практического ума, прочно стоящими ногами на земле. Но где-то в глубине сердца они остаются неизлечимыми рыцарями без страха и упрека. Возможно, им об этом известно, именно поэтому они делают вид, будто ничего не знают.

Невинное притворство, и я прекрасно понимаю его причины. Имея дело с прочными, на века предназначенными материалами, они полагают, что всякие душевные порывы тут не совсем уместны. В конечном итоге в строительстве решающее слово остается за расчетами, реалистическими оценками, организацией, трезвым анализом. С этой точки зрения они пытаются объяснить и собственную судьбу, причины, заставившие их приехать сюда и жить здесь долгие годы. А ведь было нелегко: изнурительный труд, холода, напряжение, нервы. Строителей не обманешь красивыми словами, обещаниями, они требуют реальных дел и потому прежде всего интересуются, будут ли им обеспечены добротное жилье, столовые, школы для детей, работа для жен, получат ли они газовую плиту и т. д. Они люди серьезные, надежные, не летуны.

Конечно, у Железных ворот побывало немало случайного люда. Одни приехали ради славы, другие — в поисках приключений, третьи — чтобы сколотить кругленькую сумму. Но все они — не истинные строители. Ибо те, какими бы реалистами ни считали себя, думают и поступают иначе. Что бы ни случилось, они остаются до завершения строительства. Затем переходят на новый объект, возводимый на другой реке. И начинают все снова. Пока не закончится и это строительство. Всю жизнь собирают арматуру и льют бетон. Есть что-то превыше холода, славы, опасностей, заработка, газовой плиты или автомобиля «дачия-1100» и прочих житейских удобств. Что же именно? Это та, глубоко скрытая в тайниках души частица редчайшего благородства, которая легко опрокидывает самые убедительные аргументы. Все они — истинные рыцари без страха и упрека, хоть того и не ведают. Одним словом, романтики. В этом вся истина.

Эта простая, человеческая истина находит подтверждение каждодневно, в самых обыденных встречах и беседах. Прослужив положенный срок во флоте, Василе Филип решил было осуществить, наконец, многолетнюю мечту: устроиться механиком на заводе, где полегче, и закончить вечерний лицей. Хватит, набегался вдосталь на Биказской гидростанции, обеспечивая механизмами строительство насыпи. Целыми сутками на ногах, пищу глотаешь на бегу. Нет, поживем-ка и человеческой жизнью! Так он и сделал: нашел спокойное, идеальное место на какой-то фабрике, но удержался там недолго. Не хватало воздуха, простора, было тесно. Вот он и вернулся к прежнему, «постылому» труду, прошел весь Бистрицкий каскад и одним из первых очутился у Железных ворот. В минуту досады вспоминает с сожалением о своих намерениях, задумывает новый «побег», будущее рисуется ему в радужных красках. Иногда вздыхает с грустью: «А ведь и я мог бы окончить лицей...» Но никуда со строительства не уезжает. Здесь просторно, дышится легко.

Мне могут сказать, что эта дилемма молодого мастера, его колебания между простором и душным фабричным зданием надуманны. Но так оно и есть: как и любой строитель, Василе Филип постоянно борется с искушением завернуть в спокойную гавань, свободную от забот, она, точно мираж, настойчиво влечет его. Остаться на строительстве означает избрать суровую и нелегкую долю. Строитель подобен аргонавту, который добровольно отказывается слушать пение завораживающих сирен. Он покидает стройку, как только она успешно завершена, как только в диком, бесплодном уголке возведен цивилизованный очаг с асфальтированными дорогами, высокими зданиями, современными установками — весь этот завершенный, спокойный мир, который взывает к его сердцу: «Оставайся тут при этих автоматизированных устройствах, у этого озера, у этой горы, наслаждайся покоем и чистым воздухом, напоенным еловым духом, занимайся охотой, лови рыбу удочкой...» А он все же выбирает шумную, захватывающую кутерьму новой строительной площадки.

Для мастера Василе Блэнару, начальника парка тяжелых машин строительства, нет больше удовольствия, чем посетить в дни отпуска бывшего товарища по работе, осевшего теперь в тихом доме на берегу водохранилища или в лесу недалеко от Биказской или Арджешской гидростанции. Приедет на час, на день, а потом без зависти и сожаленья возвращается к своим десяти тысячам лошадиных сил, приводящим в движение бульдозеры и компрессоры, экскаваторы и скреперы, расположенные вдоль берега Дуная от Молдова-Веке до Турну-Северин. Пожимая руку бывшему однокашнику, он говорит: «Хорошо тут у тебя, ничего не скажешь, но все равно не поменялся бы с тобой...» У мастера Блэнару хорошая закалка против подобных искушений...

У бригадира Михая Силава, крупного специалиста-монтажника, участвующего в четвертой стройке после Биказа, Фиризы и Телюка, эта страсть, этот беспо

койный поиск приобрели новую, более высокую форму, приближаясь к эстетическому акту или к лабораторному научному открытию. Мучительные вопросы не гнетут его, закоренелого строптивца, а наоборот, вызывают в душе скрытую, упрямую радость. Неподатливая техническая загадка — для него красивая работа. Ведь только она и достойна интереса, полагает он. А когда формула, технический метод выявлены и начинается фаза реализации обычными, общепринятыми средствами, Михаю Силаву предлагают другую «красивую» работу, новую загадку. Так он любил всегда: быстро окончить начатое, чтобы поскорее взяться за новое, хотя это новое еще сложнее предыдущего — легких заданий ему не предлагают. Какое-то постоянное беспокойство движет им, внутренний зов, прозвучавший еще в пору строительства Биказской гидростанции. А может, это случилось раньше, в то время, когда он еще работал в ремонтной мастерской МТС около Васлуй и увидел фильм о перекрытии Бистрицы в Биказе? А может, еще раньше?

Первой «красивой» работой у Железных ворот было строительство опытного блока перед штурмом Дуная... «Красиво» работали и на строительстве последнего блока, когда Силав, Блэнару и другие ребята решили превзойти мировой рекорд. В конечном итоге и тут все решал ум. «Красивой» была работа и в самые трудные периоды, когда шла выемка грунта и возводилась бетонная стена. Или когда строили мост через Дунай. Как увеличить мощность насосов? Как прикрепить балки? Работа была «красивой», потому что ее завершали досрочно. Уж так он привык: закончить досрочно, чтобы поскорей перейти на новый участок, зная заранее, что легче не будет. Ничего не поделаешь. Страстный поиск стал его второй природой.

Таким людям доступно о щ у щ е н и е с о в е р ш е н с т в а. Чувство это противоположно философии посредственности, за которой, как правило, скрываются мелкие, корыстные расчеты. Для строителей характерно состояние беспокойства. Ибо «наше беспокойство обеспечивает спокойную жизнь тем, кто придет сюда позднее». Или: «Ты должен быть беспокойным во имя собственного спокойствия». Это размышления молодого инженера, свидетельствующие о глубоком стремлении к внутреннему равновесию. Беспокойство — всего лишь средство, а не конечная цель. Где же истина? Какова истинная сущность строителей?

Как бы это ни выглядело парадоксально, ответ один: у с т о й ч и в о с т ь. Волнения, одуряющий ритм, беспокойство — внешняя оболочка. Великим стройкам, подобным Железным воротам, необходима прочность — и не только в геологических пластах, в материалах, расчетах, но и в людях. Спаянность людей во времени, на протяжении десятилетий, но и спаянность одновременная десятков тысяч строителей, чьи сердца стучат в унисон. И это созвучие тысяч и тысяч взволнованных, беспокойных сердец называется у с т о й ч и в о с т ь ю. Полет птиц, биение волн, бег ветра и облаков лишь подтверждают великую силу притяжения. Железные ворота тоже представляют такой центр человеческого притяжения. И силу его следует искать в сердцах строителей.

Эта сила, в конечном итоге, воплощается в словах, которые можно услышать от любого строителя: «Радостно видеть, что после тебя что-то остается». В них — выражение самого высокого благородства, высший смысл этих каждодневных волнений. Ну, конечно, строители — неисправимые рыцари без страха и упрека. Они вкладывают сердце, душу, свое старание. И достойной наградой может быть только духовная ценность. Кто осмелится поставить знак равенства между бессонной ночью и телевизором? Между напряженным дежурством на Дунае и спальным гарнитуром, самоотверженной схваткой с речной волной и автомобилем «дачия-1100»? То н е ч т о, что остается после тебя,— вот равноценный эквивалент этих благородных усилий, воплощенных в бетон и возвращенных людям. Людям сегодняшнего и завтрашнего дня. Вот оно — послание в бесконечность...

Идеи и поколения

Все готово для перекрытия реки. Последние приготовления. Но как ни странно, некоторые — и среди них прежде всего жители села Гура-Вэий, расположенного рядом с Воротами,— никак не могут поверить, что такое чудо возможно: чтобы при помощи грузовиков, камней, щебня можно было бы перегородить реку, остановить и повернуть такую огромную речную стихию, как Дунай.

— Может быть, сейчас самое время, уважаемый профессор Дорин Павел, подумать, если вы не возражаете, до чего сложен процесс материализации идей, их утверждения в сознании людей. Хочу с вашей помощью вернуться к умонастроениям, господствовавшим в нашей стране полвека назад, когда, будучи еще молодым студентом, вы начертили на бумаге первый проект гидростанции у Железных ворот. Мир жил тогда совсем иными масштабами. Только что закончилась первая мировая война, всюду танцевали чарльстон, еще ни один самолет не пересек Атлантику, а по Бухаресту мчалось куда больше извозчиков, чем автомобилей. В таких условиях перекрытие Дуная казалось, наверное...

— ...Поистине фантастической идеей, красивой, но утопической выдумкой восторженного юноши, в стиле Жюля Верна... С тех пор прошло пять десятиле-

тий. Сколько раз за это время я дополнял, пересматривал проект, разрабатывая бесчисленные варианты. Вот книга 1925 года — первое опубликованное исследование на эту тему. В работах 1929 и 1933 годов строительство у Железных ворот рассматривается в более широком контексте исследования, названного мною «Общим планом использования гидравлических сил Румынии»...

Профессор берет с полки объемистый том в твердом переплете, показывает мне заглавие, затем лихорадочно перелистывает книгу и достает сложенную карту страны: синие реки исчерчены десятками, сотнями красных кружочков, слитых местами в большие гроздья.

— Здесь схематически отмечены,— поясняет ученый,— 570 гидросооружений. Электростанции, только электростанции. С указанием мощностей, отдачи, производительности... Вот эти три кружочка — комплекс у Железных ворот. Я предусматривал не одну, а три плотины, чтобы не отпугивать гигантскими размерами. Но многим все равно затея казалась неосуществимой. Пустая, мол, мечта.

— Мечта? Уважаемый профессор, я бы это скорее назвал поэмой.

— Изволите шутить...

— Нисколько. Ваш проект — синтетическая картина, метафора, в ней запечатлена ваша лирическая реакция. Как и у древнего Эмпедокла, вода здесь выступает первоосновой мироздания.

— Я человек, мыслящий трезво, стихов не читаю.

— Это еще ни о чем не говорит. Вы лирик, выражающий себя при помощи цифр. Этот проект — поэтическое произведение.

— Нет. Мне думается, тут другое: давнее-предавнее призвание. Родился я в Себеше, в доме на берегу реки. Мне было пять лет, когда в городе заработала первая электростанция. Поворот выключателя — и в комнате вспыхнул свет. Пережитое тогда волнение навсегда запечатлелось в моей памяти...

— Ну, все же испытываете ли вы какое-нибудь сожаление?

— Разве только то, что строительство не началось раньше. Но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что до августа 1944 года это было невозможно. Наша страна не располагала крупными промышленными предприятиями... Когда в 1929—1930 годах я приступил к осуществлению проекта строительства Добрештской электростанции, предусматривающего возведение двух плотин, мне пришлось сколотить нечто вроде собственного предприятия: проектировщиками выступали мои студенты старших курсов, которых я обучал на месте, рабочих собирали где попало, и рассчитываться с ними приходилось опять же мне.

— И все же вам удалось совместить самые разнообразные виды деятельности. Вы были преподавателем, инженером-строителем, автором книг, изыскателем. Ведь вот, например, для составления этой карты с указаниями всех возможных гидросооружений вам пришлось проделать долгие путешествия. Как же вы сумели все это осилить?

— Карту я разрабатывал в перерывах между курсами, особенно летом. Сядешь в поезд, потом едешь верхом, один, по горным тропам. Все оборудование — вертушка для измерения скорости течения. Позднее я приобрел топометр. Иногда летом со мной ездили студенты. Так я обследовал течение всех рек. Конечно, было не легко.

— Эти сложности — неотъемлемая часть судьбы первопроходца.

— Опять это слово. Его уже не раз произносили, говоря о моей работе. С сегодняшних высот оно виднее. Но я тогда ничуть не считал себя первопроходцем, зачинателем. Я просто выполнял свой долг. Выполнял честно, ибо всегда полагал — и учил этому своих питомцев,— что мало выработать новую концепцию, надо упорно добиваться ее осуществления... По этой же причине я не ограничивался простой передачей знаний, а всегда стремился зажечь слушателей своим энтузиазмом... Помню, как сегодня, начало моей первой лекции. В зале ни души. Никто не знал, что такое гидротехника. Это был провал, но я не из тех, кто легко сдается. Я немедленно отправился в соседнюю аудиторию, где сидело несколько сот студентов. Поднявшись на кафедру, я сказал им: «Я такой-то и такой-то. Сегодня начинаю читать курс гидротехники. Это новая дисциплина. У нее великое будущее. Кто желает, пусть приходит в соседний зал. Предлагаю вам послушать мою лекцию в течение часа, а там решите...» Человек сорок последовало за мной... Эти сорок, а затем и другие, все в большем числе, стали строителями всех наших гидростанций, от Биказа до Железных ворот.

— Вы снова вернулись к Железным воротам, уважаемый профессор. Поговорим об этом дазнем и постоянном вашем увлечении. Итак, середина шестидесятых годов...

— К тому времени строительство гидроцентрали на Дунае было не только осуществимо, но просто неизбежно. Страна, преобразованная в результате революции, располагала не только ясной волей, энтузиазмом, но и нужным потенциалом. То же самое можно сказать и о Югославии — нашем партнере на той стороне реки. Вам, конечно, известно, что в 1956 году была образована Смешанная комиссия, в которой состоял и я. В 1957 году на Всемирной конференции по

энергетике в Белграде я представил в соавторстве с В. Хорбуниевым работу, рассматривавшую 20 вариантов строительства у Железных ворот. В основе нынешнего, реализованного решения лежат исследования поколения, последовавшего за нами, первопроходцами, как вам угодно именовать нас.

— И вот мы наконец в 1972 году. Идея гидростанции у Железных ворот, казавшаяся столь фантастической, обрела живую плоть. Размеры сооружения превосходят самые смелые мечты. Ворота стали явью. Что вы испытываете, уважаемый профессор? Волнение? Радость? Чувство полноты счастья? Удовлетворение в связи с тем, что сбылась наконец ваша удивительная мечта?

— Ну, конечно, радость. Но не надо абсолютизировать ее. Ворота, как все, что создается руками людей, представляют всего лишь ступень. А впереди еще столько предстоит сделать. Уже появились сообщения о начале работ на реке Себеш. Это другой мой проект, который я вынашиваю с 1927 года. Я думаю, вы поймете меня... Себеш — река моего детства. В проекте Железных ворот — частица ясного ума. Себеш — мое сердце...

Перекрытие реки — ни с чем не сравнимое зрелище

— Настает час «икс», час последнего штурма. Трудная предстоит операция: напор воды у порогов достигает небывалой силы. Ярость водопада растет по мере того, как к середине реки приближается перемычка, возводимая югославами...

В воду летят последние каменные глыбы. С югославской стороны перемычка достигла проектируемой длины. Остальные 46 метров до моста, перекинутого с румынского берега, должны быть возведены нашими строителями. Они немедленно, оперативно приступают к работе, продолжая штурм...

Но самая трудная часть битвы, решающий ее этап начинается на мосту. Под этим мостом, длиною в 102 метра, течет теперь в с я р е к а, зажатая в страшной теснине. Именно здесь предстоит остановить бег ее волн, повернуть ее вспять, к боковым каналам. Люди все это хорошо знают. Знают, что в узкой теснине скорость воды возросла до пяти с лишним метров в секунду. И что по мере сужения русла скорость эта будет непрестанно увеличиваться. По расчетам проектировщиков, она должна была приблизиться в самый напряженный момент к скорости американской реки Колорадо во время строительства гидростанции в Мак-Нэри. При этом не исключалась возможность — а практика подтвердила ее,— что этот мировой рекорд будет здесь превышен. По ударной мощи течения Железные ворота заняли первое место в мире...

Битва не ослабевает ни на минуту. В 17 часов 36 минут завершено строительство перемычки, в 17 часов 36 минут начинается последний штурм — перекрытие Дуная... На этой фазе обуздание Дуная принимает по сути дела форму напряженной, острой схватки — в считанные часы, на ограниченном пространстве — между рекой и исполинскими «татрами» и «белазами», за рулем которых сидят неотлучно, и день и ночь, усталые, потные люди с пятнами масла на лице. Теперь шоферы становятся строителями, а строители — зрителями; в этой шутке инженера Станку, начальника автопарка строительства,— большая доля правды...

Стихия, укрощаемая хорошо рассчитанными ударами, напрягает все силы, наносит ответные удары. Потоки сливаются в единый водопад, он уносит с собой все, что попадается на пути. Самые крупные глыбы камня не в силах совладать с ним. Но вот один бетонный блок, попав прямо в цель, застывает на месте. Другой, очутившись рядом, тоже остается лежать недвижно. Эти удары попали «не в бровь, а в глаз». Люди, столпившиеся на берегах, издают радостные крики. Но до победы еще далеко. Стена, казавшаяся несокрушимой, вдруг рушится. Образуются бреши, через них низвергаются каскады двухметровой вышины, кипение волн достигает страшной силы. Кажется, это мрачный зверь, вынырнувший из речных глубин, он наносит яростные удары, грозя уничтожить всю перемычку. Они сошлись лицом к лицу: человек против реки, река против человека. Удар, второй, третий — все в самую точку. Снова радостные возгласы. Русло сужается, река вспухает. Водопад достигает головокружительной высоты. Покорили когда-нибудь эта стихия?

...Люди охвачены горячкой боя, их неудержимо тянет к самому эпицентру событий. Тем более, что теперь каждому ясна логика схватки человека со стихией. Успехи и неудачи, предусмотренные и непредусмотренные эпизоды все больше и больше захватывают их.

...Они не сразу уловили внезапно наступившую т и ш и н у. В ушах, в груди, во всем теле еще стоял сплошной гул. Догадались они только после того, как люди, делавшие им нетерпеливые знаки, дали понять, что все кончено, что можно успокоиться и повернуть обратно машины. Кончено! Кончено! Потом, испытывая все то же недоверчивое удивление, они смотрели, как на мост врывается толпа зрителей, как она шумит и торжествует, постепенно освобождаясь от напряжения долгих часов ожидания и труда. Наконец, блицы фотографов угомонились, собравшиеся вместе корреспонденты тщательно подсчитали общими усилиями, что вся операция перекрытия продолжалась 85 часов и 42 минуты.

Потом журналисты удалились, не спеша потянулись с моста последние группы очевидцев, все затихло под темным куполом неба, и стала слышна новая тишина, потрясающая, невероятная тишина.

А на этой стороне перемычки из скальных глыб, камней, бетонных блоков недвижно простиралась, теряясь во мраке, зеркальная гладь воды. Бурные потоки у порогов, теперь неслышные, невидимые глазу, пробирались через глубокодонные отверстия под новыми бетонными стенами Железных ворот. Река была остановлена и повернута вспять!

Это произошло 12 августа 1969 года в 22 часа во вторник. Шестой день в Бухаресте заседал X съезд Румынской коммунистической партии.

Победа строителей Ворот, одержанная 1864 года спустя после открытия каменного моста Аполлодора, была посвящена этому знаменательному, историческому событию.

Гиганты в пути

На дорогах между тем появляются гиганты. Из Галаць к Железным воротам отправляются по Дунаю металлические плиты для огромных шлюзовых ворот. Из Ленинграда к Железным воротам, а позднее из Бухареста в Решицу и оттуда тоже к месту строительства на Дунае путешествуют колоссальные детали будущих турбин, занимающих по своим размерам и мощности одно из первых мест в мире. Не только на монтажных площадках, но и на румынских металлургических предприятиях постепенно укореняется, становясь со временем привычным, понятие «колоссальный».

Речь идет об освоении нового технического и — что особенно важно — человеческого опыта. У человека возникает новое отношение к огромному металлическому сооружению, особое психическое восприятие. Это подлинная переоценка объемов, сложнейший процесс, при помощи которого колоссальные габариты машины или детали осваиваются человеком, приближаются к его масштабам. Не путем их сокращения, а в результате внутренней перестройки человека, настолько выросшего за это десятилетие, которое смело можно назвать «десятилетием Железных ворот», что он оказался готовым к тому, чтобы освоить новые объемы, привыкнуть к ним.

Как известно, первые три турбины мы получили из Советского Союза, страны, где уже много лет ведется строительство крупнейших гидроэнергетических узлов на Волге и великих сибирских реках. Колыбелью гигантов был Ленинград с его заводами «Ленинградский металлический» (ЛМЗ), «Электросила», «Электропульт».

Благодаря этому значительному вкладу совместное румыно-югославское строительство гидроцентрали у Железных ворот превратилось — и это было отмечено в мае 1972 года, в час подведения итогов — в самый крупный очаг многостороннего сотрудничества социалистических стран, в образец международного взаимодействия, помогающего расцвету творческой инициативы, прогрессу каждой страны.

Истина эта подтверждена конкретными фактами: переняв опыт, накопленный советскими турбостроителями, Румыния смогла приступить к изготовлению четвертой и последующих турбин собственными силами.

Геометрическая гора

Бетонная плотина — другой важнейший участок созидательной работы строителей. Это каждодневное, ежеминутное торжество твердой, плотной материи, высшее воплощение усилий человека, конечное назначение которых — возведение в пространстве огромных сооружений, творчество, созидание...

Плотина — это мгновение, превращенное в плотную материю, обретшую навеки зримую форму. Вечно существующее мгновение, не нуждающееся в посредниках для того, чтобы предстать во всей своей конкретности. Мгновение, застывшее каменным памятником для того, чтобы состязаться с бесконечностью.

Ее материальное воплощение — монолитное бетонное тело, переброшенное поперек Дуная и сдерживающее напор течения и водных масс хранилища. Колоссальный, мощный цилиндр высотой в 60 метров, приросший к незыблемому, глубоко сидящему в камне постаменту. На верхней части цилиндра расположены 14 отверстий-амбразур, прикрытых творилами, через которые выпускают излишки воды и льдины.

Недалеко от этих отверстий, у берегов реки, можно увидеть две пары гигантских ворот, которые плавно и бесшумно открываются, пропуская речные суда. Это ворота, ряд исполинских ворот, запершх железные пороги Дуная, ворота в длинной, мощной стене, перегородившей Дунай. А вся эта стена — настоящая гора, возведенная разумом и руками человека. Геометрическая гора — на вечные времена. И ворота — навеки.

Но странная вещь — у них нет своей истории, ибо нет четкого чередования драматических, чисто неожиданных событий, отметивших их рождение... Горы песка, горы щебня, бесконечный поток бетона. И слово «надо» и еще «скорее»... Вот что запомнилось тем, кто участвовал в битве за быстрейшее окончание строительства плотины в период между декабрем 1969 и февралем 1971 года.

Они говорят: «За год с лишним мы уложили 360 000 кубометров бетона. Каждые две-три минуты — грузовик». Значит, количество и ритм.

Они еще говорят: «Год, предоставленный нам, был необычным, его надо считать за два: в нем было две зимы...» Итак, ритм и его противоположность — антиритм.

Те же строители продолжают: «Мы трудились день и ночь, без перерывов: по воскресным дням и в праздники, как доменщики Хунедоары или нефтяники промыслов».

И, наконец, среди памятных случаев называют такие ключевые моменты: «Срывались сроки, и, чтобы справиться, мы решили передвинуть две подъемные башни целиком, не демонтируя их». Итак, опять ритм и снова ритм. Все время надо и быстрей. Ритм и воля. Ритм, просто ритм...

Ритм-такт, ритм-наваждение, обусловленный не графиками и планами, начертанными на бумаге, а грозным, неизбежным давлением самой реки. Если к точно рассчитанному сроку — февралю 71 года — плотина не будет закончена, на бетонные незаконченные стены, на строительные леса ринутся воды Дуная. Отверстия, ведущие к турбинам, еще закрыты, и у реки не будет иного пути, как через верх плотины. Итак, кто кого. Борьба была острой, беспощадной. А условия ее диктовались противником, рекой.

Следовательно, ритм был не простым состязанием со временем, а средством обуздания стихии. Значит, снова ритм. Ритм-оружие, ритм-борьба. От него зависело, кто достигнет первым спасительной черты. Люди или волны. Вот почему люди так старались добиться опережения. Опережения, несмотря на жестокие графики, исключавшие возможность опережения. Вот еще аспект действительности, который приходилось взрывать изнутри: невозможное. Все силы на опережение! С первой же минуты декады, с первого утра квартала. Опережение — золото бетонщиков, их твердая валюта, при помощи которой можно будет покрыть нехватку, вызванную неожиданным налетом студеных ветров, сковывающих морозов... Всякое может случиться в таком сложном деле, как перенесение целого острова из одного места в другое.

Ибо в конечном счете строительство плотины означает перенесение острова Колу через Дунай и размещение его поперек течения. От острова до плотины на протяжении четырех-пяти километров тянется непрерывная цепь механизмов и конвейеров — в сущности, это один огромный конвейер, который ни на мгновенье не должен остановиться. Любая задержка, особенно в главных его узлах, может привести к опаснейшим последствиям, к остановке всей цепи. Специальные бригады механиков дежурят круглосуточно, они готовы вмешаться при первом сигнале тревоги. В бурю, метель, в полнейшем мраке они спешат по сети фуникулера высоко над Дунаем поднять свалившуюся вагонетку, освободить застрявший канат. Задержка невозможна! На бетонном заводе это требование еще более сурово, здесь готовую продукцию не сохранишь на складах. Замрет завод — застывают на месте самосвалы, подъемные краны, бригады бетонщиков, а уложенный бетон между тем продолжает затвердевать, и процесс этот ничем не остановишь, не растянешь. Тревога! Световая тревога! Звуковая тревога! Электрики должны в считанные минуты обнаружить среди тысяч нитей проводки место замыкания. Десятиминутная остановка — это ЧП, о котором долгие месяцы поминают в отчетах. Те же жесткие порядки и на автотранспорте. Вышедший из строя самосвал немедленно заменяют другим — из резерва. Если же все резервы исчерпаны — особенно зимой, когда машины, нужные повсюду, не выдерживают напряжения,— самосвалы снимают с любых других участков. Приоритет всегда за бетоном. Великая карусель, движущаяся от острова до плотины, не должна останавливаться ни на мгновенье...

И все же этот двузимний 1970—1971 год, год строительства плотины, был отмечен двумя неожиданными, чрезвычайными происшествиями. Они затронули все строительство у Железных ворот, но прежде всего коснулись основного объекта, а следовательно, бетонщиков.

Первое было связано с катастрофическим майским наводнением 1970 года. Правда, прямой угрозы строительству плотины при этом не возникло. Вместе со всей страной строители несли в душе тяжесть трагических испытаний тех дней. К этому надо прибавить особое напряжение, вызванное соседством с Дунаем, уровень которого угрожающе поднимался. Но ритм работы бетонщиков был нарушен не потоками, а перебоями в снабжении цементом. Основной поставщик, Меджидийский завод, был вынужден выделить значительные массы цемента для восстановления пострадавших сел и городов. Таков был косвенный удар потопа.

Накопленные запасы времени быстро растаяли. Строительство отставало от графика — надо было срочно искать выход из положения. Помогла нам щедрая

рука друзей с противоположного берега — югославских строителей, предложивших несколько вагонов цемента. И снова лихорадочная работа, наперегонки с хронометром, и высший пик напряжения — в августе. Никто не подозревал, что можно работать с такой отдачей сил, в таком невероятном темпе. 21 августа был поставлен абсолютный рекорд строительства — 3252 кубометра бетона за день. Цифра огромная. Когда этот эпитет произносят сами строители, люди, привыкшие к необычным масштабам Железных ворот, не любящие превосходных степеней, это значит, что речь действительно идет о редком достижении.

С отставанием было покончено. Более того, строителям удалось опять опередить график. Но ненадолго. В конце ноября, на последнем этапе сражения с Дунаем, река преподнесла новый сюрприз, поставив под сомнение намеченный срок завершения плотины. 21 ноября в субботу вечером вода пробила брешь между двумя металлическими блоками дамбы и залила строительную площадку. Техническая авария — так назвали происшествие специалисты.

...Хмурое небо. Сумерки. Со стороны стальной стены внезапно донесся мощный гул. В несколько минут участок, защищенный стальной перемычкой, оказался под водой. Электрические трансформаторы рухнули под напором потоков. Свет погас. В наступившем мраке вой воды удесятерил свою силу, он наводил ужас. Словно подстегнутые духами гнева и ужаса, потоки прорвались на электростанцию, угрожая залить турбины. Затем последовал штурм незаконченной стены плотины. Бетонщикам пришлось спасаться на верхней части лесов.

И снова — жестокая борьба за спасение механизмов, за возвращение их в строй... А строители плотины, не дожидаясь, пока окончательно заделают брешь, приступили к работе, копошась в грязной воде, в слое липкого ила. Надо было освободить подъездные дороги, восстановить оборудование. Бетон не пострадал. Как только удалили ил и высушили поверхность, работа вошла в обычное русло.

Но время было снова упущено, и теперь надо было вернуть потери. И это в разгаре зимы, когда до окончания строительства оставались не месяцы, а считанные недели и дни. Чтобы описать сверхчеловеческие, высоконравственные усилия этих людей, нужен дар древних сказителей...

Свидетельством их труда остается и долго еще будет оставаться совершенно неузнаваемый остров Колу: холмы его срезаны чуть ли не до уровня реки, посередине вырыта колоссальная яма — в ней камни и песок. Остров, уменьшенный в размерах, весь искромсанный, почти полностью исчез, чтобы четырьмя километрами выше по течению встать мощной, высокой стеной на пути дунайских вод.

Теперь река может бесноваться, подниматься до самых небывалых уровней. На ее пути — несокрушимая бетонная преграда высотой в 60 метров, увенчанная сложнейшим сливным устройством. Это бетонная плотина. Геометрическая гора. Гора на вечные времена.

Дни предельного накала

И настает период «пик», дни наивысшего напряжения. Благодаря небывалым по своим размерам человеческим и материальным вложениям, благодаря ритму запуска этих сил на огромные орбиты Железные ворота превратились в редчайший ускоритель человеческих судеб. Период «пик» на строительстве, означающий вместе с тем максимальную спрессованность времени, представляет пору наивысшей активности этого огромного ускорителя: через его силовые поля прошли от сорока до пятидесяти тысяч человек, старых и молодых, из самых различных уголков страны, приехавших на эту стройку в поисках заработка, славы, приключений, влекомых любопытством, недоумением, но скорее всего великой жаждой созидания.

Период наивысшего напряжения — это боль родовых схваток, после которых следует прояснение, кристаллизация новой человеческой сущности. Ибо все человеческое, прошедшее через этот ускоритель, обязательно должно преобразиться.

Менее чем за год крохотный рыбацкий поселок Гура-Вэий превратился в город. Берега речушки, пересекающей поселок из конца в конец, оделись в бетон. Вдоль улиц, залитых асфальтом, выросли жилые кварталы, больница, школа, торговый центр. Гура-Вэий превратился в город строителей Железных ворот. Это они преобразовали селение, узаконив здесь новые ритмы, новые порядки, установив новый тип человеческой общности. Общность, где труд и честно поделенные опасности уравнивают всех по-братски, сближая рабочего и инженера. Общность людей, которые трудятся под открытым небом, на огромной строительной площадке, где все происходит как на сцене, у всех на глазах, и потому эти люди привыкли и дома жить открыто, на виду у людей, не скрываясь, не таясь.

Отсюда, очевидно, то предпочтение, которое жители отдают летним театрам, гуляниям, спортивным мероприятиям, где можно свободно двигаться, громко говорить, петь, размахивая зажатой в руке бутылкой пива. Отсюда и забота о строительстве, с первых же дней существования города, культурно-спортивного комплекса в парке на реке Жидоштицы, где теперь имеются эстрады, радиоузел, бассейн, волейбольные площадки, буфет...

Период «пик» — пора наибольшего наплыва случайных элементов, сомнительных как в профессиональном, так и нравственном отношении, которые оказывают постоянное давление на стройку. Это они, временные гости, составляют колеблющуюся, наименее прочную часть бригад. Они требуют особого внимания со стороны бригадиров, которым нередко удается превратить их в надежных строителей, включить в постоянное ядро коллектива.

Эти временные гости сеют здесь немало растерянности и страданий, особенно среди тех, кто недостаточно разбирается в их сущности. В конечном итоге речь идет об отставании от темпов истории, ушедшей далеко вперед, особенно в своеобразных условиях разгара великой стройки.

Вот один из примеров — драма дружбы. Действующие лица — крановщик и шофер. Последний, недавно приехавший из деревни, не может найти квартиру. Крановщик, несмотря на то что у него семья, дети, приглашает гостя к себе в дом. Вскоре шофер находит квартиру и переезжает. Но вместе с ним исчезает и жена крановщика. Потрясенный друг прибегает в редакцию многотиражки. Ведь работники газеты обязаны знать все. Редактор, отзывчивая женщина, обещает непременно найти беглянку. Но дело это отнюдь не простое. Как ее найти в этом столпотворении? Ведь город в пору наивысшего напряжения работ напоминает подлинный Вавилон. Не обратиться ли лучше всего к самому шоферу? Но тот считает свой поступок совершенно нормальным: он любит ее, она любит его. А кроме того, первая его жена умерла семнадцать лет тому назад. Журналистка, человек искушенный, решает позвонить в родное село шофера. Ей отвечают, что он женат, у него двое детей. А жена жива? Разумеется. Спросили снова шофера, а он клянется, что жена у него давно умерла и похоронена. Неужто произошла ошибка? Вызывают женщину в редакцию. Вызывают и шофера. Не зная, что она рядом, он снова клянется, оплакивает усопшую. Журналистка решает, что здесь какая-то путаница, и отказывается от очной ставки. Но тут — как в театре — появляется из соседней комнаты жена и, проливая горючие слезы, спрашивает: «Как же так, Трикэ? Заживо похоронил меня...» Человек, потрясенный, долго смотрит на нее, потом, заплакав навзрыд, начинает буквально биться головой об стену и просить прощения...

Период наивысшего разгара работ предлагает зачастую неожиданные, сенсационные решения сложных человеческих коллизий, которые в других местах считаются неразрешимыми. В судьбах людей происходят здесь самые невероятные повороты, потому что Железные ворота — подлинный реактор, обновляющий человеческое сознание.

Частыми стали случаи, когда молодые люди — муж и жена,— приехавшие сюда, чтобы сколотить деньги на покупку квартиры или мебели, остаются и после того, как их цель достигнута. Увлеченные тем, что делается на стройке, они из месяца в месяц откладывают по разным причинам свой отъезд, отказываясь вернуться к удобствам жизни, которые им теперь обеспечены. Ворота преобразили их, заставили перестроиться во имя более высокой цели.

И уж совсем необычно звучат слова человека, наделенного весьма высокими общественными обязанностями: «Если бы рассказать вам, как я приехал сюда и как выглядел тогда, вы бы не поверили...» Этот серьезный человек, проникнутый сознанием своей ответственности, был когда-то типичным летуном. Его случайно ссадили с поезда в Турну-Северин, обнаружив, что он едет без билета. После долгих блужданий он очутился на великой стройке. Здесь и встретился ему человек, сумевший предположить смелость и благородство его души. Несмотря на недоверие скептиков, рискуя собственным положением, он доверял новичку все более ответственные задания. И молодой человек, испытав на себе воздействие великого ускорителя человеческой энергии, почувствовал себя вскоре другим,- он поверил в собственные силы, закалился в ежедневных схватках с Дунаем...

Город на грузовиках

Невиданное в истории нашей страны явление: целый город переезжает на грузовиках. Город с десятью тысячами жителей, домами, игровыми площадками, рынками, почтой, Домом бытового обслуживания, школами, ткацкой фабрикой «Казанеле», ресторанами, горсоветом, сберкассой, газетными киосками, кладбищами, церквами, названиями улиц. Город переезжает на новое место. Колонны грузовиков следуют одна за другой.

Но, переезжая на новое, более высокое место, расположенное на десять километров севернее, город продолжает в течение нескольких лет жить своей обычной, каждодневной жизнью. Дети ходят в школу в то время, как школа или квартира переезжает. Фабрики беспрерывно выпускают продукцию, хотя в это время цеха меняют адрес. Больница переезжает, не переставая лечить больных. Перебираются на новое место магазины. Почта переезжает, но телеграф работает бесперебойно. Перебираются аптека, кинотеатр. Все находится

в движении. На грузовиках, в пути, на новом месте, разобрано, сложено, вновь построено.

Город Оршова меняет свое географическое местоположение. Сначала медленно, в какой-то нерешительности, потом все быстрее, все лихорадочнее. Сроки поджимают, оттяжка невозможна, графики подстегивают. Идет вода! Уровень Дуная растет, водохранилище наступает на берег. Незаметно, сантиметр за сантиметром, день за днем.

И Оршова отступает в долину Черны, на десять километров севернее, около старого села Жупальник, потонувшего в садах и зелени. Место узкое, дикое, зажатое холмами. Чтобы разместить здесь город, надо оттеснить часть села, передвинуть половину холма, вырыть ряд террас. Это единственная возможность сохранить город в непосредственной близости от Дуная. Другой вариант, предложенный проектировщиками, предусматривал строительство города на широкой, просторной равнине, но гораздо дальше от берега.

Поставленные перед выбором, жители Оршовы на многочисленных собраниях высказались за более сложный вариант. Согласно макету, выставленному на всеобщее обозрение, новая Оршова должна стать современным городом, расположенным вдоль голубого залива...

Летом 1969 года для обеих Оршов настала самая горячая пора, пора великого переселения. Дунай перекрыт, воды его неотвратимо наступают на старый порт. Благодаря стремительности, с которой город перекраивает свою судьбу, он превращается в своеобразную метафору, раскрывающую суть не только его собственной истории, но и любого исторического процесса, затрагивающего судьбы большой человеческой общности. Не случайно отснятые для архива кинокадры стали основой одного из самых драматических и потрясающих документальных фильмов. Ибо всегда, когда на карту поставлена судьба большого коллектива, всеобщее драматическое напряжение обнажает самые разнообразные человеческие реакции, весьма показательные для понимания сущности человека вообще.

Разумеется, решающим был здесь социалистический тип поведения тех, кто шел впереди, тех, чья решимость сделала возможным переезд целого города. Это они представляли сознательное ядро обширного социального процесса, его движущую силу...

В течение последующего, 1970 года соотношение между двумя городами значительно изменилось. Большая часть населения переехала на новое место, где уже действовали почти все учреждения и торговые центры. Вид старой Оршовы был печален: брошенные, полуразрушенные дома, здания, залитые водой. Город, сокращаемый с каждым днем неудержимым натиском реки, захватившей уже целые улицы и кварталы, постепенно уходил под воду. Продолжали действовать лишь порт да судостроительная верфь — и те лишь частично, так как оборудование было в основном перевезено в район нового порта и новой верфи, расположенных на берегу нового залива за Жупальником. Однако пока суд да дело, залив этот представлял собой... широкую лесистую долину, по дну которой протекала речка Черна.

Переезд верфи пришлось неожиданно ускорить. В один из мартовских дней 1970 года уровень воды внезапно поднялся, река залила стапель. Люди кинулись в воду, доходившую до груди, спасая механизмы. Пять дней непрерывного труда потребовалось, чтобы вывезти инструмент и оставшееся оборудование. Но ремонтные работы на судах, отделенных от берега стометровой водной полосой, неукоснительно продолжались. Продолжались до последней минуты, до последней человеческой возможности. Вот и получилось, что в самый разгар переезда предприятие выполнило план, как будто ничего особенного не произошло. Рабочие судоверфи не хотели поблажек. Они должны были выйти с честью из этого трудного испытания.

Вращение, все во имя вращения

Начиная с осени 1969 года на передний план выдвигаются монтажники — они приступают к сборке гигантских деталей турбин. Первое событие, вызвавшее всеобщий интерес,— спуск ротора в горловину турбины № 1... Ротор, массивный, продолговатый, весом в 650 тонн (дотошные газетчики тут же подсчитали, что это равно грузоподъемности состава из 65 вагонов), должен был лечь на свое место с безупречной точностью.

Здесь нет мощных, толстых стен, здесь все — движение. Все — точность. Все — вращение. Сталь обретает жизнь благодаря вращению. Ротор — сердце турбины. Пункт, где вода превращается в свет. Где Дунай становится Дунаем-огненосцем, а Железные ворота — Воротами молний...

Сборка громадной турбины предполагает иные ритмы, нежели строительство бетонной плотины. Здесь речь идет об очень сложном, качественно новом содержании, оно требует безупречного порядка и организации. Собирать — означает направлять, приводить в порядок потоки самых разнообразных по проис-

хождению, форме, размеру, назначению деталей и частей, с тем чтобы они так же естественно слились воедино, как сливаются воедино в гармонии различные инструменты, исполняющие прекрасно отрепетированную симфонию.

Итак, сборка турбины — это не чистая, многократно повторенная количественная синкопа, а насыщенный гармонией ритм, музыкальный ритм, качественно видоизменяющийся с каждым новым тактом, с сольными партитурами, контрастными звуками, мгновениями тишины и бурными вспышками,— беспрестанное развитие, которое может показаться плодом вдохновения и фантазии, но на самом деле подчиняется жестким законам оркестровки, математически рассчитанным вплоть до возможных диссонансов.

И, вероятно, больше чем на любом другом участке Железных ворот, сборка турбины предполагала подобного рода свойственные музыке процессы, когда холодный расчет сочетается с вдохновенным поиском нового. Это сказалось с первых же мгновений, когда в бетонные стены стали вмонтировать детали основания турбины. Монтажники отказались от общепризнанных рекомендаций и вместо подъемного мостового крана использовали для сборки огромных звеньев подъемные краны бетонщиков, что потребовало разработки новой партитуры и новых принципов оркестровки целого. Для осуществления этого смелого шага пришлось преодолеть сопротивление нерешительных и идти на риск. И взял на себя эту ответственность инженер Валериу Першинару, человек положительный, осторожный. С его именем связана сборка всех турбин гидрокомплекса. Но он бы ни за что не согласился с тем, что выполнял здесь роль дирижера...

По словам самих монтажников, наиболее волнующим моментом была не официальная премьера, подробно описанная в газетах, а предварительный пробный пуск, когда весь комплекс (до этого проверялись лишь отдельные узлы, словно отдельные группы инструментов) введен в действие и все двадцать две тысячи металлических деталей и другие тысячи и десятки тысяч связующих элементов, составляющих тело турбины, приступают по команде к исполнению единой мелодии. Одна-единственная ошибка, одна фальшивая нота может скомпрометировать весь ансамбль. Неправильно связанная нить, забытый мелкий инструмент могут вызвать катастрофу.

Волнение людей, и прежде всего дирижера, достигает высшего предела. Это длится всего лишь четверть часа. Пятнадцать минут, на протяжении которых надо успеть обежать турбину снизу доверху по железным ступенькам, останавливаясь то и дело около самых уязвимых узлов и напряженно прислушиваясь, чтоб уловить сквозь потоки ровных, плавных шумов — раньше контрольных датчиков — возможный резкий звук...

Через несколько дней — официальный пуск. Это символический момент: ток первой турбины вливается в национальную энергетическую систему. Первое слияние воды с молнией, встреча Железных ворот со страной.

...Около восьми часов к командному пульту переключателя в 220 вольт подошел, робко улыбаясь, как заметил один из местных репортеров, заместитель директора предприятия-заказчика. Ровно в 8.00 замдиректора Аркадие Време включил ток. Исторический момент, как заметил тот же репортер. Первые киловатты потекли к сердцу страны.

Красивые фразы? Не будем торопиться с эпитетами. Пуск первой турбины, хоть и не столь эффектная картина, как перекрытие Дуная, затронул поэтические струны души строителей, они спешили делиться своими впечатлениями на страницах местной газеты, утверждая порой, что «вода вспыхнула и горела ярким пламенем».

Чувство совершенства

Строители погрустнели. Правда, они всячески это скрывают. Полдень. Я нахожусь вместе с Адалбертом Гашпаром на вершине одной из опор фуникулера, высотою в тридцать метров. Мой собеседник, главный энергетик участка, не успокоился, пока не привел меня сюда на эту высоту, откуда видна вся панорама его обширного царства вольт. Это прирожденный строитель, свое призвание он открыл, будучи еще бригадиром на строительстве дороги Салва — Вишеу; затем он возводил Биказскую и Арджешскую гидростанции, после чего приехал сюда. Всюду доставались ему самые трудные участки. Здесь, на Дунайской стройке, ему было поручено смонтировать и пустить в ход бетонные заводы. Днем и ночью в течение нескольких лет обслуживал он бесконечную цепь транспортных лент, тянувшуюся от острова Голу к бункерам, где рождался бетон,— наиболее напряженный участок во время битвы за покорение Дуная.

Но сегодня, в этот тихий ласковый полдень, насыщенный медвяным золотом, боевые, суровые эпизоды его многолетней вахты кажутся вымыслом. Словно все это произошло в ином мире, не имеющем ничего общего с тем, что простирается теперь под нами, с сизой — в металлическом блеске — лентой ре-

ки, обрамленной высокими горами да продолговатыми силуэтами сооружений из железа и бетона, залитых золотистым сиянием...

Недалеко от нас, на сетке, протянутой между небом и рекой, копошится, четко вырисовывающаяся на фоне всего пейзажа, какая-то группа людей. Оторвавшись от нее, приближается к нам молодой человек в клетчатой рубашке. Представляется: мастер Холбан. Некоторое время мы молчим. Мирное дыхание осеннего полдня ласкает нас. Караван барж медленно скользит под нами, оставляя позади серебристо-золотистую рябь волны.

— Красиво тут,— говорит Адалберт Гашпар.— До того красиво, что трудно поверить в истинность всего, что видишь.

— И со мной такое бывает,— замечает молодой мастер.— До того тихо, что кажется — все происходит во сне.

— Красиво. Я впервые теперь стал понимать это. Поверите ли, пять лет я тут работал и не нашел свободной минуты, чтобы полюбоваться отсюда картиной стройки...

Разговор снова затихает. Ласковый полдень, солнце, заливающее своим сиянием горы и воды, мешают говорить. День тихой, задумчивой грусти: строители Железных ворот уходят из этих мест именно тогда, когда начинают открывать для себя их красоту, их умиротворенность. Как тут не попенять на свою несправедливую судьбу! Ведь впереди новые волнения, ветры, лихорадочная спешка. Если ты успокоился, если вокруг стало тихо, значит, тебе здесь нечего больше делать, значит, пора в путь-дорогу... И в конце концов получается — и в этом удивительный парадокс жизни строителей,— что этот покой, эта тишина и есть причина их тайного недовольства...

Но здесь, у Железных ворот, они испытывают совершенно особое чувство: чувство приобщения к *неповторимому*, к тому, что вряд ли еще встретится когда-либо в жизни. Оно порождает сложные, порой мучительные размышления, сущность которых сводится в конечном итоге к вопросу: что означают для тебя и твоей жизни Ворота? Если они — высшее достижение жизни, то удастся ли когда-нибудь хотя бы повторить его?

Ответы на этот вопрос порой неожиданные, хотя, если хорошенько подумать, они вполне обоснованны.

— Для меня,— отвечает один,— Ворота означали меньше, чем Биказ или Арджеш. Там состоялось мое посвящение, там я впервые познал радость борьбы со стихией. А здесь — всего лишь продолжение, пусть на более высоком уровне, но все же только продолжение. Но какой поэт, даже если он создал впоследствии шедевр, забудет волнения дебюта?

— Допустим, что это так,— говорят другие.— Но Железные ворота для нас означали *обретение уверенности*, а это немаловажно. Биказ был серьезной школой, но в конце концов — средней школой. Подлинным инженерным университетом стали для нас Ворота. Никто не уезжает отсюда таким, каким приехал. Здесь люди научились мыслить.

— Железные ворота были для меня воплощением мечты,— говорит молодой строитель.— Она вдохновляла целое поколение студентов. Наши наставники не уставали повторять: «Вот повзрослеете и будете работать у Железных ворот. Эти Ворота станут гордостью румынской энергетики». Поэтому, когда началась стройка, я добровольно попросился сюда. Мне доверили более ответственные задания, чем я думал, и не всегда я с ними справлялся. Но теперь, после Ворот, я могу работать где угодно.

— Здесь энтузиастов было больше, чем на любой нашей стройке. Нетрудно понять почему. Техническая задача была необыкновенно сложной. Требовались новые, никем еще не разработанные решения. Железные ворота стали истинной лабораторией новых идей. Мы научились мыслить на другом уровне, в других масштабах. Те, кто здесь работал, может дать больше, превзойти самого себя, а не только повторить сделанное у Ворот.

— Ворота — сооружение неповторимое, единственное. Таких раздолий, таких порогов мы уже больше никогда не увидим. Ворота представляли ни с чем не сравнимую возможность. Они — шедевр. После них остается делать только обычное. Что же? Такова жизнь... Даже гениальные художники не создают одни шедевры. Надо судить трезво.

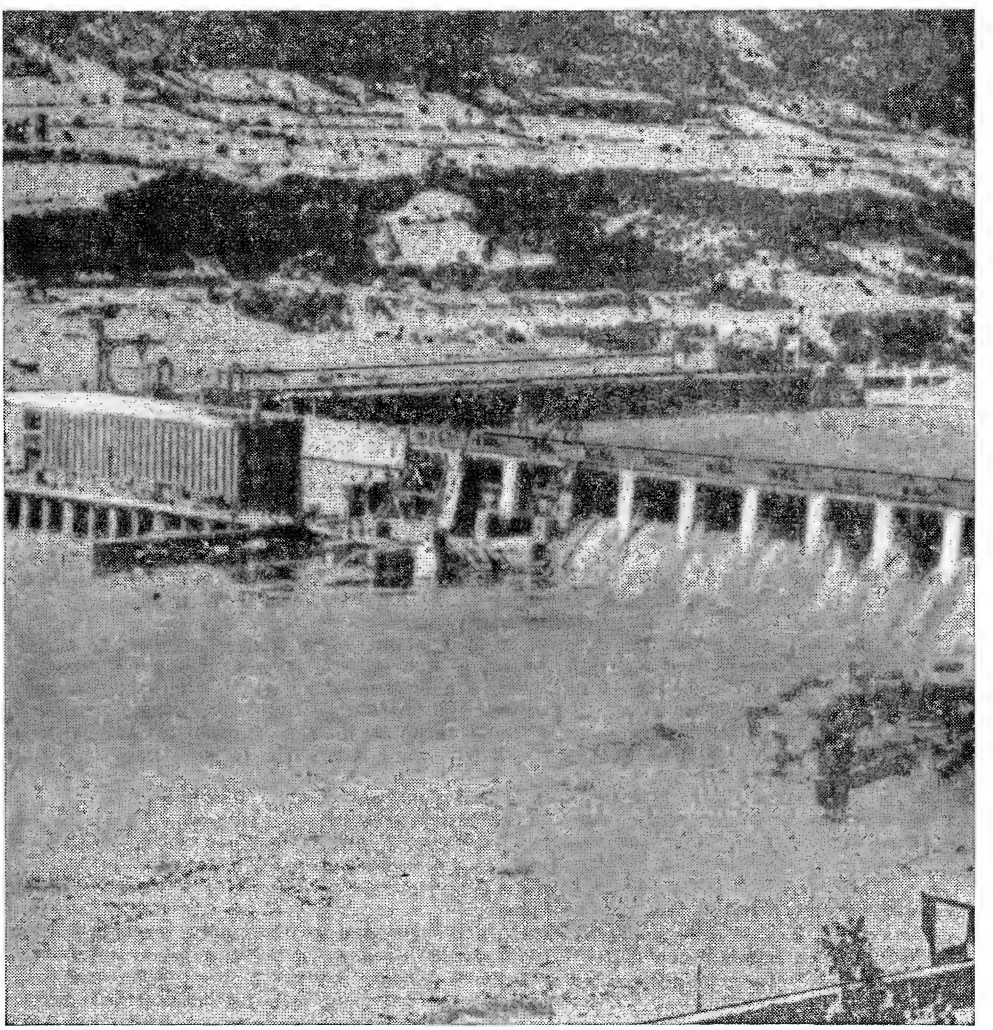
— Вот именно. Судить трезво, не впадая в крайности, без преувеличений. Ведь главное в работе это не размеры и даже не уникальный характер подобного сооружения — он плод случая, а не чьих-либо заслуг. Главное — творчество, совершенство исполнения. Следовательно, в будущем возможны и более совершенные творения. Все зависит не от размеров, а от технических решений, от оригинальности мышления.

— Ворота — сумма мировых рекордов. Можно их перечислить, но вряд ли это нужно. Важно то, что мы сами себе доказали, что в состоянии равняться на лучших и в иных случаях даже превзойти их. Конечно, сама река, ее неповторимый характер заставили нас мыслить оригинально, но с самого начала, когда предстояло преодолеть столько трудностей, потребовалось немало мужества, мужества творчески мыслить.

— Железные ворота продемонстрировали нам силу дружбы, братства, человеческой солидарности... Ворота — наша великая Стройка, стройка с большой буквы. Они — сила, покорившая Дунай. Они — шедевр. Удастся ли нам когда-нибудь соорудить нечто подобное?

Это еще один повод для размышлений и светлой грусти. Потому что Железные ворота породили новую форму соревнования — быть может, самую благородную,— соревнования с самим собой, творческое сомнение, неуверенность — все то, что выражено в неотвязно преследующем вопросе: а сможем ли мы сделать больше? Это тревожный, лишающий покоя вопрос, но в нем — гарантия будущих побед.

Перевод с румынского М. ФРИДМАНА



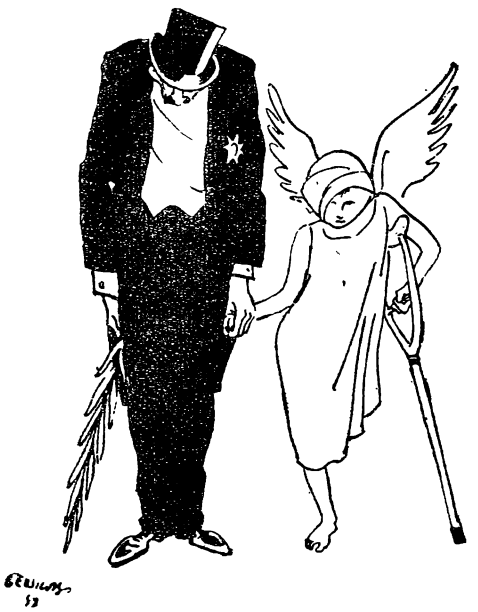
Перед расстрелом.

ИЛИЯ БЕШКОВ — ХУДОЖНИК-БОРЕЦ

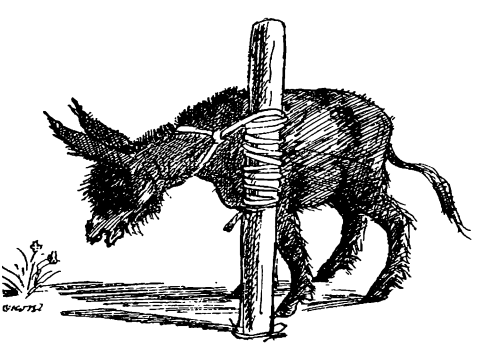
Немногие из современных художников смогли рассказать о своем времени, своей стране и согражданах с такой образной силой, глубиной мысли и чувства, как это сделал болгарин Илия Бешков.

Рассматривая его рисунки и акварели, видишь пеструю картину жизни довоенной

Медленное, но верное осуществление одной философии...



После Мюнхена 1938 г. — Мир спасен!



Без жизненного пространства.

и послевоенной Болгарии. События исторического значения сочетаются с бытовыми сценками, в которых точно передано своеобразие нравов, облика и поведения людей, тонкие нюансы их чувств, переживаний. В многоликой толпе героев — люди разных сословий и званий. И все это увидено глазами умного, наблюдательного и зоркого художника.

Бешков — многогранен. В нем сочетается поэт и сатирик, философ, психолог, политический деятель. Основной пафос его творчества — борьба со злом, которое мешает жить людям. Это и социальное зло, и то, что живет в самом человеке — его пороки. Любя людей, веря в добро и красоту, Бешков стал сатириком. Его творчество, решавшее насущные проблемы времени, знаменовало собой одну из ярких страниц критического реализма в болгарском искусстве.

Бешков начал свою деятельность в 20-е годы, когда Болгария переживала национальную катастрофу.

Окончив Академию художеств в Софии по классу живописи, он не стал живописцем. Его влекла к себе активная общественная деятельность, борьба. И он избрал такой вид искусства, который позволял ему быть на переднем крае,— политическую карикатуру. Он становится трибуном, политиком — антимонархистом, антиклерикалом, антифашистом.

В ранних работах Бешков обрушивается на тиранию и социальную несправедливость, разоблачает продажную сущность династии Кобургов и буржуазных правителей. За свои смелые и острые листы он попадает в тюрьму. Но это еще больше закаляет его дух борца, убеждает в правильности выбранного пути, в действенности оружия.

Когда над Европой нависла угроза фашизма, Бешков снова на переднем крае. Драматические события тридцать шестого года в Испании не оставили его равнодушным. Став в строй защитников Испанской республики, Бешков участвовал в борьбе с фашизмом своим искусством. Его знаменитая серия рисунков «Испанская хроника» клеймит позором врагов революционной Испании, воспевает ее защитников и героев. В этих острых, выразительных, мастерски выполненных рисунках противники сталкиваются лицом к лицу, как на фронте. Полные драматизма рисунки Бешкова 30—40-х годов звали к сопротивлению.

После победы и установления народной власти в Болгарии художник продолжает работу. Новое время рождало новые проблемы. Бешков — беспощадный враг инертности и безразличия — страстно отзывается на послевоенные события. Значимость его карикатур определяется не только остроумным сюжетом, точной оценкой политической ситуации, но и всем образно-пластическим решением, а также выразительным текстом, дополняющим изображение.

В течение нескольких десятилетий кари-

На баррикадах.

Болгарский художник Илия Бешков

Испанская хроника. 1936 год.

Испанская хроника. 1936 год.

Эвакуация.

Военное время.

Испанская хроника. 1936 год.

Мглистый день в столице.

катуры Бешкова регулярно появлялись в газетах и журналах. Умные, метко бьющие в цель, они раскрывали самую суть происходящих событий, помогали ориентироваться в политической обстановке, звали к борьбе за национальную свободу и человеческое достоинство.

Одновременно с карикатурами Бешков на протяжении всего своего творчества создавал сатирические рисунки. Пестрая толпа его персонажей получила право гражданства под именем «героев Бешкова». Все эти колоритные типы взяты из гущи жизни. При резкой индивидуальной характерности они представляют мировоззрение и уклад жизни определенной среды.

Бешков борется со злом и пороком, избрав главным орудием борьбы смех. И этот смех звучит по-разному: то бичующе-зло, то снисходительно-добродушно. Часто смешное оказывается грустным, и это придает рисункам остроту и многоплановость.

Бешков по-разному обыгрывает свои сюжеты, которые его зоркий взгляд находит в многоликой жизни большого города. Иногда смех у зрителей вызывает несоответствие названия и изображения. «Легкая закуска» — читаем мы подпись под рисунком и видим тучного господина, с трудом отвалившегося от стола, заставленного яствами. «Танцовщицей» оказывается оплывшая женщина с толстыми ногами и нелепыми движениями. Часто художник усиливает комизм изображенного, выявляя несоответствие между претенциозной формой и пустотой содержания («Новая аристократия», «Интеллектуалка»). Много рисунков посвятил художник детям.

В арсенале изобразительных средств Бешкова — лаконичная, пульсирующая линия, штриховка, контрасты черного и белого, пятна акварели. Беглые экспрессивные наброски соседствуют со строго продуманными, композиционно завершенными рисунками, большую роль играют детали — остро схваченный жест, характерный для того или иного персонажа, выразительное движение.

Илия Бешков много и охотно занимался иллюстрированием, выбирая произведения тех писателей, которые были ему духовно близки. Но и его разнообразные сатирические рисунки можно назвать иллюстрациями к особой книге — сложной книге жизни. В его рисунках такой накал страстей, такая глубина характеристики, что их, кажется, хватило бы на монументальные полотна.

Большую роль в становлении современного болгарского искусства имела и педагогическая деятельность Илии Бешкова. С 1944 года и до самой смерти в 1958 году он был профессором Академии художеств в Софии. Многие из известных современных художников Болгарии — его ученики.

В. ШАЛАБАЕВА

Эстрадная певица.

Неутешные.

К 350-й годовщине.

Наши гости

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

(Люси Фор — в «Иностранной литературе»)

Сегодня с первой минуты встречи инициативой разговора энергично завладевает наша гостья — Люси Фор. Она хочет знать, что представляет собой наш журнал: каков тираж «Иностранной литературы»? Какие в журнале рубрики? Кто его читает? Пишут ли читатели в редакцию? Кто пишет чаще — те, кому понравилась публикация, или те, кому не понравилась? Сколько времени занимает производственный процесс? Каковы критерии отбора зарубежных произведений для публикации? Вопросы, которые она задает, отличаются знанием дела.

Впрочем, не приходится удивляться ни интересу Люси Фор к проблемам издания и читательского спроса, ни ее знаниям в этой области — она сама основатель и вот уже 30 лет бессменный директор ежемесячного толстого журнала «Неф», на страницах которого дебатируются самые острые проблемы политики, социологии, культуры. Это серьезное издание, пользующееся уважением в кругах французской интеллигенции.

— О тираже нашего журнала я, пожалуй, умолчу,— замечает с улыбкой Люси Фор,— после той цифры, которую назвали вы, наши европейские тиражи кажутся смехотворно маленькими.

Деятельность нашей гостьи отличается разносторонностью, широтой интересов. В 1943 году она вместе со своим мужем Эдгаром Фором участвовала в Сопротивлении — была членом Комиссии по иностранным делам Комитета Национального Освобождения, созданного в Северной Африке. Тогда же и был основан ею боевой антифашистский журнал «Неф». Сейчас Люси Фор выступает как деятельный сторонник сближения между нашими странами.

— Я всегда была и остаюсь другом Советского Союза,— говорит она.— Ваша страна, ваша культура, ваша литература вызывают неизменный интерес во Франции. Идеи франко-советского сотрудничества весьма популярны у нас в стране. Существуют широкие возможности «литературного обмена». Во Франции знакомы с именами советских писателей — таких как Михаил Шолохов, Константин Симонов и др.,— их произведения были переведены и изданы у нас. Советской литературе обеспечен доброжелательный прием, необходимо переводить больше, шире.

Говоря о советских переводах во Франции, Люси Фор не случайно называет имена романистов, ее интерес к этому жанру вполне понятен — ведь она сама прозаик, чьи произведения не раз удостаивались литературных премий. Романы и рассказы Люси Фор принадлежат к той мощной ветви французской психологической прозы, которая стремится воспроизвести внутренний мир человека, нюансы чувств, сложность человеческих взаимоотношений.

— В ваших произведениях,— замечает один из собеседников,— огромную роль играет случай, стечение обстоятельств, какая-нибудь неожиданная встреча, на первый взгляд незначительная, но влекущая за собой своего рода внутреннюю цепную реакцию, изменение всей жизни героя. Тому примером хотя бы рассказ «Двое», опубликованный в нашем журнале. Может ли, по вашему мнению, сыграть такую же роль толчка в судьбе человека произве-

дение искусства — книга, фильм, спектакль? И если это так, то какова, по-вашему, роль писателя в обществе, какова его ответственность за происходящее в мире?

— Я убеждена, что ответственность писателя и его влияние очень велики. Например, сюрреалисты несут в значительной степени ответственность за волну самоубийств в 20-е годы. Подчас литературный герой становится подлинным спутником жизни. Одного человека как-то спросили, что причинило ему самое большое горе. Он ответил: «Смерть Жюльена Сореля». Это, конечно, шутка. Но, я думаю, в этой шутке заключен куда более серьезный смысл.

Все это не значит, однако, что писатель не должен писать, что ему хочется и как ему хочется. Ответственность не исключает свободы, ответственность писателя не противоречит свободе творчества.

— А как отражается на вашем литературном творчестве ваша общественная и политическая деятельность. Обогащает ли она вас как романиста?

— Лично я никогда не использую в своих романах и рассказах ничего из того, что случилось со мной в жизни, никогда не описываю подлинных событий, встреч, знакомств. Я пишу, что называется, «из головы». Все истории, рассказанные в моих романах и новеллах,— чистый вымысел. Мне кажется, что если бы я просидела год в запертой комнате, совершенно изолированная от мира, не встречаясь даже с родными и близкими, я писала бы точно то же самое, что пишу теперь,— только, вероятно, лучше, потому что у меня было бы больше времени и ничто бы меня не отвлекало от работы. Нет, я никогда не использую сознательно своих жизненных наблюдений. Но это, разумеется, не общее правило, это просто моя особенность как романиста.

Пожалуй, наша гостья восприняла вопрос слишком прямолинейно. Мы вовсе не имели в виду «зеркального отражения», прямого переноса фактов из жизни Люси Фор — политического деятеля в произведения Люси Фор — прозаика. Читая ее романы — в частности, последний, «Хорошие дети», вышедший в свет год назад,— видишь, что те социальные проблемы, которые волнуют французское общество и мимо которых не может пройти Люси Фор как общественный деятель — член Комитета по программам ОРТФ, мэр города Пор-Леней, директор «Неф»,— так или иначе находят место и в ее художественном творчестве. Люси Фор и сама признает, что этот роман, в центре которого проблема взаимоотношений отцов и детей, взаимовлияний их жизненных установок, она «до мая 1968 года написала бы совсем не так, как теперь, после майских событий».

Рассказываем гостье, что литература, связанная с майскими событиями, вызвала большой интерес в нашей стране. Издан роман Робера Мерля «За стеклом», готовится к изданию повесть Паскаля Лэне «Ирреволюция».

— Это меня радует,— говорит Люси Фор.— Паскаль Лэне молодой, очень одаренный прозаик. Жюри премии Медичи, членом которого я являюсь, присудило ему свою награду за эту книгу в 1971 году.

— Считаете ли вы, что май 1968 года продолжает воздействовать и сегодня на французскую литературу?

— Да, конечно. Я считаю, что майские события были поворотным пунктом в нашей жизни, мы сейчас, возможно, даже еще и не отдаем себе полностью отчета в том, насколько глубокое воздействие они оказали на общество. После мая изменился самый характер отношений внутри семьи. Молодежный протест показал, что в нашем обществе укоренилось неблагополучие и что молодежь — жертва этого неблагополучия. Старшее поколение, родители, осознали, что вина лежит на них, что совесть их нечиста. Что касается детей, то они почувствовали это — почувствовали тот груз вины, который лег на родителей, и, как мне кажется, хотели бы теперь иметь родителей, которых меньше мучит совесть. Это я и попыталась показать в моем романе «Хорошие дети». Я считаю, что молодежь поможет нам найти пути к созданию новых отношений.

У нас сейчас много думают, говорят, пишут о проблемах «общества потребления» с его непрерывным ростом производства товаров,— увлеченно говорит Люси Фор.— Не так давно в печати выступил Иван Илич, известный своими работами по вопросам воспитания, человек очень умный, глубокий, проницательный. В его последней статье есть такой пример: известно, что в США и Западной Европе машина становится подлинным бедствием — каждый стремится иметь машину, все хотят двигаться с бешеной скоростью, никак не меньше 100 километров в час, так вот Иван Илич подсчитал, что, если учесть время, которое затрачивает человек на то, чтобы заработать деньги на машину, приобрести ее, ухаживать за ней, окажется, что владелец машины передвигается не со скоростью 100 километров в час, а со скоростью 6 километров в час. Существует опасность, что в недалеком будущем машины вообще остановятся, затопленные океаном отбросов. Проблема загрязнения атмосферы и шире — биосферы неотделима от проблем общества потребления.

Но дело не только в этом. Самое главное — и здесь мы возвращаемся к вопросу о молодежи, ее настроениях, ее протесте — материальный комфорт, рост потребления не может быть целью жизни. Молодежь жаждет идеала, к которому она могла бы стремиться.

Все это волнует сейчас наших социологов, да и не только социологов. Недавно в Риме состоялась встреча, посвященная проблемам роста производства в развитых странах Запада. Есть люди, которые считают, что необходимо притормозить промышленное развитие, ограничить накопление товаров, но они не учитывают,

что три четверти населения земли страдают не от избытка и перепроизводства товаров, а от их недостатка — попросту говоря, на земле еще много людей, которые голодают. Так что эту проблему нужно рассматривать в масштабах всей планеты, в масштабах человечества.

Мы замечаем, что общественный темперамент гостьи несколько увел разговор в сторону от чисто литературных вопросов, впрочем, это лишний раз подтверждает, что литература и жизнь связаны нераздельно.

Задаем на прощание традиционный вопрос о творческих планах нашей гостьи.

— Я сейчас работаю над новым романом, который будет называться «Во вторник на заре» — имейте в виду, что вы первые, кому я открыла этот секрет, во Франции я неизменно отказываюсь отвечать на вопросы корреспондентов о моих планах. Обычно я пишу роман в течение полугода — пишу легко, быстро. Но потом я его откладываю на два-три месяца, чтобы по прошествии этого срока взглянуть на написанное свежим взглядом, как бы со стороны. И тут начинается заключительный этап работы — я тщательно редактирую книгу, отделываю ее, работаю над стилем. Этому я придаю очень большое значение. Мой новый роман сейчас как раз «отлеживается» — осенью я к нему вернусь, и, надеюсь, в январе будущего года он выйдет в свет. О его содержании мне пока говорить не хочется, скажу только, что действие романа укладывается в очень короткий срок — от шести вечера в понедельник до четырех утра во вторник.

Мы прощаемся с нашей гостьей, выражая надежду на новые встречи в Москве.

Д. З.

СТИХИ И ПРОЗА...

(Вислава Шимборская и Корнель Филипович в «Иностранной литературе»)

Летом 1973 года редакция «Иностранной литературы» принимала гостей из Польши — поэтессу Вислову Шимборскую и прозаика Корнеля Филиповича.

Вислава Шимборская — автор более чем десятка поэтических сборников, пользующихся большой популярностью у польских и зарубежных читателей. В самом конце 1972 года варшавский еженедельник «Литература» обратился к своим читателям с просьбой назвать десять, по их мнению лучших, современных писателей. Среди этих десяти по всей справедливости оказалась и Вислава Шимборская.

Корнель Филипович — признанный мастер короткого рассказа; его перу принадлежит также ряд повестей, которые он называет «микророманами». Почти все они известны советскому читателю из публикаций разных лет; в издательстве «Художественная литература» не так давно вышел сборник микророманов Филиповича, включающий «Провинциальный роман», «Дневник антигероя», «Пленный и девушка», «Сад господина Ничке», «Мужчина — это ребенок».

Беседа с польскими писателями началась с полушутливой дискуссии. Первый же заданный Шимборской вопрос, кто в редакции «Иностранной литературы» занимается публикацией произведений, относящихся к «поэтической прозе», вызвал веселое оживление. Все сошлись на том, что неважно, по какому разделу «пройдет» по-настоящему хорошее произведение — важно, чтобы оно попало на страницы журнала и стало достоянием широкого читателя. Вопрос, в шутку заданный Шимбор-

ской, повел беседу в определенном направлении.

— Я долго была редактором отдела поэзии в литературном еженедельнике,— сказала Вислава Шимборская.— И вот в последнее время я ясно почувствовала, что порой перестаю различать границы между прозой и поэзией. Не так давно у прозы и поэзии были свои, отдельные темы. Поэты и прозаики, как правило, не пытались вторгнуться в «чужую» область. В наши дни ситуация резко изменилась. Запретных областей и раздельных тем более не существует. Мне самой в ответ на вопрос, кто же я, всегда бывает как-то неловко отвечать: «Я — поэтесса». Вещи, которые я пишу, я, пожалуй, предпочла бы назвать небольшими «фрагментами для чтения». Впрочем, я не придаю особого значения тому, как определят мои произведения читатели и критики, назовут ли они их поэзией, или прозой, или как-нибудь еще. Мне важно, чтобы их прочли и чтобы они кому-то стали нужны... Разумеется, я говорю только о себе; у других поэтов, вероятно, есть на этот счет свои соображения. В моей редакторской практике мне часто приходилось иметь дело с поэтическими произведениями, графически оформленными как проза и несущими в себе элементы эпического характера; такие «стихи» я обычно передавала в отдел прозы — впрочем, редактор этого отдела не всегда со мной соглашался.

— А я, когда пишу короткие рассказы,— заметил Корнель Филипович,— часто ловлю себя на мысли, что, будь у меня умение поэта, мне было бы во сто крат легче выразить то, что я хочу сказать, что меня волнует. Как мне кажется, для современной литературы характерно явление сосуществования стилей, свойственное и другим областям искусства — скажем, живописи.

— То же самое происходит в поэзии,— поддержала его Шимборская.— Сейчас во многих странах наряду с широким распространением верлибра, наряду с заметным тяготением к прозе и прозаизмам становятся весьма ощутимыми веяния неоклассицизма. К примеру, все чаще и чаще из-под пера современных поэтов выходят сонеты.

— Что бы вы могли сказать относительно лингвистической поэзии?

— В Польше есть группа поэтов такого направления, возглавляемая Мироном Бялошевским. Характер их работы я назвала бы экспериментальным. Сама я далека от этого направления, но как читателя и даже как поэта плоды такой лабораторной работы меня интересуют. Не могу сказать, что их искания — всего лишь лингвистический эксперимент ради эксперимента; представителям этого течения, на мой взгляд, есть что сказать, только для выражения своих мыслей они ищут свои, особые формы. Поиски новых форм — право и привилегия молодых; поэты старшего поколения должны внимательно присматриваться к этим поискам и уметь находить в них и даже заимствовать что-то полезное для себя.

— В какой мере такие эксперименты интересны широкому читателю?

— К сожалению, не всегда легко определить, какой истинный резонанс вызывает та или иная книга. В Польше тиражи поэтических сборников очень невелики. Обычный тираж — 1000 экземпляров; чаще всего вся тысяча расходится, и подчас нельзя сказать, разошлось ли бы еще столько же или нет. Тираж моей последней книги — 8000 экземпляров. Я боялась, что она залежится на полках книжных магазинов, но этого не случилось. Думаю, что если б книги поэтов-экспериментаторов рискнули издавать большими тиражами, они нашли бы своих читателей.

— А что больше привлекает сегодняшнего читателя — стихи или проза?

Тут мнения наших гостей разделились. Вислава Шимборская, как оказалось, склоняется в пользу прозы, Филипович же не рискнул дать однозначный ответ. Он считает, что читательский интерес определяется комплексом причин — важно, чтобы книга была способна вызвать живой отклик у человека.

Мы поинтересовались, над чем сейчас писатель работает.

— Заканчиваю очередной том коротких рассказов, который можно рассматривать как продолжение предыдущего сборника «Смерть моего антагониста»,— рассказал Филипович.— Одновременно подготавливаю к печати большой сборник, куда войдет около пятидесяти моих избранных рассказов. Выход этой книги приурочен к тридцатилетию образования Польской Народной Республики, которое наша страна будет отмечать в следующем году. После окончания этой работы я собираюсь вернуться к начатой несколько лет назад повести «Тайна графа Н.». Это не детектив, несмотря на название; впрочем, в некотором

смысле элементы авантюрного жанра в повести есть: мой герой — бывший граф — ведет себя абсолютно нетипично для представителя своего класса, и это невольно заинтриговывает других действующих лиц, а вместе с ними и читателя. А в общем это будет рассказ о судьбе человека, пережившего войну и начинающего жизнь в новой Польше.

— В вашем творчестве, как и в творчестве многих других писателей старшего и среднего поколения, большое место занимает тема минувшей войны; вы склонны находить ее следы в нынешней жизни и анализировать ее влияние на людей сегодняшнего дня (вспомним хотя бы публиковавшийся в нашем журнале один из лучших ваших микророманов «Сад господина Ничке», который с большим интересом был встречен советским читателем и который мы относим к числу интереснейших наших публикаций из польской прозы). Вас всегда волновала проблема «расчетов» с прошлым. Что вы можете сказать относительно актуальности этой проблемы теперь, в условиях изменившейся международной обстановки, когда между Западной Германией и социалистическими странами складываются отношения добрососедства и сотрудничества?

— Со времени окончания войны прошло почти тридцать лет. Естественно, что напряженность в отношениях с обеих сторон уменьшилась, однако все трагическое, что было, сохранилось в памяти, и у нас — поляков — с большей остротой, чем у немцев. Весной этого года я побывал в ФРГ. Современные западногерманские писатели, в большинстве своем люди молодые, не принимали участия в войне: они знают о ней только понаслышке. Эти люди, как правило, преисполнены доброй воли; некоторое недоверие ощутимо, скорее, с нашей стороны. Характерно, что польские писатели младшего поколения, родившиеся уже в мирное время, часто обращаются к военной теме.

— Привлекают ли вас такие жанры, как эссеистика, размышления о литературе, литературная критика?

— Эссеистикой как особой формой литературного творчества я специально не занимаюсь. Однако среди моих рассказов есть такие, которые очень близки к этому жанру. Они рождаются тогда, когда у меня возникает потребность поделиться с читателем своими сомнениями и заботами. В последнем моем сборнике есть маленький рассказ под названием «Препятствия». Этот рассказ лишен сюжета — в нем я попытался вскрыть механизм писательского труда, сопряженного с преодолением бесчисленных препятствий внутреннего характера. Литературной критикой я не занимаюсь вовсе. А вот Вислава Шимборская регулярно выступает в роли рецензента на страницах краковского еженедельника «Жице литерацке».

— В этом еженедельнике я веду раздел под названием «Необязательное чтение»,— пояснила Шимборская.— Это своего рода рекомендации для «внеклассного» чтения — для нешкольников, разумеется,— критические эссе по поводу выходящих у нас книг, которые, с моей точки зрения, заслуживают внимания широкого читателя. В числе этих книг художественная литература занимает далеко не главное место: туда входят и книги научно-популярные, и специальные — например, по географии, биологии и даже такие, как хорошая... поваренная книга. Сейчас я как раз занимаюсь составлением сборника этих рецензий. Наконец-то сбылась моя давнишняя мечта — быть автором книги с картинками! Над иллюстрациями к сборнику работает один из лучших наших художников-сатириков Шимон Кобылинский.

— Какие новые произведения польских писателей привлекли ваше внимание в последнее время?

— Я обычно не берусь судить о работах своих коллег,— заметил Корнель Филипович.— Скажу только, что в связи с приближающимся тридцатилетием ПНР у нас вышли и продолжают выходить из печати интересные сборники, где читатель найдет все лучшее, что было написано за эти годы.

Вислава Шимборская упомянула как заслуживающие внимания последние поэтические сборники Ежи Харасимовича и Збигнева Херберта. В ответ на вопрос, кто из современных поэтов ей кажется наиболее интересным и какие новые имена, только входящие в польскую поэзию, ей бы хотелось назвать, поэтесса сказала:

— Одним из самых выдающихся поэтов послевоенного поколения я считаю Тадеуша Ружевича. Он, как и другой прекрасный поэт, Станислав Гроховяк,— еще и хороший драматург. Что касается молодой поэзии — мне довольно трудно ответить на такой вопрос, потому что специально я за этим не слежу.

В конце беседы пришел черед наших гостей задавать вопросы. В первую очередь они поинтересовались, с какими произведениями польских писателей в ближайшее время познакомит своих читателей наш журнал, попросили передать горячий привет и благодарность советским литераторам, в чьих переводах увидели свет их произведения на страницах наших изданий.

К. СТАРОСЕЛЬСКАЯ

Среди книг

Издано в СССР

ДВИЖЕНИЕ К РЕВОЛЮЦИИ

Нгуен Динь Тхи. Рушатся берега. Перевод с вьетнамского П. Алешина. Предисловие Б. Полевого. Москва, «Прогресс», 1970. 408 стр. Нгуен Динь Тхи. Разгневанная река. Перевод П. Алешина. Редактор М. Финогенова. Москва, «Прогресс», 1973. 480 стр.

Борис Полевой в интересном предисловии к русскому изданию романа «Рушатся берега» заметил, что Нгуен Динь Тхи, прозаик и поэт, генеральный секретарь Союза писателей Вьетнама, мог бы сам стать героем большого романа. Когда в сорок шестом началась война Сопротивления против французских колонизаторов, над колоннами бойцов, стоявших насмерть в битве с врагом, звенела «Антифашистская песня», завоевавшая огромную популярность. А автор музыки и слов песни, батальонный комиссар прославленного полка столицы, созданного для обороны Ханоя, Нгуен Динь Тхи с головой ушел в боевые будни. За плечами двадцатидвухлетнего комиссара было уже участие в подпольной патриотической организации, политическая тюрьма. Он находился среди тех, кто на знаменитом Всевьетнамском конгрессе народных представителей в Танчао накануне Августовской революции 1945 года одобрил курс на вооруженное восстание. В 1946 году он стал самым молодым депутатом Национального собрания ДРВ. В годы Сопротивления, солдат и коммунист, он нес слово партии бойцам, работал в редакциях фронтовых газет, писал стихи, составившие впоследствии сборник «Боец» (1956), рассказы (сборник «На берегу реки Ло», 1957), закончил свою первую повесть—«Вперед, в атаку!» (1951).

Молодую культуру нового Вьетнама создавали молодые. В 1954 году на Втором съезде советских писателей Нгуен Динь Тхи представлял Ассоциацию работников литературы и искусства Вьетнама. Талант писателя мужал вместе с его родной страной, вступившей на путь социалистического строительства. Он пробовал, и небезуспешно, свои силы в качестве драматурга — поэтичная пьеса-сказка «Черная лань»

(1961), он написал яркую поэму об истоках революционной дружбы вьетнамского и советского народов—«Черноморская песнь» (1959); в центре поэмы — подвиг интернационалиста, тогдашнего моряка французского военного флота Тон Дык Тханга, нынешнего президента ДРВ, который в 1918 году поднял красный флаг на восставшем французском корабле в одесском порту. В поэме воссоздан монументальный образ Ленина, вождя и трибуна:

Голос Ленина слышится, словно морской прибой.
Будто гул проносится с Востока на Запад.

В конце 50-х — начале 60-х годов во вьетнамской литературе резко усиливается интерес к многоплановому роману: одна за другой появляются книги — первые тома задуманных эпопей. Потребность художественного осмысления пройденного страной исторического пути диктует писателю выбор жанра. В 1962 году выходит в свет первый том романа «Рушатся берега», писатель вынашивает замысел второго тома, но война вносит коррективы в творческие планы...

«Я видел Нгуен Динь Тхи на аэродромах сражающегося Вьетнама в форме подполковника,— вспоминает Евгений Долматовский,— он комиссар у молодых авиаторов, видел его в пропагандистских рейдах по стране...» Нгуен Динь Тхи — всегда в гуще событий и борьбы, но он верен своей профессии. «Я могу писать днем и ночью, в тишине и при шуме,— говорил Нгуен Динь Тхи в одном из интервью военных лет,— я могу обходиться без стула и стола, единственное, без чего я не могу писать,— это перо и бумага». И вот в 1970 году появился второй, завершающий, том романа, названный в русском переводе «Разгневанная река».

Эпопея, посвященная историко-революционной теме, пронизана ощущением перспективы социалистического обновления страны. Она названа «Рушатся берега» потому, что автор имеет в виду вьетнамскую пословицу: «Когда разбушуются волны, рушатся берега». Вызревание и осуществление великого поворота в судьбах народа и стремится передать писатель.

Нгуен Динь Тхи рисует широкую многоплановую панораму жизни всех слоев вьетнамского общества накануне Августовской революции, прослеживая судьбы своих главных героев в связи с событиями второй мировой войны и тем великим историческим переломом, которым ознаменовался для Вьетнама 1945 год, памятный всему человечеству победой над фашизмом. Своеобразным историческим и человеческим содержанием наполняется роман, чуткий к пульсу социальных перемен, готовящихся в недрах колониального полуфеодального вьетнамского общества. В конкретных характерах и образах героев романа преломляется присущее Вьетнаму единение движений за национальную независимость и за социалистическое преобразование жизни. О живой преемственности традиций освободительной борьбы говорит уже одно то, что главный герой первого тома романа подпольщик-коммунист Кхак происходит из семьи, принадлежавшей когда-то к старому феодальному образованному сословию, многие представители которого играли важную роль в борьбе против колонизаторов еще в начале века,— отец Кхака томился в тюрьме после разгрома патриотического просветительского движения в 1907 году.

Кхак уезжает на нелегальную работу в Хайфон, чтобы восстановить разгромленные полицией партячейки и наладить их связь с центром после неожиданно обрушившейся волны репрессий. Самоотверженному коммунисту, который легко находит путь к людским сердцам, многое удается сделать. Но он сам становится жертвой предательства и погибает в застенке. Его дело продолжают другие, и среди них— сестра Кхака, мужественная Куен, вслед за братом она становится профессиональной революционеркой.

Движение народной жизни в романе воссоздается благодаря обрисовке множества персонажей (только в первом томе их около пятидесяти, каждый из них имеет в романе свой собственный голос). Здесь мы встречаемся с некоторыми социальными типажами, которые ранее изображались в литературе критического реализма: правитель уезда (Мон), помещик и «народный депутат» (Кхань) — читатель, очевидно, узнает в них даже некоторые черты персонажей дореволюционных произведений Нго Тат То и Нгуен Конг Хоана, изданных на русском языке; но романист каждый раз находит свой угол зрения, умеет отметить то, что до него еще не было отмечено, а самое главное — он изображает их суетную жизнь, хищничество, разврат на фоне гула приближающейся революции, благодаря чему эти образы приобретают новый смысл.

В романе немало эпизодов, отмечающих важные вехи исторических перемен; ав-

тор, однако, сторонится аллегоризма или символики. Часто такие эпизоды подчеркнуто будничны, и читатель понимает, что когда японский офицер с длинной громыхающей саблей на боку дает пощечину опешившему французскому полицейскому, это говорит о смене колониальных «хозяев» страны.

В ткань повествования в качестве важнейшей составной части замысла входят элементы интеллектуального романа. Нгуен Динь Тхи показывает, как влияние социалистических идей ширится, захватывая представителей творческой интеллигенции. Одни из самых лучших страниц посвящены рассказу об их идейных и профессиональных исканиях. Трагически складывается судьба талантливого, но непризнанного художника-реалиста Ле Ты, который умирает от туберкулеза. Самой последней его работой становится плакат, призывающий к революции. Ему явно противопоставлены модный художник Тхань Тунг, кичащийся своими убеждениями сторонника «чистого искусства». Начав с картин романтического плана (он долго рисовал по шелку бесконечных шаблонно мечтательных красавиц), Тунг кончает тем, что верноподданнейше малюет парадные портреты марионеточного императора Бао Дая и императрицы Нам Фыонг. Так романист на примере человеческой судьбы по-своему решает начавшийся еще в 30-е годы спор об общественном долге художника и его идейно-эстетической позиции.

Свой путь к народу, к социальной революции многие персонажи романа ищут, обращаясь к национальной культуре Вьетнама, которую всячески принижали колонизаторы в годы своего господства. Одаренный музыкант Тоан (он полубезработный и по вечерам играет в ресторане под названием «Галльский петух») увлечен собиранием вьетнамских народных мелодий и национальных инструментов и пытается уберечь их от забвения. Конечно, думает Тоан, этим должна бы заняться консерватория, но о какой вьетнамской консерватории можно говорить, если на карте мира нет даже самого названия страны «Вьетнам».

В писательском труде находит свое жизненное призвание бывший учитель частной школы Ван Хой. В этом образе воплотились некоторые биографические черты известного писателя Нам Као, расстрелянного колонизаторами в 1951 году. Эволюция характера Ван Хоя тонко и убедительно прослеживается в романе. Ван Хой приходит к революции и становится участником августовских событий. Роман завершается картиной завоевания народом власти.

Критика уже отмечала особую эмоциональную атмосферу романа, навеянную отчасти воспоминаниями Нгуен Динь Тхи о дорогом прошлом — революционной молодости автора, а также его опытом лирического поэта. Нгуен Динь Тхи создал убедительную и впечатляющую панораму движения Вьетнама к революции, по-своему увиденную писателем, переданную свежо, красочно, взволнованно.

Н. НИКУЛИН

О МУКАХ И РАДОСТИ ТВОРЧЕСТВА

Ян Парандовский. Алхимия слова. Перевод с польского А. Сиповича. Предисловие С. Залыгина. Комментарии В. Британишского. Москва, «Прогресс», 1972. 334 стр.

Алхимия — эта химия без формул — представляется нам сейчас неустанной погоней сквозь века за чудом, вслепую, очертя голову. Подвижнические опыты ее фанатиков, невольно оттачивавших искусство эксперимента, иногда завершались открытием, полезность которого они часто еще не могли оценить, иногда — несчастным случаем, как это было в 1595 году при дворе Зигмунта III, когда искатели «философского камня» невзначай подожгли Вавель.

Вот почему на первый взгляд нас может и озадачить название «Алхимия слова», которое видный польский прозаик, эссеист и переводчик Ян Парандовский, автор уже известных советскому читателю книг «Небо в огне» (1969) и «Мифология» (1971), дал своей книге, повествующей о производственных тайнах литературы. Впрочем, мы тут же согласимся с автором, что несомненно имеется некая доля «волшебства», частица чуда в неповторимом умении мастеров пера создавать из сочетания простых человеческих слов бессмертные художественные образы. И вспомним, кстати, «магический кристалл» Пушкина и космически броские слова Маяковского о неисповедимых путях поэзии:

— Поэзия
—вся!
езда в незнаемое...

Как известно, королевские дворцы загорались не только от неосторожности придворных алхимиков. Вместе с факелами народного гнева их испепеляли пламенные строфы бунтарской поэзии. Однако известно также, что певцы восстаний и авторы психологических романов, которые не содержат прямых революционных призывов, прежде всего и в одинаковой мере сжигали самих себя в каждодневной изнурительной работе над словом.

Обнаруживая, как всегда, эрудицию глубокого знатока мировой культуры, Парандовский обстоятельно рассказывает о специфике прекрасной и трудной литературной профессии, не упуская из виду даже мелочей, так или иначе влияющих на течение творческого процесса. В книге «Алхимия слова», подлинно энциклопедичной по своему наполнению, мы находим и важнейшие для литературы проблемы восприятия действительности, форм ее отображения, и подробный реестр орудий производства, которыми пользуется писатель,— вплоть до чернильниц, перьев и бумаги Есть тут и краткий, но щедро доку-

ментированный «финансово-экономический очерк» истории литературы с примерами, относящимися к эпохе Эллады и Древнего Рима, особенно близкой сердцу автора, к XIX веку и к новейшим временам. Благодаря Парандовскому мы получаем возможность проследить сложный путь литературного произведения от рукописи до книги и его дальнейшие метаморфозы при очередных переизданиях. Увидеть писателя во взаимоотношениях с издателем, редактором, корректором, критиком, коллегами по перу и, наконец, читателем, которого Парандовский именует «скрытым союзником».

Мы знакомимся с разными стилями писательской работы, то заглядывая украдкой вместе с Мопассаном в уединенный кабинет Флобера, где великий писатель с багровым от напряжения, покрытым испариной лицом мучительно отшлифовывает слова, то вместе с самим Парандовским присутствуем при том, как внешне невозмутимый Герберт Уэллс, прохаживаясь по комнате, с одинаковой легкостью диктует секретарю и простой диалог, и сложный психологический пассаж.

Литература уважает себя, любит повторять автор книги. Но она также заслуживает всеобщего уважения, ибо, как и другие непреходящие ценности, создается напряженнейшим, добровольно-каторжным трудом. На первое место в «Алхимии слова» выдвигается именно писатель-труженик, несущий на своих плечах бремя сладостной кабалы творчества. Парандовский организует своеобразную перекличку веков, смысл которой заключается в том, что настоящая литература всегда требует от художника титанических усилий, одержимости.

Вот говорит «первый литератор нового времени» Петрарка: «Причесываясь и бреясь, я имею обыкновение читать или писать, слушать, как мне читают вслух, или диктовать писцу. То же самое и во время трапезы или прогулки верхом. Ты удивишься, если я тебе скажу, что не раз работал, сидя на коне, так что по возвращении домой у меня была готова и песнь. На пирах в моем сельском уединении при мне всегда перо, и я откладываю его лишь из уважения к приезжему гостю. У меня дома на всех столах письменные принадлежности и таблички. Нередко я даже просыпаюсь ночью, впотьмах нашариваю перо у моего изголовья и — пока не исчезла мысль — записываю, а назавтра едва могу разобрать написанное в темноте. Вот каков мой образ жизни и мои занятия...»

А это — пять веков спустя — говорит Флобер в период работы над романом «Мадам Бовари»: «...веду мучительную жизнь, лишенную всяких радостей, и меня поддерживает только мое бешеное упорство, временами оно плачет от бессилия, но не сдается. Я люблю мою работу любовью безумной и дикой, как аскет, власяница раздирает мне тело. Часто ощущаю в себе такое бессилие, когда не могу найти ни одного нужного слова. Измарав много страниц, убеждаюсь, что не написал ни одной удавшейся фразы, тогда падаю на оттоманку и лежу отупелый, погруженный в тоску. Ненавижу себя и обвиняю за безумство, заставляющее меня гнаться за химерами. Но вот проходит каких-нибудь четверть часа, и сердце начинает радостно биться...»

Парандовский говорит не только о муках творчества, но и о радости, испытываемой художником, когда напряженный поиск единственно верного слова увенчивается счастливой находкой. А еще сильнее эта радость от общения с читателем, благожелательно встречающим готовое произведение. Автор «Алхимии слова» выступает принципиальным сторонником искусства, понятного людям, возвышающего их. Вот почему явная неприязнь (причем не только на страницах рецензируемой нами книги) ощущается в его упоминаниях о литераторах-коммерсантах, злостных графоманах, снобах, декадентах и левых «бунтарях», которые засоряют литературу, мешают выполнять ее гуманную миссию. По этой же причине он напоминает об ответственности писателя, особенно перед молодежью, в своем эссе «В союзе с читателем» (1968), а в «Алхимии слова» проводит мысль о желательности широких, творческих, исполненных дружеской требовательности дискуссий, какие вели, например, Тургенев и его французские собратья.

У книги «Алхимия слова», как и у многих произведений польской литературы, создававшихся в период второй мировой войны, длинная и героическая история, далеко не полностью переданная в авторском предисловии. Так, ничего не сказано о том, что первоначальная рукопись ее, а также сам писатель и его семья оказались у самой передовой линии, на Магнушевском плацдарме осенью 1944 года под артобстрелом, который, кстати, был впоследствии ярко запечатлен Парандовским в романе «Возвращение к жизни» (1961). Книга неоднократно издавалась, разрастаясь за счет новых впечатлений и мыслей, порой подсказанных вопросами и пожеланиями читателей. Она впитала огромный, разносторонний материал, который скапливался у автора за долгие годы путешествий, скрупулезных исследований, работы над собственной прозой и переводами, активного сотрудничества в периодической печати, литературно-общественной деятельности — годы, богатые личными встречами с писателями почти всех континентов.

В романе «Возвращение к жизни» профессор истории Булат, действуя как ненавязчивый, но необходимый опекун, помогает художнику Анджею Явеню, вырвавшемуся из фашистского застенка, снова увидеть жизнь в оптимистических тонах. В книге «Алхимия слова» Ян Парандовский сочетает в себе мудрого историка и проникновенного художника слова. Отсюда ее достоверность, основательность и тонкий жизнеутверждающий лиризм.

М. ИГНАТОВ

Издано за рубежом

«ДОЛГОЙ, ДОЛГОЙ БЫЛА ДОРОГА...»

Armand Monjo. Né du soleil des pierres. Journal-poème des années 30. Paris, Pierre Jean Oswald, 1972.

Говоря о книге воспоминаний, обычно говорят о книге итогов. Новый сборник французского поэта Армана Монжо «Рожденный из солнца камней» — это рассказ о жизненном пути длиной в шестьдесят лет.

С момента появления сборника «Мир настоящий» (1965) французский читатель встретился еще с двумя книгами Армана Монжо: «Одиннадцать поэм Вьетнаму» и «Цена мира», вышедшими в свет в уникальном издании Армана Монжо и Жака Гошрона «Le poème à la main» — «Рукописные стихи». Деньги, вырученные от их распространения, впоследствии дали издателям возможность приобрести аппарат искусственного сердца и отправить его во Вьетнам. Эти две небольшие, нарочито наивно иллюстрированные, как бы написанные от руки книги — мостик между «Миром настоящим» и новой книгой поэта.

Арман Монжо 1965 года — это мастер тонкой лирической миниатюры, изящной и нервной. Его сборник — цепь стихотворений-афоризмов, связанных трудноуловимыми ассоциациями:

Птицы меня разбудили
Я разбудил огонь песенку и часы
Я тебя разбудил
И ты разбудила сад

На камне бесполом
Женственный запах розы

Тебя медленно пьют мои ноздри
Каждый из пальцев моих на тебя смотрит в лупу[1]

В «Рожденном из солнца камней» поэт обращается к сложной архитектонике, множеству тем, из концентрических колец которых медленно вырисовывается авторский замысел. Названная Арманом Монжо поэмой, эта книга скорее представляет собой ряд стихотворных циклов-глав со сквозным сюжетом. Каждая глава, как и каждое входящее в нее стихотворение, вполне самостоятельна. Но тем большее значение придает поэт жесткому схематизму композиции: постановка вопросов — хронологическая последовательность событий — выводы. Эта суховатая логичность построения нередко сковывает Армана Монжо.

Книга эта сложная, во многом экспериментальная. Мысль автора подолгу кружит вокруг одного предмета, лирический сюжет обычно не столько развивается, сколько рассматривается с различных точек зрения, слова и образы двоятся в сознании поэта.

У нового произведения Армана Монжо есть подзаголовок «Дневник-поэма 30-х годов», и это действительно дневник, тетрадь записок, как исповедь откровенных и как исповедь же беспощадных. Дневник-воспоминание написан сегодня, и в этом его смысл, ибо цель — не поиск утраченного времени, а его постижение. Отдельные главы-циклы со своими строго определенными темами, казалось бы, следуют только одной логике, логике воспоминаний, но основой поэмы становится не возвращение в прошедшее («Вспоминать значит ли снова жить?»), а пафос понимания поэтом непонятого тогда, на мостовых Парижа «великого дня Народного фронта».

Ключом к книге может послужить название одной из глав — «Париж перед потопом». Монжо скрупулезно исследует самый воздух предвоенных лет, сделав объектом исследования хрупкую ткань полувоспоминаний-полуощущений.

В первой части поэмы Арман Монжо разворачивает картины раннего детства души, где «вспоминаются лишь ощущения». Сознание цепляется за внешние приметы бытия, и поэт прилежно за ними следует:

Вода чтоб ощущать наготу
Воздух чтоб в нем расти
О солнце не будем мы говорить
Звенела кровь от его цикад
Хвоя скрипела в крови...

Отдельные зарисовки-вставки, стихи, не связанные друг с другом, простые реалии жизни: Воклюз, родина поэта, школьницы-пансионерки, детское одиночество, родители, игры, первое горе и первые муки творчества, замкнутый мирок первой любви и хаос, обступающий со всех сторон, скорее ощущаемый, чем передаваемый в стихе. Медленное движение лет и нарастающее смятение:

...Что за голод земли
меня грыз? Что за жажда ветров?

В этой, кажущейся простым перечислением, экспозиции уже практически все темы поэмы. Одиночество отторженной от мира души, чье восприятие действительности ограничено вкусом, цветом и запахом, сменяется яростным поиском смысла жизни, и повесть о мальчике сменяется повестью о поколении. Глава «Париж четырех ветров» начинается знаменательной строкой: «Долгой, долгой была дорога, чтобы догнать людей»,— шаг за шагом проходим мы вместе с Арманом Монжо его путь к людям.

Постепенно уходит фиксация действительности. Сознание юноши разрывается

[1] Здесь и далее — стихи в переводах автора рецензии.

между противоположными политическими идеями и течениями, мечется, не в силах еще осмыслить «время оттепели и пробуждения». Но зато почти мальчик, который «ни во что не верит и любит все», физически ощутимо погружает нас в раскаленную предгрозовую атмосферу Парижа 30-х годов. «Париж перед потопом»—это кульминационная глава-стихотворение книги. Из разрозненных фраз, предметов, имен-символов, обрывков радиопередач, лозунгов, кусочков диалога на фоне предэкзаменационной зубрежки рождается образ времени. Свободный стих вбирает в себя строки газетной хроники, балансирует на грани риторики. Метафора Монжо несколько абстрактна. Слово становится многозначным. Иногда одно слово, например «одиночество», иногда целая строка, дробясь в различных отрывках и возвращаясь снова и снова, обрастает все новыми значениями. Упоение жизнью и предощущение борьбы доминируют в этой части поэмы, и через всю нее проходит строка Гарсиа Лорки «Усни, мой лепесточек, конь воды не хочет», и она же становится переходом ко второй кульминации «Рожденного из солнца камней» — главе «Потом все стало цвета Испании».

Девятнадцатого августа тысяча девятьсот
тридцать шестого года
В городке где и смерть взяла имя цветка
Убийцы-франкисты расстреляли поэта
Когда умру — говорил он —
Схороните меня с гитарой в речном песке
Пепел и кровь превратились в песок
нашего счастья

. . . . . .

В театре теней залп
Дал последний звонок
Декорации Испания Гренада и мир
Режиссер-постановщик командир взвода
Освещенный партер — катафалк
И половина зрителей никогда не увидит
сорокового года.

Единение людей, рожденное в «вине огня» Народного фронта, пройдя через годы войны, обретает свою истинную ценность. «Рожденный из солнца камней» — книга во многом горькая: тяжелая растерянность и отчаяние перед «анонимным лицом войны» написаны Арманом Монжо с беспощадной откровенностью. Сознание причастности своей судьбы к судьбам человечества, понимание своего места в жизни, окончательно найденного в страшные дни Франции в борьбе с фашизмом,— все это приходит к Арману Монжо лишь после долгих лет испытаний. И главной ценностью предвоенных лет становится «братство борьбы». Просветленный итог книги выстрадан.

Ты помнишь тихое зимнее утро
С добрым теплом его снега
На нежности твоего тела?
Мы теперь западню миновали
Я знал что на этой войне уцелею
Моя рука в твоей Тебе радость веки
смыкала

. . . . . .

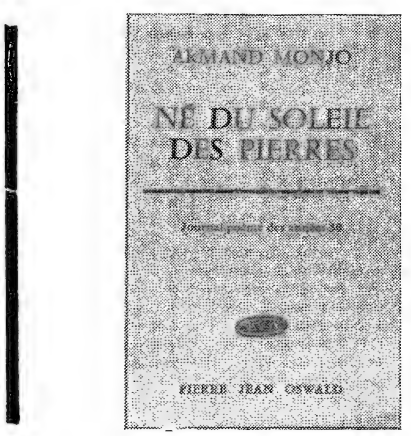
Ты помнишь тихое зимнее утро
Когда жизнь верить в нас начинала?

Последний раздел книги — «Внимательный к жизни» — это сумма простых истин, добытых на жизненном пути, но сама простота уже другая — в ней мудрость.

Два глагола объединяют все стихи цикла: «любить» и «строить», и основной итог книги для Армана Монжо заключен в их равенстве. Мир предстает перед поэтом как «дом, подлежащий созданию», и призыв к любви становится призывом к действию. «Не переставай любить» означает теперь: «не переставай создавать своими руками», не прекращай борьбы, «остановка запрещена» и каждый день требует от тебя начинать свой путь заново.

Этот мир из тебя и меня и всех нас
Этот мир из крови корней и камней
Этот мир трагической красоты нищеты
Этот хрупкий и страшный наш мир
Мы должны каждый день вновь учиться
любить.

Н. СТРИЖЕВСКАЯ



ПОБЕГ ИЗ НЕРЕАЛЬНОСТИ

P. M. Pasinetti. Domani, improvvisamente. Milano, Bompiani, 1971.

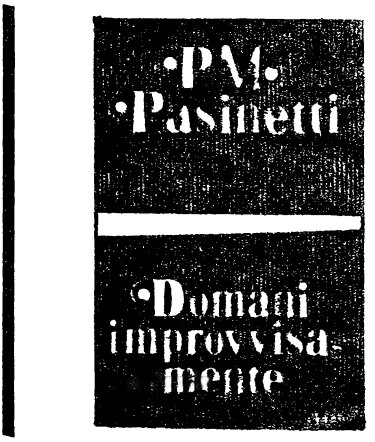
События, изображенные в романе-гротеске известного итальянского писателя П. М. Пазинетти «Завтра, внезапно...», могли бы, пожалуй, показаться фантастическими, но даже газетная хроника наших дней заставляет отбросить подобное предположение.

Герой романа — известный журналист, названный Пазинетти Родольфо Спада, в послевоенные годы прославился очерками, поднявшими тираж еженедельников, в которых он печатался, привлекая внимание читателей к актуальным проблемам жизни своей страны. Однако настал день, когда эти газеты перешли в собственность «одной из мастодонтальных промышленных групп», и это, по мнению героя романа, означало «отказ от индивидуальности, разума, ощущения полноты жизни».

Приобретшие оптом целую сеть еженедельных изданий, промышленные корпорации, в том числе заокеанские, поручили ведение дела технократам-менеджерам, которые, принявшись за создание «новых структур», разработку чудовищных бюрократических «органиграмм», не пренебрегают и полицейской слежкой. Джозуа К. Бенн, главный американский администратор новой издательской корпорации. весьма недвусмысленно определил цели осуществленной реорганизации: борьба против «предательской толерантности», «хорошая чистка», «ликвидация интеллектуальной и моральной подрывной деятельности» — словом, «экология душ человеческих».

Позабудем на время о романе и обратимся к газетной хронике недавних времен, подтверждающей реальность событий, изображенных в романе Пазинетти. 29 октября 1972 года итальянский еженедельник «Эспрессо» сообщил: «В субботу утром стало известно, что издательство «Бомпиани» (кстати, издательство, в котором вышел сам роман Пазинетти.— Г. Б.) перешло под контроль «Этас-Компасс», в свою очередь зависящей от фирмы «Нокс трест», от «Дейли миррор», от братьев Кораччьоло... Двадцать лет тому назад и «Этас-Компасс» была маленьким издательством, которое, подобно американскому «Макгроу хилл», выпускало журналы по сельскому хозяйству, по нефтяному делу, производило упаковочные материалы. Затем последовал выпуск ежегодника и таких журналов, как «Дороги и движение на них», «Подводный мир», «Наука» — итальянский вариант «Сайентифик американ». Всего четыре года тому назад — соглашение с издательством «Борингъери», присоединение издательства «Адельфи», приобретение газет. Словом, маленькая империя в состоянии экспансии. Пугает ли это? Да, пугает!»

Речь идет не только о процессе концентрации издательского дела, не только об иностранных капиталовложениях. Перед нами откровенное, разбивающее либеральные иллюзии стремление к установлению прямого контроля финансового и промышленного капитала над общественным мнением, над массовыми средствами информации.



В романе Пазинетти, написанном в 1971 году, когда этот процесс в Италии лишь начинал принимать массовый характер, особое внимание уделено изображению абсурда этой «обновленной» машины манипулирования сознанием.

«Агрессия подобного рода,— утверждает герой романа Родольфо Спада,— наиболее характерная черта западного мира и, думаю, таких восточных стран, как Япония».

Сам он, человек, наделенный «удивительной способностью контакта с живой действительностью», бежит из «захваченного противником района», скрывается от враждебного ему мира ирреальности, порождаемой капиталистической технократией в полуразвалившейся вилле неподалеку от Венеции.

Общение с природой, дружба с молодежью, которую он учит адекватному восприятию мира, любовь к своей дочери Дженцианелле помогают ему сохранить цельность и осмысленность восприятия жизни.

Родольфо Спада сближается с одним из местных учителей, человеком, обладающим «уменьем видеть и воображением». Родольфо сам подумывает, не занять ли ему место внештатного учителя в местной школе.

«Бегство» Рофольдо Спады, которого обуревает «страстное стремление к ясности, к свету разума, к добру», на наш взгляд, было бы неверно рассматривать как некое проявление современного эскепизма. Цель Родольфо понятна: «В общем распаде интеллекта не только сохранить свой собственный разум, но сохранить его в свободном движении, суметь отточить его каким-либо фантастическим и остроумным способом».

Ему в романе противостоит генеральный и ответственный секретарь новой издательской корпорации Бенито Джузеппе Крочетти Видал, «механический человек», вскормленный «витаминами и протеинами». Его блестящая карьера прежде всего связана с отсутствием каких-либо эмоций, хоть сколько-нибудь напоминающих человеческие. Вдобавок он неутомим в изобретении абсурда, который им выдается за «технократическую эффективность». Бенито Джузеппе (свои бесчисленные циркуляры он подписывает «Б. Дж. К. В.») обладает еще одним даром: совершенной непонятностью произносимых им речей, заполненных псевдонаучными штампами, вроде «системы дифференцированных омогенных приоритетов», «глобальной проверки перманентных и автовитализирующихся факторов», «органической интеграции в новые структуры».

Автор романа отнюдь не стремится представить этот гротескный экземпляр менед-

жеризма как некое досадное исключение. Напротив, «таких, как Видал,— очень много. Они видны повсюду; у них одинаковые глаза, очки, губы, улыбка, зубы, жесты, голос».

Бенито Джузеппе — весьма типичная и вместе с тем пародийная фигура американизированного технократа, воплощение иррациональной рациональности современного капитализма. В гротескном образе Видала, «человека с натурой сыщика, великого коллекционера бесполезных данных, составителя схем, которыми нельзя пользоваться», прочерчиваются и другие черты — черты современного фашиста, выполняющего вполне социально определенную задачу подавления мысли.

Еще уродливей эти черты выступают в фигурах Оккьето и Перитти — руководителей сыскной службы корпорации, где на каждого служащего, на каждого журналиста заведено полицейское досье, пополняемое данными, поступающими от заокеанских «служб расследования».

И в этих зловещих фигурах также можно обнаружить приметы времени. О возрастающей, получающей поддержку извне провокаторской деятельности неофашизма в Италии достаточно убедительно свидетельствует хроника политической жизни последних лет.

Людей типа Оккьето и Перитти от фашистских полицейских прежних времен отличает, пожалуй, то, что сегодня «плоды» их подлых трудов не просто подшиваются в досье, а хранятся в «памяти» электронных машин.

В конечном счете для сторонников самых «крутых мер» и Видал оказывается фигурой неподходящей — на посту руководителя его сменяет сыщик Оккьето, «отличившийся» при нелепом расследовании несуществующего заговора против некоего «вице-президента», на самом деле придуманного американской журналисткой в рекламных целях.

Перед читателем нового романа Пазинетти проходят жестоко высмеиваемые автором персонажи, чья причастность к происходящим событиям нередко становится соучастием. Здесь и невежественный представитель «нового авангарда» Трендолин, отлично понимающий, что сегодня «авангард — это деньги», и трусливый, запуганный собственными комплексами режиссер эротических фильмов Ферро, который стремится превратить подготавливаемый против него процесс в хороший рекламный «хеппенинг», и бывшая любовница Родольфо — вдова американского миллионера Дафне, расходующая свою энергию на болтовню о спасении Венеции, мешая своей болтовней любым практическим мерам по ее спасению.

Известный аргентинский исследователь современного искусства Томас Мальдонадо в своей интересной книге «Утопия проектирования» показал на примере экологии, что в условиях современного капитализма превращение самых насущных проблем в модную тему для бесконечных газетных статей становится наиболее эффективным способом уйти от самой проблемы, сделать вид, будто ее решением занимаются, а потом вытеснить эту проблему из сознания масс, ибо мода в условиях такого общества, в том числе и «научная мода», весьма кратковременна и требует скорой замены.

Среди других персонажей книги выделяется колоритная фигура брата Родольфо — Камилло Спада, посла в отставке. Он также живет в мире ирреальности, но эта ирреальность иного рода, ирреальность бюрократии вчерашнего дня, чуждой и живой жизни, и подлинной памяти о прошлом.

В финале романа молодой журналист Болдрин — ученик и друг Родольфо Спады — в порыве гнева говорит американскому руководителю группы Джозуа К. Бенну: «Наш боевой клич все тот же: верю в людей, которые не стали абстракцией, в их взгляды и в их слова, сказанные друг другу, верю, что всегда будет завтрашнее утро, несущее новую ясность, верю в возможность здоровых и процветающих общественных институтов, которые осушат гнилые болота и будут держать на ладони Венецию в солнце и в туман, днем и ночью. Вы ищете смерти, вы сеете смерть, убирайтесь отсюда!»

Разумеется, известный романист Пазинетти, хорошо знающий не только свою страну, но и Америку, понимает, что для достижения этой цели одних заклинаний недостаточно. Однако в своем романе-памфлете он лишь реалистически изобразил жизнь определенных слоев итальянской интеллигенции наших дней, остроту ее реакции на мир ирреальности, порождаемой капиталистической технократией, изобразил гротескными красками некоторые из ее типических пороков.

Г. БРЕЙТБУРД

ДВЕ ПЬЕСЫ ТОМА СТОППАРДА

Tom Stoppard. After Magritte. London, Faber, 1971.

Tom Stoppard. Jumpers. London, Faber, 1972.

В одной из своих статей 1961 года английская романистка Айрис Мердок писала: «Мы совсем не свободные личности, повелевающие тем, что видим вокруг себя: мы путники, застигнутые ночью врасплох, охваченные ужасом бытия, которое хотелось бы преобразовать фантазией». С тех пор прошло более десяти лет — но немало современных английских писателей могли бы вслед за Мердок повторить эти слова. В том числе, пожалуй, и драматург Том Стоппард.

Имя Стоппарда впервые прозвучало после театрального фестиваля в Эдинбурге (август 1966 года), где была поставлена его пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Весной следующего года пьесу показали в Лондоне в Национальном театре — и Стоп-

пард был признан одним из обещающих молодых драматургов Англии. Последующие пьесы Стоппарда — «Настоящий инспектор Хаунд», «Мост Альберта» и «Вас зовут Глэд, а меня Фрэнк» — подтвердили, что английская «новая драма» обрела еще одного оригинального выразителя.

В дом персонажей пьесы «После Мэгритта» (1971) мы попадаем в довольно странный день. Темно — перегорели как-то сразу все лампочки, мебель сдвинута в угол, на потолке загадочное сооружение типа противовеса. с одной стороны которого — люстра, с другой — корзинка с фруктами. На гладильной доске лежит Мать. «Она могла бы быть мертвой, но она жива»,— указывает Стоппард. Кроме Матери в комнате еще двое: голый до пояса Херрис и Тельма, его жена, полностью экипированная для выхода в свет. За окном маячит фигура полицейского. И ситуация, становящаяся центральной в этой пьесе, столь же гротескна, сколь и эта безмолвная преамбула к ней. Спор начинается из-за случайно встреченного на улице прохожего. «Мои мысли каждый раз возвращаются к тому одноногому футболисту, которого мы встретили вчера»,— говорит Тельма. И начинается... Выясняется масса подробностей: загадочный неизвестный был хром. слеп, под мышкой он нес черепаху (или футбольный мяч). Один говорит, что у него была большая седая борода, другой уверяет, что он был молод, а борода была на самом деле... мыльной пеной от бритья. Наконец незнакомец превращается в бродячего араба, играющего на лютне. Тельма говорит: «Нам надо было остановиться и сфотографировать его». Херрис отвечает: «У нас не возник бы этот спор, если бы мы сидели дома, как я предлагал».

Однако не поиски истины интересуют персонажей пьесы. Напротив, невозможность найти истину доводится в пьесе до абсурда. Так выявляется одна из характернейших особенностей абсурдистского театра — в мире, где все зыбко и неуловимо, где граница между реальным и ирреальным неясна и недоступна для понимания, определить подлинную сущность человека нельзя. Внезапно в разгар спора появляется инспектор полиции Фут и констебль Холмс. Фут обвиняет семейство Херрисов в... похищении того самого человека, о котором шел спор, в осуществлении противозаконных хирургических операций и заставляет констебля искать в комнате обрубки ног! Итак, на первый взгляд все дальнейшие события развиваются в струе подчеркнуто комедийной.

При чтении стоппардовской пьесы не раз возникают параллели с абсурдистскими комедиями другого английского драматурга «новой волны» — Н. Ф. Симпсона. Параллели и художественно-стилистические — например, с пьесой «Однобокий маятник», и философские — с пьесой «Дыра», где, как и в «Мэгритте», описывается нелепый и абсурдный спор персонажей относительно вырытой в земле ямы.

Для симпсоновского варианта театра абсурда вообще характерен элемент сатиры, пародии, насмешки. У Симпсона пародированию, гротескному шаржу подвергаются постановка судебного дела в Англии (в пьесе «Однобокий маятник»), полиция и законность (в пьесе «Кресто»). У Стоппарда сатирический элемент значительно мягче, приглушеннее, чем у Симпсона, но он тем не менее вполне ощутим: все речи и деяния пришедших полицейских не только абсурдны, но и элементарно бессмысленны. Чего стоит один Фут, сначала потерявший ордер на обыск, потом выдвинувший против Херрисов нелепые обвинения, а затем заявивший, что сам был свидетелем того, что преступление... не произошло.

На этом пьеса кончается. А чем же она кончилась? Да ничем. Известный английский театровед Мартин Эсслин пишет: «Театр абсурда не стремится... рассказать о судьбах людей, существующих вне внутреннего мира автора... цель театра абсурда — представить некую ситуацию. Это театр ситуации, а не театр события». И пьеса Стоппарда также лишь создает ситуацию, которая может встретиться в гротескном и недоступном для понимания окружающем мире.

Драматургия Стоппарда во многом показательна для того направления, которое принял в Англии модернизм за последние годы, отражая мучительную озабоченность значительной части интеллигенции, занятой безнадежным поиском себя, своего места в этой гнетущей жизни. Как личность человек — ничто, он ничего не может, и потому не составляет никакого труда найти ему замену (или «дублера», пользуясь терминологией самого Стоппарда.) Таков тот печальный вывод, который напрашивается сам собой у каждого, прочитавшего эту пьесу. Подобный подход к человеку порожден экзистенциалистским мироощущением, из которого Стоппард черпает наиболее пессимистические мотивы и суждения. А приемы театра абсурда лишь подчеркивают именно эти аспекты экзистенциализма.

Если одноактная пьеса «После Мэгритта» прошла почти незамеченной, то пьеса Стоппарда «Прыгуны» (1972), поставленная Национальным театром, привлекла пристальное внимание критиков.

В доме профессора философии и морали Джорджа Мура и его жены Дороти Мур (или попросту Дотти), бывшей певицы мюзик-холла,— небольшая вечеринка, в которой наряду с другими гостями (их мы, впрочем, так и не увидим) принимают участие восемь «прыгунов» — акробатов, выделывающих на глазах у публики различные трюки. Внезапно раздается выстрел — один из «прыгунов» падает мертвым. Таково начало той детективной линии, которая определяет чисто внешний сюжет пьесы и почти не поддается пересказу и которая составляет один из элементов творческой манеры Стоппарда: умение облекать серь-

езную сущность своих пьес в гротескно-детективную оболочку. И в «Прыгунах» на сцене происходит расследование «дела» об убитом гимнасте — а в это самое время, как бы между прочим, ведется серьезный разговор персонажей пьесы, за которым стоят мучительные раздумья автора.

Диктуя секретарше доклад, с которым Джордж Мур должен выступить на предстоящем симпозиуме, он задается вопросом «Есть ли бог?». О боге герои пьесы говорят много — однако, как то следует из слов Дотти, в бога теперь верят по привычке, следуя традиции, а в общем-то потому, что надо же во что-нибудь верить. Джордж говорит: «Если бог существует, то он существовал и до появления религии. Он — бог в философском смысле слова»... И бог у Стоппарда становится неким духовным идеалом, который необходим, пока существует человечество. Стоппард не приемлет «рационально» устроенный мир. По его мнению, «если бы рациональность являлась критерием, мир являл бы собой гигантское поле, засеянное соевыми бобами» (соевые бобы — как символ того, что нужно человеку для элементарного поддержания бренной плоти, все прочее — лишнее). В этой фразе — активное неприятие Стоппардом буржуазного образа жизни, с его стремлением к «благополучию», за которым — духовная пустота, безразличие и гнетущая ординарность. А Стоппард не хочет быть ординарным. Отвергая такой «рациональный мир», он утверждает «иррациональное, эмоциональное, эксцентричное» в качестве «тех элементов человеческого духа, которые превращают разум в благотворную силу».

В «Прыгунах» находят воплощение и мысли, знакомые уже по «Мэгритту» — об относительности наших представлений о реальном мире, невозможности до конца понять его. Причем здесь Стоппард идет дальше, считая, что не только мысли, но и слова, в которые они облекаются, также предательски неточны, не способны воплотить истинную сущность вещей. «Слова предают мысли, которые они должны выразить. Даже максимально обобщенная истина становится похожей на какое-то судоговорение, попав в ловушку (!) языка, речи»,— заявляет Джордж Мур.

Не приходится говорить о наличии в пьесе «Прыгуны», равно как и в «Мэгритте», каких бы то ни было человеческих характеров. Философ Джордж Мур, психоаналитик Арчи, полицейский инспектор Боунз — все это различные ипостаси самого Стоппарда, а происходящий на наших глазах спор между ними — лишь отражение душевного состояния писателя, охваченного противоречивыми раздумьями, ищущего точку опоры — и не находящего ее.

С одной стороны, Стоппард сомневается в существовании «абсолютной» истины, твердых критериев: для него всякая истина экзистенциальна, то есть субъективна. «Хорошие качества в человеке или в музыке зависят исключительно от нашей точки зрения»,— так заявляет Джордж Мур. И продолжает: «Крайне удивительно, что такие понятия, как «честь», вообще существуют. Ведь что же такое честь? Что такое гордость, позор, дружество, великодушие и любовь? Если это всего лишь инстинкты — то что такое инстинкты?»

С другой стороны, устами Джорджа Мура он утверждает, что поиски истины, высказывание правды, выполнение взятых на себя обязательств является одним из элементов нравственности человека, его человеческой сущности. «Ложь не только греховна — она просто антисоциальна»,— говорит Джордж Мур. Значит, все-таки ложь существует? А если есть ложь, то должна быть и правда? Объективная правда, не зависящая от наших личных взглядов, симпатий и антипатий. Но нет — суждения Стоппарда о правде, истине в достаточной степени неясны и относительны. Ведь философы — это лишь «прыгуны», способные переворачивать все с ног на голову.

Однако за всем этим чувствуется сарказм писателя, познавшего всю фальшь, скрывающуюся за внешней благопристойностью мира, окружающего его героев. Стоппард смеется и издевается, но за издевкой — подлинные горечь и трагизм, пробивающиеся сквозь все многочисленные фарсовые наслоения; все это требует решения, требует ответа.

И нельзя не услышать авторский голос в словах Арчи, врача-психоаналитика: «Вся кий эксгибиционизм — это призыв о помощи, но призыв о помощи — это всего лишь проявление эксгибиционизма». Да, призыв о помощи — всего лишь эксгибиционизм, стремление сделать что-то напоказ, привлечь к себе внимание. Хотя несколькими страницами позже тот же Арчи заявляет: «Человек — высшая форма жизни: у него есть обязанности, у него есть права... обычно лучше быть добрым, чем жестоким». И дальше: «Даже если за всем этим стоит какое-нибудь загадочное божество, наша склонность к добру или злу непременно определяется нашим собственным выбором действий: выбор — вот истинная возможность человека». То есть невзирая на то, существует ли бог, человек сам выбирает, быть или не быть добрым, гуманным, человечным. И отдавая предпочтение добру, человек утверждает в себе человеческое — такова финальная мысль Стоппарда.

Пьеса Тома Стоппарда «Прыгуны» была признана лондонскими критиками лучшей пьесой 1972 года. И причина этого прежде всего в том, что вопросы, которые ставит Стоппард,— это вопросы жизни каждодневной и реальной, вопросы важные, животрепещущие, наболевшие. «Прыгуны» — характерный сколок состояния умов определенной части сегодняшней английской интеллигенции, которая, как и сам Стоппард, не знает ответов на поставленные жизнью вопросы. Это воистину те самые «путники, охваченные ужасом бытия», о которых писала Айрис Мердок.

Ю. ФРИДШТЕЙН

Из месяца в месяц

АЛЖИР

ТЕАТР — АГРАРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Около года назад недалеко от Орана было начато строительство новой деревни Эль Мейда. Среди строителей — много студентов, ведущих разъяснительную работу с крестьянами: аграрная революция сейчас самое актуальное событие в жизни алжирского народа. В гости к строителям приезжали артисты Оранского театра. Они показали спектакль «Эль Мейда».

Пьеса о строительстве новой деревни была ими написана коллективно. В ней рассказывается о трудовых буднях строителей, о работе студентов среди тех крестьян, которые еще не осознали значения аграрной революции, о сопротивлении крупных землевладельцев. Как сообщает газета «Эль Муджахид», Эль Мейда является первым пунктом большого турне оранских артистов по сельским районам.

Оранские актеры готовятся к выступлениям перед жителями деревни Эль Мейда.

(Газета «Эль Муджахид»)

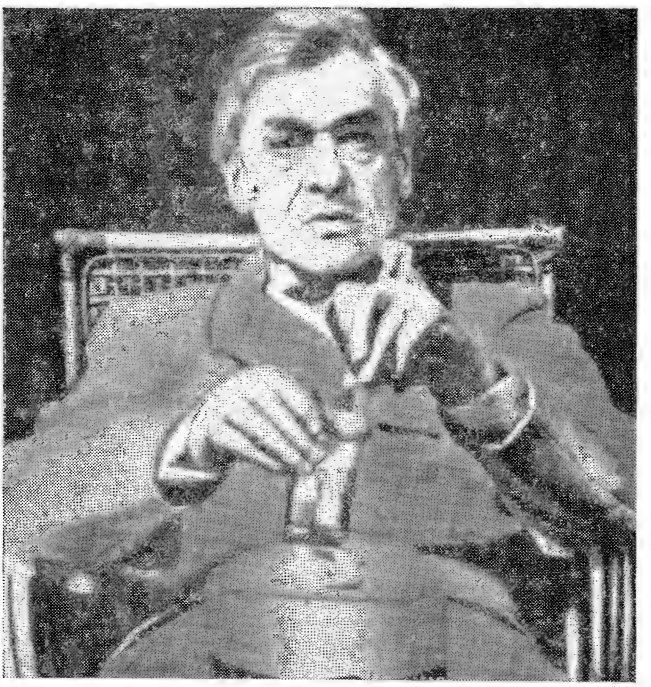
АНГЛИЯ

ПОЛ СКОФИЛД ВСПОМИНАЕТ

В английской печати проходила дискуссия о целесообразности дальнейшего проведения в Лондоне так называемых «Сезонов театров мира» (в рамках этих ежегодных «сезонов» в Лондоне показывали спектакли, в частности, и крупнейшие советские драматические коллективы). Главный редактор журнала «Плейз энд плейерз» Питер Энсордж попросил высказать свою точку зрения на этот счет знаменитого актера Пола Скофилда. Мнение Скофилда, пишет Энсордж во вступлении к опубликованному в журнале интервью, тем более заслуживает внимания, что этот, по словам интервьюера, «театральный титан» наиболее часто представлял английское сценическое искусство за рубежом и в его репертуаре за последние годы было больше пьес иностранных драматургов, чем у какого-либо другого выдающегося английского актера.

Скофилд сказал, что знакомство со спектаклями, показанными в Лондоне зарубежными театрами, оказало несомненно воздействие на его творчество. В качестве примера он привел одно из лучших своих сценических созданий последних лет — образ Хлестакова в гоголевском «Ревизоре». Спектакль, по словам Скофилда, был во многом результатом знакомства режиссера Питера Холда с «Мертвыми душами», показанными в Лондоне Московским Художественным театром.

Скофилд вспоминает свою первую гастрольную поездку в Советский Союз в 1955 году, когда он играл на московской сцене Гамлета в спектакле, поставленном Питером Бруком: «Наблюдая за работой актеров Московского Художественного театра, я открывал для себя совершенно новый мир». Знакомство с Художественным театром было продолжено три года спустя, когда



Пол Скофилд — в роли британского дипломата в пьесе Кристофера Хемптона «Дикари».

(Журнал «Плейз энд плейерз»)

МХАТ показывал свои спектакли в Лондоне. Более всего Скофилда поразила, по его словам, ансамблевость исполнения, необыкновенная сыгранность труппы, постоянная связь между партнерами. «Я думаю, это следствие того, что они работают вместе в течение долгого времени. Я никогда в своей жизни не видел ничего подобного — даже в самых лучших спектаклях, ставившихся в Лондоне... В наших спектаклях нет ансамбля».

Помимо экономических причин, полагает Скофилд, создание в Англии постоянных трупп затруднено отсутствием единого стиля игры у английских актеров. «Английского стиля не существует. Ставя Шекспира или Щедрина, можно добиться некоего подобия стиля. Но источник его скорее драматургия, а не органическое творчество постоянного коллектива актеров».

Последняя по времени актерская работа Скофилда — исполнение им центральной роли в новой пьесе Кристофера Хэмптона «Дикари», поставленной на сцене театра «Роял корт». Действие пьесы происходит в Бразилии; тема ее — бесправное положение бразильских индейцев. Скофилд играет британского дипломата, которого похищают в политических целях представители ультралевых организаций. Мнения критиков о пьесе разноречивы, однако работа Скофилда получила единодушно высокую оценку.

«НЕМНОЖКО ПЕСЕН И ТАНЦЕВ»

Так называется новый сборник рассказов молодой английской писательницы Сьюзен Хилл, завоевавшей своими произведениями авторитет одной из самых одаренных романисток, пришедших в литературу в 60-е годы. Ее роман «Ночная птица» был удостоен в 1972 году двух крупнейших литературных премий Англии.

Памела Хэнсфорд Джонсон, которая внимательно следит за творчеством тридцатилетней Сьюзен Хилл и

не раз помогала ей советом, рассказывает: «Мы познакомились, когда Сьюзен было всего шестнадцать лет, она писала тогда свой первый роман. Он показался мне очень занимательным. Это не обычный роман — исповедь девочки-подростка; его героиня — пожилая женщина. Роман опубликовали, но он не был замечен критикой. Хилл написала еще один или два романа, которые также остались в тени. Судя по всему, Хилл ждала участь писательницы средней руки. Я решила, что она бросит писать. Но я плохо ее знала! Она работала с удивительной энергией и самоотверженностью. И вот результат: «Джентльмены и леди», «Перемена к лучшему», «Ночная птица» — во всех отношениях замечательные произведения. Сьюзен не использует автобиографический материал в своих книгах; наверно, она бережет его «на потом». Ее герои — пожилые люди и дети. В ее произведениях присутствует элемент фантазии, хотя они написаны в реалистической манере. У Сьюзен Хилл еще все впереди. И я уверена, что она добьется многого».

По мнению рецензента журнала «Букс энд букмен», одиннадцать рассказов Хилл, вошедших в новый сборник, свидетельствуют о новой победе молодой писательницы.

БЕЛЬГИЯ

КНИГА О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ

Издательство Брюссельского университета, Центр по изучению стран Востока и Институт социологии выпустили книгу Жана Бланкофа «Русское общество второй половины XIX века. Три литературных свидетельства: М. Е. Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, А. Ф. Писемский».

Еженедельник бельгийских коммунистов «Драпо руж» отмечает большое значение работы Бланкофа, которая знакомит читателей «с интересными, но до сих пор мало известными в Западной Европе русскими писателями».

Рассказывая о литературной деятельности писателей, книга дает ценную информацию о России второй половины XIX века. «Однако, — отмечает рецензент,— она страдает некоторой описательностью, но главным при ее оценке является то, что у бельгийского читателя появился интерес к творчеству Салтыкова-Щедрина, Глеба Успенского и Писемского».

БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ

«ВЫСОХШИЙ СТЕБЕЛЬ»

Так назвал свой роман Дени Уссу-Эссюи. Книга напечатана известным африканским издательством СЛЕ, в Камеруне. В ней рассказано о молодости паренька из деревни Кольякло, расположенной недалеко от столицы, который, закончив начальную школу при католической миссии и два класса столичного коллежа, уехал во Францию. Произошло это еще до того, как Берег Слоновой Кости стал независимым. Конго Лагу—так зовут героя романа — прожил во Франции немало трудных лет, прежде чем ему удалось получить университетский диплом, без которого возвращаться домой он не хотел.

Кончается роман тем, что Конго Лагу заново открывает для себя родную страну, которая обрела независимость. Герой, будучи во Франции, постоянно думал о том, как он снова попадает в Абиджан, но найти свое место после многих лет отсутствия оказывается для него совсем не просто.

Роман Дени Уссу-Эссюи написан на автобиографическом материале. Рецензент журнала «Жён Африк» отмечает художественные достоинства произведения, но выражает сомнение, поймет ли книгу молодежь, которой не знакомы те переживания, что выпали на долю Уссу-Эссюи.

БОЛГАРИЯ

В ЧЕСТЬ СЕНТЯБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ

На Софийской киностудии научно-популярных фильмов завершена работа над фильмом «Кровавая песня». Он посвящен 50-летию восстания болгарских трудящихся, которое вспыхнуло 23 сентября 1923 года под руководством БКП в ответ на фашистский переворот 9 июня 1923 года. После продолжительной и жестокой борьбы восстание было подавлено. Но несмотря на поражение оно сыграло роль «болгарского 1905 года», продемонстрировав силу боевого единства рабочих и крестьян, их решимость бороться до конца против фашизма.

Автор сценария и режиссер Веселина Геринска задумала создать единый поэтический кинорассказ, раскрывающий историческое значение подвига героев Сентября. Фильм построен на тексте, составленном из фрагментов произведений революционных поэтов-антифашистов Христо Смирненского, Гео Милева, Николы Фурнаджиева, писателя Крума Велкова и поэта-демократа Ламара. На этой литературной основе развертывается действие кинорассказа, воскрешающего те героические дни борьбы лучших сынов болгарского народа против фашизма под руководством коммунистической партии.

В честь героического пятидесятилетия болгарские кинематографисты создали и художественный фильм «Иван Кондарев». В основу его сценария лег одноименный роман Эмилияна Станева, в котором с эпическим размахом рисуется духовная жизнь народа в канун и во время Сентябрьского восстания 1923 года. Роль Ивана Кондарева, славного, мужественного и самоотверженного борца за свободу своего народа, исполняет актер Антон Горчев.

Картина Эмила Попгенчева «Москва. Голос Димитрова», запечатлевшая один из волнующих моментов в жизни болгарских антифашистов в годы второй мировой войны.

(Журнал «Септември»)

ВЕНГРИЯ

СОДРУЖЕСТВО МОЛОДЫХ

Венгерская печать с одобрением отмечает, что все чаще творческая молодежь страны — писатели, художники, музыканты, деятели кино—обращаются к проблемам современности.

Недавно на экраны вышел новый художественный фильм «Водораздел». В его основу легла новелла писательницы Юдит Фенакель, по которой молодой прозаик Дюла Марошши, автор нескольких сборников рассказов, написал сценарий. Дюла Марошши не первый раз выступает в этом жанре, он написал киносценарий фильма «Горизонт». Новый фильм посвящен жизни сегодняшнего села, Юдит Фенакель несколько лет учительствовала на селе и хорошо знает его проблемы; ее книги о деревне — «Жители двух улиц», «Жизнь — радостная штука», «Принуждение» — хорошо известны венгерскому читателю.

По свидетельству венгерской критики, Марошши чутко реагирует в своих

Актриса Андреа Драгота в роли патронажной сестры Жофи и актер Иштван Холл в роли отца Жофи.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

произведениях на общественные явления. Герои его рассказов целеустремленные, волевые люди. Может быть, именно поэтому он обратился к новелле Юдит Фенакель, новелле с острым общественным конфликтом.

Ее героиня Жофи—молодая девушка, окончила медицинские курсы и начинает работать на селе патронажной сестрой. С огромным энтузиазмом относится она к своей деятельности, многое хочется ей изменить, сделать лучше. Но опыта работы с людьми еще нет, и часто ее благие порывы наталкиваются на сопротивление односельчан, драматизм ситуации вызван столкновением нового со старым в сознании людей.

Для режиссера Яноша Сюч и оператора Петера Янкура эта картина — дебют в художественном кинематографе.

МИХАЙ ВИТЕЗЬ ЧОКОНАИ

Венгерский народ торжественно отмечает в этом месяце двухсотую годовщину со дня рождения известного венгерского поэта Михая Витезя Чоконаи, величайшего лирика эпохи венгерского Просвещения.

В произведениях, проникнутых просветительскими идеями, Чоконаи выразил свое осуждение классовому обществу с его частной собственностью, ввергающей людей в раздоры и войны. Он одним из первых в венгерской литературе использовал в поэзии формы народной песни, создал изумительные по своей музыкальности и легкости образцы любовной лирики.

В одном из стихотворений Чоконаи писал, что надеется на приход «другого, справедливого века».

Сегодня творчество Чоконаи в Венгрии не только глубоко почитаемо, но и необыкновенно популярно. Его имя присвоено библиотекам, клубам, гимназиям. Его произведения переиздаются в десятках тысяч экземпляров. Недавно был проведен конкурс среди молодежи на лучшего чтеца его стихотворений. Все это свидетельствует о том, что молодежь как почетную эстафету готова передать идеи высокой гуманистической поэзии Чоконаи последующим поколениям.

ГДР

РАССКАЗЫ АННЫ ЗЕГЕРС

О разных встречах—обычных, необычных, часто фантастических — рассказывает Анна Зегерс в своей новой книге «Странные встречи», вышедшей в издательстве «Ауфбау». В рассказе «Явка» это — свидание после долгой разлуки двух друзей, которые выбрали разные дороги в жизни. Писательница прослеживает их жизненные пути на протяжении более двадцати лет, показывает, как один из них становится последовательным антифашистом, а другой, поддавшись однажды чувству страха, уходит от борьбы и скатывается к мещанству и обывательщине. В рассказе «Путевая встреча» Зегерс сталкивает трех писателей— Гофмана, Гоголя и Кафку, они говорят о проблемах и принципах творчества, о профессии писателя. В «Сагах о неземном» посланцы других планет встречаются с людьми времен Крестьянской и Тридцатилетней войн.

На вопрос корреспондента еженедельника «Зонтаг» Гюнтера Каспара, можно ли считать слово «странные» в заголовке книги синонимом слова «фантастические», Анна Зегерс сказала: «Нет, это никак не синоним. В моей книге много фантастики, но то, о чем я пишу, скорее необычное, странное, которое вклинивается в реальность. Вот в рассказе «Явка» все реалистично, однако и тут присутствуют элементы необычного. Наоборот, когда три писателя разных эпох и разных стран ведут общий разговор в кафе — это ситуация фантастическая. Однако все, о чем они говорят, вполне реалистично. Что касается «Саги о неземном», то название говорит само за себя. Но и в эту сказку вплетены реалистические мотивы. Словом, мне хотелось в моей книге вернуться к мысли, что сказочное, необыкновенное, фантастическое может быть средством реалистического искусства».

«Читатели встретят новый сборник Анны Зегерс с большим интересом, — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».—Без сомнения, он даст богатый материал для дискуссий по вопросам искусства, которые сейчас идут в нашей республике».

ФРГ

СТАРОЕ И НОВОЕ НА ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ ПОДМОСТКАХ

Анализируя репертуарные планы западногерманских театров на сезон 1973/74 гг., журнал «Шпигель» отмечает тенденцию к возобновлению старых, апробированных постановок. Главным образом это пьесы классиков, а также, по выражению журнала, «вчерашнего авангарда».

В числе авторов, к которым обращаются в новом сезоне одновременно многие немецкие театры,— Гольдони, Чехов, Островский, Ведекинд, Сартр, Теннесси Уильямс, Ж. Ануй, Фриш, Беккет.

Характерен и сам выбор классических пьес. Если в «бурном» 1968 году Шиллер был представлен прежде всего «Разбойниками», а через два года на первое место выдвинулась драма «Коварство и любовь», то теперь большая часть театров предпочитает его историко-романтические пьесы. Так, в Мюнхене ставят «Дон Карлоса», во Франкфурте и Дортмунде — «Марию Стюарт», в Кёльне и Гамбурге— «Орлеанскую деву».

Причины такого «поворота назад» некоторые критики объясняют отчасти «утратой политических иллюзий», отчасти — коммерческими соображениями. Как

показало одно из социологических исследований, проведенное в Кёльне, больше четверти зрителей составляют люди старше 60 лет. Стремясь привлечь их в залы, театры «возвращаются в надежные бастионы».

Однако всем ясно, что проблемы это не решает. Театрам нужны хорошие современные пьесы, но их очень мало. Журнал выделяет политическую комедию Рольфа Хохгута «Лисистрата», комедию английского драматурга Эдварда Бонда «Море» и пьесы двух драматургов из ГДР: «Новые страдания юного В.» Ульриха Пленцдорфа и «Адам и Ева» Петера Хакса.

Дурно пахнущую «сенсацию» решил преподнести зрителям театр в Гельзенкирхене, который заказал композитору Фридриху Лейнерту и его сыну Михаэлю «музыкально - сценическую композицию» под названием «Гитлер — Майн кампф».

Существенное дополнение к анализу, сделанному «Шпигелем», дает журнал «Конкрет». Он сообщает о деятельности недавно созданной в Мюнхене группы театральных коллективов под названием «Фронт народного театра». Выступления молодых артистов этой группы с острыми, злободневными спектаклями пользуются, по словам журнала, массовым успехом и уже «забирают зрителей у буржуазных театров».

ЕГИПЕТ

«НАСЛЕДИЕ И РЕВОЛЮЦИЯ»

Как сообщает журнал «Аль-Адаб», бейрутское издательство «Дар ат-Талиа» опубликовало книгу видного египетского критика Гали Шукри «Наследие и революция» (см. статью Л. Степанова в № 9 с. г.). В книге Шукри рассматривает вопросы соотношения старого арабского культурного наследия и современности, выступает за активное использование всего лучшего и прогрессивного, что есть в этом наследии, в деле построения нового общества, против узконационалистических и панисламистских взглядов на культуру.

Той же теме, что и работа Шукри, посвящена другая книга, выпущенная тем же издательством: «Тезисы о культуре и революции» публициста Азиза ас-Сейида Джасима.

ИНДИЯ

«ЗНАЧИТ, Я НЕ НАПРАСНО ТРУДИЛСЯ»

«Джан-юг» — газета индийских коммунистов, выходящая в Дели,— посвятила целую страницу писателю Харишанкару Парсаи. Не выход новой книги и не присуждение премии послужили поводом для выступления газеты, а происшедший с писателем случай, потрясший всю прогрессивную общественность Индии...

Харишанкар Парсаи (род. в 1924 г.) хорошо известен читателю как мастер сатирического рассказа, жанра, кстати, очень дефицитного в современной литературе хинди.

В рассказах писатель разоблачает социальное зло, в каком бы обличье оно ни выступало: ханжество и лицемерие, отжившие свой век обычаи и предрассудки, взяточничество, казнокрадство, беспардонную демагогию буржуазных политиков.

Как писатель-очеркист Харишанкар Парсаи активно сотрудничает в газете «Джан-юг» и ряде других печатных органов, выходящих в Индоре, Райпуре и родном городе писателя — Джабалпуре.

Все началось с того, что в ходе вызвавшей небывалый накал страстей кампании, предшествовавшей выборам нового состава Джабалпурского муниципалитета, писатель неоднократно выступал на страницах местной газеты, разоблачая предвыборные махинации религиозно-общинной партии «Джан-Сангх», стремившейся любыми средствами завоевать большинство в городской управе. Представителям «Джан-Сангха» удалось одержать победу на выборах в городе, который до недавнего времени считался оплотом правящей партии. Ободренные победой, несколько человек из «Союза служителей нации», военизированной молодежной организации, примыкающей к «Джан-Сангху», ворвались в квартиру писателя в Джабалпуре и зверски избили его.

Прогрессивная общественность Индии гневно выступила против методов реакции, не останавливающейся перед физической расправой с инакомыслящими.

Писатели и журналисты Бихара опубликовали в пе-

Сцена из спектакля «Орлеанская дева».

(Журнал «Шпигель»)

В индийской столице с успехом прошла групповая выставка молодых художников из Калькутты. Знакомство с их работами позволяет утверждать, отмечает критика, что художник — не сторонний наблюдатель, он — часть своего окружения. Именно окружающая действительность, повседневность служат для многих из них главной темой творчества, пишет журнал «Линк».

На фото воспроизведен один из рисунков Гопала Саньяла. Рельефность и лаконичность оригинальных произведений этого талантливого рисовальщика роднят их по выразительности с острой карикатурой, говорит рецензент журнала.

(Журнал «Линк»)

чати совместное заявление, в котором выражают гнев и возмущение действиями реакционеров, рассматривая случившееся как открытый вызов прогрессивной общественности и как покушение на свободу слова.

Сам Харишанкар Парсаи достойно принял вызов, брошенный ему реакцией: в тот же день он выступил в местной вечерней газете с заявлением, которое озаглавил: «Значит, я не напрасно трудился».

ИРАК

«ПЯТАЯ КРЕПОСТЬ»

В Багдаде вышла повесть писателя Фадыля аль-Азави «Пятая крепость». Как пишет критик Ясин ан-Насыр в рецензии, опубликованной журналом «Ас-Сакафа аль-Джадида», главный герой повести — анархиствующий бунтарь-одиночка, попадающий в тюрьму «Пятая крепость» за участие в выступлениях против прежнего, реакционного режима.

В повести рассказывается, как под влиянием своих товарищей по заключению — коммунистов он становится сознательным революционером, ставящим интересы общего дела выше своих личных, и завоевывает авторитет среди других узников, впервые по-настоящему почувствовав счастье борьбы. Рецензент высоко оценивает художественные достоинства новой книги аль-Азави.

ИСПАНИЯ

«КУЛЬТУРА — ЧЕРНОЕ ПЯТНО В РАЗВИТИИ ИСПАНИИ»

В испанском журнале «Куадернос пара эль диалого» опубликована редакционная статья под красноречивым заголовком — «Культура — черное пятно в развитии Испании».

В этой статье резко и откровенно осуждается правительственная политика в области культуры и указывается, что чрезмерные восторги, вызванные известным экономическим подъемом, не могут заслонить глубокого разрыва, существующего между экономическим и политическим развитием испанской нации, не могут помешать увидеть, в каком тяжелом состоянии находится испанская культура.

«Русло, по которому идет процесс либерализации и созревание общественного сознания, всегда было узким, но теперь оно решительно не может отвечать требованиям свободного выражения и свободной критики,— говорится в статье.— Ни для кого не секрет, что культурная жизнь в нашей стране находится в драматическом положении, которое держится вот уже несколько лет и усугубляется с каждым годом... Одного взгляда на культурную панораму Испании достаточно, чтобы увидеть ее серость, чтобы ощутить отсутствие тонуса и связи с народом».

Журнал подчеркивает, что отсутствие демократических свобод в стране стало серьезным препятствием для художественного творчества и что многие деятели культуры Испании обречены на бесплодное прозябание. Произвол цензуры, с одной стороны, и ничтожные размеры материальной поддержки — с другой—при наличии коммерческого диктата ограничивают художественное творчество рамками «экономических ценностей».

По мнению журнала, сама система государственных поощрений, которая по теории призвана стимулировать творческий процесс (будь то субсидии, национальные премии, госбюджетные издательства, официальные театры и т. д.), превращается в орудие поддержки конформизма, верноподданничества, в орудие более или менее откровенной пропаганды. «Однако атония культурной жизни связана не только с проблемой цензуры, хотя несомненно, что цензура представляет собой искусственный барьер, о который разбиваются, из-за которого гибнут бесчисленные творческие возможности... Корни проблемы находятся гораздо глубже. Нас куда больше пугает то, что утвердилось такое положение в обществе, при котором культура сведена до роли служанки господствую-

щих идеологических и политических интересов».

Авторы заключают свою статью горькими словами о том, что климат в Испании отнюдь не благоприятствует развитию жизнедеятельной испанской культуры, что за последние годы она «превратилась в бедную и обременительную родственницу экономического подъема».

ИТАЛИЯ

ЧТО ОЖИДАЕТ РАИ?

Режиссер Алесандро Блазетти уже закончил работу над телевизионным фильмом, посвященным жизни итальянцев, эмигрировавших в другие страны в поисках работы, когда от руководства РАИ (Итальянское радио и телевидение) ему пришло уведомление, что фильм не будет показан по телевидению. Это не первый случай, когда руководящие деятели телевидения своевольно налагают запрет на телевизионные передачи.

Для руководства РАИ совершенно не существует таких волнующих всю страну проблем, как безработица, самая большая в Европе эмиграция, забастовочная борьба. «Для нашего телевидения,— писала по этому поводу газета «Паэзе сера»,— рабочие и крестьяне стали чем-то неуловимым: телекамеры никак не могут на них настроиться, и телезрители не имеют возможности увидеть, как живут и борются миллионы трудящихся на заводах, в учреждениях, в деревне». Телевидение постоянно замалчивает такие «больные» для большинства итальянцев вопросы, как бедственное положение жителей юга страны, борьба против неофашизма, кризис системы высшего и среднего образования, движение за полную отмену запрета разводов, и другие.

Тень консерватизма ложится и на передачи из области культуры: чрезвычайно редко на экранах телевизоров появляются прогрессивные писатели, художники, актеры.

Против антидемократической направленности радио- и телепередач выступают ныне самые широкие слои итальянской общественности. Правящие круги, пытаясь не допустить демократизации столь важных средств информации, выдвинули предложение сделать РАИ частной организацией. «Нам предлагают телевидение по-американски, — отмечала в связи с этим газета «Унита». — Это будет означать его переход под контроль частных монополий, как это уже происходит с печатью. Приватизация телевидения нанесла бы большой ущерб демократическому развитию страны. Но эту опасность еще можно предотвратить».

ГОД НА РАБОЧЕЙ ОКРАИНЕ

«Год в Пьетралате» — так называется книга молодого учителя начальной школы Альбино Бернардини, проработавшего учебный год в школе на рабочей окраине Рима, в классе, состоявшем из «трудных» ребят — второгодников, переростков, неуспевающих.

Автор рассказывает о тех тяжелых жизненных условиях, которые сделали «трудными» этих детей нищей окраины итальянской столицы, а также о новых методах преподавания, с успехом примененных им в этом классе. Бернардини решительно выступает за реформу школьного образования в Италии и на многих примерах показывает, в каком бедственном положении находится школьное дело, особенно на таких городских окраинах, как Пьетралата.

Искренняя и страстная книга учителя-энтузиаста привлекла к себе внимание общественности и печати. Джанни Родари, выступивший в газете «Унита», говорит о ней: «Учитель, написавший эту книгу, отдает школе всю доброту, все свои чувства без остатка. Он, как видно, в курсе современных методов педагогики и воспитания, но его страсть и энтузиазм далеко выходят за пределы педагогики и воспитания. Мы не можем требовать от него каких-то образцов для изучения и подражания. Но мы можем восхищаться его полной искренностью, его моральной и интеллектуальной честностью и завидовать им».

Книга увлекла известного кинорежиссера Витторио Де Сета, который поставил по ней телефильм в четырех сериях, с успехом демонстрировавшийся по римскому телевидению и вызвавший горячие отклики в печати. Над сценарием этого телефильма Де Сета работал вместе с Бернардини, а фильм снимал «на натуре», в той самой школе, с теми же ребятами, о которых рассказал писатель-учитель. О книге Бернардини впервые режиссер услышал от писателя - киндраматурга Уго Пирро. «Он мне только сказал, — вспоминает теперь Де Сета, — прочитай ее, это интересно!.. Уго Пир-

---

На итальянских экранах демонстрируется трехсерийный фильм режиссера Ансано Джаннарелли «У меня нет времени», посвященный жизни и деятельности выдающегося математика начала прошлого века Эвариста Галуа. Картина снималась для телевидения, но руководство радиотелевизионной компании РАИ запретило ее показ, охарактеризовав как «нарушающую спокойствие», несмотря на многочисленные положительные отклики критики. Тем не менее прогрессивным деятелям культуры страны удалось добиться выхода фильма на экраны кинотеатров.
На снимке: артист Марио Гарриба — в главной роли фильма.

ро был прав... это настоящее открытие, которое позволило мне познакомиться с социальной, педагогической, воспитательной, но прежде всего человеческой проблемой».

ЛИВАН

ПАНОРАМА СОВРЕМЕННОГО АРАБСКОГО РАССКАЗА

Редакция бейрутского журнала «Аль-Адаб» выпустила специальный дополнительный номер, посвященный современной новеллистике в арабских странах. Номер включает произведения 50 новеллистов Сирии, Ливана, Ирака, Египта, Марокко, Судана, Бахрейна и Южного Йемена. Широко представлены в нем рассказы палестинских писателей. Рядом с такими известными мастерами рассказа, как Сухейль Идрис и Тауфик Юсуф Аввад из Ливана, Фуад ат-Текерли и Гаиб Туама Фарман из Ирака, Абд ас-Салям аль-Уджейли и Закария Тамер из Сирии, Юсуф Идрис и Яхья Хакки из Египта, на его страницах выступают много талантливых молодых новеллистов.

Писатели, чьи произведения представлены в специальном номере «Аль-Адаб», принадлежат к различным художественным школам и направлениям, однако все их рассказы, по свидетельству критиков, так или иначе отражают современное положение на Арабском Востоке, все растущую тревогу широких слоев населения в условиях продолжающейся израильской оккупации части арабских земель и наступления внутренней реакции.

Специальный номер журнала «Аль-Адаб» является важным литературным и общественным документом, рассказывающим языком искусства о жизни и борьбе арабских народов на современном чрезвычайно ответственном и сложном этапе их истории.

ПЕРУ

СЪЕЗД ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Перуанский писатель-коммунист Густаво Валькарсель сообщает из Лимы, что здесь состоялся Первый съезд писателей и деятелей культуры Перу, который имеет важное значение не только в культурной, но и в социально-политической жизни страны и продемонстрировал единство творческих работников страны в защите их прав. Собравшиеся со всех концов страны делегаты заявили, что современное искусство в Перу должно служить целям антиимпериалистической и антиолигархической борьбы. Участники съезда приняли решение бороться во имя расширения и углубления революционного процесса, происходящего сейчас в стране.

Съезд обратился к правительству с просьбой ввести государственную систему всеобщего бесплатного образования, учредить в стране крупный издательский фонд, а также создать музей выдающегося перуанского философа-марксиста Хосе Карлоса Мариатеги. Делегаты поддержали кампанию за ликвидацию неграмотности, высказались за установление большего контроля государства за средствами массовой информации и выступили в поддержку внешней политики правительства президента Веласко Альварадо. Особо была отмечена важность установления тесных культурных связей с социалистическими странами.

ПОЛЬША

ТВОРЧЕСКАЯ УДАЧА МАРИАНА КОНЕЧНОГО

В городе польских металлургов Нова Гута открыт памятник В. И. Ленину. Автор нового монумента — известный скульптор Мариан Конечный, работы которого неоднократно получали первые места на общепольских творческих конкурсах.

На снимке: памятник В. И. Ленину работы Мариана Конечного.

(Газета «Трибуна люду»)

Мариан Конечный рассказал корреспонденту «Трибуны люду», что главная идея монумента состояла в том, чтобы показать Ленина без свойственных некоторым скульптурным изображениям неподвижности и отчужденности. Эта задача полностью автором выполнена. «Ленин» Мариана Конечного почти сливается с толпой прохожих, — пишет корреспондент, — возвышается над ней, но не давит на нее. Он изображен таким, каким был при жизни и каким видит его автор — очень человечным, лишенным помпезности».

ВОКРУГ КНИГ ЭДВАРДА РЕДЛИНСКОГО

Одна за другой вышли повести Эдварда Редлинского «Коноплянка» (издательство «ЛСВ») и «Аванс» (издательство «Чительник»). Обе книги — о деревне.

Эдвард Редлинский — журналист, он много ездит по стране и отлично знает деревню. Появление книг вызвало большой отклик в

печати, причем суждения весьма противоречивы.

«Трибуна люду» поместила рецензию Януша Термера «О деревне иначе», в которой говорится: «Оригинальность Редлинского, продолжающего традиции литературы о деревне, основывается во многом на том, что он не подвержен влиянию какого-либо из направлений этой литературы...» В «Коноплянке» и «Авансе», по словам рецензента, «Редлинский создает мир собственный и неповторимый, замкнутый и непроницаемый мир реликтов крестьянского быта, с которым он столкнулся во время журналистских поездок по стране».

Совсем иначе оценивает творчество Редлинского в «Жиче Варшавы» Вл. Матёнг. Признавая одаренность автора «Коноплянки» и «Аванса», он весьма резко упрекает его в упрощении сложностей современной деревенской проблематики и в самоцельности юмора.

С резким ответом Матёнгу выступил в еженедельнике «Политика» Анджей Менцвель: «Опираясь на свой репортерский и журналистский поиск, Редлинский создал в «Коноплянке» не только оригинальный язык и оригинальный художественный стиль, он создал нечто большее, представив свою гипотезу общественно-культурного смысла исторических перемен, происходящих в нашей действительности. Гипотезу же эту Редлинский с такой литературной безупречностью, так гармонично впаял во все аспекты своего произведения, во все его пласты, что я без колебаний могу назвать эту повесть событием не только одного этого года».

Учитывая интерес литературной общественности к творчеству писателя, журнал «Нове ксёнжки» представил свои страницы для выступлений сразу нескольких критиков, предваряемых редакционной врезкой, где творчество Редлинского оценивается как явление незаурядное.

А «Тыгодник культуральный» поместил интервью с самим писателем, где он говорил о том, что он против фактографии, как и против того, чтобы считать репортаж литературой.

«Должен признаться, — сказал Редлинский,— меня раздражает точка зрения иных писателей, пишущих о деревне, раздражает как их старосветский сентиментализм, апофеоз утраченного рая, так и изображение современности через призму восприятия героя из народа с помощью реалий старой деревни. Думаю, что истолкование сущности деревни с помощью символов примитивной культуры невозможно. Старая деревня кончается, нет уже старого народного сознания. Система понятий современного человека, его ощущения, философия в деревне и в городе достаточно урбанизированы. Я хотел бы создать правдивый образ современности, опираясь на реалии и символы, живущие в сознании современного человека».

Дискуссия о Редлинском свидетельствует о том, что в польской литературе появилось еще одно имя, ставшее сразу известным широкому кругу читателей.

РУМЫНИЯ

СОВЕТСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ НА РУМЫНСКОЙ СЦЕНЕ

С большим успехом прошел нынешним летом в Румынии фестиваль русской и

В Театре Польском в Варшаве успешно идет «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского в интересной постановке Аугуста Ковальника. «Пьеса Вишневского в Театре Польском — это не только рассказ о гражданской войне, о том, как из военного хаоса рождается новое,— она показывает нам победу истинной идеи и всю сложность пути к этой победе приводящего. Именно эта пьеса оказалась наиболее жизнеспособной из произведений революционной романтики»,— пишет рецензент журнала «Театр» Зофья Серадзка.
На фото: Крыстына Крулювна — Комиссар, Мечислав Стоор — Алексей.

(Журнал «Театр»)

советской драматургии. «Можно утверждать, — отмечал еженедельник «Контемпоранул»,—что эта столь широкая театральная акция стала наиболее важным событием сезона. Итоги, говоря точным и лаконичным языком цифр, таковы: 67 спектаклей на 44 театральных сценах».

Более тридцати советских пьес шли на театральных подмостках всех крупных городов Румынии — и в старых культурных центрах, и в городах, обретших театральную известность лишь в годы социализма, и в самых крупных промышленных центрах страны. «Советская драматургия, — продолжает обозреватель «Контемпоранула», — чье гуманистическое революционное содержание, пронизанное коммунистическими идеалами, высоко оценено нашей театральной общественностью и нашим зрителем, была широко представлена на фестивале — начиная с произведений ее великого основателя М. Горького и кончая пьесами таких известнейших современных мастеров, как А. Арбузов и В. Розов».

Выступая на страницах «Контемпоранула» в связи с фестивалем, известная румынская актриса Дина Коча подчеркнула: «За последние три десятилетия репертуар наших театров обогатился многими замечательными произведениями советской драматургии. Гуманистическое содержание, сила реалистического воплощения, блистательная художественная форма текстов золотого фонда советской драматургии были на протяжении этих лет источником глубокого волнения и подлинного наслаждения для наших зрителей. Незабываемыми событиями стали постановки «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского, «Бронепоезда 14—69» Вс. Иванова, «Любови Яровой» К. Тренева, «Третьей патетической» Н. Погодина, «Шторма» В. Билл-Белоцерковского — пьес, принесших на сцену нашего театра светлые образы творцов Революции. Не менее памятным был спектакль Бухарестского Национального театра, осуществившего постановку пьесы Арбузова «Иркутская история». Используя благородные партитуры русской и советской драматургии, румынское исполнительское искусство, театральное искусство вообще добилось за эти годы значительных успехов».

Константин Зэрнеску в роли Степана Сыроварова, Анджела Радославеску в роли Катерины в пьесе Л. Леонова «Метель», поставленной театром города Питешть.

(Журнал «Театрул»)

Среди постановок фестиваля, вызвавших особый интерес у многочисленной аудитории, румынская пресса называет также пьесы «Метель» Л. Леонова, «Мещане» М. Горького, «104 страницы про любовь» Э. Радзинского, «Валентин и Валентина» М. Рощина, «Старшая сестра» М. Володина, «Варшавская мелодия» Л. Зорина.

СБОРНИК ИЗБРАННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЭТОВ МИРА

«Панорама современной мировой поэзии» — так называется книга, в которую вошли избранные лирические произведения ста поэтов XX века, составленная известным румынским поэтом и переводчиком А. Баконским и вышедшая издательством «Альбатрос» в Бухаресте. В числе представленных в ней поэтов — Рафаэль Альберти, Федерико Гарсиа Лорка, Антонио Мачадо, Габриэла Мистраль, Гийом Аполлинер, Эудженио Монтале, Чезаре Павезе, Т. С. Элиот, Роберт Фрост, Бертольт Брехт, Артур Лундквист, Константин Кавафис, Эндре Ади, Атилла Йожеф, Назым Хикмет, Мечислав Яструн, Витезслав Незвал, Александр Блок, Сергей Есенин, известные румынские поэты Тудор Аргези, Джордже Баковия, Ион Барбу, Лучиан Блага и другие.

Стихи каждого поэта сопровождаются подробной справкой о его жизни и творчестве. Сборник знакомит также с историей тех литературных течений, к каким принадлежали эти поэты.

СИРИЯ

РОМАН О ПАЛЕСТИНСКОЙ ТРАГЕДИИ

Трагическая судьба палестинских арабов — одна из центральных тем современной сирийской да и вообще арабской литературы. К ней постоянно обращаются в своих произведениях сирий-

ские писатели, поэты, драматург.

Недавно, по сообщению журнала «Аль-Адаб», вышел новый роман сирийского писателя доктора Бадиа Хакки «Мечты на израненной набережной», в центре которого — образ палестинца, исстрадавшегося, гонимого, тоскующего по своей далекой и любимой земле.

США

РАНЫ СОЗНАНИЯ

Несмотря на заключенный мир, тень Вьетнама продолжает тяготеть над сознанием многих американцев. На смену бурным антивоенным выступлениям пришли зрелые размышления о смысле происшедшего и его последствиях для Америки. Об этом говорят, в частности, и две вышедшие недавно книги. Одну из них написал известный американский психолог и публицист лауреат Национальной книжной премии 1969 года, которую он получил за книгу «Смерть при жизни: пережившие Хиросиму», Р. Дж. Лифтон. Сам Лифтон называет себя «психоисториком». Несколько лет он проработал военным психиатром, а последние два года посвятил работе с ветеранами Вьетнама, членами организации «Ветераны против войны». Общение с этими людьми, профессиональные наблюдения и размышления об общественных последствиях локальной американской «бойни № 1» побудили Лифтона написать книгу, которую он назвал «Домой с войны».

В ней документальная часть сопровождается размышлениями автора. Как указывает рецензент американского еженедельника «Тайм», люди в книге Лифтона играют роль «документов». Он не называет их имена, а приводит рассуждения «моряка, летчика, сержанта». При помощи этих документальных свидетельств Лифтон стремится показать войну как воплощение «крайиего нарушения всех моральных норм». Он показывает, что ветераны продолжают думать о смысле происшедшей с ними трагедии, которая преследует их и в мирные дни. Бывшие американские воины утверждают, что совершенные ими преступления были бессмысленны и с чисто военной точки зрения, как говорит один из них: «Мы были даже не завоевателями, а просто уничтожителями тел».

Лифтон показывает, что война окончательно разрушила «миф воина», потому что для его существования необходимо сознание правомерности и справедливости своих действий. Чтобы нормальный человек мог примириться с убийством других людей, он должен считать их «нелюдями», должен верить в те цели и идеалы, ради которых он совершает жестокости. Трагедия далекого Вьетнама нанесла, по мнению Лифтона, сокрушительный удар по традиционным американским представлениям. И для того чтобы Америке жить, необходимо понять значение моральной и психологической травмы, которую получило ее молодое поколение. В книге «Домой с войны» Лифтон стремится помочь американской общественности услышать голос «пророков нации циников».

Рецензент журнала «Харперс» Г. Эмерсон пишет о книге, тоже связанной с проблемой Вьетнама, — сборнике рассказов ветеранов войны «Зона свободного огня». Двадцать четыре рассказа, вошедшие в сборник, она сравнивает с «ночными кошмарами».

«Большинство американцев считают, что война для нас окончена, но я убеждена в том, что... она не может быть окончена до тех пор, пока поколение ветеранов Вьетнама, которому сейчас нет и тридцати лет, не уйдет из жизни». Отмечая высокие художественные достоинства сборника, Г. Эмерсон указывает, что даже прогрессивно настроенному читателю, участнику антивоенного движения например, «трудно поверить, что наши ребята способны делать такое. Она отмечает, подобно Лифтону: самое страшное, что многим солдатам и офицерам смогли внушить уверенность в том, что их жертвы «нелюди», уверенность, убившую людей в них самих.

В заключение статьи Г. Эмерсон пишет: «Я надеюсь, что написавшие эти рассказы не смирятся с нашим нежеланием ничего не знать об этом. Их не должно остановить сознание того, что их книга говорит Америке истины, которые она почти не в состоянии перенести, эта книга никогда не будет хорошо продаваться, и они никогда не услышат похвал, которых они достойны, а их рассказы почти наверняка не прочтут те, кто послал их на эту войну».

ФРАНЦИЯ

«МЕМУАРЫ» ЖАКА ДЮКЛО

Вышел из печати VI, и последний, том «Мемуаров» Жака Дюкло, охватывающий 1958—1969 годы. Жорж Коньо в «Юманите», в статье, посвященной завершению «Мемуаров», называет их грандиозной исторической фреской.

В повествовании мемуариста, день за днем восстанавливающем события истории современной Франции начиная с битвы под Верденом и до наших дней, становятся ощутимыми руководящие идеи политики Французской коммунистической партии и причины их воздействия на умы и сердца масс, пишет Жорж Коньо.

Красной нитью проходит через последний том «Мемуаров» борьба за единство. Логика событий подводит к тем огромным изменениям в политической жизни Франции, которые произошли благодаря заключенному в июне 1972 года соглашению об общей правительственной программе. Жак Дюкло уделяет большое внимание международным аспектам своей деятельности. VI том подтверждает, что Дюкло всегда рассматривал вопросы раз-

вития рабочего движения во Франции в масштабах международного революционного движения. В этой связи он рассказывает и о своих поездках на Кубу, в Италию, в Болгарию, о многочисленных посещениях Советского Союза. С особым чувством вспоминает Жак Дюкло о Стране Советов, открывшей новую эру в истории человечества. «Так же как и мои товарищи — коммунисты всех стран, я никогда не забываю, что надежда родилась для нас вместе с Октябрьской революцией»,— пишет Жак Дюкло.

В «Мемуарах» Жака Дюкло перед нами развертывается жизнь организатора и руководителя рабочего движения, борьбы за союз демократических сил и в то же время одного из тех людей, в которых воплощены лучшие черты народа. Участник великих исторических событий, борец, который всегда составлял одно целое со своей партией, дальновидный руководитель и тактик, Дюкло выступает в «Мемуарах» и как философ. Последние страницы VI тома посвящены размышлениям о материалистическом мировоззрении, о моральных проблемах, об атеизме. Жак Дюкло дает достойный ответ всем тем буржуазным и мелкобуржуазным философам, которые предлагают «дополнить» марксизм идеалистическими идеями. Последний том «Мемуаров» раскрывает Жака Дюкло как человека — мы узнаем о его стиле работы, о склонностях и привычках, отношениях с родными и друзьями, о его привязанностях и исключительных человеческих качествах.

В каждый том «Мемуаров» вошло большое количество впервые публикующихся документов, имеющих важное историческое значение. Отныне они станут незаменимым свидетельством для историка современной Франции. В «Мемуарах» воссоздано формирование, развитие и расцвет личности пролетарского борца нового типа, целиком посвятившего себя служению народу.

«Мемуары» Жака Дюкло — неоценимый вклад в дело распространения марксизма-ленинизма во Франции, они будут способствовать коммунистическому воспитанию не только читателей-коммунистов, но и самых широких читательских кругов, заключает Жорж Коньо.

АНН ФИЛИП О СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЯХ

В последние годы заметен все возрастающий интерес французских читателей к многонациональной советской литературе. Подтверждением этому может служить появление на страницах литературного приложения газеты «Монд» интервью, взятых Анн Филип у Чингиза Айтматова, Абдижамила Нурпеисова, Мориса Симашко и Олжаса Сулейменова, произведения которых опубликованы французскими издателями.

Анн Филип дважды приезжала в Советский Союз, чтобы познакомиться с литературой среднеазиатских республик. Вместе с переводчицей Лили Дени и тунисским поэтом главным редактором журнала «Алиф» Лораном Гаспаром она побывала в Алма-Ате, Ашхабаде, Мерве, Бухаре, Хиве, Самарканде и Ташкенте, встречалась с писателями среднеазиатских республик.

В интервью, опубликованных в «Монд», затронуты важные проблемы их творческой биографии. На литературных страницах «Монд» напечатаны также небольшие отрывки из произведений этих писателей в переводах Лили Дени.

РЕСПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА

ДЕБЮТ МОЛОДОГО РЕЖИССЕРА

Газета «Таймс оф Цейлон» сообщает о выходе на экраны фильма «Добрые пожелания» режиссера Камилуса Перера. Это его первая картина. Все артисты в ней в основном дебютанты. По единодушному мнению прессы, «Добрые пожелания»— один из лучших фильмов молодой отечественной кинематографии Шри Ланка за последние годы.

«Дело не только в высоком мастерстве режиссера, исполнителей и операторов, — пишет рецензент, — главное достоинство картины — поднятые в ней социальные проблемы, правдивый показ нашей сегодняшней действительности».

Мирей Матье с большим успехом пела на ежегодном традиционном празднике газеты «Юманите».

(Газета «Юманите»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВЫЙ ФИЛЬМ БРАТИСЛАВСКОЙ СТУДИИ

Словацкий художественный фильм «До неба далеко» создан по одноименному рассказу писателя и публициста Яна Йонаша, признанному одним из лучших на прошлогоднем литературном конкурсе.

Ян Йонаш глубоко и всесторонне знает жизнь рабочего человека и умеет тонко и убедительно раскрыть характеры созданных образов, правдиво передать взаимоотношения своих героев.

В фильме рассказывается о том, как в 1920 году в маленькую горную деревушку приходит новый учитель, недавно возвратившийся из плена. Его работа и жизнь сразу же осложня-

ются, так как деятельность учителя приходится не по душе местному богачу, который безраздельно господствует в этой деревне и не желает утрачивать своего влияния. Все усилия учителя оказываются тщетными — деревенскому богачу удается повлиять на окружного школьного инспектора, и в финале фильма учитель вынужден покинуть деревню.

Новый фильм братиславской киностудии — это бесспорный успех словацких кинематографистов, пишет рецензент журнала «Филм а дивадло», и в этом заслуга всех его создателей, но особо следует сказать об исполнителях главных мужских ролей: Иване Райняке, талантливо сыгравшем роль учителя Крупы, и Юлиуше Патнике, который создал образ деревенского богача Кленча.

Кадр из фильма «До неба далеко»

(Журнал «Филм а дивадло»)

Авторы этого номера

ЭРИКО ВЕРИССИМО — ÉRICO VERÍSSIMO (род. в 1905 г.)

Видный бразильский писатель. Литературную известность приобрел романом «Кларисса» («Clarissa», 1933), герои которого появляются и в последующих его реалистических романах, рисующих жизнь юга Бразилии — «Музыка вдали» («Música ao longe», 1934), «Скрестившиеся пути» («Caminhos cruzados», 1935), «Место на солнце» («Um lugar ao sol», 1936), «Взгляните на полевые лилии» («Olhai os lírios do campo», 1938). Антифашистской борьбе в Испании посвящен роман «Сага» («Saga», 1940). В романах «Остальное — молчание» («O resto é silencio», 1943) и «Ночь» («Noite», 1954) сказалось влияние экзистенциализма. Из задуманного писателем большого цикла социально-психологических романов под общим названием «Время и ветер» («O tempo e o vento») вышло два: «Континент» («O continente», 1949) и «Портрет» («O retrato», 1951).

Несколько лет Эрико Вериссимо жил в США, где читал курс лекций о бразильской литературе в Калифорнийском университете. Наблюдения и впечатления этих лет стали основой книг очерков «Черный кот на снежном поле» («Gato prêto em campo de neve», 1941) и др. В книгах, написанных в последние годы, писатель выступает против империализма и реакции, на стороне народов, борющихся за свободу.

Советским читателям Эрико Вериссимо знаком по переведенным на русский язык романам «Господин посол» и «Пленник» («Иностранная литература» № 4, 1970 г.).

В этом номере мы начинаем печатать в журнальном варианте его новый роман «Происшествие в Антаресе» («Incidente em Antares», Porto Alegre, «Editôra Globo», 1971).

ДИТЕР ШУБЕРТ — DIETER SCHUBERT (род. в 1928 г.).

Немецкий писатель (ГДР). Автор нескольких книг для детей и юношества, среди которых особой популярностью пользуется «Король пустыни из Бранденбурга» («Der Wüstenkönig von Brandenburg», 1971).

Рассказ «Донна Клара» был напечатан в журнале «Нойе дойче литератур» («Neue deutsche Literatur» № 4, 1973).

ХОСЕ РАМОН МЕДИНА — JOSÉ RAMÓN MEDINA (род. в 1921 г.).

Венесуэльский поэт, литературовед, лауреат многих литературных премий. В настоящее время Хосе Рамон Медина — президент Ассоциации венесуэльских писателей. Он занимает также пост президента Высшего юридического совета Республики. Перу Хосе Рамона Медины принадлежит много сборников стихов, в том числе «Возраст надежды» («Edad de la esperanza», 1947), «Молва о декабре» («Rumor sobre diciembre», 1949), «Вечерня в селении» («Víspera de la aldea», 1949), «Текст о времени» («Texto sobre el tiempo», 1953), «Воспоминания и элегии» («Memorias y elegias», 1960), «Под высокими деревьями» («Bajo los altos árboles», 1968), «Свидетель лета» («Testigo de verano», 1969) и др. Он — автор трудов «Исследование современной венесуэльской поэзии» («Examen de la poesía venezolana contemporánea», 1956), «Пятьдесят лет венесуэльской литературы» («Cincuenta años de literatura venezolana», 1969).

Ряд произведений поэта переведен на французский и итальянский языки.

Первой публикации на русском языке стихов Медины в этом номере предпослано вступление, написанное поэтом Регуло Бурельи Ривасом, ныне — послом Венесуэлы в СССР.

Стихи, публикуемые в этом номере, взяты из сборников «Поэзия многоликая» («Poesía plural», Barcelona, Plaza Janes S. A. Ed., 1969) и «На пустыре» («Sobre la tierra yerma», Buenos Aires, Ed. Losada, 1971).

ЛЕШЕК МАРУТА — LESZEK MARUTA (род. в 1930 г.).

Польский писатель. Учился на филологическом факультете Краковского университета. Дебютировал как прозаик-сатирик в 1956 году.

Юмористические рассказы Лешека Маруты неоднократно появлялись на страницах нашей периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе» (№ 10, 1964).

Рассказы, которые мы предлагаем вниманию читателей в этом номере, были напечатаны в сборнике «Натюрморт с усами» («Martwa natura z wasami», Kraków WL, 1960), в еженедельнике «Жиче литерацке» («Zycie literackie») и «Газета краковска» («Gazeta krakowska»).

КАЛИДАСА — великий древнеиндийский поэт и драматург, живший предположительно в V веке (о нем см. вступительную статью С. Липкина, стр. 199). В этом номере публикуются отрывки из его поэмы «Облак-вестник» («Мегхадута»).

ВОЛОДЯ ТЕЙТЕЛЬБОЙМ — VOLODIA TEITELBOIM (род. в 1916 г.).

Чилийский писатель и общественный деятель. Автор романа «Сын селитры» («Hijo del salitre», 1952), эссе «Рассвет капитализма и завоевание Америки» («El amanecer del capitalismo y la conquista de América», 1943), литературоведческого труда «Человек и человек» («Hombre y hombre», 1969). На русский язык переведен его роман «Семя на песке».

В. Тейтельбойм — один из основателей газеты «Эль сигло»» — центрального органа Коммунистической партии Чили. С 1945 г. он — член ЦК компартии и член Политической комиссии ЦК КПЧ. В 1961 г. был избран депутатом Национального конгресса, а с 1965 г.— сенатор Республики.

Публикуемое в этом номере с некоторыми сокращениями эссе о Пабло Неруде было напечатано в сборнике статей и речей «Гражданская обязанность» («El oficio ciudadano». Santiago de Chile. Editorial Nascimento, 1973). Рецензию Юрия Дашкевича об этом сборнике см. в № 10 «Иностранной литературы» за 1973 г.

ВАСИЛЕ НИКОРОВИЧ — VASILE NICOROVICI (род. в 1924 г.).

Румынский писатель, очеркист и публицист. Автор нескольких сборников путевых очерков: «Огненный меридиан» («Meridianul de foc», 1959), «Великая нефтяная арка» («Marele arc petrolifer», 1961), «Путешествие по 5000 улиц» («Călător pe 5000 de străzi», 1965), романа «Безумие скорости» («Nebunia vitezei», 1968).

«Иностранная литература» неоднократно публиковала очерки В. Никоровича: «400 дней в городе огня» (№ 6, 1959), «Мир солнца» (№ 11, 1959), «Ромео, Джульетта и свет» (№ 10, 1960), отрывки из книги «От Риги до Иркутска» (№ 11, 1972).

В этом номере мы печатаем главы из книги «Ворота вечности, или Чувство совершенства» («Porți Pentru Eternitate sau Sentimentul Capodoperei», București, Editura Eminescu, 1973).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**
Адрес редакции: Москва 109017. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 6/IX 1973 г. А 12500. Подписано к печати 11/X 1973 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 28,01.
Тираж 580.000 экз. (1-й завод 1 — 420.000 экз.) Зак. 3012.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394